

1985

ПРИКЛЮЧЕНИЯ



ПРИКЛЮЧЕНИЯ

1985

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1985



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ “
1985

Приключения-85: Сборник. — М.: Мол. гвар-
П 75 дия, 1985. — 448 с., ил. — (Стрела).

В пер.: 1 р. 80 к. 100 000 экз.

В бум. пер.: 1 р. 70 к. 100 000 экз.

Традиционный сборник остросюжетных повестей советских писателей рассказывает о торжестве добра, справедливости, мужества, о преданности своей Родине, о чести, благородстве, о том, что зло, предательство, корысть неминуемо наказуемы.

П $\frac{4702010200-300}{078(02)-85}$ 193-85

ББК 84Р7
Р2

© Издательство «Молодая гвардия», 1985 г.

ЗОЛОТАЯ БАБА

*Воля по естеству человеку толико нужд
на и полезна, что ни едино благополучие
ей сравняться не может и ничто ей досто-
ино, ибо кто воли лишаем, тот купно всех
благополучий лишается или приобрести и
сохранить не благонадежен. Ибо кто в ка-
кой-либо неволе состоит, тот не может
уже по своему хотению покоиться, весе-
литься, чести, имения снискивать и оные
содержать, но все остается в воли того,
кто над его волею владычествует.*

Татищев В. Н. Разговор дву приятелей
о пользе науки и училищах. 1733

I

Угры приходили вместе с готами
в Рим и участвовали в разгро-
ме его Аларихом... На обратном пути часть их (уричей)
осела в Паннонии и образовала там могущественное го-
сударство, часть вернулась на родину, к Ледовитому океа-
ну, и до сих пор имеет какие-то медные статуи, принесен-
ные из Рима, которым поклоняются как божествам.

*Юлий Помпоний Лэт. Комментарии к «Георгикам»
Вергилия, 1480-е годы*

За землю, называемую Вяткою, при проникновении в
Скифию, находится большой идол Złota Baba, что в
переводе значит «золотая женщина» или «старуха»; ок-
рестные народы чтут ее и поклоняются ей; никто прохо-
дящий поблизости, чтобы гонять зверей или преследо-
вать их на охоте, не минует ее с пустыми руками и без
приношений; даже если у него нет ценного дара, то он
бросает в жертву идолу хотя бы шкурку или вырван-
ную из одежды шерстину и, благоговейно склонившись,
проходит мимо.

*Матвей Меховский. «Сочинение о двух Сарматиях».
1517*

Золотая Баба, то есть Золотая Старуха, есть идол,



находящийся при устье Оби, в области Обдоре, на более дальнем берегу... По берегам Оби и по соседним рекам, в окрестности, расположено повсюду много крепостей, властелины которых (как говорят) все подчинены Государю Московскому. Рассказывают, или, выражаясь вернее, болтают, что этот идол, Золотая Старуха, есть статуя в виде некой старухи, которая держит в утробе сына, и будто там уже опять виден ребенок, про которого говорят, что он ее внук. Кроме того, будто бы она там поставила некие инструменты, которые издают постоянный звук наподобие труб. Если это так, то я думаю, что это происходит от сильного непрерывного дуновения ветров в эти инструменты.

Сигизмунд Герберштейн. «Записки», 1549

В Обдорской области около устья реки Оби находится некий очень древний истукан, который москвитяне называют «Золотая Баба», то есть «Золотая Старуха». Это подобие старой женщины, держащей ребенка на руках и подле себя имеющей другого ребенка, которого называют ее внуком. Этому истукану обдорцы, угричи и вогуличи, а также и другие соседские племена воздают культ почитания, жертвуют идолу самые дорогие и высокоценные соболя меха, вместе с драгоценными мехами прочих зверей, закалывают в жертву ему отборнейших оленей, кровью которых мажут рот, глаза и прочие члены изображения; сырые же внутренности жертвы пожирают, и во время жертвоприношения колдун вопрошает истукана, что им надо делать и куда кочевать: истукан же (странно сказать) обычно дает вопрошающим верные ответы и предсказывает истинный исход их дел.

Алессандро Гваньини. «Описание Европейской Сарматии», 1578

Я говорил с некоторыми из них и узнал, что они признают единого бога, олицетворяя его, однако, предметами, особенно для них нужными и полезными. Так, они поклоняются солнцу, оленю, лосю и пр. Но что касается до рассказа о золотой или яге-бабе (о которой случалось мне читать в некоторых описаниях этой страны, что она есть кумир в виде старухи), дающей на вопросы жреца прорицательные ответы об успехе предприятий и о будущем, то я убедился, что это пустая басня. Только в области Обдорской со стороны моря, близ устья большой реки Оби, есть скала, которая от природы (впрочем, отчасти с помощью воображения) имеет вид женщины в лохмотьях с ребенком на руках. На этом

месте обыкновенно собираются обдорские самоеды, по причине его удобства для рыбной ловли и действительно иногда (по своему обычаю) колдуют и гадают о хорошем или дурном успехе своих путешествий, рыбной ловли, охоты и т. п.

Джилъс Флетчер. «О государстве русском», 1591

Можно предоставить легковерному летописцу верить в то, что он рассказывает про остяцкую богиню и что ни в какой мере не подтверждается последующими известиями. Некоторое сходство с этим рассказом имеет еще более древний рассказ про языческую богиню, державшую ребенка на коленях, которую почитали в низовьях реки Оби под именем Златой Бабы. Я расспрашивал про нее тамошних остяков и самоедов, но ничего не узнал, и то, что нам сейчас рассказывают на реке Оби про Белогорского шайтана, совсем не похоже на вышеприведенный рассказ.

Достоверно лишь то, что белогорские остяки имели знаменитого шайтана, от имени которого делал предсказания приставленный к нему шайтанщик. Вероятно также и то, что при приближении казаков шайтанщик тщательно укрыл свою святыню и посоветовал остякам также спрятаться от казаков.

Герард Миллер. «Описание Сибирского царства», 1750

Внешний вид и устройство его (идола) неизвестны были и самим обоготворявшим. Постоянно охраняемая двумя стражами в красных одеждах, с копьями в руках, его кумирня была закрыта для вогулов. Один только старейший и главный шаман имел право входить в кумирню.

Ипполит Завалишин. «Описание Западной Сибири», 1862

II

Иван проснулся словно от толчка, резко приподнялся на постели, откинув укрывавшую его полу овчинного тулупа. Напряженно прислушался. Тишину нарушало только дыхание спящих. Оглядел убогое пристанище, слабо озаренное светом лампы. С низкого бревенчатого потолка свисали пряди мха. На грубо обструганном столе в беспорядке стояла глиняная посуда, валялись деревянные ложки. На топчанах угадывались фигуры людей, закутанные в тряпье.

Но вот до слуха Ивана явственно донесся крик совы. Молодой человек без промедления сбросил с топчана босые ноги, нашарил опорки и кинулся к лазу.

То, что он увидел, высунувшись из землянки, заставило его затаиться. Со всех сторон к лесистому островку, на котором находился скит, двигались солдаты в синих мундирах. Они шли в полном безмолвии, по пояс утопая в тумане. На стволах их ружей играли розовые блики — над зубчатым таежным окоемом вставало солнце.

Тревожный крик совы повторился. С раскидистой сосны проворно скользнул человек в лохмотьях и словно растворился в жухлой траве.

Иван бросился расталкивать спящих.

— Команда идет!

В один миг тесная землянка наполнилась суматошным движением. Люди хватали в охапку какой-то убогий скарб и, пригнувшись, скрывались в темном отверстии, зиявшем в углу. Иван тоже последовал за всеми в подземный ход.

Где-то впереди металось пламя свечи. Его то и дело закрывали силуэты людей, пробирающихся по узкой земляной щели, укрытой бревенчатым накатом. Снаружи вдруг послышались частые выстрелы. Беглецов словно бичом хлестнуло. Сгорбились спины, головы втянулись в плечи в надежде уменьшиться, стать неприметнее.

Ход оборвался неожиданно. Иван оказался в большой землянке, заполненной людьми. Здесь было куда светлее — повсюду мигали лампы, язычки свечей отражались на окладах икон, светилось золотое шитье хоругвей.

В стороне сбились в кучку несколько мужчин и женщин. Иван кинулся к ним, зашептал:

— Матушка, все ли здесь?

— Не знаю, родимый. В суматохе-то...

Мать положила ему на плечо исхудавшую руку, внимательно посмотрела в глаза. Лихорадочный взгляд ее больше всяких слов говорил о том, как она измучена. Резкие морщины, свалывшиеся волосы, то и дело падающие на лицо, острые плечи, прикрытые латаной одежкой. Пронзительное чувство сострадания охватило Ивана, и он порывисто прижал голову матери к своей богатырской груди. А глаза его тем временем шарили по сторонам, явно отыскивая кого-то.

Стрельба наверху все продолжалась. То и дело доносились хриплые крики. Вот над головами беглецов глухо протопали чьи-то ноги, потом еще и еще. И наконец, послышались тяжкие удары у дальнего края землянки.

По убежищу прошелестел тревожный шепот.

— Донскались, — мрачно выдохнули сразу несколько голосов.

И тут же сдавленную тишину прорезал гнусавый тенор. Псалом подхватил еще голос, другой, и скоро им вторил целый хор — дребезжащие старушечьи голоса, глухие мужицкие, ломкие детские. И чем сильнее становились удары в углу землянки, тем дружнее звучал распев. Дым от свечей и кадилъниц ходил клубами, щипал глаза, а люди, то и дело утирая выступившие слезы, продолжали петь.

Но вот лампадный сумрак прорезал луч яркого света. В отворившийся лаз просунулись стволы ружей.

— А ну выбирайтесь, крысы, на свет божий! — рявкнул хриплый бас.

Никто не шелохнулся. С надрывом гремел псалом. Теперь пели все — и стар и млад.

И тогда в землянку ворвались солдаты, стали одного за другим выталкивать людей из убежища. Ивана швырнули на землю под сосной, где уже лежали несколько связанных обитателей скита, и, завернув руки за спину, принялись опутывать их веревкой. Закончив свою работу, солдаты достали маленькие трубочки и стали невозмутимо раскуривать их, наблюдая, как во всех направлениях снуют синие мундиры: кто-то нес иконы и книги, кто-то растаскивал накат землянок, кто-то гнал захваченных скитников.

Иван с усилием перевернулся на спину и сел. В глаза ему бросились две женские фигуры в перепачканных изодранных сарафанах. Солдат подталкивал мать Ивана прикладом, а другую пленницу крепко держал за толстую косу.

— Анютка, матушка! — невольно вырвалось у молодого человека.

Обе приостановились на мгновение, с болью взглянув на Ивана. Но конвоир грубо дернул девушку за косу, а мать ткнул между лопаток ложей ружья.

— В заводе наглядитесь друг на дружку!

К развороченной землянке прошагал невысокий тщедушный мужик в войлочной шапке, в новом кафтане и

высоких сапогах. Повелительно заговорил с солдатами, тыча пальцем в кучи бревен. Один из них вздул огонь с помощью кресала и принялся поджигать скит.

И скоро жадное пламя с гудением стало пожирать сухое дерево, клубы дыма повисли над затлевающим деревом. Подняв сноп искр, обрушились в земляную яму остатки настила.

* * *

— Ивашка Антипов, по уличному прозвищу Рябых, — доложил низкорослый заводской приказчик в кафтане, когда Ивана ввели в обширную комнату с голыми стенами.

Над небольшим кое-как обструганным столиком возвышалась грузная фигура управителя Карла Фогеля.

— Тоже из Терентьевой? — твердо выговаривая согласные, спросил немец.

— С Терентьевой, Карла Иваныч, — почтительно подтвердил приказчик.

— Скажи, молодец, отчего вы в бега ушли? — с тем же деревянным акцентом проговорил Фогель.

— Так вишь, ваше сиятельство, повинность-то заводская больно тяжела нам показалась. Мы ведь, селение то есть наше, еще до заводских затей на земельку эту сели. Так почто же нас к заводу приписали, нету такого закону...

— Мальчишк! — Фогель что есть силы хлопнул ладонью по столу и вскочил. Когда он волновался, акцент в его речи делался еще заметнее, многие слова управитель произносил на немецкий лад — путая роды и падежи, глотая окончания. — Государыня императрица Анна Иоанновна повелел рудное и железное дело всеконечно расширить и для того в сем 1734 году нового начальника Главного заводов правления назначил — его превосходительство действительного статского советника Татищева.

Немец схватил со стола бумагу и, с важностью оставив палец в потолок, заявил:

— В сей промемории распорядился его превосходительство главноначальствующий о новых работных людей приискании и в ведомстве казенных заводов водворении... И то учинять повсеместно... к вящему державы российской процветанию.

— Да уж шибко несходно тяготы эти нести, — тупо повторил Иван.

— Ты мне дурака-то не валяй, — сведя к переносью кустистые брови, с угрозой сказал Тихон. — Думаешь, господин управитель тебя за малоумного сочтет и отпустит подобру?.. Не-ет, не проведешь, вражье семя! Он, Карла Иванович, из самых злохитрых смутьянов будет. Весь в отца. Тот однодеревенцев к уходу в скит склонял, а этот чужую невесту сманил..

— Какая чужая! — Иван яростно сжал кулаки. — Силком ее за Мишку сговорили. А она мне давно обещалась!

— Ты такой дурной мальчишк?! — В голосе Фогеля слышалось изумление. Управитель смотрел на Ивана с таким выражением, словно только теперь наконец как следует разглядел его.

— Вместе с ихней семейкой в скиту взяли Анну, Егора Кузьмина дочь. Хотели было к родителю отправить, так нет — уперлась: буду в заводе вместе с этими, — Тихон кивнул на Ивана. — Без вашего распоряжения не решаемся... Как велите...

— А кто жених ее? — спросил Фогель.

— Из хорошей семьи — отец его скотом торгует, властям послушание и страх надлежащий в чадах воспитал...

— Без ее согласия Анютку сговорили! — крикнул Иван. — А ей этот Мишка — ну все равно что пустое место...

— С каких это пор у девки спрашивать стали, за кого ей идти? — Тихон пренебрежительно вытянул губы трубкой.

— Все едино она за него не пойдет, — угрюмо сказал Иван.

— Выходит, это вы людей подбили в скит уйти? — нахмурясь, спросил немец. — За такую провинность знаешь что бывает? В вечную работу на цепь...

— Никто никого не мучил, господин управитель, вот тебе истинный крест. Как объявили нам про приписку к заводу, так и поднялись несколько семей. Небось слышаны, каково из соседних-то деревень мужику достается, кто в работы взят... А Анютка... своей волей с нами отправилась — уж больно донимал родитель, чтоб за Мишку шла.

— Ишь петли какие вяжет! — Тихон чуть не задохнулся от злости. — Да кто же, кроме вас, дорогу в скит

знает? Один твой батька-полесовщик всю тайгу вдоль и поперек исходил!

— Что с того? Мы-то, семья наша, на денек только к братини завернули отдышаться... А другие — не знаю, может, и в скиту собирались пожить.

— Куда ж путь держали? — недоверчиво усмехнулся Тихон.

— К вогулам подались, — лаконично ответил Иван.

Бровь Фогеля вопросительно изогнулась.

— Мы ж люди лесные — дичину, рыбку промышлять способные, вот и порешили где поглуше отсидеться. Авось-де переменится что, приписку отменят или льгота какая выйдет — в одном времени век не изживешь.

— Будет тебе льгота, кержацкое отродье. Батогами всласть упоштуют, — заклокотал приказчик.

— Помолчь, Тихон, — остановил его управитель. — Скажи-ка, юнош, почему твое семейство к вогулам отправилось? Почему вы были уверены, что вас там прирут да еще и жить оставят?

— Да я молвил уж: люд мы лесной, промысловый, с вогулом часто по урманам встречаемся. Не поделишь тайгу полюбовно — плохо придется. Вот и сдружились с коими. Родитель мой с одним — Мироном Самбиндаловым, по-ихнему Евдей, — крестами поменялись. А крестовый брат знаешь каков — крепче сродника по плоти, последнее для тебя сымет...

— Во-во, это у них, раскольников, в обычае, — подтвердил приказчик. — С православным человеком из одной посуды не станет пить, опоганится-де, а с богопротивным язычником братается. Тьфу, анафемы!

— Почто язычники! Все крещены, и имена нашениские носят — сказывал Мирон, еще допрежь моего рождения митрополит Филофей в ихние становища наезжал да в реку всех скопом окунал...

— Филофей-то их оглоблей крестил! — Тихон опять замахал кулачишком. — Знаем, как они веру-то чтут — в церковь божию раз в год забредет, да и то службу не выстоит, на пол уляжется. Великим постом мясо сырое едят, аки скоты бессловесные...

Фогель, морщась, слушал приказчика и, едва тот сделал паузу, взял его за плечо.

— Поди-ка, Тихон, на литейный двор, досмотри за новыми работниками. Я с юношем потолкую, да и сам в завод приду...

Приказчик поджал губы и, глядя точно перед собой,

прошествовал к двери. Неестественно прямая спина его кричала о презрении к Ивану, к Фогелю, ко всему, что здесь было произнесено и еще будет сказано.

Оставшись вдвоем с молодым человеком, немец некоторое время в задумчивости расхаживал по скрипучему полу. Потом решительно остановился у выхода из комнаты и поманил Ивана.

Солдат, дежуривший в коридоре, вытянулся при появлении управителя и бросил взгляд на арестанта.

— Подожди пока здесь, — распорядился Фогель и, снова поманив пальцем Ивана, двинулся в глубь длинного извилистого перехода.

Когда они оказались в другом конце здания, немец отпер ключом двустворчатую дверь и пропустил парня в свои покои.

Иван смиренно замер возле порога, не решаясь ступить разбитыми опорками на блестящий от воска «шахматный» паркет. Он заворожено переводил взгляд с одного незнакомого предмета на другой. Компас, астролябия, глобус, медные штативы с колбами, зрительные трубы — чего только не было наставлено на столе и низких тумбах вдоль стен! А карты, украшенные затейливыми миниатюрами! А литографии, изображающие какие-то дворцы в окружении фонтанов и странных деревьев, обстриженных на манер пуделей, каких пришлось раз увидеть Ивану, когда через их деревяню проезжала в карете заводовладелица.

Хозяин кабинета прошел тем временем к одной из тумб, открыл ящичек с табаком и принялся набивать короткую трубку-носогрейку, исподволь наблюдая за молодым раскольником. А тот, позабыв про все на свете, приблизился к одной из гравюр, с величайшим вниманием стал рассматривать обнаженных граций. Потом с гримасой отвращения оглядел человеческий скелет в углу помещения.

Раскурив трубку, Фогель снова начал расхаживать из угла в угол. Когда Иван изучил почти все диковинки, собранные в кабинете, управитель остановился возле большого сундука, окованного полосовым железом, и достал из него несколько книг. Разложив их на столе, он сивком подозвал Ивана.

— Грамоте разумеешь? У вас, раскольников, я слышал, все читать научены.

— Нам без грамоты никак, ваше сиятельство. По-

пов-то мы, вишь, не признаем, некому, значится, и Писание нам честь...

— Так, может, ты и эту книгу уже читал?

Управитель подвинул к Ивану тяжелый фолиант. Крышки переплета были сделаны из тонко выструганных дощечек, а когда Фогель откинул верхнюю, молодой человек с удивлением обнаружил, что книга сшита из кусков бересты, ровно обрезанных по краям.

Поняв по выражению лица Ивана, что тот видит странное сочинение впервые, Фогель спросил:

— А может, кто-нибудь из скитских ее при тебе читал?

— В глаза ее не видывал.

— Уразумеешь, о чем здесь? — Немец провел прокурренным пальцем по заглавной строке первого листа, выведенной коричневыми чернилами.

— «Во имя отца и сына и святого духа изволением господина бога и спасения нашего Иисуса Христа вседержителя...» — без запинки прочел Иван.

— Постой, постой, вижу — хорошо учен. Погляди теперь, что здесь писано, — и Фогель перевернул сразу несколько толстых листов, ткнул пальцем в низ страницы.

— «И рек тот вогулич про идола Златую Бабой зовомого...» — начал читать Иван.

Управитель прикрыл ладонью текст и спросил:

— А ты слыхал про Золотую Бабу?

— Кто ж про нее не знает? Каждому детёнку старики байки про нее рассказывают: вот, мол, есть у вогул идол некий, по молитвам ихним помощь подающий... Только прячут его ото всех, крепко прячут, а и найдешь дорогу к нему — лешая нежить тебе путь заградит...

Фогель обошел вокруг стола, сел на свое место и вооружился линзой в медной оправе. Увеличительное стекло выпятило жирную вязь полуустава.

— В этой книге, найденной в разоренном скиту, сказано, где и у кого искать Золотую Бабу...

Немец умолк и со значительностью воззрился на Ивана. Но тот сохранял довольно-таки равнодушное выражение лица.

— Это очень важно для тебя и для всей твоей семьи. Захочешь, чтобы вас от заводских работ навсегда избавили, — поможешь мне. Не поможешь — загоноу всех в казарму, будут вас в доменный цех под стражей водить, а на ночь под замок запирают. Вам теперь по су-

ду за совращение приписных крестьян к побегу... И еще — Анютку твою к родителям верну; пускай за Мишку идет...

На лице Ивана появилось страдальческое выражение.

— Заставь о себе бога молить, ваше сиятельство...

Фогель жестом заставил его замолчать.

— А поможешь — твоя будет.

— Да заради таковой вольготы всепокорнейше служить готов, — частил Иван, словно опасаясь, что управитель передумает. — Ежели с командой к тому месту, где идол схоронен, пошлешь, я его, не щадя самого живота, отобью.

— В том-то и дело, что к вогулам солдат не отправишь, — со вздохом заговорил Фогель. — Они ведь редко живут, на сотню верст одна семья. А сообщаются между собой отменно быстро. Пока команда до капища доберется, вся тайга знать будет, куда и зачем идут... Тут такой человек нужен, которому они доверяют,

— Ваше сият... — робко начал Иван.

— Доннерветтер! — вдруг взорвался управитель. — Когда ты наконец перестанешь величать меня сиятельством — я не князь, черт возьми!

Проезжая на пароконной бричке по заводской плотине, Фогель зорко оглядывал раскинувшуюся внизу территорию завода. Сегодня управитель выглядел торжественно: он был в тщательно завитом парике и треуголке, белоснежное жабо топорщилось над воротом камзола. С плотины все виделось как на ладони: приземистые казармы, высокие корпуса домен, водяные колеса, размеренно вращающиеся под напором воды, низвергающейся из пруда в широкий тесовый ларь. В облаке водяной пыли то и дело возникали фигуры кузнецов, выбегавших из цеха «охолонуться». Так объяснял немец сидевшему рядом с ним господину в длинном парике, локоны которого ложились на плечи синего мундира. Остановив лошадей, Фогель стал показывать своему спутнику, где находятся различные производства завода, как именуются части поселка, раскинувшегося на пологих склонах над зеркалом огромного пруда.

— А вот извольте видеть, ваше превосходительство, этот край, чили, как здесь говорят, «конец», населен вы-

ходцами из Тульской губернии, посему и зовется Тульским.

— Что же, хороши туляки в работе? — отрывисто спросил его превосходительство и, поднеся к глазу короткую медную трубу, принялся рассматривать строения Тульского конца.

— Не пожалуюсь. Сметливы и к рукотеслу привычны.

— А кто там живет? — спросил спутник Фогеля, повернувшись всем своим сухощавым телом в ту сторону, откуда они приехали. — Избы-то на иную руку строены, похлипче видом... Я вижу, напротив завода у вас очень удобный косогор. Селиться да жить мужику — веселие велие.

— Думали уж, ваше превосходительство. Приняли к исполнению сенатский указ о раскольниках. Учнем кержацкие деревни к заводу переселять да на том краю и ставиться им велим. Глядишь, и Кержацкий конец выстроится...

Когда бричка съехала по крутому спуску на заводской двор, навстречу начальству высыпало с дюжину мастеров, уставщиков, надзирателей. Все как по команде сорвали шапки и с почтительным ужасом на лице смотрели на прибывших. Тихон кинулся к экипажу и, проворно откинув ступеньку, помог выбраться важному гостю в длинном парике.

Фогель вышел с другой стороны брички и зычно объявил:

— К нам пожаловали его превосходительство горный командир действительный статский советник господин Татищев.

Краткое оцепенение заводской верхушки сменилось испуганно-радостной суетой. Кто-то поспешил в цехи, кто-то бросился к лошадям, а Тихон и еще один чисто одетый уставщик, исчезнув на миг, вновь появились с тяжелыми резными стульями в руках. И потом, во все время осмотра завода Татищевым и Фогелем, как тени следовали за ними, успевая подсунуть стулья, едва начальство останавливалось перед каким-нибудь молотом или домной.

В доменном цехе внимание горного командира привлекли несколько бородатых мужиков, бившихся вокруг вагонетки с рудой. Колеса ее соскочили с деревянных рельсов, и теперь рабочие, не совсем сноровисто орудуя вагами, пытались снова поставить вагонетку на колею.

— Эт-то что за неумехи? — строго спросил Татищев.

— Кержаки-с, — из-за спины его незамедлительно возник Тихон. — Недавно только из деревни Терентьевой. Вздумали было по скитам от повинности заводской бегать, да господин управитель...

— Поди! — Фогель раздраженно отодвинул приказчика локтем и быстро заговорил: — Во исполнение указа, позволяющего раскольникам селиться и жить при заводах...

— ...Вы решили их на оные заводы загонять, — усмехнувшись, подхватил Татищев.

— Не по-божески это! — вдруг крикнул пожилой мужик, возившийся у вагонетки.

Татищев раздраженно взглянул на него.

— Начальство перебивать?! Тебя кто спрашивал?

— Дождешься, пока вы спросите, — с ненавистью пробурчал мужик. — Что-то не узнавали у нас, желаем ли мы в заводе селиться.

— Издеваться, сиволапый? О высших государственных интересах печься мы державной властью поставлены, а не о твоих удобствах заботиться!

Горный командир грозно оглядел несколько десятков рабочих и заводских служителей, замерших в разных концах доменного двора. Снова заговорил, чеканя каждое слово, будто зачитывал некий указ:

— Да ведаете ли вы, каналы, какие превеликие стеснения и тяготы нашему воинству выпадают, когда в орудьях и огненном бое нужда учинится?! Нынешней весной под вольным городом Данцигом за одну ночь две тысячи душ под неприятельской картечью да под ядрами полегло.

— Енаралы виноваты, а с нас шкуру драть? — непримиримо уставившись на Татищева, сказал долговязый молодой мужик.

— Ну ты! — взвизгнул Тихон, подскочив к спорщику. Ткнул его кулаком в зубы. — Опять народ мутить?..

— Эй, полегче на руку! — прикрикнул горный командир. — Строгость строгостью, а по пустякам народ не след обижать.

— На таком слове благодарствуйте, — проговорил долговязый и поклонился.

Его примеру последовали немногие. Большинство рабочих остались стоять в напряженно-враждебных позах.

— Слово что — тьфу... — проговорил пожилой рабочий, начавший этот спор. — Спи-па-то не от слов ноет. Верни ты нам волю, господин начальник...

— Да что ты заладил, старик! — Татищев вышел из себя. — Никто тебя воли не лишает. Только вместо расхристанности вашей, вполне для казны бесполезной, дали вам твердый порядок: поработай на государство, а потом как хочешь живи: песни пой, вино пей, землю паши. Да разве в крестьянском труде легче вам живется?

— Отбились они давно от землепашества, ваше превосходительство, — сунулся к начальству Тихон. — Целыми деревнями рыщут по горам — руду изыскивают. Прослышали, что рудознатцам добрую награду за изысканное железо, за медь дают, вот и кинулись шурфы бить по всему Уралу. Обнищали, оборвались, а все не хотят к земле вернуться, каждый жар-птицу ухватить мечтает.

— Во-от, вот она, ваша воля! — торжествующе произнес горный командир. — Во всяком государстве обыватель должен иметь свободу, да только не такую, чтоб каждый делал что хочет по прихоти своей; не такая должна быть воля, как у диких зверей, но рассудительная, законами дозволенная, о благе казенном радеющая. Такая воля в державе нашей водворена покойным императором Петром Великим, а ныне сохраняется высокою защитою ее императорского величества Анны Ивановны. Если же, безумный старик, твоим речам внять да по слову твоему всем поступать, у нас безгосударная смута придет.

Один из кержаков, стоявших у вагонетки, с вызовом сказал:

— На вольной воле жили и ни для каких казенных польз поступаться ею не желаем.

Народ на доменном дворе задвигался, послышался ропот. Служители стали мало-помалу сгучиваться вокруг начальства.

— Не хотите добром на завод идти — заставим, — веско сказал Татищев.

Воцарилось тяжелое молчание. Настороженные взгляды служителей и горных офицеров словно в немом поединке сталкивались с озлобленными взглядами бордатых людей в прожженной, латаной одежке.

— Ваше превосходительство, — почтительный голос Фогеля прозвучал совсем негромко, но его услышали

даже те, кто стоял поодаль. — А как же с указом о раскольниках быть?

— Мы вольны ему свое толкование давать, — быстро ответил горный командир. — Будешь ждать, пока эти плуты сами к заводам соизволят приселиться, не скоро толку добьешься... Сейчас у нас полтора десятка казенных заводов, а я думаю к сему числу еще сорок прибавить! Где же рабочих для них напасешься? Зорите скиты, господин управитель, сгоняйте оттуда бездельников к домнам да к молотам!

Польщенный Фогель орлом смотрел на притихших кержаков.

— Вы слышали, это не я вам сказал! Его превосходительство из самого Петербурга недавно прибыли, от ее императорского величества полномочия имеют!

Когда они двинулись дальше, управитель чуть повернул голову к Тихону и спросил:

— Эти пятеро на подаче руды, отец с сыновьями, — как их по уличному-то?..

— Рябых, Карла Иваныч.

— Ты вот что, распорядись, чтоб без кандалов на завод их доставляли... — Он в раздумье пожевал губу и с видимым сожалением сказал: — А вот старику двадцать пять багогов дать придется. Женщин ихних — жену старика и Анну, с ними в бегах бывшую, — от надзора освободить и работу полегче подобрать...

Тропа вилась по верховому болоту. Сквозь редколесье виднелись мощные складки хребта, покрытые темно-зеленым бархатом растительности. Снеговые шапки гольцов нестерпимо горели на солнце. И над всем этим огромным молчаливым миром плыли белые льдины облаков.

Размеренно покачиваясь в седле, Иван то и дело смотрел на эти быстро движущиеся в синеве глыбы. Вяло отмахиваясь от комаров, путник скользил взглядом по серо-ржавой растительности болота. Ему вновь и вновь представлялась сложенная из плитняка стена каземата. Вот сквозь толстые граненые прутья решетки просунулась рука, узловатые пальцы сжали ладонь Ивана. В полутьме тюремной камеры лихорадочно заблестели несколько пар глаз.

— Братишка! Беги ты от этого немца куда глаза глядят, не пустит он нас на волю. Вон батюшку как ис-

полсговали — второй день с соломы не поднимается.

Ивап с болью вглядывался в осунувшееся лицо старшего брата и, словно оправдываясь, бормотал:

— Нет, не брошу я тут вас. А особливо матушку с Аннушкой жалко... Право, поеду я...

За металлические прутья взялся второй брат. Приблизил лицо к самой решетке и тихо проговорил:

— Открой хоть, куда посылает тебя управитель.

— А, к вогулам... — Иван мотнул головой в сторону и отвел глаза.

— Ну, не хошь, не говори, — обиженно сказал брат.

Порывисто сжав его руку в ладонях, Иван просительно сказал:

— Немец не велел. Да и сам не хочу замечать — сорвется... Нельзя ли на родителя взглянуть... Напоследок.

Фигуры братьев растворились в полумраке. Через минуту возникли вновь. Иван увидел тело отца, подвеченное четырьмя парами рук.

— Батюшка, благословите на путь шествующего, — сглотнув слезы, сказал Иван.

Старик какое-то время искал глазами младшего сына, потом кое-как поднял руку для крестного знамения, но тут же уронил ее и хрипло произнес:

— Бог тебя храни, Ивашка. А мы тут, мы...

И снова закрыл глаза.

Занятый своими мыслями, Иван и не заметил, что сосняк стал погуще, да и деревца пошли более рослые и раскидистые. Только когда ветки несколько раз хлестнули его, молодой человек сообразил, что снова началась тайга, и пошел рядом с навьюченной лошастью...

Лес стал редеть. Взгляд Ивана все чаще останавливался на могучих березах, стоящих в траве словно бы в чулках — кора была начисто снята на высоту человеческого роста. На стволах других деревьев попадались зарубки одного и того же вида. Невольно прибавив шагу, молодой человек шел теперь вперед лошади, нетерпеливо подергивая за уздечку.

Березняк кончился. На большой поляне, поросшей высокой шелковистой травой, было разбросано несколько строений — хранилище припасов на высоко опиленных стволах, лабазы, низкая землянка с берестяной крышей, усеянной черепами соболей. Несколько собак бросились навстречу Ивану, принялись молча обнюхивать его и лошадь. Пожилая скуластая женщина, возившая

ся у камелька, прикрыв лицо рукавом, кинулась в землянку. Из-за кучи хвороста, из-за перевернутых нарт, из-за угла амбара на Ивана опасно смотрели несколько пар детских глаз.

Из землянки показался невысокий мужик-вогул с заспаным лицом, с короткой косицей, в которую был вплетен узкий ремешок. Он прикрикнул на собак, прыгавших вокруг лошади, и вопросительно посмотрел на Ивана.

— Здравствовать вам, дядя Евдя, со всем семейством. Поклон вам от крестового — Антипы из Тереньевой деревни, по прозванию Рябых.

— И ты, паря, здравствуй. И Антипе здравствовать. — Евдя говорил по-русски сносно, хотя и с типичными для вогулов придыханиями на каждом слове.

Некоторое время он молча разглядывал рослого широкоплечего гостя, потом неуверенно спросил:

— Э-э, да ты не Ивашка ли?

— Он самый.

— Ну и разнесло тебя, паря, раскрасавило. Запрошлый год гостевали, совсем ребяенок был.

— Осьмнадцатый год пошел, матка сказывала.

Самбиндалов принял поводья и, ласково потрепав лошадь, повел к лабазу. Расседывая ее, он что-то бормотал по-вогульски, то и дело поглаживая холку, потом принялся почесывать щепкой спину животного. Принес плоску с тлеющими трутовиками, поставил ее так, чтобы дым несло в сторону лошади. Сказал:

— Ну вот, милая, теперь гнус не потревожит.

Перед входом в землянку тоже курился короб с трутовиками. Переступив через него, Иван попал в полутемное помещение, устланное оленьими шкурами. В одном углу висел кожаный мешок с привязанным к нему серебряным блюдом, в другом — небольшой образ.

Перехватив взгляд гостя, Евдя объяснил:

— На всякий случай и русскому богу Миколу молюсь, и нашему Ортику.

— Это у него что, рожа? — спросил Иван, указывая на блюдо.

— Рожа, стало быть. — Самбиндалов смущенно прокашлялся. — Знаешь, Ивашка, два бога лучше, чем один. Все какой-нибудь да заступится.

— Помолись, дядя Евдя, своему за меня — по тайге, знать, его власть сильнее! Да скажи, чтоб непогодь не слал покамест — а то я вон, к тебе еду, на небо гля-

дел: с севера облака тащит, как бы холод не нагнало...

— Что тебе непогодь?

— Да ведь по урманам ночевать придется, холод-то мне шибко не надобен.

Самбиндалов кивнул, но вопросов задавать не стал. Высунувшись из землянки, крикнул что-то по-вогульски и показал Ивану рукой на шкуру: садись.

Через минуту посреди землянки возник импровизированный столик — на два чурбачка хозяйка положила широкую тесину. Появилось угощение: квашеная рыба, рябчики, ягоды и орехи.

За трапезой вогул то и дело испытующе поглядывал на гостя, но от вопросов по-прежнему воздерживался. Иван, сидя на шкуре в непривычной позе — подогнув под себя ногу, — с аппетитом уписывал дичь. И тоже не спешил рассказывать.

Наконец, молчание сделалось неловким и, отложив обглоданное крылышко, молодой человек заговорил:

— Беда у нас приключилась... Вся семья наша, и ба-тюшка, и маманя, и невеста моя, — все в тюрьму заводскую угодили. Как бы, слышь, клеймо еще не наложили за провинность нашу...

Самбиндалов оставил еду и, горестно раскачиваясь, слушал.

— И решил я к тебе пробираться да просить о помощи. Скажи, как мне дорогу к скале Витконайкерас найти...

Евдя поник головой и долго сидел, вздыхая, откашливаясь. Когда заговорил, смотрел мимо Ивана.

— Э-э, дело-то какое неладное. Нельзя, Ивашка, туда. И сказывать мне не можно — Золотая Баба накажет... — Он разом умолк, словно сболтнул лишнее.

Но Иван и виду не подал, что понял причину его смятения.

— Жалко, придется вернуться да сказать родителю — не захотел крестовый пособить...

— Зачем так говоришь? — Вогул даже руками замахал на гостя. — Евдя побратима своего не выдаст. Евдя добро помнит. Все, что хочешь, отдам. Живи у меня, ешь, пей, оленя бери, шкурки соболя бери... А туда не можно, никак не можно.

— Ну тогда сам дорогу поищу, — Иван со вздохом поднялся. — А на хлебе-соли благодарствуйте.

— Не ходи, Ивашка, — просительно сказал вогул. — Ту дорогу менквы стерегут...

Но Иван будто не слышал предупреждения. Решительно нагнулся у притолки и шагнул через дымарь на пороге землянки.

Фогель сидел за клавикордом. Он был без парика, изрядная плешь, обрамленная коротко остриженными рыжеватыми волосами, порозовела от напряжения, на лбу выступили капли пота. Халат раскрылся, обнажив упитанную волосатую грудь.

На крышке инструмента стояли шандал с оплывшими свечами и оправленная в ажурную рамку миниатюра на эмали — портрет молодой женщины в белом капоре с красным бантом и красными же завязками. Когда взгляд немца падал на ее миловидное лицо, в глазах его проскальзывало нечто горестно-сентиментальное. И в исполняемой пьесе тогда начинали звучать элегические нотки. По тому, как Фогель смотрел на миниатюру, как томным движением пролистывал страницы нотной тетради, было видно, что управитель разыгрывает какую-то привычную мелодраму, в которой сам он является главным действующим лицом, а единственным зрителем — женщина на портрете.

Во всяком случае, для Тихона, не вошедшего, а беззвучно проникшего в кабинет, эта натужно-умилительная сцена была явно не внове, — он с еле скрытой усмешкой ждал у порога, пока управитель в последний раз обрушит на клавиши свои толстые пальцы, унизанные перстнями.

Когда Фогель уронил голову на грудь и замер с закрытыми глазами, приказчик кашлянул фистулой и произнес:

— С добрым утречком вас, Карла Иваныч! Желаем здравия-с...

Немец повернулся на голос с явным неудовольствием:

— А-а, Тихон. Здравствуй. С докладом?..

— Точно так. В заводе все по уряду идет: за ночь плавку выдали, с утра, помолотившись, новый молот пустили...

— А народ новоприписанный?

— Да пока в послушании пребывает. Самые-то буйны — Антипа Рябых с сыновьями — поутихли вроде, как вашим благородьем к ним снисхождение было явление. А особо — как женщин, с ними в скит бегавших, без

стражи велено содержать. Видно, поопасываются, что милость ваша отнимется, ежели что...

— Да, ты распорядился, чтобы матери Ивана и этой его невесте, Анне, работу почище подыскали?

— Так в заводе-то все грязь да копать... — нерешительно начал Тихон.

— Тогда пусть в конторе да у меня прибираются, — распорядился Фогель и на минуту задумался. — Нет, лучше так: ту, что постарше, поопытнее — на кухню. Кержачки, я слышал, хорошие стряпухи.

— Истинная правда-с! — Приказчик закатил глаза и прицокнул языком.

— А другая пусть в комнатах убирает...

Играя новую пьесу, управитель вдруг почувствовал какое-то стеснение, спина его напряглась, пальцы как бы потеряли гибкость, инструмент зазвучал суше. Фогель обернулся. Дверь была приотворена, и он увидел милую белокурую девушку в блекло-синем сарафане. Позабыв о работе, она стояла с тряпкой в руке и смотрела на управителя. Встретившись с ним глазами, вспыхнула и от неожиданности уронила тряпку в деревянный ушат с водой.

Фогель с минуту остолбенело смотрел на девушку, а та, словно онемев под его взглядом, не двигаясь с места, теребила косу, уставившись в пол. Потом немец снова повернулся к клавикорду и воззрился на миниатюру. Изображенная на портрете женщина была поразительно похожа на ту, что стояла в дверях зала.

— Тебе нравится сей менуэт? — не оглядываясь, спросил управитель каким-то странным петушиным голосом. — Это великий Гендель.

И, не дожидаясь ответа, вновь ударил по клавишам. Музыка полилась мощной волной, казалось, небольшой зал переполнился ею до краев. А Фогель все гремел на клавикорде, словно желая достичь предела его звучания. И вдруг откинулся на табурете, упершись руками в крышку инструмента.

Фогель поднялся, подошел к двери. На лице его блуждала растерянная улыбка.

— Так это ты и есть Анна, которая не слушает свой папа? Сколько же тебе лет?

— Семнадцать, — залившись краской, отвечала девушка.

— Ай-ай-ай, — растроганно покачал головой немец. — Такая милая и с какими-то дикими стариками пряталась в скиту.

Анна опустила глаза, и управитель почувствовал себя совсем неловко. Не зная, о чем спросить еще, хлопал себя по карманам, бормоча:

— Доннерветтер! Майне пфайфе... Где моя трубка?..

И вдруг сообразил, что предстал перед Анной в де-забилье. Он невольно поднес руку к голове и убедившись, что парика в самом деле нет, вконец смутился. Кашлянул и лаконично распорядился:

— Мыть, хорошо мыть.

Пройдя в свою спальню, соседнюю с залом, он принялся критически разглядывать себя в зеркале. И вдруг привиделось ему: Она подошла из глубины зазеркального пространства и легко обняла его, Фогеля, отражение. Но кто была Она — та, с портрета, или эта юная раскольница?..

Когда спустя некоторое время Фогель снова появился перед Анной, он выглядел моложе по крайней мере на десять лет. На плечи малинового партикулярного камзола ниспадали букли парика. Шелковые чулки обтягивали толстые икры. Пальцы, унизанные перстнями, сжимали золоченый набалдашник трости.

Комната была уже вымыта. Скользнув взглядом по полу, управитель сказал:

— О-очень хорошо. Ты будешь каждый день делать чистоту.

В дверях он опять остановился.

— Анна, я скажу приказчику, чтобы тебя и твою... эту женщину, с которой вас содержали в казарме, поселили здесь в заводской конторе. И еще... У тебя есть другое платье? — Он с неодобрением оглядел выцветший сарафан.

Девушка отрицательно покачала головой.

— Как в скиту нас заарестовали, так барахлишка своего решились. Не дали Тихон Фомич даже узелки захватить, все в землянках огнем взялось.

— Ракалия! — вознегодовал Фогель и даже притопнул ногой, обутой в туфлю с широкой пряжкой. — Возьми вот рубль за работу — купишь себе платье да ленту в косу. Красную выбери, тебе к лицу.

Сказав это, немец досадливо закусил губу и быстро вышел.

Глухой скрежет гальки под копытами лошади, ровный рокот порожистой реки и лепет листвы прибрежного березняка, раскачиваемого ветром, неумолкающим хором звучали в полудремотном сознании Ивана. Поэтому он не слышал вкрадчивого шелеста кустов, не обратил внимания на звук треснувшей ветки. И полной неожиданностью было для него, когда с высокого обрывистого яра, подмытого вешней водой, метнулась человеческая фигура.

Выбитый из седла, Иван несколько мгновений не мог справиться с неизвестным, навалившимся на него. Но потом извернулся и резким движением опрокинул нападавшего на гальку. Придавил его коленом и выпрямился.

— Ишь, мозгляк! — с изумлением вымолвил он, рассмотрев чумазую, исхудавшую физиономию молодого вогула. — Да тебя поросенок уронит, а ты...

— Ишь хочу, — прохрипел пленник.

— Так что ж ладом не попросил? — сказал Иван, убрав колено с груди вогула.

— Ружье отнять хотел, — простодушно объяснил тот.

— Зачем тебе, дурень? Вам же запрещено: если увидит кто из горного начальства, плохо будет.

— Надо мне, — упрямо молвил чумазый.

Иван поднялся, подошел к лошади, понуро стоявшей в нескольких шагах, и открыл переметную суму.

— Хлеб будешь?

Незнакомец кивнул, сглотнув слюну.

— Рябчика вареного?

Кадык на шее вогула судорожно юркнул за ворот.

— Пирог с черникой?

Глаза чумазого полыхнули каким-то безумным блеском...

— Не евши, видать, — сочувственно заметил Иван, когда незнакомец начал жадно уписывать содержимое сумы. — Бездомный, что ль?..

— Выгнали меня, — понурился вогул, продолжая жевать. Потом, словно стремясь загладить какую-то вину, сказал: — Порато жрать хотел, одни ягоды брал... Живот совсем нету...

— Как звать-то? — улыбнулся Иван.

— Алпа...

— За какие же вины тебя, Алпа, в тайгу без еды и без оружия изгнали? — проговорил Иван, когда молодой вогул собрал с расстеленной тряпицы последние крошки и отправил в рот.

— А-а, — неопределенно махнув рукой, отозвался чужаком. — Девку у старика хотел отнять...

— Вот это по-нашему, — Иван широко улыбнулся и потрепал Алпу по плечу. — Расскажи.

— С девкой мы слюбились, а тут к ее отцу старик один свататься: пятьдесят оленей дам. Отец: ладна. Отдал девку. А я к стариковой землянке подобрался да и прокричал кедровкой — и раньше ее так из дому вызывал. А старик-то ушлый: сообразил, что на ту пору кедровке еще не время голос подавать. И уследил, как девка моя тряпки свои собирать стала, а потом в тайге нас и накрыл. Отвез ее к родителям. «Непутевые, — говорит, — вы, и поросль ваша такая же, отдавайте приданое...»

Вогул замолчал, невидящим взглядом уставившись в береговую гальку. Потом со вздохом продолжал:

— Прибил ее отец: опозорила, говорит. И к дяде-шаману отвез. «Не хотела, — бает, — мужу угождать, будешь на целый пауль работать — у шамана-то еще несколько служек живут».

— Это какой шаман? — насторожился Иван. — Слушаем не Воюпта?

— Он, — удивленно кивнул вогул.

— Я ведь туда и пробираюсь, знаю, что где-то у истока реки он живет. Витконайкерас, — последнее слово Иван выговорил по складам. — Знаешь такое место? Алпа с сомнением покачал головой.

— По воде туда не попадешь. Старики говорят, река в верховьях среди скал течет, никакую лодку на бечеве не проведешь, а против течения не выгresti. А если кто и попытается, загородит ему дорогу Мирсуснехум. Никому туда ходить не велит, кроме шаманов.

— Это кто таков?

— Главный самый бог. Как тебе перетолмачить?.. За народом смотрящий мужик...

— Раз шаманам можно — значит, и дорога какая-то есть?

— Есть. Ворга старая — оленья тропа то есть. Ее по катпосам найти можно.

— Что еще за притча?

— Катпос? Знак такой на дереве — путь метят.

— А ты знаешь, как на эту тропу попасть?

— Всякий вогул знает... Мы в начале той ворги жертвы для шамана оставляем — шкурки, ленты цветные, деньги кладем.

Иван помолчал, что-то обдумывая, и снова спросил:

— Правда, что у Воюпты Золотая Баба схоронена?

Вогул встревоженно оглянулся, будто кто-то мог услышать его. Сдавленно начал:

— Старики говорили: раньше Баба в пещере стояла, каждый мог приходить, о чем хочешь просить... Потом, когда епископ по тайге ездил, идолов сокрушал, забрал Воюпта ту Бабу к себе — сберечь-де хотел. Никого с тех пор не подпускает. «Давайте, — говорит, — мне подношения, а уж я перед ней за вас помолюсь...» А не дашь — грозит нажаловаться ей, тогда беды жди...

— Так что ж вы терпите, дурни? — изумился Иван.

— И так роптать стал народ — лучше б уж епископ ее забрал, ему бы и горе от нее... А теперь бояться: наговорит ей чего Воюпта — черная немочь навалится...

— Отобрать давно надо было Бабу эту у шамана.

— Не пройти к нему... Ту вору менквы стерегут.

Иван вопросительно уставился на Алпу. Вогул опять опасно оглянулся и, понизив голос, объяснил:

— Это злые духи. Половина — человек, половина — зверь...

— Поможешь мне? — спросил Иван. — Хочу я Золотую Бабу добыть...

Алпа со страхом глядел на него, но ничего не говорил, словно лишился дара речи.

— Чего ты?

— Накажет, накажет она, — наконец с трудом проговорил вогул.

— А я тебе невесту твою помогу увезти. Будете у нас в деревне жить, коли в пауле вам места не стало...

Алпа с сомнением качал головой.

— Да зачем тебе Баба?..

— Отец-мать да братья мои в тюрьме сидят. Невесту любить не велит человек немецкий... «Привезешь, — говорит, — идола золотого — верну вам всем волю, женись тогда...»

Алпа долго молчал, раздумывая над словами Ивана, потом несмело начал:

— Не ходить бы туда, Ивашка. Может, немца другим чем задаришь?..

— Удовольствуешь его, мордатого! — с горечью отозвался Иван. — У него денег-то, чай, без счету. Им ведь, нехристям, втрое против наших русских платят.

— Это почему? — удивился Алпа.

— А как старики наши говорили, что в восьмой ты-

сяче толку не будет, так и случилось. Все по антихристову научению владыки наши творят.

— Это какая еще восьмая тысяча?

— От сотворения мира идет нынче семь тысяч двести сорок второй год. А по казенному счету — одна тысяча семьсот тридцать четвертый. Уставщик наш деревенский так изъяснял: запутать хотят никониане, сбить овец стада Христова, чтобы второе пришествие проспали.

Иван говорил с глубокой верой в истинность своих слов, щеки его разругались, глаза светились вдохновением.

Алпа, замороженно слушавший Ивана, огорченно признался:

— Занимательно тебя слушать. Жалко только, не понял ничего.

— Мы, старому-то кресту верные, в Писании всех превзошли. Спроси меня: книгу Судей ли, книги ли царств, Давида-царя псалмы — все знаю, — теперь в голосе кержака звучало некоторое самодовольство.

— Опять не понимаю ничего, — сокрушался Алпа. — Отчего, если вы самые грамотные да справные, вас власть гонит? Обычай ваш русский не уразумею... Вот сам видел прошлым годом: провезли верхотурским трактом важных начальников. Камзолы богатые, на голове кудри сивые, на ногах кандалы. Спросили наши у офицера, кто такие, — а офицер и слов-то русских не понимает. Дознались потом, что больших бояр в Пелым да в Березов шлют по царицыному указу.

— Стало, и до никониан враг человеческий добрался. Был у нас слух, что царица наша допрежь того в немцах жила, вот и навезла с собой басурман тамошних. В кабаке проезжий приказной как-то раскуражился, да и скажи: котует с императрицей нашей конюх какой-то, Бирон по прозванию, а языка нашего не разумеет, как тот офицер, что бояр в ссылку вез.

— Им-то за что неволя вышла?

— Видать, недовольствовались немецкой властью, хульные словеса говорили. А кто-нибудь и скричи «слово и дело государево». За таковую провинность много уж народу по нашему тракту прогнали, многие тысячи.

— Ух! — зажмурился Алпа. — Страху натерпишься у вас там, в Руси. Лучше в лесу жить.

В сопровождении Тихона и нескольких заводских служителей Фогель осматривал строящуюся улицу.

На поросшем травой пологом склоне уже поднялись первые венцы нескольких срубов. Одни плотники обтесывали лесины, другие распиливали их на плахи, третьи подгоняли бревна одно к другому. Работали, однако, не очень проворно. И Тихон не преминул обратить на это внимание управителя.

— Сразу видать, что острожники работают. Только что не спят, шельмы, на казенной-то работе. Извольте видеть, Карла Иваныч, вон в том конце изба почти готова, а у этих от земли не видать. Все почему: там богатый кержак строится. Тот их и подкормит, и хмельного поднесет...

Фогель набычился и круто повернул с середины улицы к первому же неоконченному строению. Плотники при его приближении всадили топоры в дерево и, присанившись, ждали.

— Бездельники! — не слушая их приветствий, закричал немец. — Я вам покажу, как лениться! Почему вон та изба уже почти под крышей?!

— А ты не бурли, ваше благородье, — негромко, но очень твердо сказал чернявый плечистый бородач в красной рубахе, с длинными волосами, схваченными ремешком. Ноги его были скованы массивной цепью. — И на дом тот зря киваешь — тамошний хозяин обычай блюдет, потому и плотник его уважает.

Прямой и смелый взгляд мужика насторожил Фогеля, почувствовавшего скрытую угрозу в тоне его голоса, в самой манере держаться.

— Чем же тебе казна не угодила?

— С того начать, что «заручную» не пили...

— Обык такой анафемский плотники здешние имеют, — поспешил объяснить Тихон. — Уж они ко мне подкатывались. Перед началом работы, бают, святое дело заручную пить. Потом, как два венца положат, «закладочные» требуют. Этак по миру пустят — что ни день, то притча: обложейные, стропильные, мшильные... Не-ет, шалишь, Жилий, это тебе не на воле куражиться...

— Так нешто мы не работаем?.. — с издевательским прищуром спросил Жилий.

— Тьфу! Не зря сказано: столяры да плотники от бога прокляты, — отвернувшись, пробурчал Тихон.

Фогель, с непроницаемым лицом слушавший пере-

бранку, обратился к стоявшим рядом членам своей «свиты».

— Этот человек говорит правду?

— Да ведется обычай такой, что бога гневить, — ответил один из слугителей.

Другие согласно закивали.

— Обычай надо уважать, — наставительно произнес управитель. — Значит, ты желаешь получить вознаграждение по вашему деревенскому закону?

— Да уж по заведенному...

— Будет вам угощение.

Тихон, получивший прилюдный щелчок, не желал, однако, признавать свое поражение. Он по-петушиному вытянул шею и возопил:

— Да не в водке дело-то все! В расколе ведь они, окаянные, обретаются. И супротив распоряжения вашего бунтуют — не хотят по проекту избы городить!

Фогель сдвинул брови и воззрился на Жилия.

— Мне-то что? Мне все едино, — равнодушно сказал тот. — А только не пойдет мужик в такие басурманские избы. Чего это не велят Тихон Фомич по нашему разумению наличник да конек рубить, а все бумагу свою суют? Нам это обидно.

— Фуй, какая глупость! Тихон, дай проект.

Приказчик немедленно протянул Фогелю свиток. Развернув его, управитель рассмотрел изображенные на нем домики.

— Великолепно! Эти пилястры вокруг окон. Дорический ордер! Ты ничего не понимаешь, глупец. Я сам выбирал для ваших диких мужиков самые красивые образцы. Они будут смотреть на жезл Меркурия на стене своей избы и уже немножко станут понимать европейскую культуру. Они пойдут в контору и спросят, кто такой Меркурий, и кое-что узнают, кроме этой глупой ортодоксии...

— Несвычайно будет, ваше благородие, — настаивал Жилия. — Не пойдет мужик, забунтует. Вам чего надобно: чтоб рабочий люд при заводе селился, али бо пилястры...

— Во-во, — Тихон торжествующе тыкал пальцем в плотника. — Так и толкуют: не хотим-де по-господскому строить, нам птицу Сирина дай, виноградьё, еще какую-то холеру на наличник...

— И печи тут напридуманы, — прервал Жилия. — Таковых у нас и не видал никто.

— Голландская печь, дура! — свысока пояснил Тихон.

— А хуш бы и китайская, — прорычал один из острожников, долговязый белобрысый детина. — Ни одна баба к экой не подойдет. Где чело у ней, куда хлебы сажать?

— Для этого предусмотрена особая печь в кухне, — строго заметил Фогель.

— Какая еще куфня? — не сдавался долговязый. — Из веков сбивали в избе одну печь на всякий обиход. Чего ваньку валять, на кой нам две печи, дрова переводить?

Остальные острожники тоже задвигались. Видно было, что и у них есть что сказать относительно проекта. Управитель счел за лучшее не обострять отношения с работниками и примирительно сказал:

— Вот что, я подумаю о ваших претензиях.

И, повернувшись, пошел в сторону следующего дома. «Свита» как по команде потянулась за ним.

— Что за человек? — вполголоса спросил Фогель у Тихона, когда они отошли на достаточное удаление.

— Жилый-то? Цыган он по рождению, да уж давно в тутошних деревнях обжился. Пока в острог не угодил, кузнецом был. А здесь плотничьему делу навыв...

— За что сидит?

— За воровскую монету. Не иначе как в дальнюю каторгу сошлют...

Фогель надолго задумался, потом, как бы спохватившись, спросил:

— И что же, верно он говорит, что кержаки в избы, по нашему проекту строенные, не пойдут?

— Так ведь и то сказать — к заводу-то приселяться сколько не соглашались. А увидят, что не по ихнему нраву строено, так, может, и вдругорядь упрутся. Самый ведь негодящий народ — только и глядит, в чем бы начальству неприятность сделать, — с почтительно-злыми ужимками тараторил Тихон.

— А ведь он соображает кое в чем, — раздумчиво произнес Фогель, словно не слыша приказчика. — Что вам надо: рабочих или пилястры? Хм, не так глупо... Да, распорядись-ка, чтобы острожникам топоры не давали...

— От нужды сие учинили, — с сожалением ответил Тихон. — Некому строить, ваше благородье.

— Но они ведь и убить могут...

— Это как пить дать, — согласился приказчик. — Особенно Жилляй.

Иван ехал на лошади, а его новый знакомец шагал рядом, держась за стремя.

— Где-то здесь ворга должна начаться, — беспокойно оглядывая приречный сосняк, произнес Алпа. — Прямо к горам пойдет.

Через некоторое время он оставил Ивана и вскарабкался на осыпающийся гребень яра. Крикнул:

— Здесь!

Иван слез с лошади и стал взбираться за вогулом, ведя животное на поводу.

— Смотри, — Алпа указывал на заплывший смолой знак на стволе: стрела, перекрещенная двумя другими. — И вон, и вон...

Они сделали несколько неуверенных шагов по тайге, и направление тропы явственно обозначилось цепью катпосов, теряющейся в чащобе.

— Ну вот, — облегченно сказал Иван и, поставив ногу в стремя, взялся за луку седла.

— Подожди, — Алпа положил ему руку на плечо и заглянул в глаза. — Побожись, что не обманешь...

— Исуши меня, господи, до макова зернышка, если... — начал Иван и остановился. Принялся расстегивать ворот рубахи. — Давай вот что: крестами поменяемся. Тогда уже неотменно друг другу пособим: ты мне к Золотой Бабе пробраться, а я тебе зазнобу твою добыть.

Алпа просветлел лицом и тоже вытянул из-за пазухи крест. Стащил заношенный гайтан через голову.

— Если ты так... Если... — и задохнулся от переполнявших его чувств.

— Не бойсь, все любо-мило будет, — бормотал Иван, надевая крест вогула. — Еще заживете в нашей деревне — подмогнем избу сложить, чай, не чужие.

Евдя сидел у входа в свое жилище и выстругивал из чурки топориче. Лицо его было мрачно, он то и дело вздыхал. Прикрикнул на жену, когда она неловко задела его, выбираясь из землянки.

Когда же на дальнем краю травянистой поляны, окружавшей пауль, показался всадник, вогул порывисто

вскочил и, приложив ладонь к глазам, стал вглядываться в гостя. Сокрушенно покачал головой и опустил руку.

К землянке подъехал коренастый мужик в выгоревшей красной рубаше и измятой шляпе-грешневике. В смоляной бороде его поблескивали серебряные нити. Черные глаза смотрели насмешливо и недоверчиво.

— Здоров, хозяин!

— И ты здравствуй, гостенек богоданный! — явно подлаживаясь к раскольничьей манере, ответил Евдя.

И подхватил под локоть бородача, слезавшего с лошади.

— Привет тебе от крестового, — каким-то заговорщическим тоном сказал чернявый.

Вогул с тревогой воззрился на него.

— Был у тебя Ванька?

Евдя, не дрогнув ни одним мускулом, продолжал молча смотреть на гостя.

— Антипа меня послал — сродником ему прихожусь. Сам-то в гошпитали заводской лежит. Велел Ивашку возвратить: все, мол, отменили приписку...

Евдя сокрушенно хлопнул себя по бедрам и покачал головой. Кивнул бородачу в сторону землянки: заходи.

Когда уселись на расстеленной шкуре, вогул сбивчиво заговорил:

— Грех... грех мой... отказал парню... Второй день маюсь, что отпустил. Он, видать, вверх по речке пошел... Разве что из наших кто ему воргу-то показал... Ой, не знаю, живой ли...

— Так, может, догоним? — нетерпеливо спросил чернявый.

Евдя, не говоря ни слова, поднялся, повернул мешок с серебряным блюдом «ликом» к стене. Превозмогая страх, пробормотал:

— Тайгой если идти... По речке-то далеко... Лошадь, однако, здесь придется оставить.

— Я и по-пешему привычный, — странно усмехнулся бородач. — По тайге-то верст тоже намерено...

Фогель сидел рядом с Анной на деревянном диване и задыхающимся голосом говорил:

— Анете, мое счастье в твоих руках. Если ты скажешь «да», я увезу тебя в Саксен, в самый красивый город в целый свет — в Дрезден.

ку, но ее родители не позволили ему жениться. И Фогель поехал в Россию, чтобы...

Управитель замолчал, увлажнившимися глазами глядя куда-то в бесконечность, словно пытаясь различить далекую Саксонию.

На минуту он унесся воображением в холмистую зеленую долину Эльбы. Увидел щегольскую карету, запряженную четверней, себя самого в окошке экипажа, сидящую рядом Анну, одетую в изящное платье, со столь любезным его сердцу белым капором на голове. Вот они подъехали к городским воротам Дрездена, покатали по мощеной улице мимо высоких зданий, украшенных лепниной.

И вдруг он встретился глазами с Нею — с той, чей портрет стоял у него на клавиатуре. Но боже, как она постарела, поседела. Какая невысказанная боль была в ее взгляде, когда она узнала Фогеля, с какой завистью смотрела она на свежее личико Анны. А эта развалина рядом с ней — ее муженек, — да он казался просто насмешкой над человеком в сравнении с цветущим Фогелем...

И люди, шествовавшие по улице, проезжавшие во встречных экипажах, — все они узнавали Фогеля, снимали в знак приветствия шляпы, что-то говорили своим женам, указывая глазами на Анну...

Но голос юной раскольницы вернул его к действительности.

— Нет, не сходно мне с вами уехать, — тихо, но твердо говорила Анна. — Не брошу я суженого да родителей его в заводской неволе... Благодарим за честь великую, а только я слову своему верна...

Но Фогель словно бы не услышал последней фразы. Какая-то мысль осенила его, и он, не в силах совладать с охватившим его возбуждением, встал и несколько раз прошелся по залу. Остановившись у дальнего окна, произнес, не глядя на девушку:

— Анете, если пойдешь за меня замуж, освобожу твоего... Ивана и его родных. Дам им бумагу... А не согласишься — будут до конца своих дней в заводе работать. И за Ивана не выйдешь — обратно в деревню отправлю. Там Мишка тебя давно поджидает...

По мере того как он говорил, смертельная бледность заливала лицо Анны. Наконец, не выдержав, она вскочила и, закрывшись руками, выбежала за дверь.

Узкая тропа по временам терялась в густом подлеске. Алпа то забегал вперед, то, поотстав, шел за лошадей. Иван, сидя в седле, напряженно вглядывался в чащу. Но то, что произошло, было полной неожиданностью для них обоих.

Едва лошадь углубилась в поросль молодых сосен, как раздался короткий возглас Ивана, послышался треск ветвей и глухой удар о землю. Алпа бросился за товарищем и, продравшись через сплетение ветвей, увидел, что на траве бьется лошадь, а придавленный ею Иван пытается освободиться от стремени. Из конвульсивно раздувающегося бока и шеи животного торчали несколько стрел с двойным оперением.

На мгновение вогул оторопело замер, потом бросился на выручку побратиму.

— Еще бы вершок — и в ногу, — потерянно проговорил Иван, выбравшись из-под тяжелого корпуса лошади.

Выдернул из крупа стрелу и уважительно провел по грани окровавленного наконечника пальцем. Алпа только теперь наконец осознал, что произошло, и со страхом озирался по сторонам. Тайга хранила мертвое молчание. Лишь предсмертный храп лошади нарушал тишину. Ивану тоже было не по себе. Взяв в руки ружье, он сделал несколько осторожных шагов по тропе. Потом двинулся в ту сторону, откуда прилетели стрелы.

— Вот тебе и менквы! — услышал вогул. — Алпа, глянь!

Нырнув в заросли, тот увидел целую батарею луков, укрепленных на стволах самых крупных сосен. Иван, стоявший рядом, поманил его пальцем и показал на волосяную лесу, пропущенную между всеми тетивами. Проследив, куда она тянется, молодые люди снова оказались на тропе. Свитая кольцами, леса лежала в траве, опутывала копыта издохшей лошади...

— Нельзя дальше, — поежившись, прошептал Алпа.

Но Иван будто не слышал его. Задумчиво перебирая волосяную путанку, он какое-то время сидел на корточках. Потом сказал, будто обращаясь к кому-то в глубине чащи:

— Ну нет, брат. Ты вороват, да я узловат. — И кивнул Алпе: — Бери топор.

Вогул недоуменно отвязал притороченный к седлу инструмент и, опасливо озираясь, пошел за Иваном в

чащу. Остановившись возле сухой сосны, тот обошел ее и коротко сказал:

— Вали!

Когда ствол рухнул наземь, он лег рядом с ним так, чтобы ноги доставали края комля. Приложил ладонь к бревну на уровне своего затылка и снова распорядился:

— Вот здесь отрубись.

Евдя и его чернявый спутник остановились у глинистого яра.

— Он! — Вогул указал на четкие отпечатки лошадиных копыт, тянущиеся вверх по откосу. — Надо быть, вчера прошел.

И проворно взобрался к опушке бора, от которой начинался тропы. Не оглядываясь, ходко зашагал в ту сторону, куда вели катпосы.

Бородатый едва поспевал за ним. То и дело поправляя на плече ружье, он поглядывал на затянутые смолой меты, настороженно постреливал глазами по сторонам.

Глухой вскрик Евди, только что скрывшегося в молодой сосновой поросли, заставил его вздрогнуть всем телом. В следующее мгновение он бросился в сторону от тропы и затаился за стволом с ружьем наперевес.

Из зарослей показалась спина вогула — тот, не разбирая дороги, пятился назад. Наткнулся на дерево и стал медленно сползать на землю. Бородатый в смятении смотрел, как Евдя пытается выдернуть из груди тонкий прут с красным оперением. И вдруг, пригнувшись, бросился в сторону от тропы. Добежав до мохового болотца, он в изнеможении повалился на мягкую кочку и долго лежал, слушая стук собственного сердца, который, казалось ему, наполнил всю тайгу. Потом сел, затравленно огляделся. Во всех направлениях тянулся дремучий бор. И только за спиной у беглеца расстилась бледно-зеленое поле, утыканное чахлой хвойной растительностью.

Бородача точно подбросило. Лихорадочно шаря глазами по стволам сосен, он пошел прочь от болота, все убыстряя шаг. Но куда ни обращался его взгляд, виделись только могучие деревья, поросшие седым мхом. Он метался по тайге, все сильнее запутываясь в этом молчаливом лабиринте.

Знакомый катпос словно ударил его по глазам. Бородач на мгновение замер, увидев заплывший смолой знак, потом бросился к нему, обхватил руками ствол, словно боясь, что он опять исчезнет. Еще не веря случившемуся, лихорадочно озирался. И чуть не вскрикнул, разом увидев всю линию катпосов, уходящую в глубь урмана.

Некоторое время он переводил взгляд то в одну сторону, то в другую. Наконец, решившись, направился туда, где лес казался посветлее.

Бородач двигался, стараясь не шуметь, поминутно осматривался, сжимая приклад ружья побелевшими пальцами. Мало-помалу — по мере того как тропа втянулась в приветливый березняк, — он успокоился, походка его стала более уверенной.

И вдруг земля разверзлась у него под ногами. Хватая руками воздух, бородач провалился сквозь зеленый ковер, устилавший рощу. Острая боль пронзила его.

Поднявшись на ноги, он осмотрел рану на предплечье. Рукава кафтана и рубахи были разорваны. На торчавшем посреди ямы остром колу застряли обрывки ткани.

Посмотрев вверх, пленник даже застонал от досады — до краев ямы, полуприкрытой ветками и дерном, было два человеческих роста — не меньше. Скрежетнув зубами, он сел на землю и произнес:

— Ввалился, как мышь в короб!

Исступленно раскачивая кудлатой головой, бородач пытался отогнать навязчивое видение. Но память неумолимо возвращала его к одному и тому же дню.

— Ну что, Крикорий, возьмешься? — потирая руки как от сильного озноба и безостановочно расхаживая по тесному пространству каземата, вопрошал Фогель.

Бородач, сидевший в углу на соломе, обхватив мощными жилистыми руками «стул» — деревянный чурбан, прикованный цепью к обручу на шее, буравил управителя своим недоверчиво-насмешливым взглядом.

— Ну, что молчишь, Жиляй?

— Нетерпеливы уж очень, — отозвался бородачий. — Обмозговать надоть... Дело-то какое тонкое: крещеную душу на тот свет отправить...

— Тебе-то что? Вы цыгане — язычники...

Жиляй вместо ответа расстегнул ворот. На волосатой груди четко выделялся шнурок. Потом сказал:

— Это кто с табором ходит — те язычники... А я кузнец, давно среди русских живу...

Фогель досадливо поморщился.

— Ты не о душе, а о теле своем подумай. По «Уложению о наказаниях» за чеканку воровской монеты знаешь что положено?

— Олово в глотку залить, — с мрачной усмешкой ответил цыган.

— Так выбирай же, — в волнении глянув на дверь, сказал немец. — Или получаешь свидетельство купца первой гильдии, домом в Катеринбурге обзаводишься, торг открываешь, или...

— А ежели я тебя, ваше благородье, объегорю да со статуем этим сбегу? — сощурился Жиляй.

— Да куда ты его денешь? — пренебрежительно отмахнулся управитель. — Да и зачем он тебе? Ведь ты все едино в розыске пребываешь... Монету опять бить начнешь? Так ведь снова попадешься — тогда уж не отвертеться.

— Может, не попадусь, — обиженно проговорил цыган.

— Для такого ремесла грамоту надо разуместь как следует и еще много чего знать, — с превосходством заметил Фогель. — Ведь вот как ты в этот раз попался? Стал серебряный алтынник чеканить. А то и невдомек тебе, что покойный император Петр Великий сию монету отставить повелел.

Жиляй пристыженно опустил голову.

— Понял, что добра тебе желаю? — начал управитель.

— Ладно, — бородач хлопнул ладонями по отполированной поверхности «стула». — Уговорил. Только денег набавь. Мне на обзаведенье сто рублей — это как пить дать...

Фогель болезненно сморщился.

— Да не куксись ты, господин управитель, не жалобишь. Я ему Бабу Золотую, а он сто рублей жалует.

— Свобода дороже стоит! — с пафосом заявил немец. Но все же уступил. — Будет тебе сто. Как идола представишь — и деньги, и свидетельство, и отпускную получишь...

Жиляй вздрогнул от шороха веток над головой. Вскинув голову, он увидел на краю ямы широкоплечего вогула, с холодным любопытством смотревшего на пленника. Копье в его руке было нацелено прямо в лицо Григория. Инстинктивно заслонившись ладонями, бородач заполошно крикнул:

— Эй, не замай! Я к шаману иду!

Вогул продолжал бесстрастно изучать Жиляя. А тот все заклинал:

— Дело у меня к нему, слышь, дружба... Ты пику-то убрал бы...

Едва приметным движением вогул метнул в яму свернутую в кольцо веревку. А когда Григорий ухватился за ее конец, бросил:

— Ружье привяжи!

Вытащив фузею наружу, он вскоре снова опустил веревку.

Как только Жиляй перевалился через край ямы, вогул что есть силы ткнул его носком ичига под ребро. И пока пленник приходил в себя, завернул ему руки за спину, сноровисто связал. Потом затянул один конец веревки у него на шею, другой намотал на кулак.

— Шаман хотел? Пойдем шаман...

И двинулся в сторону от тропы.

С трудом поспевая за ним, Григорий прохрипел:

— Куда ведешь?! Правду тебе говорю: к шаману надоть! Слово к нему есть.

Поводырь остановился. Насмешливо прищурился, сказал:

— Ворга дурак плутает. Мы короткий путь ходим...

Иван и Алпа шли рядом, держась за длинный шест, на другом конце которого был укреплен толстый обрубок ствола высотой в рост человека. Через отверстие в нижней части бревна была пропущена ось; на ней были насажены сосновые кругляши с выбитой сердцевиной.

Неровные колеса эти крутились вразнобой, отчего болван все время раскачивался, как пьяный.

Когда вышли на склон каменистой осыпи, пришлось идти гуськом, то и дело сменяя друг друга у «правил». Вдруг метнулась огромная глыба. На болвана обрушилась целая лавина камней. Побратимы едва успели отскочить назад.

С оторопью смотрели они, как в потоке валунов, низвергающемся по отвесному склону, в щепу дробится деревянное «тело» болвана.

— Не выдал, слава те... — утерев испарину со лба, выдохнул Иван.

— Нового ладить надо, — деловито сказал Алпа, оглядывая опушку в поисках сухостоя.

Мать Ивана осторожно гладила Анну по волосам, а та со слезами в голосе сбивчиво говорила:

— В неметчине, сулит, жить будешь... В комнате мужиков да баб каменных наставлю... Показал на картинке — срамота, голые, а кои без рук, без головы..

— Никто тебя не отдаст, кровная, — подрагивающий голос женщины звучал жалко, приниженно.

Но девушка словно не слышала слов утешения. Глядя перед собой остановившимися глазами, она продолжала сетовать:

— Подумать-то страшно об нем: сущий бритоус, сущий табачник! И везде-то табакерки стоят, и пальцы-то зельем сим блудным перепачканы..

— Ох, страхота! — ужаснулась мать Ивана. — Да нешто о душе-то о своей не печется? Ну захотелось тебе дым глотать — воскури ладан росной да и вдыхай... Искусил, искусил враг человеческий табакопитием..

— Вирши читать учал, — все так же отрешенно глядя в пространство, сказала Анна. — И слова-то душевредительные прибирает: люблю тебя, радость сердца, виват драгая...

Некоторое время обе подавленно молчали. Наконец мать Ивана со вздохом спросила:

— Может, отступится?.. Ежели что — пойду в ноги ему, супостату, кинусь...

Крепко прижимая Анну к груди, женщина в то же время полными страха глазами смотрела на дверь, словно ждала, что кто-то ворвется к ним в полутемную кухню, озаряемую лишь отблесками огня в печи.

Анна подняла голову и благодарно взглянула в лицо своей утешительнице. Но ее изможденный вид, седые пряди, выбившиеся из-под платка, худоба плеч сами взывали о сострадании, и девушка внезапно устыдилась своей слабости, порывисто смахнула слезы, освободилась из объятий и отошла к печи. Завороженно глядя на угли, рассыпавшиеся на поду, Анна заговори-

ла по видимости спокойно и как бы раздумывая вслух:

— Проку-то от упорства... Скажу ему «да» — хоть вы на воле вольной поживете. А нет — всем опять же худо...

Мать Ивана в растерянности смотрела на девушку. Заговорила голосом, похожим на стон:

— У-у, анафема! Вот ведь сети-то как расставляет...

Обхватив голову руками, долго раскачивалась на лавке. И тихо, просительно сказала:

— Не надо, Аннушка, не согласимся мы на свободе жить... такой ценой...

— Я Ивашку люблю! — всхлипнула Анна. — Как-во-то мне по земле ходить, коли он цепями звенеть будет?.. — И безутешно зарыдала.

На краю обрыва стояли четверо: Жилий с веревкой на шее, но с развязанными руками, двое вогулов, вооруженных луками и копьями, и шаман — высокий сухошавый старик с аскетическим лицом, одетый в какое-то подобие бабьего платья с бляхами на спине и плечах, с нашитыми многочисленными лентами всех цветов. На груди его висело массивное ожерелье из медвежьих клыков.

— Зря, ой зря фузею оставил, — укоризненно глядя на вогула, доставшего его из ловчей ямы, говорил Жилий. — У Ивашки-то ведь добрая оружья, тоже немцем дадена...

— Почему сразу правда не говорил? — упрекнул тот.

— А ты спросил? Я ж толковал: дело важное.

Шаман с непроницаемым лицом смотрел вдаль, будто вовсе не слыша эту перебранку. Отсюда, с большой высоты, было видно, как по расстилающейся внизу таежной растительности, по ржаво-зеленым плешинам болот и крутым лбам сопок медленно ползут тени облаков. По зеленому коридору листвы и хвои, протянувшемуся между двумя болотами, то и дело прокатывались волны — крепкий ветер, вырываясь из распадак между горами, порывами обрушивался на тайгу.

— Лук, однако, лучше, — бесстрастно сказал второй из вооруженных вогулов и искоса глянул на шамана.

— А может, он давно под какую-нибудь каверзу вашу угодил? — предположил Жилий после недолгого

молчания. — Хитер, хитер парень, а с вашими затеями поди совладай... Ладила баба в Тихвин, а попала в Ладугу...

— Много говоришь, — не поворачиваясь к Григорию, произнес шаман.

Тот пристыженно кашлянул и тоже стал смотреть вдаль.

— Эйе! — удивленно воскликнул вогул-смотритель западни. — Трое идут!

— Где? Не вижу ничего, — забеспокоился Жилий.

— Трое, — подтвердил другой вогул и снова воззрился на шамана.

Наконец и Григорий увидел три точки, движущиеся одна за другой по болотистому редколесью. Они приближались к концу зеленого коридора, сжатого двумя болотами.

— Э, да тут луками-то, чай, не обойдешься. А ну как у них у всех ружья?

Шаман тоже обеспокоился. С лица его словно бы слетела маска возвышенного презрения по всему мирскому. Он сложил руки на груди, нахмурился. Чекая слова, заговорил:

— К Золотой Баба идут... Правду сказал... Правда, что убить хотел... Как теперь делать будешь?

— Ума не приложу, — униженно глядя на него, ответил Жилий. — Где же двоим с тремя справиться? Они, вишь, какие — не клади палец в рот, все ваши хитрости обошли...

— Тебя убить посылал... Ты думай, как... — жестко произнес шаман.

Некоторое время Жилий растерянно глядел вниз, на волнующуюся под ветром полосу леса. Потом резко повернулся. В глазах его полыхнула радость.

— Пал надо пустить. Ветер-то от нас несет. Как раз этот колок между болотами и выжжет.

— Умный башка! — Шаман с уважительным удивлением воззрился на Григория.

Подошел к нему и полоснул ножом по веревочному ошейнику. Жилий освобожденно потер ладонью горло. С новым вдохновением заговорил:

— Им версты три идти. Поближе будут, тогда и поджигать... Никуда не денутся голуби — слева, справа болота, а от огня не убежишь, он по такому ветру — ого-го-го как поскачет...

Иван и Алпа шли по тропе, катя впереди нового бол-

вана. Этот выглядел попримячнее, не переваливался, как его предшественник, почивший во время камнепада.

— Видать, немного осталось, — заговорил вогул. — Отец сказывал: у самого начала гор Витконайкерас...

— А что значит это? — заинтересовался Иван.

— Скала водяной царевны...

— Кто такая?

— А та, что в озерах да в реках живет.

— Вроде как русалка по-нашему...

Впереди послышался треск. Он быстро приближался. Побратимы насторожились. Иван вскинул ружье, взвел курок и подсыпал пороху на полку.

Ломая сучья, подминая мелкие деревца, навстречу путникам огромными прыжками летел матерый лось. Увидев их, он даже не отклонился в сторону, только еще сильнее закинул голову, отягощенную гигантскими рогами, и, роняя пену с губ, промчался в нескольких саженьях.

Мгновение Иван и Алпа стояли оцепенев. Когда до слуха их донесся дальний гул, они вопросительно уставились друг на друга. Но, увидев, как совсем неподалеку прошмыгнули несколько зайцев и лис, побратимы разом воскликнули:

— Пожар?!

— Удирать надо, — сказал вогул.

Иван с сожалением взглянул на болвана, потом медленно спустил курок. Втянул носом воздух и упавшим голосом подтвердил:

— Горит.

И быстрым шагом отправился назад по тропе. А через минуту они уже со всех ног бежали, не разбирая дороги. За спиной у них все нарастало грозное гудение. Языки дыма протянулись между стволами.

— Давай в сторону! Может, на болотце отсидимся, — на бегу крикнул Иван.

Алпа кивнул и стал забирать влево.

Когда они выскочили к краю трясины, дым уже клубился тяжелыми волнами. А невидимое пламя ревело и завывало на все лады.

— Топь! — обреченно сказал вогул.

И бросил в болото увесистую гнилушку. Она беззвучно погрузилась в бурю жижу. Они снова пустились бежать, то и дело оглядываясь назад. Из дымного марева один за другим вылетали огненные шары — скрученные еловые лапы, объятые пламенем.

Внезапно Иван споткнулся и с размаху полетел на землю. Руки его ушли в жидкую грязь. Алпа остановился, чтобы помочь ему встать, и вдруг заметил узкую полосу воды, сочащуюся под нависшим мхом. Показал на нее побратиму. Тот все понял без слов. Поднявшись с земли и подхватив ружье, он быстро пошел вдоль ручья.

Бочаг нашли, когда дым уже окрасился в зловещие багровые тона, когда сквозь сплошную его завесу начали там и сям пробиваться огромные языки пламени, а сверху сыпались тлеющие уголья. В этом охваченном грозной стихией пространстве небольшая ямка, наполненная ключевой водой, на поверхности которой лениво кружили хвоинки, казалась неправдоподобно спокойной. Белый песочек, устилавший дно бочага, словно бы свидетельствовал о чистоте и прохладе хрустальной влаги.

Беглецы помедлили несколько секунд, будто не решаясь совершить кощунство. Но столб огня, взметнувшийся совсем рядом — занялась кряжистая ель, — заставил их прыгнуть в бочаг. Воды было только по грудь Ивану, и, чтобы скрыться с головой, им пришлось сесть. Места в тесной ямке едва хватило для двоих.

Скоро пожар бушевал прямо над ними. Иван и Алпа успевали на мгновение высунуть голову из воды, чтобы схватить воздуху, и снова погружались по самую макушку.

Они не видели, как, подпрыгнув, выстрелило ружье, лежавшее на мху рядом с бочагом, как взялась огнем его ложа, как пламя налетело на брошенный здесь же берестяной пестерь Алпы. Не видели побратимы, как рушились вековые деревья, как из треснувших стволов лесных великанов фонтанами била горящая смола.

Но огненное действие длилось недолго. Пожар ушел дальше, оставив у себя в тылу обугленные колонны, черную землю, россыпи углей и завалы тлеющих валежин, от которых поднимались густые струи дыма.

Когда Иван и Алпа выбрались из воды, первым, что они увидели, были останки ружья и груды пепла на месте пестеря. Вогул ткнул ичигом эту жалкую кучку, она беззвучно распалась, обнажив кусок металла. Алпа наклонился, поднял топор без топорища. Встретился глазами с Иваном. Тот только вздохнул виновато. Потом отвязал от кушака ставшую ненужной пороховницу и бросил в бочаг.

Пауль, расположенный на берегу порожистой реки, был невелик. По травянистой террасе без всякого порядка разбрелись с десятков полужемлянок и чумов, а в стороне, вдоль опушки бора, выстроились амбары на «курьих ножках» — высоко опиленных пнях. Посреди поселка возвышался огромный кедр с истрескавшимся от старости стволом; ветви его, увешанные шкурами и цветными лоскутьями, лениво трепетали на слабом ветру, среди раскачивающихся хвойных лап по временам открывались черепа оленей с раскидистыми рогами. На большом кострище, черневшем поблизости от кедра, были уложены свеженаколотые дрова.

Несколько вогулов непрерывно сновали между юртами и землянками: один устраивал треногу из бревен, к которой затем подвесил большой медный котел, другой подносил из тайги широкие свитки бересты, третий сооружал из тесин невысокий помост подле кедра. Коренастый чернявый мужик в красной рубахе бросался подсоблять всем по очереди. И только двое вели себя степенно — тот, кто стоял у двери обширной полужемлянки с берестяной крышей, украшенной оленьими рогами, и тот, что расхаживал вдоль опушки тайги, окружавшей пауль. Оба они были до зубов вооружены — на поясе колчан и нож, за плечом лук, в руке короткое копьё. Изредка из покрытого оленьими шкурами чума появлялся шаман. Отдавал короткие указания и вновь скрывался за меховой полостью.

Иван и Алпа, наблюдавшие за поселком из зарослей малины на склоне холма, переговаривались вполголоса, то и дело опасливо озирались по сторонам.

— Праздник, говоришь? — задумчиво сказал Иван. — А чего им праздновать — что нас зажарили?

— Похоже, медвежья пляска будет. Вон порылиты-хор как убрали — и дров наготовили, и котел принесли...

— Порыли... чего?

— Священное место, значит, — с некоторой обидой пояснил Алпа. — Здесь собираются...

Вогул не договорил. Тело его напряглось, словно перед прыжком, в глазах появилось какое-то странное выражение — боль и радость вместе. Проследив за взглядом Алпы, Иван увидел, как из небольшой избушки на краю пауля вышла невысокая девушка в широком

ярко-синем платье, расшитом красными узорами. Волосы ее были заплетены в две толстых косы, унизанных бляхами, кольцами, убранных разноцветными лентами.

Некоторое время побратимы молча наблюдали за обитательницей пауля. Она неутомимо носилась по всему стойбищу — то от юрты к камельку, где на воткнутых в землю прутьях пеклись лепешки, то взлетала по ступенькам, вырубленным в бревне, к устроенному высоко над землей лабазу, то спешила с берестяными ведрами к реке. А едва выдавалась свободная минута, она присаживалась на пороге избушки и быстрыми стежками шивала оленьи шкуры.

— Хорошая хозяйка будет, — наконец заметил Иван.

Вогул покраснел, словно похвала относилась к нему.

Когда девушка в очередной раз направилась к амбару, ближе всех стоявшему к месту, где прятались побратимы, Алпа неожиданно издал трескучий горловой звук. Помолчал несколько секунд и снова застрекотал.

Девушка замерла на лестнице, прислоненной к амбару, потом с какими-то неловкими, суетливыми движениями стала доставать припасы. Со всех ног бросилась к камельку, сложила возле него добро, взятое из амбара. Потом ненадолго скрылась в маленькой избушке на краю пауля. Выйдя оттуда в шали и с туеском в руке, она что-то сказала вооруженному вогулу, мерявшему шагами опушку, и скрылась в лесу.

Когда среди стволов бора, подходившего к малиннику, замелькало синее платье, Алпа опять негромко прокричал кедровкой. Сказал, не глядя на Ивана:

— Подожди. Я быстро.

И, пригнувшись, нырнул под полог ветвей, пестревших крупными ягодами.

Они появились совершенно бесшумно. Иван даже вздрогнул, когда перед ним возникло девичье лицо, обрамленное цветастой шалью. Алпа, шедший следом, с затаенной гордостью сказал:

— Вот, это Пилай...

— А меня Ивашкой зовут, — молодой человек во все глаза смотрел на возлюбленную побратима, а та, напротив, отводила взгляд. — Да ты не робей...

— Она и не боится, — ответил за нее Алпа. — Просто нрав такой.

Как бы подтверждая его слова, Пилай быстро заговорила, избегая, однако, смотреть на Ивана.

— Нельзя вам здесь... Если ветер изменится, на пауль понесет — сразу собаки учуют...

Иван беспомощно развел руками.

— Нам деваться некуда. Мы ведь не за здорово живешь пришли...

— Да я уж сказывал ей, — вмешался Алпа. — А она свое...

— Завтра много гостей будет: шаманы с Пелыма, с Сосьвы... По тайге ходить станут, набредут...

— А что за сборище такое?

— Медведя убили.

Иван и Алпа надолго задумались. Пилай решила прервать молчание.

— Надо вам, однако, в мань-кол схорониться...

— Замолчи! — чуть не закричал Алпа.

На лице его был написан неподдельный ужас.

Иван недоуменно возрился на товарища, потом спросил:

— Чего благуешь?

— Грех... грех... Нуми-Торум накажет... — побелевшими губами шептал Алпа.

— Вон видишь, на краю пауля самая маленькая избушка, — сказала Пилай, впервые прямо взглянув на Ивана. — Это и есть мань-кол — бабий дом...

— Нельзя мужикам в мань-кол! — прервал ее Алпа. — Даже шаман туда войти не смеет. Грех великий. Убьет Нуми-Торум.

— А это еще кто? — с подчеркнутым спокойствием узнал Иван.

— О-очень большой бог, — почтительно закатив глаза, отвечал вогул. — Са-амый большой...

— А как же тот... за народом смотрящий мужик?

— И тот большой, и этот большой. Нуми-Торум, однако, главное...

— Морока с вами. У нас просто: один всех выше...

Иван сидел на чурбачке возле чувала, смотрел, как огонь лижет закопченные бока котелка. И, не оборачиваясь к побратиму, ничком лежавшему на нарах, вполголоса говорил:

— Да уймись ты, ничего тебе не будет... Хоть то в соображение возьми, что двум смертям не бывать, а од-

ной не миновать. Ну, остались бы мы в кустах сидеть — только и выждали б, что кто-нибудь на нас наскочил...

Поднялась шкура, закрывавшая вход, и в избушку, согнувшись под низким косяком, вошла Пилай.

— Выспались? — В глазах ее притаилась тревога.

— Я-то слава богу. А он, — Иван кивнул в сторону побратима, — он жалится: всю ночь продрожал-де. Вот сижу увещаваю...

— Я и сама-то... — призналась Пилай. — Днем-то не так страшно.

После короткой паузы сказала — уже другим, повеселевшим голосом:

— А гости уже подходят — пельмских шестеро на той стороне речки показалось. Сейчас поедут за ними.

— У вас что, лодка есть? — заинтересовался Иван.

— Не одна еще.

— А говорили, что к вам по воде не подняться.

— Наши вниз и не плавают — здесь поблизости. Да на озера ходят — лодки-то берестяные, на плече унести можно...

Весь день Иван и Алпа сменяли друг друга возле крохотного окошка, прорубленного над входом, и следили за тем, что делается в пауле.

— На миг не отходит, — наконец сокрушенно произнес Иван. — Поди подберись тут к статуе... От кого он только бережет-то его. К вам ведь только свои добираются.

Алпа с усмешкой посмотрел на вооруженного вогула, сидевшего у входа в «рогатую» полуземлянку, и сказал:

— От своих и берегут. Сколько драк между шаманами из-за Золотой Бабы было. Украсть несколько раз пытались — кто ею владеет, тому вся тайга дары несет... Вот Воюпта и бережет ее пуще глаза.

Вдруг откуда-то с реки послышался частый вороний грай. И почти сразу же отозвались невидимые из манькола птицы в самом пауле. Со всех сторон неслось карканье. Когда Иван с недоумением прильнул к оконцу, чтобы понять, чем вызван вороний переполох, Алпа бесстрастно сказал:

— Не птицы кричат, люди кричат.

Побратим повернулся к нему с вопросительной миной на лице.

— Значит, увидели лодку — медведя убитого везут...

Иван не стал задавать вопросов и весь обратился в зрение и слух.

На травянистой поляне тем временем появились люди — их было несколько десятков. Одни в шаманских одеяниях, обшитых лентами, галунами и бляхами, с татуировкой на лице, другие — в обычных охотничьих доспехах из звериных шкур. Все они двигались к берегу реки, размахивая руками и каркая на разные лады.

Вот на узкой полоске воды, видной из окошка, появилась берестянка с тремя гребцами. Едва лодка ткнулась в берег, как к ней кинулись все многочисленные обитатели пауля. Поднялся целый фонтан брызг — люди что есть силы колотили по воде, обдавая друг друга, весело крича по-вороньи. Потом несколько десятков рук подхватили тушу медведя, бурой массой возвышавшуюся на дне берестянки, и потащили добычу к священному кедру, украшенному шкурами и цветными лоскутьями.

Иван и Алпа увидели, как старый шаман что-то бранчливо сказал Пилай, как она, вспыхнув, бросилась к мань-колу.

Войдя, она с обидой произнесла:

— Прогнал — грех, мол, тебе на медвежьем празднике вертеться...

— Что ж у них тут такое важное будет? — с усмешкой спросил Иван.

— У зверя убитого прощенья просить будут. Обманывать его станут — тебя не мы убили, тебя олени, или менквы, или птицы заклевали... — очень серьезно ответила Пилай.

Иван недоверчиво слушал.

— Правду говорит, — подтвердил Алпа. — Личины понадевают. Сам-то Воюпта, видно, журавлем оденется — так уж положено... Голову да шею журавлиную из деревяшки приладит...

Караульный, приставленный к «рогатой» землянке с берестяной крышей, с завистью глядел в сторону кедра, где все уже было готово к празднеству. Перед головой медведя, уложенной поверх свернутой его шкуры на помосте, пылал большой костер, выхватывая из тьмы нижние ветви священного дерева и часть поляны. От котла, черневшего среди пламени, стлался пар. Шаманы, собравшиеся на праздник, сидели на земле полукольцом,

почтительно глядя на морду убитого зверя. Позади них расположились сопровождавшие их служки в охотничьей одежде.

Страж Золотой Бабы ощутил болезненный тычок в спину. Суетливо повернулся. Перед ним стоял Воюпта, только что вышедший из землянки.

— Зеваешь? — прошипел шаман и, отстранив караульщика, направился к костру, позванивая монистом.

Увидев его, сидевшие у костра замерли, сложив руки на коленях. А Воюпта, глядя поверх голов, прошептал к помосту, взял лежавший рядом со шкурой бубен и стал нагревать его над огнем. Потом отошел от костра и на минуту замер, словно давая гостям возможность насладиться созерцанием его костюма. Тут и впрямь было на что посмотреть. На голове у колдуна топорщилась шапка из меха росомахи, обшитая бубенцами. Балахон из оленьей кожи украшали десятки, а может быть и сотни, блях, монет, лент, деревянных фигурок; гирлянды медвежьих и волчьих зубов опутывали шею.

Сухо и величаво поклонившись зрителям, Воюпта поднял над головой бубен, обтянутый кожей, и задергал им со всевозрастающей скоростью. Колокольцы на обруче бубна залились тонко и тревожно. Резким движением шаман выхватил из-за пазухи лапку гагары и что есть мочи стал бить в бубен. И вдруг присел, закрыв лицо руками. Но через несколько мгновений ладонь его снова колотила по инструменту, вызывая глухие угрожающие звуки.

А потом кудесник начал крутиться на одной ноге, визжа и причитая, заклиная и будто бы жалуясь кому-то. Словно вихрь, носился он по поляне, то подпрыгивал, вздымая полы своего балахона, то начинал кататься по траве, как в припадке.

Когда камлание закончилось, Воюпта дал знак одному из постоянных обитателей пауля, сидевшему во втором ряду зрителей. Тот резво поднялся и кинулся в одну из юрт. Спустя полминуты появился оттуда вместе с Жилеям.

Пленник остановился возле костра, опасливо озираясь по сторонам. И замер, услышав голос шамана, звучавший с грозно-пророческими интонациями:

— Руш! Ты помогал. Тебе верю. Хочу совсем вера иметь. Клятва даешь?

— Да иешто я... — с подчеркнута преданным видом начал Жилияй.

— Я говорю! — Воюпта зыркнул на него глазами, в которых отражались языки пламени. — Клятва даешь?

— Даю, даю, — поспешно согласился цыган.

Последовал новый знак шамана одному из его служек, и на траву перед Жилиаем упали две половинки собачьего трупа.

— Пройди между разрубленный собак!

Цыган, боязливо семеня ногами, прошел, как ему было указано.

— Садись! Праздник смотри! Верю тебе!

И шаман отошел в сторону.

Из темноты немедленно вынырнули двое вогулов, ведя на кожаном аркане белого оленя. Когда тот замер возле костра, едва приметно поводя своими синеватыми глазами, из полукруга зрителей поднялся один — молодой шаман — и с криком вонзил нож оленю под лопатку. Жертвенное животное рванулось вперед, но двое его поводырей крепко держались за концы тынзяна. Повалившись на бок, олень забился, закусив язык.

Прошло всего несколько мгновений, а сердце оленя, его почки, мозг, печень уже дымилась в расписных деревянных чашах, и один из шаманов поливал их кровью. Воюпта взял в руку трепещущий глаз и сунул ладонь к лицу Жилияя. Тот в ужасе отшатнулся, но старый шаман умело впихнул ему в рот студенистую массу. И пока цыган, перемазанный кровью, содрогааясь от отвращения, пытался проглотить глаз, Воюпта с ласковыми интонациями повторял:

— Е-ешь, руш! Е-ешь, гость дорогой!..

Когда гости немного подкрепились оленьим мясом, Воюпта поднялся и сказал:

— Пляска, однако, начинать надо.

И пошел к рогатой полуземлянке. Шаманы и их служки последовали примеру хозяина и разбрелись по чумам и землянкам.

Через некоторое время стали появляться вновь. Но теперь было невозможно узнать, кто есть кто, — каждый был одет в какой-нибудь необычайный костюм и с маской на лице. Одни в вывороченных мехом наверх малицах и берестяных колпаках, с длинными деревянными носами, другие в лохматых париках из размочаленного луба, скрывавших все лицо, третьи в звериных шкурах,

с рогами на голове, четвертые в женских одеяниях и шаялах. У многих в руках были различные инструменты — у кого сангультап, похожий на гусли, у кого супдумран — свирель, у кого — кат-думран — нечто вроде скрипки. У других — палицы, копыя.

Наконец из полуземлянки появился «журавль» — из прорези вывернутой мехом наружу малицы торчал березовый шест с птичьей головой, заканчивавшейся длинным клювом.

Один Жилий остался в чем был — в красной рубахе и помятом грешневике. Какой-то сердобольный «менкв» в берестяном колпаке сунул ему грубую личину из такой же бересты. Цыган со вздохом надел ее, нахлобучил шляпу. К нему подскочило какое-то существо с огромным горбом и петушиным гребнем, поднесло чашку с мутной жидкостью. Жилий отрицательно покачал головой. Тогда существо отхлебнуло из чашки и причмокнуло:

— Пить нада! Хорошо будет. Башка веселый будет.

Жилий с сомнением взял в руки деревянный сосуд, хлебнул. Сморщился. Запустил пальцы в чашку. Поднес к огню бесформенный ослизлый кусок.

— Гриб! — подбадривало существо. — Хорошо!

— Так то ж мухомор! — крикнул Жилий и плюнул в траву.

— Все пьют! Все башка веселый!

Цыган оглянулся. Возле костра действительно толпились «менквы», «олени», «глухари», «утки» и иные ни на что не похожие твари и, приплясывая на месте, пили из таких же деревянных чаш.

Тогда Жилий залпом опрокинул в себя мухоморную жижу и с отчаянной бесшабашностью бросил оземь свою многострадальную шляпу...

Караульщик потерянно топтался у входа в капище, не сводя глаз с освещенной костром поляны, где вовсю шло веселье. Гудение струн, сипение свирелей, крики людей и треск углей, скачущие фигуры в причудливых одеяниях, отбрасывающие гигантские тени, — это зловещее действо тревожило сердце одинокого стража, и он то и дело воинственно потряхивал копьём, словно сам собирался пуститься в пляс.

Среди сонма топчущихся и скачущих возле священного кедра уже невозможно было разобрать отдельные

фигуры. Только красная рубаха Жилия мелькала то там, то здесь. Маска сбилась, из-под нее торчала спутанная борода. Цыган откалывал вприсядку, по временам зычно выкрикивая: «Эх, жизнь копейка! Голова — наживное дело!» И снова пропадал в гуще беснующихся...

Когда с краю толпы отделились двое — «журавль» с отчетливо выделяющейся в свете костра деревянной «шеей» и невысокий «менкв», караульщик почтительно отступил в сторону от входа и пропустил обоих участников пляски в капище. Присел на корточки, опершись на копьё.

Веселье мало-помалу начинало угасать. В костер давно уже не подбрасывали хворост, и он стал оседать, сгоревшие дрова и ветви рассыпались, угли тлели в траве.

Страж поднял голову — над краем леса едва заметно посветлело, поблекли звезды. Крики и гудение струн слились в монотонный гул, постепенно сходящий на нет. Одна за другой от костра, пошатываясь, брели фигуры в масках, шкурах и колпаках, скрывались в чумах и землянках.

И вдруг караульщика словно подбросило. К нему направлялся «журавль», голова его свесилась набок, клюв уныло колебался, словно подбирая просыпанное зерно.

Страж вскинул копьё, загородил вход. Из прорези малицы высунулась седая голова Воюпты. Он с усталой злостью бросил:

— Уйди!

Караульщик отскочил в сторону, с задумчиво-недоуменным выражением уставился на шкуру, закрывавшую дверной проем. И тут же его снова точно в грудь толкнуло — из землянки послышался душераздирающий вопль.

Сбежавшиеся к капищу увидели, как старый шаман, позабыв про усталость, что есть силы колотит журавлиной шеей незадачливого стража, а тот, катаясь у его ног, норовит закрыть голову от ударов клюва.

Когда несколько гостей, одетых кто менквом, кто оленем, кто женщиной, проникли вслед за Воюптой в землянку, они увидели, что у противоположной стены ее навалены связки мехов, мерцают расставленные полукругом лампы.

Старый шаман, не в силах произнести ни слова,

только стонал и, иступленно раскачиваясь, показывал на квадратную дыру, вырезанную в углу берестяной крыши.

В высокой траве, росшей вдоль опушки, темнели три бесформенные груды. Но едва по краю леса размеренно прошагала фигура с копьём, две из куч зашевелились, приподнялись над поляной.

Клубок меха прошептал:

— Вроде пронесло. Наляжем, Иван, недалеко до реки.

И распрямылся во весь рост. В руке у него была журавлиная «шея» с клювом.

Иван тоже встал и, сдернув с головы колпак менк-ва, сказал:

— Чего мы с собой все это ташим?

— Да впопыхах-то... — С этими словами Алпа отшвырнул «шею» и взялся за край свернутой шкуры, лежавшей рядом с беглецами на траве.

Иван тоже отбросил колпак и взялся за другой конец шкуры.

На берегу реки стояло несколько берестянок. Когда подтащили к ним шкуру, за которой оставался на песке глубокий след, над крайней лодкой поднялось лицо Пилай. Легко выскочив из своего укрытия, девушка столкнула берестянку на воду и бросилась помогать побратимам.

— Ты лучше лодку держи, — сказал Иван и откинул край шкуры.

В предрассветной мгле сокровенно блеснуло тело идола — это была небольшая — в половину человеческого роста — фигура обнаженной женщины с поднятыми руками.

С огромным напряжением подняв Золотую Бабу, Иван и Алпа кое-как дотащили ее до берестянки.

Ряженные, размахивая факелами, как-то развинченно мотаясь во все стороны, мчались вдоль темной полосы, тянувшейся по серой от росы траве.

Жиляй выбежал на берег одним из первых. Крикнул:

— А здесь-то борозду какую пропахали!

Подошедший Воюпта несколько мгновений не мог

заговорить, с трудом переводя дыхание. Все с почтительным страхом смотрели ему в лицо, ожидая приказаний.

— Беда! — наконец прохрипел шаман. — Сушь стоял. Вода совсем мало! Как бы закол не обсох, как бы не убежали...

И быстро оглядев столпившихся вокруг него «менквов», «оленей», «уток», стал распоряжаться. Одному из своих служек велел:

— Десять людей возьми. Бегите Витконайкерас. Качающийся Камень столкните.

Другому показал на лодку:

— Пять людей плывите! Может, перед заколом догоните...

Остальным крикнул:

— Лодки берите! Перешеек побегим! Руц! Со мной будешь.

Жилйяй, с очумелым видом слушавший Воюпту, почкорно кивнул и бросился помогать тем, кто взваливал берестянки на плечи.

Лодку несло в «трубе» — река, сжатая отвесными скалами, пенилась и с шумом билась о гранит. Иван и Алпа вовсю работали веслами, а Пилай, сидя на носу, вглядывалась в курящуюся туманом поверхность воды по курсу лодки.

— Ну чего как пришибленные? — прервал молчание Иван. — Все ведь любо-мило вышло.

— Боюсь. Ее боюсь, — повернулась к нему Пилай и украдкой указала на золотую статую.

— А ты пообещай ей подарить чего-нибудь, — с улыбкой посоветовал Иван. — Может, она нам и пособит от Воюпты удрать.

Вскоре Пилай вскрикнула:

— Загорожено! Река загорожена!

Иван даже привстал, чтобы лучше видеть, что делается впереди. Действительно, от одного скалистого берега к другому протянулся высокий забор из бревен.

— Ого! Сажени три будет... — растерянно проговорил Иван. — Во-он почему тебе, Алпа, старики-то толковали, что вверх по реке не даст пройти этот ваш... за народом надзирающий...

— Мирсуснехум, — испуганно подсказала Пилай.

— Во-во. Только, на мои глаза, не его это рук дело.

Закол стремительно приближался. Иван стал поворачивать лодку, чтобы ее навалило на преграду боком. Когда борт ткнулся в обросший илом частокол, он стал перебирать по нему руками, ведя берестянку вдоль бревенчатой стены.

Между тем почти совсем рассвело, и река была видна на всем своем протяжении до первого поворота. Отсюда казалось, что лавина воды катится с холма.

— Назад не выгрести, — обреченно сказал Алпа, проследив за взглядом товарища.

— Сам вижу, — пробормотал Иван. — Думать надо, как вниз пройти... В заколе дырки должны быть — иначе его водой снесло бы... Помогайте!

И с новой силой стал перебирать руками по звеньям городьбы. Но теперь он старался вести лодку на некотором удалении от закола, внимательно вглядываясь в поток за бортом.

— Есть! — Иван кивнул вниз.

В прозрачной воде было хорошо видно, что несколько бревен обрывались недалеко от поверхности.

— Ну, что делать будем? — Иван переводил взгляд с Алпы на Пилай. — Статуя нам не перетаскать через закол. Здесь бросать придется, а самим подныривать.

На лице вогула появилась протестующее выражение, он хотел что-то сказать, но побратим не дал ему заговорить.

— Делать-то нечего. Те, зная, нашу хитрость открыли уже... Тут не до жиру, быть бы живу. Черт с ним, с идолом!..

— Не можем мы, — наконец прервал его Алпа. — Не умеют вогулы плавать.

— Ат незадача! — Иван пристукнул кулаком по колону. — А ну давайте еще вдоль загородки проплывем, авось где шелка найдется...

И снова они лихорадочно принялись пересчитывать руками бревна закола. Уткнулись в нависший над водой край скалы.

— Назад пошли! — быстро сказал Иван и глянул в сторону речного поворота.

В глазах его была тревога.

Снова погнали лодку вдоль закола. Руки всех троих мелькали с еле уловимой быстротой. Когда прошли середину реки, Пилай крикнула:

— Стой!

Иван и Алпа вытянули шеи в направлении, указан-

ном девушкой. Перед самым носом берестянки слышался мерный плеск. Казалось, разбухшие торцы четырех бревен размеренно бьют о поверхность потока, поднимая мгновенные буруны.

Подогнав лодку к этому месту, Иван сунул ладонь между водой и концами лесин. С мрачной усмешкой сказал:

— Вершок будет... А у нас борт — во где.

Задумался на несколько мгновений, потом взглянул на потерянные лица вогулов, с тоской всматривавшихся в скалистую расселину, из раствора которой скатывался свинцово отблескивавший вал воды.

— Чего глядеть-то! За весла беритесь.

Алпа и Пилай молча повиновались. Иван энергичными взмахами весла гнал лодку к берегу, противоположному тому, где они только что были. Суденышко с трудом преодолевало мощное течение.

— Крепче, крепче налегайте! — подгонял Иван, а сам то и дело поглядывал в сторону речной излучки.

Он правил к ржаво-бурой осыпи, громоздившейся над скалой. И когда берестянка достигла ее, прыгнул на камни. Кое-как удерживаясь на груде валунов, по временам оступаясь в воду, он принялся нагружать берестянку камнями.

— Разбрасывайте по дну! Притопим лодку, авось проползем...

Алпа и Пилай послушно принялись раскладывать груз. И борта стали постепенно уходить в воду.

Вдруг девушка выронила камень и испуганно охнула. Иван вскинулся и сразу увидел то, что ужаснуло Пилай. Из-за поворота вылетела лодка с несколькими гребцами. Лопастя весел мелькали с угрожающей быстротой.

Почти одновременно и преследователи увидели беглецов. Яростный гомон голосов заметался в гранитном ущелье «трубы». Над лодкой взметнулись несколько рук с копьями.

Алпа закрыл лицо ладонями и ничком сунулся на дно лодки, словно надеясь таким образом укрыться от ревушего воинства. Пилай шарила глазами вокруг себя, будто ища убежища.

— А ну шевелись! — с неожиданной злостью рявкнул Иван и швырнул в свою лодку сразу два камня.

Плечи Алпы вздрогнули, как от удара. Он поднял на Ивана помутившиеся от страха глаза. Встретившись с

его горящим взглядом, как-то разом встряхнулся, принялся быстрее прежнего раскладывать груз по дну. Пилай тоже ожила, глядя на побратимов.

Преследователи были в полуверсте, когда Иван, присев на осыпи и прищурившись, прикинул осадку лодки. Жестко сказал:

— Будет!

Осторожно сел на корму, взял весло.

— А теперь ложитесь!

Пилай и Алпа распластались на камнях, а Иван несколькими мощными взмахами отогнал берестянку от осыпи и направил ее к просвету в заколе. Борты едва не черпали воду, когда он перебрасывал весло с руки на руку и делал гребок. До преграды оставалась уже какая-то сажень, и он рухнул грудью на дно лодки. Понесся скрежет, треск, и Ивана обдало водой.

Он осторожно выпрямился. Перед ним плескалась широкая лента воды, круто уходящая за скалистый берег. Повернувшись назад, он увидел быстро удаляющийся закол. И тогда крикнул:

— Ушли!

И тотчас же каньон взорвался воплями преследователей. Спутники Ивана с опаской переглянулись и неожиданно для себя рассмеялись. А он, достав нож, принялся срезать с бортов и кормы лохмотья бересты, задравшейся от удара о торцы бревен.

Когда берестянка проскочила поворот, Пилай сказала:

— Вон та скала с голой вершиной и есть Витконайкерас.

Иван, продолжая работать ножом, скользнул взглядом по изрезанному трещинами утесу. И вдруг озабоченно сощурился:

— Солнце в глаза бьет, не пойму... Ровно как шевелится кто-то.

Алпа тоже поднял голову, всмотрелся. Лицо его посерело.

— Из пауля люди!

Теперь и Иван разглядел, что на вершине копошатся несколько фигур в нелепых одеяниях. Облепив огромный валун, они раскачивались вместе с ним из стороны в сторону. Мгновенно поняв, что происходит, все трое налегли на весла.

Берестянка на большой скорости влетела на шумливый перекал под скалою. И одновременно с вершины

сорвалась глыба. Со страшным грохотом прыгая по уступам утеса, она неслась, казалось, прямо на лодку. И все же беглецы, отчаянно колотя веслами по воде, опередили ее. Подняв огромный фонтан брызг, обрушенный преследователями камень пронесся в нескольких саженях от кормы лодки.

Но едва Иван и его спутники успели отдышаться после бешеной гонки, как их ожидала новая неожиданность. Когда, пройдя крутую луку, они выплыли на длинный плес, вольно разбежавшийся между пологими лесистыми берегами, из сосняка, который они только что миновали, высыпало больше дюжины участников ночного действия. Спустив на воду три берестянки, «менквы», «утки», «волки» и прочие существа, предводительствуемые «журавлем», бросились в погоню. Воинственные крики опять заметались над водой.

Расстояние между преследователями и преследуемыми быстро сокращалось. Пока преодолевали плес, все три лодки, вмещавшие ряженных, шли рядом, но потом они растянулись одна за другой. В первой, где среди косматых шкур и берестяных панцирей мелькала красная рубаха Жиляя, сидел и Воюпта. Потрясая копьем, он то и дело хрипло вскрикивал, подбадривая гребцов.

Прошли порог. Мощная струя главного слива с огромной скоростью несла берестяную посудину в облаке водяной пыли, и беглецам лишь в последний момент удавалось заметить и обойти многочисленные камни в русле. Когда молодых людей вынесло на чистую воду, они обернулись назад. Лодка старого шамана, вырвавшаяся вперед, тоже успешно преодолела препятствия.

Проскочила и вторая берестянка, а третьей не повезло. Налетев на камень, она навалилась на него бортом и мгновенно сложилась пополам. В волнах запрыгали, как мячи, головы преследователей.

Когда подошли ко второму порогу, расстояние между лодками сократилось настолько, что Воюпта уже не скрывал своей радости. Он то и дело привставал, издавая к небу копые и издавая воинственные вопли.

Иван лихорадочно греб, все чаще оглядываясь назад. И вдруг внимание его привлек ствол ели, прибитый течением к камню у входа в порог. Лесина как бы зависла, не решаясь ринуться на стремнину. Ошестившись обломками ветвей, она подрагивала под напором струи.

Решение пришло мгновенно. Крикнув Алпе: «Держи

нос!», молодой человек швырнул весло на дно лодки и схватил топор на длинной суковатой ручке. Когда берестянка уже входила в порог, он с размаху всадил лезвие в еловый ствол и с силой дернул его на себя. Лесина отцепилась от камня и вслед за лодкой полетела в ревущий поток, сжатый валунами. Но поскольку вошла она в порог наискось, ее мгновенно развернуло поперек течения. Иван выдернул топор и, кинув его под ноги, поднял весло. И в самое время — суденышко уже несло среди крутоверти огромных — в человеческий рост — валов.

Ель, развернувшись поперек главной струи, немедленно навалило на камни и как бы запечатало ею порог. Но лодки преследователей, подхваченные мощным течением, уже не могли уклониться от встречи с острыми сучьями, усеявшими ствол. Они почти одновременно налетели на неожиданную преграду. Податливая береста треснула, разодранная сразу во многих местах. В огромные пробоины хлынула вода. Гребцов завертело в толчее волн.

Оглянувшись, беглецы увидели, как на мокрые холки камней, торчащие среди порога, карабкаются «менквы», «гуси», «волки». А безутешный «журавль», с которого ручьями лила вода, стоя на мелководье, куда его выбросила волна, иступленно машет кулаками вслед уносящейся за поворот берестянке.

Через час Иван и его спутники пристали к пологому берегу. Выйдя из лодки и потянувшись, Иван сказал: — Сейчас костерок соорудим, обсушимся и дальше...

Нагнулся, чтобы взять топор. На мгновение замер, потом сдавленно позвал:

— Сюда! Сюда идите!

Когда встревоженные Алпа и Пилай подбежали к нему, то увидели, что Иван держит топориче, пытаясь оторвать лезвие, словно прикипевшее к большому камню, лежавшему посреди лодки. Вот лезвие с усилием отлепилось, вот снова с легким звоном прильнуло к ржаво-бурой шероховатой поверхности.

Достав из-за пояса нож, молодой человек стал прикладывать его поочередно ко всем камням, набросанным в лодке. И каждый раз слышался легкий щелчок — лезвие притягивала какая-то сила.

Иван распрямился, утер рукавом испарину со лба. Сказал:

— Ладно, что в суматохе не все камни выбросили.

Пилай и Алпа непонимающе смотрели на него. Наконец девушка подавленно сказала:

— Заколдованные... Золотая Баба... Нет, Мирсуснехум...

— Мы же говорили... — охваченный суеверным страхом, Алпа прижал руки к груди, отступил от лодки.

— Да не причитай ты, — недовольно перебил его Иван. — Это же магнит-камень. Знаешь, что это такое?

— Не-ет.

— Да это же... это почище всякой Золотой Бабы будет. Кто магнит-камень найдет, тому от казны значная награда выйдет. И льгота во всем великая...

— А откуда ты про этот камень ведаешь? — недоверчиво спросил Алпа.

— Да у нас в деревне любой тебе про то, как искать его, расскажет, по каким приметам на руду выходить, насышались, какое счастье рудознатокам приваливает, коли на медь али бо на железо наскочат. Уж старики-то ворчать стали: обнишали, мол, оборвались, а все мечтают жар-птицу ухватить, все по горам шатаются...

Иван с торжествующей улыбкой подбросил на руке увесистый камень. И с молодецким превосходством сказал, как будто ворчливые старцы могли слышать его:

— Вот она, жар-птица, попалась...

Взбивая пыль, лошадь летела по улице поселка.

Поминутно приподнимаясь на стременах, Иван вглядывался в открытые окна заводской конторы — приземистого здания, выкрашенного желтой краской. Когда он был уже совсем близко, в глаза ему бросилась тщедушная женская фигурка с коромыслом и ведрами. Придержав лошадь, Иван спрыгнул на землю:

— Маманя!

Женщина обернулась на его голос. Во взгляде полыхнула мгновенная радость. Поставив ведра, она бросилась на грудь сыну.

Поглаживая ее по исхудающим плечам, Иван ласково говорил:

— Все, все, родная, скоро домой все поедем.

— Я знаю... — Мать подняла на него глаза. На лице ее была скорбь.

— Ч-чего знаешь? — недоверчиво спросил Иван.

— Карла Иваныч уж распорядился, чтоб семью на-

шу от работ освободили. Днями обещался бумагу дать...

Молодой человек пораженно смотрел на мать, не в силах произнести ни слова. Наконец пробормотал:

— Значит... значит...

— Ради тебя она, ради тебя... — со слезами в голове говорила мать, обняв Ивана.

— Кто она? — все еще недоумевал он.

Женщина еле слышно прошептала:

— Аннушка...

Управитель уже садился в свою бричку после осмотра доменного цеха, когда на усыпанную шлаком площадку влетел всадник. Подняв облако пыли, он остановился возле экипажа. Брови Фогеля полезли вверх.

— Ты?! — Он обеспокоенно оглянулся, словно боялся, что кто-то может подслушать.

Увидев Тихона с уставщиками, скривился и негромко сказал:

— Поедем отсюда. — И тронул лошадей. Иван пристроился рядом.

Поднялись на плотину.

— Ну и?.. — Немец избегал прямого вопроса о Золотой Бабе.

— Ну и добыл я статуи — уворовал с капища их поганского.

Фогель выронил из рук вожжи.

— Золото?!

— А что же еще? С места кое-как сдвинешь. Тяжеленный болван — вот-вот, гляди, в землю уйдет.

— А велика ли? — Губы управителя побелели, он не замечал, что лошади давно встали посреди плотины.

— С ребятенка десятилетнего будет...

— Так где же она? — нетерпеливо сказал Фогель.

— Как уговорились — в лесу схоронил в приметном месте.

— Тогда...

— Не знаю только, господин управитель, придется ли ехать за ней. — Иван запнулся. Потом сказал через силу, глядя мимо Фогеля: — У тебя, я слышал, с моей невестой другой уговор вышел. Ежели-де пойдет за муж...

— Молчать! — досадливо крикнул управитель и испуганно оглянулся.

— А чего мне? — как можно беспечнее отозвался Иван. — Я от людей не таю ничего.

Лицо немца как-то сразу посерело. Казалось, он стал меньше, вдавившись в кожаные подушки сиденья. И только напряженный блеск глаз свидетельствовал о том, что творится в его душе.

— Откажись от Анютки, господин управитель, — негромко сказал Иван. — Неровня она тебе... Что ей за старого-то идти...

Ответа не было, и тогда, возвысив голос, кержак резко подался к Фогелю, так, что лошадь под ним испуганно вдрогнула всем телом.

— Аль не нужна уж тебе Баба Золотая?!

Немец медленно обратил к нему лицо, прорезанное глубокими морщинами. Казалось, скорбные тени залегли в этих суровых складках. Даже седой парик стал выглядеть как-то траурно.

— Я буду думать... Я завтра скажу тебе...

Приотворив дверь, Тихон прошмыгнул в кабинет управителя. Тот даже головы не поднял. Остановившимся взглядом он смотрел на свои полусжатые кулаки, лежавшие перед ним на столе. Что-то бесформенное, старческое появилось в его ссутулившейся спине, в опущенных плечах.

— Звали-с? — нарушил тишину приказчик.

— Скажи, Тихон, — нетвердым голосом проговорил немец. — Что на свете всего важнее?

— Так это ведь... как кому, — с почтительным смешком сказал приказчик. — Если, примерно, нашему брату, так начальство богопоставленное почитать...

На лице Фогеля появилось выражение досады. Он стукнул по столу своим вялым кулаком и поднялся:

— Самое главное! Что самое главное?! Богатство? Власть? Любовь женская? Что?

— А-а, это-то?.. Тут, Карла Иваныч, по моему разумению, и рыдять нечего. Как говорят, крякнешь да денежкой брякнешь — все у тебя будет.

Управитель вышел из-за стола и, покачиваясь, тяжело прошествовал к Тихону. Заговорил, размахивая рукой перед носом приказчика:

— Эта пословица обманывает — здоровье не купишь. Любовь не купишь.

— Не знаю, как насчет здоровья. А касательно люб-

ви... Опять же поговорка есть: были бы побрякунчики, будут и поплясунчики.

— Какие побрякунчики? — пьяно изумился Фогель.

— А вот эти, — Тихон с радостной улыбкой постукал себя по карману.

Звон монет словно бы несколько отрезвил немца. Он мотнул головой в сторону входа:

— Уйди!

Когда за Тихоном закрылась дверь, Фогель постоял, потерянно озираясь. Нетвердыми шагами прошествовал к клавикорду. Взял с крышки инструмента миниатюру, уставился на портрет налитыми кровью глазами. И вдруг что есть силы хватил его о паркет.

* * *

— Здесь, — сказал Иван, указывая на кучу молодых березок с подвянувшей листвой. И, оглянувшись на управителя, стал отбрасывать деревца в сторону.

Фогель стоял, сложив руки на груди, и ждал. На нем был мундир горного офицера, ботфорты и треуголка. За поясом торчали два пистолета с простыми деревянными рукоятками. На мрачном лице его застыло недоверчивое выражение. Однако, когда среди листвы мелькнули очертания золотой статуи, он весь подался вперед, на щеках выступили багровые пятна. Рука его метнулась к пистолету.

И тут же откуда-то сверху раздался короткий свист. Фогель вскинул голову. На толстой ветви кедра сидел, свесив ноги в ичигах, Алпа. В руке он держал длинный шест с привязанным к нему ножом. Лезвие было направлено на немца.

Вогул укоризненно покачал головой. Не в силах вымолвить ни слова, управитель снял треуголку, трясуясь пальцами достал из-за подклада свернутый лист.

Иван взял бумагу, внимательно прочел, осмотрел подпись и печать. Сунул за пазуху и произнес, обращаясь то ли к Фогелю, то ли к Золотой Бабе:

— Счастливо оставаться.

На берегу лесного ручья сидели Воюпта, Жилия и несколько вогулов в охотничьей одежде. Все были вооружены луками и копьями. Старый шаман выжидающе поглядывал в сторону бора, тянувшегося вдоль ручья,

и по временам чуть запрокидывал голову набок, явно прислушиваясь к отдаленным звукам, напоминавшим потрескивание углей.

Из глубины чащи неслышно появился еще один вогул. Подошел к Воюпте и почтительно доложил:

— Солдаты там. Большой лодка построили. Весла рубят...

Лицо шамана напряглось. Глаза сузились. В его облике появилось что-то хищное — как зверь, учуявший добычу, он жадно вслушивался в цоканье далеких топоров. Медленно сказал:

— Однако, идти нада. С один сторона и с другой сторона.

Оглядел свое воинство.

— Ты, ты, ты... и ты — вокруг идите.

Встал, жестом поманив за собой остальных.

Едва сделал несколько десятков шагов по тайге, шаман вдруг остановился, стал смятенно озираться. Следовавшие за ним вогулы встали, недоуменно глядя на Воюпту.

— Руц! Руц! — восклицал старик.

Вернулся назад к ручью, кинулся в одну сторону, в другую. Обескураженно глядя на темную стену бора, с болью проговорил:

— Эй, руц! Собака пополам рубил, между половинка ходил...

На берегу, усеянном стружками и обрубками бревен, шли приготовления к отплытию. Несколько солдат в синих мундирах увязывали узлы, один из них под руководством Фогеля, распорядившегося с берега, устанавливал вырубленные из цельного бревна рулевые весла. Потом сошел с барки и принялся помогать остальным.

Вдруг из кустов тальника, нависавших с яра над полосой гальки, скатилась фигура в красной рубахе.

— Карла Иваныч! Господин управитель, помилуй многогрешного!

Жилияй повалился у ног Фогеля, обняв его сапоги.

Немец с оторопью глядел на кудлатую голову цыгана. В волосах застряли мелкие ветки, трава, какие-то перья. Под замызганной рубахой обозначились острые лопатки, выпирал хребет.

— Ты... ты откуда?..

— От басурманов сбежал, Карла Иваныч. Сюда они идут, вас повоевать хотят.

Сведя брови у переносья, Фогель оглядел берег.

— Ладно, потом с тобой разберусь. Неси вон тот узел в барку.

Когда Григорий оказался на борту судна, ему бросился в глаза продолговатый предмет, обмотанный грубой тканью, лежавший под мачтой. Цыган оглянулся на Фогеля и солдат: они были заняты увязкой последних тюков.

Улучив момент, Жилий полоснул по мешковине ножом и раздвинул образовавшуюся прореху. На мгновение замер, потом резко сдвинул края ткани. Прошелся по барке, как-то лихорадочно потирая руки и покусывая губу.

Увидев солдат, несущих тюки и фузеи, он бросился к ним, принял сначала поклажу, затем оружие. А когда они вернулись назад, чтобы собрать оставшийся скарб, цыган быстрым движением перерезал веревку, которой барка была привязана к берегу. И сразу встал к рулевому веслу на корме.

Подхваченное сильным течением судно быстро отходило от берега. Жилий успел несколько раз взмахнуть тяжелым веслом, прежде чем оставшиеся на берегу заметили его бегство. В первое мгновение Фогель остолбенел, затем выхватил из-за пояса пистолет и бросился к воде. Солдаты, ничего не понимая, смотрели то на управителя, то на барку, то друг на друга. Только когда грохнул выстрел, они сообразили, что происходит. Но не бросились вслед за немцем, который, изрыгая проклятия на родном и на русском языках, мчался по берегу вслед уходящему судну.

— Не догнать, — флегматично промолвил один из солдат.

— Не уйдет далеко. На такой барке вчетвером надо выгребаться. Как бог свят, на пороге разобьет... — сказал другой.

А Фогель, совершенно обезумев от случившегося, мчался, не разбирая дороги.

Выстрел услышали и вогулы. Шаман остановился. Постоял, ожидая, не донесется ли еще стрельба, призывно махнул рукой своим соплеменникам и быстро двинулся через березняк. Поднявшись на обрывистый

берег, Воюпта увидел барку, несущуюся в лабиринте камней. С высоты порог казался кипящим варевом, из которого то и дело выныривали мокрые лбы валунов.

С кормы на нос поминутно перебежал человек в красной рубахе, — поработав одним веслом, он спешил к другому. Но барка слушалась плохо, по временам начинала поворачиваться поперек потока. Однако рулевому какое-то время удавалось выравнивать ее ход. Когда же судно попало в главную струю порога, оно сразу потеряло управление и его развернуло кормой вперед. Пролетев с полверсты и со скрежетом задев несколько камней, барка с силой ударилась о гряду валунов у противоположного берега и зависла на ней. Вогулы бросились в ту сторону, прячась за кустарником.

Фогель увидел разбившуюся барку совсем близко — едва выбежал из-за поворота. До слуха его донеслись металлические удары. Приостановившись, он увидел, что Жилияй с размаху бьет обухом топора по чему-то у основания мачты. И в следующее мгновение в руке его блеснул продолговатый кусок желтого металла. Поняв, что беглец хочет завладеть хотя бы частью Золотой Бабы, немец со всех ног кинулся к барке.

Но когда он был уже рядом с судном, цыган даже не сделал попытки бежать. Как бы не замечая наведенного на него пистолета, он сидел на корточках, протягивая к Фогелю отбитую руку статуи, и хохотал.

Немец выстрелил почти не целясь. Жилияй ткнулся лицом в днище барки и выронил золотую руку. Когда Фогель схватил ее и поднес к лицу, он увидел, что в месте откола совсем другой — красный — металл, как бы окруженный золотым ободком.

Он медленно распрямился. В глазах его была пустота. И в этот миг в его грудь беззвучно вошла стрела с двойным оперением.

Фогель лежал на спине. Небо стремительно темнело. Солнце рассыпалось черным дождем. Коснеющий язык его выталкивал изо рта только кровавые пузыри. Но в последнем усилии он все же прохрипел:

— Анете! Анете, она не есть золотая...

Вокруг широкого тесового стола в горнице сгрудились братья Ивана. А он сам, сидя на лавке рядом с отцом и матерью, высыпал из сумки ржаво-бурые камни. Анна, присевшая на край лавки у дальнего конца стола,

с затаенной гордостью смотрела на жениха. Стоявшие подле нее Пилай и Алпа с любопытством осматривались.

Все вокруг было покрыто слоем пыли, из углов свешивались тяжкие полога паутины.

— Эхма! — воскликнул старший брат Василий, когда Иван прикоснулся лезвием ножа к кучке руды. — А я думал, брешешь...

Мать резко повернулась к Ивану, положила руку ему на плечо.

— Не ходи ты в горное правление, не носи камень! Только беда от него. Опять завод построят да мужика на работы погонят...

— Верно маманя-то говорит, — сказал другой брат — Степан. — Да неужто ты на руки свои не надеешься? Не гонялся бы, паря, за наградой.

— Погодь, — остановил его старик, неотрывно глядя на руду. — Помните того енарала, что с управителем наезжал... как же его... Татищев! Слова-то его не запомняли? Воля волей, а о благе казенной радей. Крут Татищев, но, по всему видать, не о себе — о казне, о воинстве нашем печется. Зазря над народом не измывается.

— Сами ж говорили, тятя... — с упреком начал Василий.

— А для кого мы годами по горам-то шарили, все шурфами истыкали?! — разошелся старик. — Нешто из-за одной лихой деньги? Не-ет, Вася, для общества старались. А теперь вот вышел Ивану фарт, а он сокровище от людей запрячет? Да и то сказать: навечно не схоронишь...

В сенях раздался топот множества ног, послышались возбужденные голоса.

Дверь, взвизгнув, распахнулась. В горницу ввалилось несколько человек. За ними теснились еще и еще. Впереди всех был коренастый осанистый мужчина в синем кафтане, в ладном грешневике, с кнутовищем в руке. Чуть позади него два дюжих малых, набычась, оглядывали запущенную избу. Из-за спины предводителя этой компании выглядывал сухонький мужичок с лицом недоросля.

— Явились?! — загремел обладатель синего кафтана, бесцеремонно проходя к столу. — И ты, касатушка, прилетела?..

Он ядовито сощурился, глядя на Анну.

— Ты, Егорий, что, в хлев зашел? — подымаясь с места, тихо спросил Антипа. И вдруг с яростью крикнул: — А ну шапки снимите, охальники!

Но незваные гости и не подумали подчиниться. А Егор, с той же ядовитостью усмехнувшись, сказал:

— Это с тебя, смутьяна, надо было шапку-то снять. Да только с головой вместе.

Его свита с готовностью загоготала.

— Эх вы! — горько произнесла мать Ивана. — Людей не стыдитесь, так хоть образам-то святым честь воздали бы...

— Смотрите на нее! — дурашливо крикнул кто-то из толпы. — У самих в красном углу мизгирь в тенетах висит, а она других корит. Хоть бы лампаду-то затеплили, анафемы...

Великовозрастный недоросль все это время с какой-то отрешенной, умильно-умоляющей улыбкой, не отрываясь, смотрел на Анну. Иван, постепенно наливаясь кровью, сидел неподвижно. Только рука его, словно позабытая хозяином, продолжала играть ножом — то шелчком приложит лезвие к магнит-камню, то, легко звякнув, отлепит.

Это позвякиванье заставило отца Анны обратить лицо к груде камней на столе. Рот его еще змеился в ядовитой усмешке, он еще хотел бросить что-то дерзко-обидное. Но в глазах его уже мелькнула растерянность. Егор замер, словно прикипев взглядом к груде руды.

А нож все прыгал в руке Ивана — то шелкнет, то звякнет о камень. И один за другим немели лица ворвавшихся в дом, все взгляды были прикованы к ржавобурой горке на широком тесовом столе.

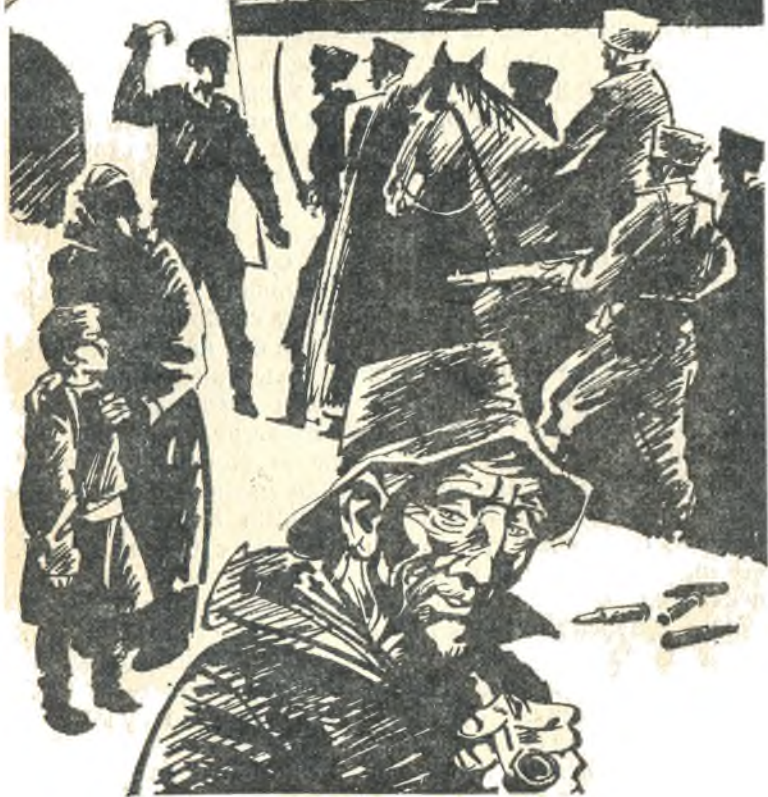
Рука Егора как бы помимо его воли потянулась к шляпе, и он медленно стащил грешневик.

Один за другим обнажили головы все, кто толпился у входа.

ПЕСЧАНЫЕ ВСАДНИКИ

Летом семидесятого года мы проводили выездные тактические занятия неподалеку от бурятского улуса Хара-Шулун. Там я, в ту пору лейтенант, командир взвода, познакомился с пастухом Больжи и услышал от него историю о том, как барон Унгерн фон Штернберг — тот самый — утратил бессмертие. За подлинность этой удивительной истории я отвечаю целиком, но за правдивость ее не поручусь, тем более что Больжи не все видел собственными глазами, многое узнал от старшего брата. Возможно, тот слегка приукрасил события и свою роль в них, да и сам Больжи, будучи человеком не без воображения, кое-что добавил от себя. Не знаю и судить не берусь. Но считаю необходимым сразу оговорить одно обстоятельство: Хара-Шулун — название условное. Настоящее упоминать не стоит по ряду соображений.

Конечно, я мог бы обойтись вовсе без названия. Просто некий улус Н-ского аймака: полсотни домов, школа-восьмилетка, магазин, небольшая откормочная ферма, за ней сопки. На ближних торчат редкие и как бы ощищенные сосны, дальние темнеют сплошной еловой хвоей — это к северу. К югу сопки голые, с вогнутыми каменистыми склонами, переходящими в степь. Таков пейзаж. Еще, пожалуй, нужно отметить субурган. Раньше он стоял в центре улуса, но за пятьдесят лет дома постепенно стеклись к дороге, вытянулись вдоль нее, и теперь субурган оказался на окраине, за огородами. Его некогда ровные и острые грани выщерблены дождем и ветром, побелка осыпалась, пластинами отслоилась штукатурка. Объясняю: субурган — буддийское культовое сооружение в виде обелиска. Впрочем, его хорошо представляет себе всякий, кто когда-нибудь держал в руках топографический справочник. В настоящей гладкой степи



субурганы можно использовать как ориентиры, и топографы давно предусмотрели для них специальный значок.

Дом Больжи, построенный незадолго до войны, расположен чуть на отшибе, за фермой. Это четырехстенная изба с дощатыми сенями, крытая рубероидом. Снаружи, как водится в Южной Сибири, бревенчатые стены домов улуса выкрашены масляной краской в синий, желтый или зеленый цвета. У Больжи стены синие, пазы между бревнами промазаны глиной. Зады огорода выходят как раз к субургану, вернее к взгорочку, на котором он стоит. Земля здесь кажется красноватой от втопанной в нее кирпичной щебенки.

И все-таки для того, чтобы эта картина разом вставала перед глазами, не распадалась на фрагменты, ей нужно имя, хотя бы и вымышленное.

Итак, Хара-Шулун. В переводе это значит «Черный Камень» или — применительно к населенному пункту — Чернокаменный. Кстати, я видел там выходы черного базальта в сопках, так что улус вполне мог носить и такое название.

Он находится в стороне от Кяхтинского тракта и железнодорожной линии Улан-Удэ — Наушки — Улан-Батор, но в старину, как говорил Больжи, через Хара-Шулун шла дорога от одного из монастырей — дацанов на Ургу.

Здесь наша мотострелковая рота с приданным ей взводом «пятьдесятчетверок» отрабатывала тактику танкового десанта. Танки и бронетранспортеры месили сухую песчаную почву, лишь поверху слабо скрепленную корнями трав. Казалось, пустыня прикидывается степью. Но гусеничные траки сдирали травы, и земля вновь становилась песком, зыбким и летучим. Танки волочили за собой высокие шлейфы желтой пыли. Бронетранспортеры разворачивались в линию машин, мы выпрыгивали из люков, цепью бежали по полю. Затем в наушниках моей рации раздавались приказы ротного, я дублировал команду голосом и флажками, одновременно танки замедляли ход, и мы, подтягивая друг друга, взбирались им на броню, пристраивались у башен. Нагретая солнцем броня жгла руки, пыль густо облепляла взмокшее лицо, шею, и все время хотелось пить. Занимались с полной выкладкой и с минимальными ограничениями по боекомплекту.

Руководил занятиями заместитель командира батальона капитан Барабаш, сторонник широкого использования пиротехники: ракеты, взрывпакеты и холостые патроны выдавались в избытке.

Поле пересекала грунтовая дорога, вдоль которой тянулась линия электропередачи. Если встать лицом к улусу, то мы занимались от дороги слева, а справа, примерно в километре, вилась узенькая речушка — для нее я не буду придумывать условного названия, оставлю безымянной. Именно туда колхозный пастух Больжи по утрам выгонял телят с фермы. С понурой дисциплинированностью новобранцев они двигались по дороге, а напротив нашего рубежа спешивания сворачивали к реке. В стороне ехал на лошади Больжи. Он не суетился, не щелкал понапрасну кнутом, да у него, помнится, и кнута-то не было, лишь иногда резкими возгласами подгонял самых мешкотных и мечтательных. Достаточно было одного такого крика, одного легкого взмаха руки, даже не взмаха — повелительного мановения, напоминавшего мне жест дирижера за пультом, чтобы все стадо послушно принимало нужное направление. Маленький, сухощавый, Больжи в самую жару не снимал брезентового плаща и круглой черной шляпы с узкими полями. Из-под шляпы виднелся жесткий бобрник совершенно седых волос. Проезжая мимо нашего КНП, он величественным движением прикладывал к виску свою крохотную коричневую ладошку, и Барабаш козырял ему в ответ: это было приветствие двух полководцев перед строем войск.

В то утро стадо мирно брело по дороге, а мы уже сигналы из люков, и сержанты Барабаша разбрасывали перед нами взрывпакеты, которые должны были создать обстановку, приближенную к боевой. На неделе ожидалось проверяющие из штаба дивизии. Мой бронетранспортер шел в ряду крайним справа, у обочины. Водитель не успел вовремя сбросить газ, машина вырвалась из линии, и один взрывпакет, шелкнув по борту, отскочил вбок, на дорогу. Пока догорал шнур запыла, телята продолжали идти, передние спокойно миновали еле курящуюся трубочку, и тут пакет рванул под копытами второй шеренги. Хлопка я не услышал, увидел только синеватый дымок, пробившийся между рыжими и пятнистыми телячьими спинами, но в тот же момент все стадо кинулось врассыпную.

Сама по себе эта хлопушка не могла причинить им

ни малейшего вреда. Наступишь интереса ради сапогом, даже подметку не сорвет. Но телята шли тесно, голова к голове, и опасность, исходящая из самой середины стада, казалась непонятной и грозной. С задранными хвостами они в ужасе неслись по полю через наши боевые порядки. Ротный по рации дал отбой. Танки встали. Солдаты, радуясь неожиданному развлечению, молодецки засвистали, отчего бедные телята припустили еще быстрее. Рассыпавшись веером, они со всех ног «жарили» в сторону сопки. Там начинались заросли багульника, дальше уступами поднимались вверх молодые сосенки.

— Давай по машинам, — приказал мне Барабаш. — Отсеки их от леса, а то еще потеряются! Убытки будем платить.

Минут через десять мы тремя машинами отрезали беглецам дорогу в сопки. Телята начали сбиваться в кучу, некоторые уже пощипывали траву, когда подскочил Больжи. Не слезая с лошади, он вынул из седельной сумки здоровенный кус домашней кровяной колбасы, молча протянул мне.

— Спасибо, не надо, — сказал я.

Все так же без единого слова Больжи примерился и ловко зашвырнул колбасу в открытый люк бронетранспортера. Затем погнался телят обратно через поле.

Над люком показалось лицо моего водителя.

— Смотрите, товарищ лейтенант! — Он удивленно улыбался, показывая мне колбасу. — Может, пожуем? Хлеб есть.

У меня потекли слюнки, но я гордо отказался, велел ему ехать к дороге. Больжи мы обогнали на полпути. Он что-то выговаривал телятам сердито и громко, но мимо Барабаша проследовал с непроницаемым лицом, поджав губы.

— Жаловаться будет, — мрачно сказал Барабаш.

Накануне танкисты своротили «пасынок» на придорожном столбе, и ферма осталась без электричества как раз во время вечерней дойки. А теперь еще эти телята. Барабаш опасался, что из колхоза пошлют жалобу в часть.

Обычно, пока телята паслись у реки, Больжи выходил к дороге посмотреть наши маневры. В перерывах я

пару раз беседовал с ним о погоде, спрашивал, как будет по-бурятски «здравствуй», и «до свидания», чтобы после щегольнуть этими словами в письмах к маме. Но в этот день Больжи не показывался, и в обед Барабаш попросил меня:

— Сходи ты к нему, поговори по-хорошему. Возьми вон супу горячего и сходи.

Я пошел к стаду, прихватив два котелка — для себя и для Больжи. В обоих над перловой жижей с ломтиками картофеля возвышались, как утесы, большие куски баранины, обволоченные красноватыми разводами жира.

Больжи сидел на берегу, но не лицом к реке, как сел бы любой европеец, а спиной. И все же в глазах его мелькало то выражение, с каким мы смотрим на текучую воду или языки огня, — выражение отрешенного спокойствия, словно степь, над которой дрожали струи раскаленного воздуха, казалась ему наполненной таким же безостановочным мерным движением, одновременно волнующим и убаюкивающим. Я уже был в двух шагах, а он продолжал сидеть неподвижно, подвернув ноги под своим необъятным плащом, задубелым и выгоревшим на солнце. Меня и позднее удивляла его способность вдруг застыть, но не мертво, не уставившись в одну точку остекленелым взглядом, а как бы прислушиваясь к работе души. Ничего старческого в этом не было. Просто в иные минуты тело и душа Больжи возвращались к исходному раздельному существованию: когда действовало тело, замирала душа, и наоборот.

— Пообедаем? — предложил я, ставя на землю котелки и выкладывая из противогазной сумки ложки и хлеб.

Больжи взял котелок, понюхал и кивнул:

— Можно. — И спросил:

— Зачем колбасу не взял?

Я ел суп так: сперва старательно выхлебал всю жижу, потом принялся за говядину. Больжи осуждающе смотрел на меня, наконец не выдержал:

— Неправильно суп ешь!

— Почему? — удивился я.

— Солдат так ест: первое мясо, второе вода. Вдруг бой? Бах-бах! Вперед! А ты самое главное не съел.

Это было разумно. Согласившись, я начал направлять разговор в интересующее Барабаша русло.

— Тебя начальник послал? — перебил Больжи. — Усатый?

— Он, — признался я.

— А зачем? У всех страх есть. У человека, у теленка. Вот такой. — Больжи сдвинул полусогнутые ладони, затем развел их в стороны. — Надуется, как пузырь, до головы дойдет, думать мешает. А ногам не мешает... У кого от головы далеко, у кого близко. У теленка совсем близко. Тут! — Он похлопал себя по бурому морщинистому затылку. — Чай будем пить?

Я с готовностью вскочил.

— Сейчас сбегаю.

— Сиди, — Больжи достал из-под плаща огромный китайский термос, разрисованный цветами и птицами, налил смешанный с молоком чай прямо в котелок, где оставалась на дне разбухшая перловка. Выпил, причмокивая. Снова плеснул и подал котелок мне. — На! Хороший чай.

Я проглотил его, стараясь не задерживать во рту.

— У тебя страх тоже близко, — продолжал Больжи. — Но пузырь не шибко большой. Всю голову не займет, если надуется. Маленько оставит соображать. А у начальника твоего пузырь большой, зато от головы далеко.

— И что лучше?

— Оба ничего. Плохо, когда большой и близко.

— А у вас? — спросил я.

— У меня совсем нет, — засмеялся Больжи. — Старый стал, лопнул.

Он шурил глаза и едва заметно раскачивался. От тишины и зноя звенело в ушах. Вдали я видел лобовые силуэты танков с повернутыми вправо пушками. Это означало, что обед еще не кончился. После еды меня разморило, хотелось спать.

Вдруг Больжи перестал качаться.

— Колбасу не взял, — произнес он с внезапной решимостью, — я тебе бурхан дам!

Мне и до сих пор непонятно, почему Больжи захотел осчастливить незнакомого лейтенанта. Что увидел во мне этот человек, знающий, какого размера и где расположен пузырь страха в каждом из нас? Чем вызвал я его симпатию? Может быть, просто своей молодостью, военной формой. А иногда мне кажется, что в нем заговорило чувство надвигающейся смерти, внезапно возникающая у старого человека потребность немедленно составить завещание, и я тут ни при чем, дело не во мне,

на моем месте мог оказаться любой другой. Не знаю. Но слово было произнесено, а я, еще не понимая значения этого слова, лениво поинтересовался:

— Что за бурхан такой?

— Саган-Убугуна бурхан, — сказал Больжи. — Белый Старик, так мы зовем.

— А зачем он мне?

— В бой пойдешь, на шею повяжи. Пуля не тронет. Пузырь надуваться не будет. Можно и сюда положить. — Больжи ткнул пальцем в нагрудный карман моей гимнастерки.

— Сами-то вы пробовали?

— Правду скажу: давно пробовал.

Он снова начал тихо раскачиваться из стороны в сторону.

— И не жалко вам отдавать?

Я уже не прочь был заполучить эту экзотическую бирюльку, которой можно будет хвастать перед знакомыми девушками, но в то же время испытывал и легкие уколы совести: имею ли я право брать амулет, если не верю в его спасительные свойства?

— Зачем жалко? Я старый, на войну не пойду. Мне не надо. Ты молодой, тебе надо. Раньше у нас как было? Эмчин парня лечит, денег совсем не берет, баранов не берет. Мужчину лечит женатого, одну цену берет. А старик лечиться пришел, давай две цены: за себя теперь и за молодого. Вот как было!

Наконец заработал двигатель головного танка. Следом загрохотали остальные, башни начали медленно поворачиваться в боевое положение. Я взял котелки, встал.

— Значит, завтра принесете? А то мы скоро снимаемся отсюда.

— Зачем завтра? Вечером приходи. Ферму знаешь? Дальше мой дом.

Я обещал прийти.

Как любой документ, рассказ Больжи требует комментария, который соотнес бы его с общим историческим фоном эпохи. В противном случае для человека, не знакомого с ходом гражданской войны в Забайкалье, эта история останется всего лишь заурядным этнографическим анекдотом, одним из тех смешных на первый взгляд, но, в сущности, мрачноватых казусов, что всегда возникают на границах времен и народов, порождаемые взаимным непониманием.

В начале февраля 1921 года ставленник японцев, новый вождь контрреволюции в Забайкалье генерал-лейтенант Унгерн, командир конно-азиатской дивизии, объединивший под своим началом остатки разбитых и вытесненных в Монголию частей атамана Семенова, после двухдневного сражения занял Ургу, выбив из нее китайский гарнизон. Китайцы бежали на север. Вслед за ними, безжалостно вырезая отстающих, скакали чахары Унгерна. Поверх островков тающего снега мела песчаная поземка, неслись, подпрыгивая, призрачные мячи перекати-поля.

Еще в январе Унгерн объявил себя почитателем Будды Шагамуни, защитником желтой веры. Он помог богдо-хану бежать от китайцев, а теперь, вступив в Ургу, вернул ему власть над всей Монголией. В благодарность богдо-хан пожаловал белому генералу титул вана, а вместе с ним четыре высокие привилегии: право иметь желтые поводья на лошади, носить такого же цвета халат и сапоги, ездить в зеленом паланкине и вдевать в шапку трехочковое павлинье перо.

Желтый цвет — это солнце. Зеленый — земля, степь. Три очка в радужных переливах знаменуют собой третью степень земного могущества — власть, имеющую лишний глаз, чтобы читать в душах.

Из нежно-зеленой завязи родился сияющий золотой плод: в монастыре Узун-хурэ, резиденции богдо-хана, Роман Федорович Унгерн фон Штернберг, откинув занавес паланкина, ступил желтым ичигом на расстеленную в пыли кошму с орнаментом эртнихээ, отвращающим всякое зло. Стоял месяц май, но трава в степи уже утратила первую весеннюю свежесть. Невыносимая жара висела над Ургой. Роман Федорович достал платок и вытер мокрый лоб. Грубо обрезанные ногти и бугристые пальцы с мозолями от поводьев неприятно цепляли шелк халата, приходилось все время держать руки на отлете.

Он прошел мимо молитвенных мельниц, сверкавших отполированными боками, и с облегчением шагнул под резные своды храма. Здесь было прохладнее. Возле жертвенного стола, в окружении высших лам сидел на стопке плоских подушек-олбоков сам богдо-хан. Роман Федорович сделал по направлению к нему три четких шага и по-военному резко вдавил подбородок в ямку

между ключицами. В ответ богдо-хан указал на другую стопку подушек, напротив себя. Мгновенно сосчитав их, Роман Федорович отрицательно покачал головой и тут же был понят — тощий хуварак-послушник бесшумно вынырнул откуда-то сбоку, положил еще одну подушку. Роман Федорович кивнул, сел. Офицеры эскорта во главе с подполковником Дерябышевым остались у ворот, рядом встал лишь один человек — ученый лама Цырен-Доржи, бывший некогда священником буддийского храма в Петербурге. Он посвящал вана в учение Будды, а в особых случаях исполнял обязанности переводчика: Унгерн понимал по-монгольски и по-бурятски и сам говорил, но грубо, без тонкостей.

Вначале стороны осведомились о здоровье друг друга, затем ван приглашен был на торжественное богослужение, но отказался, сославшись на обилие дел.

Действительно, дел хватало. Войска готовились к походу на север, набивали вьюки вяленным мясом. Японцы торопили с выступлением, хотели, чтобы красные оттянули свои части от Хабаровска, куда собирались нанести удар каппелевские полки.

По знаку богдо-хана один из лам, мощногрудый и толстый, как борец, встал и с поклоном подал маленький шелковый пакетик. Унгерн принял его тоже с поклоном, но обращенным не к этому ламе, а к богдо-хану.

Сандаловый порошок, тлея в курильницах, источал ненавистный сладковатый запах. Хотелось выйти на воздух.

Толстый лама что-то говорил, но Унгерн не понимал его — все слова были вроде знакомые, но вместе ничего не значили, смысл ускользал.

— Переводи, — приказал он Цырен-Доржи.

Тот зашептал:

— Облаченный в желтое, направляющий свой путь желтым, прими в дар бурхан великого Саган-Убугуна, хранящий землю с его священной могилы. Он будет оберегать тебя в твоих делах... — Поправился: — Оберегать вас... С помощью Саган-Убугуна вы достигнете скорой победы, после чего сможете умиловить высших, уважить низших и с пользой осуществите свои помыслы...

Лама говорил, а богдо-хан ритмично кивал своей сморщенной голой головой, показывая, что эти слова исходят от него и он согласен с ними.

— Саган-Убугун — один из самых загадочных святых в нашем пантеоне, — объяснял Цырен-Доржи, когда после аудиенции вышли во двор. — Обычно изображается в виде седобородого лысого старца в белых одеждах. В руке — посох. Сидит на берегу озера, куда приходят на водопой дикие звери...

— Что же тут загадочного?

Унгерн быстро шел к воротам — поджарый, молодой: недавно тридцать пять стукнуло. Цырен-Доржи, едва поспевая за его широким шагом, на ходу рассказывал про Саган-Убугуна. Знал, что после ван не станет его слушать.

— Видите ли, это отшельник. Архат. Но почему-то легенда упорно связывает его имя с именем Чингисхана. Тот будто бы всегда пускал впереди войска белую кобылицу, на которой незримо ехал Саган-Убугун, ведущий воинов к победе. Вот почему вам подарили бурхан с его изображением.

— Понятно, — сказал Унгерн. — Вроде святого Георгия.

Цырен-Доржи искренне огорчился при таком сопоставлении: оно показывало, что его ученик по-прежнему все меряет на свой православный аршин.

— Ну как оно, высокочтимый ван? — поинтересовался подполковник Дерябышев. — Сильно воняло?

Раньше он никогда не позволил бы себе подобной фамильярности, и ему бы не позволили, но теперь все сходило с рук, как на маскараде, где все равны, где любая дерзость обращена не к лицу, а к маске, хотя каждый знает, что это не так. В конце концов кто перед ним — генерал-лейтенант русской армии или туземный князек? Кто он сам-то — казачий подполковник или держатель двухочкового пера? Дерябышев не желал принимать всерьез эту павлинью субординацию, однако она существовала и потихоньку начинала размывать прежние отношения.

— У тебя во фляжке ничего не найдется? — спросил Роман Федорович.

— Какой разговор! Для многомудрого вана...

Смеялся, похлопывая себя нагайкой по голенищу. Барон отхлебнул, поморщился.

— Теплая.

— Зато наша. Не рисовая. — Дерябышев протянул фляжку Цырен-Доржи. — Глотнешь?

Тот помотал головой.

— Вот моська! — разозлился Дерябышев. — Чего тогда стоишь тут? — Взял его за лицо и с силой отшвырнул к ограде. — Стой там!

Барон и это стерпел — перед самым походом лучше не ссориться. Он затоптал недокуренную папиросу, поднялся.

— Ведь лезут, обезьяны, — виновато сказал Дерябышев. — Поговорить не дают.

Тронулись. Впереди с бунчуком ехали подьесаул Ергонов и два трубача, по бокам — офицерский эскорт, сзади — полуэскадрон конвоя.

— Чингисхан умер почти семьсот лет назад, — говорил сидевший рядом Цырен-Доржи. — И тогда же Саган-Убугун из воителя стал отшельником. Он не помогал никому из чингизидов. Если Великий Белый Старец станет вашим покровителем, вы, несомненно, завоюете все Забайкалье...

Роман Федорович молчал. Водка уже ударила в голову, и, как всегда в первые светлые минуты опьянения, когда хмель еще не отяжелел, не опустился на дно души, возникло удивление: да где же это я? Да что же это со мной? Прошлая жизнь, в которой были семья, женщины, служба, война, никак не вязалась с теперешней и оттого утрачивала смысл. Он не мог понять, каким образом одна перетекла в другую. Но сейчас об этом думалось легко: старая кожа сброшена, и черт с ней!

— Я имел приватную беседу с богдо-ханом, — рассказывал Цырен-Доржи. — Возможно, после первых же побед вас официально объявят хубилганом Саган-Убугуна, то есть перерожденцем, несущим его душу. Загляните внутрь себя! Готовы ли вы принять такого постояльца?

Пыль пробивалась сквозь занавеси паланкина, хрустела на зубах. Роман Федорович думал о том, как вернется к себе и сразу же спустится в ледник. У него в подвале устроен был настоящий ледник, лед на арбах привезли с Хангая.

— В этом случае, — бубнил Цырен-Доржи, — дай-лама, конечно, поддержит нас...

— Заткнись! — велел ему Унгерн.

Об этом еще рано было мечтать. И все же нет-нет, а развертывалась в воображении — и даже на трезвую

голову — некая карта, на которой его будущая империя, окрашенная в желтый цвет, простиралась от вершин Тибета и до тунгусской тайги.

Сначала на север: поднять казачьи станицы, провести мобилизацию в бурятских улусах, выгнать красных из Верхнеудинска, дойти до Читы и договориться с японцами. Затем повернуть коней на юг, разгромить китайцев, занять тибетские монастыри и договориться с англичанами. Среди развалин Каракорума, древней столицы монголов, он воткнет в землю свой бунчук и воздвигнет на этом месте новый город — чистый, с прямыми улицами и уютными кафе, где торгуют мороженым и прохладительными напитками, с искусственным озером. А пока пусть японские советники купаются в своих деревянных ваннах, наполняемых с помощью пожарных насосов из старого русского консульства. Напрасно эти купальщики полагают, будто его северный поход — всего лишь отвлекающий удар. Маленькие наивные островитяне, логика великих пространств сбивает их с толку.

Вечером ставку Унгерна посетил бежавший из красной Кяхты купец Шустов, известный в прошлом чаоторговец. Он сообщил кое-какие сведения о составе, численности и боевом духе обороняющих город войск, а взамен хотел выяснить, что думает генерал о будущем чайной торговли.

Некогда весь китайский чай шел в Россию через Кяхту. Основание купола крупнейшего в городе Троицкого собора сделано было в виде глобуса — это символизировало всемирное значение кяхтинских торговых домов. Но к началу века Кяхта запустела, обезлюдела, потому что железная дорога пролегла севернее, через Верхнеудинск. Чайная река, намывшая на своем пути как остров город Кяхту, давно обмелела, превратилась в жиденький ручеек, но громадный каменный шар по-прежнему парил над тесовыми крышами величаво, будто монгольфьер, пробуждая воспоминания и вызывая надежды.

Роман Федорович объяснил: отныне чай должен стать фактором большой политики, средством нажима на красных. Россия, кто бы ею ни правил, не может обойтись без чая. А единственным местом, откуда он потечет в Москву, вновь станет Кяхта: через Хабаровск не пропустят японцы, через Балтику — англичане. Необходимо, конечно, мир с китайцами, но те пойдут на

любые условия. Им свой чай девать некуда, все в Европе кофе пьют, кроме русских. В общем, не заржавеют замоскворецкие подстаканники, потому что без чайку-кипяточку и комиссарам не прожить.

Шустов слушал, преданно смотрел генералу в ключие, с желтыми просверками зеленые глаза и боялся верить. Подтянутый, чисто выбритый, в отутюженном мундире сидел перед Шустовым барон Унгерн.

— Через неделю мои чахары будут в Кяхте, — пообещал он. — Однако и вам придется кое в чем изменить свои взгляды.

Поднявшись, Роман Федорович пригласил гостя пройти в соседнюю комнату. Шустов отодвинул ситцевую занавеску и замер, пораженный, — посреди комнаты ослепительно отливала свежей позолотой бронзовая статуя Будды высотой аршина в полтора, стоящая прямо на полу.

— Это мой дар кяхтинской городской думе. Вы ведь член думы?

— Был, — ответил Шустов, — когда дума была.

— Вот и отлично. Поставите в зале заседаний.

— Никогда! — шепотом проговорил Шустов и, не прощаясь, пошел прочь. Слышно было, как он зычно харкнул на крыльце.

Когда Унгерн рассказал об этом Цырен-Доржи, тот сказал:

— Вам следовало отвечать так: бог у всех один, только веры разные.

Но Унгерн был не из тех людей, которые способны утешаться умозрительными спекуляциями. Ночью, напившись, он плакал на плече у даурской казачки Степаниды, потом вскочил, голый, схватил пистолет и всадил всю обойму в грудь бронзовому Будде. На металле остались вмятины, пули, рикошетируя, разнесли стекла в двух окнах, разбили фарфоровую вазу и зеркало.

Далеко за полночь Роман Федорович лежал под боком у тихо посапывающей Степаниды и думал о том, что он, в сущности, похож не только на Чингисхана, но и на Александра Македонского. Тот тоже носил восточные одежды и рядом со статуями эллинских богов ставил туземных идолов. За это его осуждали недальновидные соотечественники. Вот и Шустов не понимает, что, если победят красные, не будет никого — ни Христа, ни Будды.

Повторяю: все это лишь комментарий, затянувшееся предисловие к той истории, которую рассказал мне Больжи. Но было бы ошибкой думать, будто я привел здесь только широко известные факты. В том-то и дело, что многие события, происшедшие до того, как барон Унгерн очутился в улусе Хара-Шулун, можно восстановить, лишь опираясь на рассказ Больжи.

Но для того, чтобы это понять, мне понадобилось несколько лет. А тогда, летом семидесятого, я узнал от Больжи следующее: во время наступления Унгерна сотня подьесаула Ергонова без боя вступила в Хара-Шулун. Здесь Ергонов насильно мобилизовал тридцать лошадей и восемь взрослых мужчин. Среди них были отец Больжи и его старший брат Жоргал.

Больжи хорошо помнил, как они уезжали, хотя ему было в ту пору всего восемь лет. Мать стояла у дороги, и отец все время оглядывался на нее, махал рукой, что-то кричал, а Жоргал как сел в седло, так и поехал, ни разу не обернувшись, — молодой был, горячий, глупый, не хотел оглядываться.

В последних числах мая 1921 года белогвардейские войска Унгерна вторглись в пределы Дальневосточной республики в районе Кяхты. Но бронзовому Будде не суждено было украсить собой зал заседаний кяхтинской городской думы. 3 июня отступила на юг колонна генерала Резухина, разбитого под станицей Желтуринской. Еще раньше бежали от Маймачена чахары Баяр-гуна, а через неделю сам Роман Федорович, столкнувшись в ночном бою с частями Народно-революционной армии ДВР и партизанами Щетинкина, ушел обратно в Монголию. Но через полтора месяца, когда экспедиционный корпус 5-й армии и цирики Сухэ-Батора уже заняли Ургу, он вновь пересек границу, внезапно вынырнув из глубины степей, как дух из бездны.

Тогда-то и появилась при штабе Романа Федоровича снежно-белая кобыла Манька. Цырен-Доржи лично за ней присматривал. При переходах на кобылу клали седло, взнуздывали, подвязывая уздечку, но никто никогда на нее не садился. Резухинского казака, спяну взгромоздившегося ей на спину, Унгерн пристрелил тут же. Невидимый, ехал на Маньке сам Великий Белый Старец — Саган-Убугун, покинувший свое

уединение у горного озера, чтобы привести войско вана к победе.

Под копытами коней и верблюдов, под колесами обо- за степь дымилась летучим июльским прахом, знойное марево обволакивало горизонт. Азия жарко дышала в затылок.

Двигались на север.

Тесня отряды самообороны, захватили улус Цежей, станицу Атамано-Николаевскую, вышли на Мысовский тракт. 31 июля Унгерн увидел вдали заросшие камы- шом низкие берега Гусиного озера — до Верхнеудинска оставалось восемьдесят верст.

А двумя днями раньше Ергонов, уводя с собой мо- билизованных, покинул Хара-Шулун.

Стол, тумбочка, полки с посудой в доме у Больжи покрыты были клеенкой с одним и тем же рисунком: квадраты, а в них два ананаса на блюде — целый и разрезанный на дольки. Десятки ананасов. Видимо, ку- пили по случаю рулон этой клеенки и застелили все, что можно.

— Вот мы с тобой чай пьем, — говорил Больжи. — Я тебя спрашиваю: что это? Ты говоришь: чай. Пра- вильно, чай. И пьешь его как чай. Потому что ты чело- век. Для тебя чай — чай. А если дать чашку с чаем счастливому из рая, он скажет: это гной. Дать несчаст- ному из ада, он скажет это божье питье... Когда Жор- гал домой вернулся, он чай так пил, будто сейчас из ада вышел. А отец уже мертвый был. Жоргал его мерт- вого на седле привез... Ты пей чай! Хороший чай, ин- дийский. Зять из Улан-Удэ привез. Тут не купишь...

Обещанный бурхан представлялся мне то в виде зо- лоченого божка, у которого за ушами, как жабры, тем- неют просверленные отверстия, куда вдеается шнурок; то осколком черного метеоритного металла с припаян- ной серебряной петелькой — опять же для шнурка. Ведь амулеты появились гораздо раньше, чем нагрудные кар- маны. И когда Больжи положил передо мной маленький шелковый пакетик с обмахрившимися краями, я испы- тал сильное разочарование.

— Саган-Убугун. — Больжи осторожно обвел ми- зинцем изображение скрюченного лысого старичка с пал- кой. — Сам Унгерн его на груди носил...

Он говорил «Унгэр».

— Такой же, что ли? — спросил я.

— Зачем? Этот самый... Почему, думаешь, его убить не могли?

— Но Унгерна же расстреляли!

— О! Это потом, — снисходительно улыбнулся Больжи.

Я вежливо попытался выяснить, как он представляет себе действие амулета. Так сказать, механику волшебства. Что, собственно, происходит, если этот пакетик повесить на шею или положить в нагрудный карман? Огибает ли пуля владельца амулета, или не долетает до него, или, может быть, не причиняет ему вреда? На саму пулю действует волшебная сила или на того, кто ее посылает? Возможен был и такой вариант: что-то случается не с пулей и не со стрелком, а с оружием. Например, перекокс патрона в патроннике.

Больжи тут же понял, что меня интересует. Бурхан, объяснил он, останавливает пули в воздухе, и они падают на землю.

— Так раньше было, — добавил Больжи.

Амулет, сберегавший от пули пятьдесят лет назад, теперь мог и не подействовать, потому что все изменилось в мире, сама жизнь стала другой.

На стене висела репродукция васнецовской «Аленушки» в багетовой раме. Снизу в раму вставлены были фотокарточки родственников Больжи. Казалось, что Аленушка печально склоняет голову над их круглыми узкоглазыми лицами.

— Дочка моя. — Привстав, Больжи указал на фотографию милой улыбающейся девушки. — Сэсэк зовут. За русского замуж вышла, в Улан-Удэ живут. Один внук родился — чистый русский. Другой родился — чистый бурят. Макароны любят. — Он засмеялся. — Пустая еда... А это Жоргал. Лицом на меня похож. Ты думал, это я, да? Нет, Жоргал. Он сильный был, потому что макароны не ел, мясо любил.

В ту ночь, когда вернулся Жоргал и привез тело отца, шел дождь — небесный верблюд открыл пасть, слюна его с шумом пролилась на землю, заглушила топот коня, смыла след. Никто не видел, как приехал Жоргал, и мать строго наказала Больжи никому об этом не говорить.

Больжи был маленький, не понимал, что брат убежал из отряда Ергонова.

...Они уже соединились с главными силами, уже ходили в атаку на Гусиноозерский дацан, где укрепился батальон красных, и тогда отец сказал:

— Сегодня ночью ускорим домой. Зачем нам с ними воевать?

Жоргал не хотел домой, хотел драться, все равно с кем, лишь бы саблей махать — молодой был, смерти не боялся, но отец пригрозил, что выкуп за невесту не даст. Пришлось ехать. Однако далеко не уехали. Версты через две их перехватил казачий разъезд из ергоновской сотни, опознал и доставил к палатке Унгерна.

Тот еще не спал, сидел у костра, читал книгу.

— Почему, аба, ты не хочешь воевать с красными за нашу веру? — спросил он.

Отец тоже спросил:

— А какая твоя вера?

— Такая же, как и у тебя. Желтая вера. Ширахаджин.

— Нет, — сказал отец, — наша вера такая: овечья, баранья, лошадиная вера. Траве молись, воде молись. Немного ламе молись. Тарасун варишь, на бурхан побрызгай. Ружье — не наша вера. Отпусти нас домой!

— Глупый старик! — закричал Унгерн. — Возвращайся в свою сотню. — И ударил его книгой по щеке.

Тогда отец прыгнул в седло и поскакал прямо в степь. Жоргал хотел скакать следом, но его скрутили, сели на плечи. Унгерн взял у часового винтовку, выстрелил и попал отцу в затылок. А Жоргалу дал бумажку в десять янчанов — китайских рублей, сказав:

— Зарой его.

Жоргал взял деньги и пошел. Отец уже умер. Пуля пробилась ему шею насквозь — в затылок вошла, у кадыка вышла. Жоргал сидел над отцом, пока все не уснуло, потом отвязал своего коня, подобрал тело и ускакал в Хара-Шулун.

Весь день отец лежал в юрте, под кошмой. Больши видел у него на шее черную рану и боялся отца. Мать налепила ему на шею шелковый лоскут с заклинанием, чтобы через рану душа не вылетела из тела раньше времени, не услышав последней молитвы. Для такой молитвы нужно было звать ламу, но мать боялась за Жор-

гала. Она сидела над отцом и плакала, ни на что не могла решиться: облегчишь будущую жизнь мужу — в этой жизни погубишь сына.

От мертвого тела в юрте стоял дух. Вечером мать дала Больжи кусок войлока и послала спать на воздух. Только лег, подошел нагаса — дядька, брат матери — спросил, почему он тут спит. Больжи не знал, что отвечать. Сказал:

— Эжы велела.

Жоргал услышал, как они разговаривают, и спрятался вместе с отцом под козьими хунжэлами. Нагаса заглянул в юрту, но его не заметил.

— Зачем мальчик под луной спит? — стал он ругаться. — Нехорошо, сохнуть будет.

Больжи испугался, и мать увела его в юрту.

Той же ночью Жоргал с матерью вывезли тело отца в сопки, там и закопали.

Три дня Жоргал сидел в юрте, никуда не выходил. На четвертый вернулся сосед — один из тех, кого увел с собой Ергонов, рассказал, что у Гусиного озера их разбили красные. А под вечер того же дня в Хара-Шулун вступил отряд человек в сорок — все верхами. Были тут монгольские чахары, было несколько бурят, были и казаки. Грязные, усталые, многие с кровью на одежде, проехали они через улус. Впереди скакал высокий всадник в желтом дээле, перетянutom черным поясом, но в фуражке и в длинных офицерских сапогах. При езде он не трясся мелко, как буряты на своих лошаденках, а величественно вздымался и опадал в седле, прямой и страшный.

— Это он убил отца! — прошептал Жоргал, смотревший на всадников сквозь прореху в пологе.

Заманчивая это вещь для рассказчика: проследить, как движется человек в ту точку пространства, где становится явным туманный прежде узор его судьбы. Но, по сути дела, вся жизнь — такой путь, и тут нужно сразу поставить ограничитель.

Из жизни Унгерна я выбрал лишь последние три месяца.

Не могу сказать, что моя собственная судьба определилась в Хара-Шулуне. Но кое-что я там понял, следовательно, и моя жизнь была бы другой, не оказалась я в этом месте летом семидесятого года.

Из части мы выезжали на занятия уже в первом часу ночи, чтобы к утру прибыть на место. Я съел полбанки консервированного кофе со сгущенным молоком, а вторую половину отдал водителю. Считалось, что так меньше будет хотеться спать. На пути лежал город. Танки обошли его стороной, щадя асфальт, а наши бронетранспортеры двинулись напрямик через центр. Гудение десяти машин далеко разносилось по пустынным ночным улицам. Я видел, как то тут, то там вспыхивает в домах свет, люди подходят к окнам. В огоньках сигарет, в белеющих ночных рубашках женщин была тревога, и я это понимал — сам когда-то так же стоял у окна, думал: куда они идут? Что случилось? И мама вздыхала рядом.

Когда въехали в Хара-Шулун, я увидел ферму, потом школу, теннисный стол возле нее, на котором два подростка неумело гоняли красный почему-то шарик, и, как мне сейчас кажется, увидел и Больжи — он сидел на лавочке у своего синего дома, держа в руках оглушительно орущий транзисторный приемник.

Возле субургана всадники спешили, развели костры, стали мясо жарить. Унгерну поставили палатку. А через час трое верховых объехали юрты и избы улуса, сзывая жителей на сходку. Кто не хотел идти, тех силой гнали. Наконец всех собрали к субургану — и молодых мужчин, и стариков со старухами, и женщин. Мать надела шапку, чтобы не показывать небу голую макушку, надела безрукавку, чтобы не показывать земле неприкрытые лопатки, и тоже пошла. А Больжи с ребятами сами прибежали, хотя никто их не звал. Один Жоргал остался в юрте, смотрел сквозь дырку.

Уже опускались сумерки, было то время дня, когда дым от костра кажется молочно-белым, когда в сопках глаз не различает отдельные деревья, когда каждый звук в степи разносится далеко и долго не тает, чтобы то, чего не видит глаз, слышало бы ухо.

Прямо к субургану привязана была белая кобыла.

Все стояли полукругом у костров, возле которых казаки и чахары доедали жареную баранину. Потом они затоптали костры, отошли в сторону. Из палатки, нагнувшись, вылез Унгерн, сопровождаемый русским офицером и пожилым ламой в очках. Стало тихо. Унгерн

медленно поднял вверх правую руку и оглядел собравшихся. Рукав дээла сполз, обнажив белое запястье. Все посмотрели на его руку — на белое запястье и красную ладонь, и даже когда Унгерн начал говорить, некоторое время продолжали смотреть не в лицо ему, а на руку, и потому казалось, что слова падают в толпу сверху, рождаются сами собой, знакомые, но странно измененные чужим выговором.

Сперва Унгерн сказал, что если красные сюда придут, то это ненадолго, скоро вновь примчится войско могучих чахаров с именем Будды Шагамуни на устах и покорит все земли до самого Байкала.

Затем он предупредил, что большевики станут обращать всех в свою красную веру, улан-хаджин, и кто примет ее, у тех при жизни чахары вырвут сердце, а после смерти они попадут в седьмой ад, будут мучиться на меч-горе, поросшей нож-деревом: сорок девять ножей войдет отступнику в печень и по трижды семь — в каждый глаз. А у тех, кто станет проповедовать красную веру, демоны посеют на языке бурьян и колючки.

Очкастый лама слушал и одобрительно кивал головой.

— Сейчас вы все увидите, — объявил он, — что сам великий Саган-Убугун хранит нашего вана. Он не позволит пулям коснуться его тела!

При этих словах Унгерн выпустил поверх дээла шелковый мешочек, висевший у него на шее на кожаном шнурке, и обошел передние ряды, показывая желающим изображение Саган-Убугуна. Больжи, поднырнув под рукой у матери, тоже поглядел, а хитрый нагаса восхищенно поцокал языком:

— Саган-Убугун! О!

Перед палаткой расстелили кошму. Унгерн поклонился толпе, поклонился субургану и сел на кошму. Ноги подвернул под себя, большие пальцы рук заложил за пояс дээла, отчего локти его выставились в стороны. Рядом с ним поставили взнузданную и оседланную белую кобылу. Очкастый лама взял чашу с тарасуном, побрызгал на субурган, на кобылу, на Унгерна, вылил немного себе под ноги, затем простерся в поклоне на окропленной земле, громко читая молитву.

Внезапно кобыла вскинула морду, заржала, и все увидели, как дрогнули у нее задние ноги, словно незримый всадник с размаху опустился в седло.

Вставая, лама воскликнул:

— Он здесь!

Тотчас один из казаков — коротконогий и длиннорукый, с просторным плоским лицом — щелкнул затвором винтовки и пошел прямо на толпу. Толпа зашумела, раздалась надвое. Посередине, как раз напротив Унгерна, образовался проход шириной шага в три. Казак встал в этом проходе, повернулся к палатке, вскинул винтовку, прицелился.

Все стихло.

Нагаса быстро подбежал к ламе, сказал с таким расчетом, чтобы тот услышал, а соседи — нет:

— Не могу глядеть... Лучше глаза закрою!

Но не закрыл, продолжал смотреть.

— Пли! — скомандовал Унгерн.

Хлопнул выстрел, эхо прокатилось, а он, даже не покачнувшись, остался сидеть все с той же кроткой улыбкой на лице.

— Славен будь, о великий! — крикнул лама, падая на колени перед белой кобылой.

— Хум, — отозвался нагаса.

И многие подхватили:

— Хум!

Между тем казак, стрелявший в Унгерна, сказал:

— Кто-нибудь идите ко мне!

И снова поднял винтовку. Нагаса встал у него за спиной, зажмурил один глаз, дабы убедиться, что ствол направлен точно в цель.

— В сердце! — засвидетельствовал он, хлопая себя по левой стороне груди.

Казак целился прямо в сердце Унгерну. Выстрелив, передернул затвор. Пустая гильза, кувыркаясь, полетела на землю. Больши хотел подобрать ее, но казак оттолкнул его, сам взял гильзу и положил в карман. А Унгерн, показывая, кому он обязан своим чудесным спасением, покачал на ладони шелковый мешочек с изображением Саган-Убугуна.

— Кто хочет сам выстрелить в вана? — спросил лама.

Все молчали.

— Кто хочет, пусть выйдет вперед!

Никто не вышел. Казак усмехался, опираясь на винтовку. Суровые чахары неподвижно стояли справа от палатки, и только русский офицер в блестящих погонах

развлекался тем, что метал нож в коновязный столб — сэргэ, ничуть не интересуясь происходящим.

— Эжы, не дави так мою руку, мне больно, — тихо попросил Больжи.

Мать разжала пальцы, отпустила его ладошку, и он рванулся вперед. Подбежал к ламе, но ничего не мог сказать, лишь тыкал себя пальцем в грудь.

— Ты смелый мальчик, — проговорил лама, кладя руку ему на плечо. — Детский глаз остер. Детская душа не знает обмана... Бери ружье, мальчик, и стреляй!

Посмеиваясь, казак зарядил винтовку. Больжи взял ее и чуть не уронил — тяжелая. Унгерн что-то крикнул ламе по-русски, тот сказал:

— Ложись, мальчик! Стреляй лежа...

Больжи не смотрел на мать, потому что боялся заплакать. Он положил винтовку на жесткую, объединенную овцами траву, лег сам.

— Руку клади сюда, эту — сюда! — Казак приставил приклад к плечу Больжи, но тогда указательный палец не дотягивался до спусковой скобы. Пришлось подать винтовку назад. Ствол качался, рисуя кривые круги около головы Унгерна: до него было шагов пятнадцать. Голова маленькая, живот потолще. Больжи метился в живот, беззвучно шепча: «Не защищай его, Саган-Убугун! Он убил моего отца, я убью его... Отойди от него, Саган-Убугун! Встань далеко от него! Все молочные пенки будут твои, ни одной не съем...»

Будто услышав, белая кобыла вдруг попятилась от палатки. Лама бросился к ней, схватил за узду, и в это мгновение Больжи надавил спуск. Приклад не упирался в плечо, отдачи не было. Он вскочил и сразу уткнулся головой в мягкое и теплое — это мать уже склонялась над ним, обнимала, дышала в ухо:

— Его хранят демоны, сынок!

Унгерн сидел в прежней позе, лицо его было печально.

— Зачем твой сын хотел убить меня? — спросил он у матери.

Она зашевелила губами, но ничего не ответила.

— Подойди сюда, мальчик, — велел Унгерн.

Больжи подошел.

— Зачем ты хотел убить меня? Что я сделал тебе плохого?

Глядя в землю, Больжи катал босой ногой камешек и молчал.

— Садись со мной. — Унгерн притянул его к себе, усадил рядом на кошму, обняв за плечи, а камешек носком сапога отшвырнул в сторону. — Как тебя зовут, мальчик?

— Больжи! — крикнул нагаса.

Вдруг Унгерн снял с шеи шелковый бурхан и надел его на Больжи.

— Дыбов! — обратился он к казаку, который стрелял в него. — Больжи хотел убить меня. Ты готов убить его?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Тогда стреляй!

Мать кинулась к Дыбову, схватилась за винтовку, но ее оттащили. Прямо перед собой Больжи увидел черный кружок ружейного дула. Хотел вскочить, но тяжелая ладонь Унгерна не давала подняться, пригибала к кошме. Двое чахаров держали мать за локти. Она кричала, вырывалась. Шапка с ее головы упала на землю. Зажмуренный глаз Дыбова был страшнее всего. Больжи перестал дышать, его стошнило. Кислая жидкость изо рта пролилась на грудь, на бурхан. Грянул выстрел. Больжи упал лицом в кошму, и его еще раз стошнило. Унгерн брезгливо, двумя пальцами, взялся за шнурок, вытянул бурхан, приподняв Больжи подбородок.

— Саган-Убугун, — громко произнес он, обращаясь к толпе, — хранит тех, на кого указываю я!

Почистив бурхан пучком травы, Унгерн снова повесил его себе на грудь.

Мать отпустили. Она подхватила Больжи на руки, отнесла в сторону. Он прижимался лицом к ее мокрой от слез щеке и говорил:

— Эжы, там твоя шапка! Шапку подбери.

А Дыбов повел винтовку вбок, выстрелил. Крутившийся у палатки лохматый пес высоко подпрыгнул, с визгом покатился по песку, оставляя за собой кровавый след, и замер.

Тогда еще трое стариков пожелали выстрелить в Унгерна. Двоим Дыбов разрешил, третьего прогнал сказав:

— Хватит уже! Некогда.

С последним выстрелом Унгерн встал, медленно развязал пояс дээла. На кошму, стучаясь друг о друга, посыпались какие-то металлические комочки.

— Подойдите ближе, — пригласил лама.

Сперва лишь самые смелые подступили к палатке. Затем сзади начали напирать остальные, тесня смельчаков, которые из последних сил старались удержаться у края кошмы, не задеть ногами войлок, где только что сидел Унгерн.

Пять изуродованных кусочков свинца лежали на кошме, пять расплюснутых пуль.

Лама сказал, что эти пули сплюснулись о могучую ладонь Саган-Убугуна, упали и застряли в поясе. И еще упадут в пояс великого вана тысячи тысяч пуль — бесильные, раздавленные божественной любовью, ибо борьба будет долгой. Но разве можно победить человека, перед которым сам Саган-Убугун держит свою ладонь? Сегодня он держал ее неподвижно, просто ловил пули, давил их пальцами и опускал вану за пояс. А если выстрелит настоящий враг, Саган-Убугун отобьет пушечную пулю, пошлет обратно, прямо в сердце стрелявшему.

День нашего возвращения, говорил лама, будет днем радости для добрых людей, днем скорби — для злых, принявших красную веру, изменивших желтой.

Пока он говорил, Унгерн, вновь обмотав пояс вокруг бедер, нагнулся, поднял лежавшую у края кошмы шестую пулю. Она не похожа была на другие пять — целая, блестящая, даже кончик не притуплен. Унгерн искал глазами Больжи, нашел и кинул ему эту пулю. Зажав ее в кулаке, Больжи понял: Саган-Убугун знал, что он хотел убить Унгерна, и потому его самого спас как бы нехотя, против воли, в знак чего и не раздавил пулю, оставил такой, как была.

К подобным сложным умозаключениям восьмилетний мальчик, пожалуй, не способен. Мне кажется, что эта мысль пришла к Больжи позднее, через много лет, когда он уже стал взрослым. А тогда он крутил пулю в пальцах, совершенно не думая о том, как могла бы она вонзиться в его тело. Зато мать думала.

— Брось ее! — зло сказала она, но Больжи лишь крепче сжал кулак. Мать хотела отобрать пулю, а он быстро сунул ее в рот и вдруг увидел, что от их юрты по направлению к палатке Унгерна бежит Жоргал. Мать

его не замечала. В это время она пыталась выковырять пулю у Больжи из-за щеки и не могла, поскольку действовала осторожно, боясь, как бы он нечаянно не проглотил эту пулю.

Все расступились перед Жоргалом. Он подошел к Унгерну, опустился перед ним на колени.

— Кто ты? — не узнавая, спросил Унгерн.

— Его брат, — Жоргал указал на Больжи. — Три дня назад я убежал от тебя, а теперь опять пришел. Возьми меня в свое войско!

На фотографии у Жоргала были толстые щеки, толстая шея, небольшой рот с упрямо оттопыренной нижней губой. На Больжи он ничуть не походил, даже на молодого Больжи, чья фотография — туманно-желтая, словно вытравленная кислотой, тоже имелась в этом ряду. Видимо, Больжи до сих пор хотелось быть похожим на старшего брата. Над судьбой Жоргала грустила Аленушка, а мы сидели за столом, курили, пили чай и ели кровяную колбасу без хлеба. Вокруг желтели ананасы.

Больжи взял пустой стакан, перевернул кверху дном.

— Вот субурган. Видел его? Тут палатка стояла. — Рядом он поместил спичечный коробок. — А наша юрта совсем близко была. — Больжи подвинул к стакану консервную крышку, которую мы использовали как пепельницу, но тут же передумал и вместо крышки поставил тарелку с колбасой. — Большая юрта. Хорошая.

Я понял, что крышка не может дать мне наглядного представления о размерах юрты. Только тарелка. По ободку ее шла надпись, обрамленная венком из колосьев: «Предприятия общепита под огонь рабочей самокритики».

— Тут дорога. — Между тарелкой и стаканом лег нож. — По ней он и бежал. Я хотел закричать: «Жоргал!» Да пуля во рту. Мешает... Понять не могли, что он задумал.

Я положил шелковый пакетик на ладонь, покачал, пробуя вес. Пакетик был невесом, как сухой осенний лист. И от невесомости его, бесплотности, старческой сухоты, странно противоречащих той грубой материальной силе, которую приписывал Больжи своему амулету,

возникло сомнение: а вдруг? Если бы речь шла о каком-то мистическом воздействии на душу, ничего бы не было, а так возникло, царапнуло.

Кошму перетащили в палатку, Унгерн лег на нее и проспал два часа, пока не стемнело. Тогда Дыбов разбудил его:

— Вставайте, ваше превосходительство... Уходить надо!

Небо над улусом покрыто было белыми брызгами. Унгерн ополоснул лицо теплой, не избывшей дневного зноя водой, вскочил на коня. Все уже сидели в седлах, ждали приказа. Подъехал подполковник Дерябышев, яростно зашептал:

— Слушай, давай разгоним к чертям эту монгольскую сволочь! Оставим казаков. Уйдем в Китай. А?

Роман Федорович подумал, что, когда стоишь в огне, полмы кажется предпочтительнее. Издалека, разумеется.

— Да уж! Китайцы нам сильно обрадуются. Помнишь, как мы их под Ургой-то гоняли?

— Было дело, — согласился Дерябышев. — А ведь хорошо гоняли. Скажи!

— Недурно, — сказал Унгерн.

Чтобы запутать след, вначале двинулись в юго-восточном направлении, а потом, версты за три от улуса, повернули на запад, к хребтам Хамар-Дабана. На первых порах отряд растянулся, но уже через час кони и всадники начали жаться друг к другу. Вскоре все ехали тесно, плотной массой, и от этого отряд казался совсем маленьким, беззащитным, затерянным в ночи. Узкая живая полоска, наполненная человеческим и лошадиным дыханием, за пределами которой нет ничего, кроме ветра и смерти.

Нахлестнув своего жеребца, Дерябышев сравнялся с конем Романа Федоровича. Ехали стремя в стремя, но молчали. Под лунной волнами серебрилась трава, а вдаль все было черно. Сопки на горизонте вершинами заслоняли звезды. Степь была как гигантский прокопченный котел, пустой и гулкий. Лишь на самом дне оставалось сорок просяных крупинок от съеденной похлебки — сорок всадников. После ужина хозяйка отнесла котел собаке, чтобы та вылизала его. На луну напозло облако, упала тень. Собака сунула морду в котел, прошлась

языком по стенкам и слизнула разъезд из трех чахаров, высланных в передовое охранение. Больше их никто не видел. Они пропали, ушли в темень, в собачий желудок, в июльскую ночь, сгнули навсегда, хотя на груди у Романа Федоровича, под дээлом, обещая победу, по-прежнему висел шелковый пакетик, на котором лысый седобородый старик покровительственно поднимал маленькую ладошку.

— Видал, какой молодец пришел ко мне сегодня? — Роман Федорович кивнул через плечо назад, где Жоргал, соразмеряя бег коня, чтобы не отставать и не подъезжать чересчур близко, внимательно прислушивался к их разговору. — Между прочим, из дезертиров. Через месяц у меня будут сотни таких, как он! Не веришь?

— Я пока не велел давать ему винтовку, — сказал Дерябышев.

— И зря, — не одобрил барон.

Рядом с Жоргалом, свесив голову на грудь, то засыпая, то вновь просыпаясь, качался в седле Цырен-Доржи, не привыкший к долгим переходам. Его очки лежали в сумке. Сквозь пение ветра и трясую дремоту он слышал какие-то голоса, иногда звучавшие совсем близко, иногда же долетавшие издалека, из прошлой жизни. Русские слова перебивались бурятскими, монгольскими, тибетскими. Потом вдруг отчетливо донеслась французская речь. По-французски говорил сиамский принц: перед войной он посетил Петербург, присутствовал на богослужении в буддийском храме у Елагина острова. Это был хрупкий изящный человек, по-европейски одетый, охотно рассуждающий о пользе франко-русского сближения. Цырен-Доржи как единовеца включили в его свиту. Когда осматривали столицу, погода была слякотная, везде стояли лужи. Одна лужа разлилась во всю ширину Университетской набережной. Прежде чем подъехал экипаж, один из приближенных принца спокойно лег в эту лужу, а принц так же спокойно, не переставая разговаривать, по его спине перешел на сухое место. При этом он вспомнил отшельника, который в уединении отрастил себе волосы до земли и покрыл ими грязь под ногами Будды. Однажды Цырен-Доржи рассказал эту легенду Роману Федоровичу, упомянув и про сиамского принца. «Все правители; — говорил Цырен-Доржи, — совершают одну и ту же ошибку: они хотят, чтобы люди устлали перед ними дорогу собственными волосами, но не дают им свободы,

чтобы эти волосы отрастить, довольствуясь подставленной спиной...» Но Роман Федорович был глух к подобным аллегориям. Из всех бесчисленных титулов Будды ему больше всего нравился такой: остригший ногти ног своих на головах властителей трех миров. Он серьезно спрашивал: чем остригший? Ножницами? Порой Цырен-Доржи казалось, что его ученик и повелитель мечтает сделать то же самое. Но нельзя отпустить птицу на волю, не поймав ее, утешал он себя, и нельзя предоставить мир естественному течению, не завоевав его прежде. Они с Романом Федоровичем шли по одной дороге, однако в конце ее видели разное. Неправда была мостом над бездной, разверзшейся перед ними после поражения у Кяхты, но Цырен-Доржи верил: он сам разрушит этот мост, едва они окажутся на другой стороне.

Три очка в павлиньем пере — знак трех миров, думал он. Первый — земля, по которой они скачут неведомо куда, убегая от красных. Второй — небо, где неделю назад, над Гусиным озером, он видел аэроплан, похожий на стрекочущего железного кузнечика. Третий мир — область невидимого. Покоривший все три, обнаружит истину в самом себе.

Цырен-Доржи окончательно проснулся. Небо затягивали тучи, луна спряталась, область невидимого начиналась на расстоянии вытянутой руки.

Под утро въехали в большой улус. Дерябышев протестовал, требовал обойти его стороной, чтобы не рисковать, не оставлять следа, но Роман Федорович решительно направил коня в сторону изб. Дерябышев, отчаянно матерясь, двинулся за ним. Здесь повторилось все то, что Жоргал уже видел в родном Хара-Шулуне: гремели выстрелы, ахала толпа, сыпались на кошму расплюснутые пули. В результате еще два человека пожелтели встать в ряды защитников желтой веры.

— Что с них возьмешь? Азия! — посочувствовал Дерябышев, когда все кончилось, и стали есть шашлык из реэквизированного барана.

— А теперь везде она, родимая, — откликнулся Роман Федорович. — В Петрограде — тоже... Пришло ее время!

Сухие кости горели в костре, издавая странное для русского уха писклявое щебетанье.

— Все оглянуться тянет, — сказал Дерябышев, — не синички ли попискивают... В сирени где-нибудь. — Он

раскидал сапогами костер, снова сел. — В каждом улусе будем устраивать эти спектакли?

Роман Федорович согласно помычал — рот забит был мясом. Прожевав, спросил:

— Ты когда-нибудь задумывался, что представляют собой красные?

— Ну, растолкуй, — равнодушно сказал Дерябышев.

— Это азиаты в Европе. Откуда они взялись, особый вопрос. Но воевать с ними так, как мы воевали с немцами, нельзя. Пустой номер. Колчак расстрелян, Деникин разбит...

— И из нас они скоро саламат сделают, — вставил Дерябышев.

— Выход один, — все больше распаляясь, говорил Роман Федорович. — Нужно разбудить стихию, такую же дикую, как они сами. Даже почище. Иначе конец. Европа нас не спасет. Только Азия. И не японцы — они слишком цивилизовались. Настоящая степная Азия! Но этого никто не понимает. Один я! И я напушу на них степь. Слышишь? Я вызову духа из бездны!

— Они уже нам наклали, — мрачно напомнил Дерябышев. — И еще накладывают.

— Нет! Саган-Убугун поможет мне!

— Ты спятил. — Дерябышев поднялся, выплюнул жесткое сухожилие. — Я ухожу от тебя. Бывай здоров!

Унгерн тоже встал:

— Дай слово, что будешь молчать.

— Плевал я на твои дикарские фокусы! Сейчас беру своих людей, будем пробиваться к Дутову. Он заступится за нас перед китайцами.

— Ты уйдешь один. Твои люди останутся со мной.

Дерябышев потянулся к кобуре, но рядом уже стоял Дыбов с поднятой винтовкой.

— Верни павлинье перо, — сказал Унгерн.

Порывшись в полевой сумке, Дерябышев бросил на землю мятое перо с двумя очками — область невидимого ему не подчинялась:

— На! Можешь воткнуть себе в зад.

— Дай слово, что будешь молчать, — повторил Унгерн. — Слово русского офицера.

— Ну уж нет! Не дожدهшься. — Дерябышев спокойно собрал все до одного шомполы с нанизанными на них кусками баранины, зачихал в мешок.

Дыбов вопросительно взглянул на Романа Федоровича.

— Пускай, — разрешил тот. — Не жалко.

Дерябышев поставил ногу в стремя.

— Прощай, ван!

Когда топот его коня замер за последними избами улуса, Роман Федорович подозвал к себе Дыбова. Через минуту три всадника на полном скаку пронеслись по улице вслед за Дерябышевым, наступила тишина, потом треснул вдали одинокий выстрел.

— Сперва бог сделал человека с душой черной, как ворон, — рассказывал Больжи. — Подумал, подумал... Нет, думает, нехорошо. С такой душой человек прямо в ад пойдет! Сломал его, другого сделал. С душой белой, как лебедь. Подумал, подумал — опять нехорошо. Как такой человек будет барашков резать? С голоду помрет! Опять сломал, третьего сделал. Дал ему душу пеструю, как сорока. От него все люди пошли. У кого черных перьев много, у кого — мало.

Больжи хитро улыбнулся мне: понимаю-понимаю, дескать, что на самом деле все происходило не так, и вдруг добавил:

— У Жоргала черных совсем мало было.

Отдохнув, тронулись дальше. Без привалов двигались полдня и всю ночь. Обок с Романом Федоровичем ехал теперь отославшийся за день Цырен-Доржи. К седлу его привязана была белая кобыла Манька. Налегке, едва касаясь травы неистертыми подковами, летела она в лунном сиянии, тревожа смиренного иноходца Цырен-Доржи, тонконогая, с лебединой шеей, на которой дымилась грива, — призрак, пятно света, клочок ночного тумана, и Жоргал смотрел на нее немигающим волчьим взглядом, пытаясь различить над хребтом силуэт незримого седока. Он хотел увидеть Саган-Убугуна и вот увидел: словно прозрачная тень поднялась от седла, разрастаясь все шире, все выше, и там, где проносилась Манька, тьма как бы выцветала, а звезды бледнели, заслоненные этой тенью.

Унгерн скакал впереди, спина его казалась каменной.

«Уйди от него, Саган-Убугун! — взмолился Жор-

гал. — Ты видишь: он несет смерть. Зачем ты хранишь его от смерти?»

Цырен-Доржи опять начал клевать носом, отстал. Тогда Жоргал тоже придержал коня, поехал с ним рядом и незаметно отвязал от его седла повод белой кобылы. Она радостно рванулась вперед, но далеко не убежала, ровной рысью пошла в голове отряда, пока кто-то из чахаров не нагнал ее и не отдал повод Цырен-Доржи.

— Жоргал отомстить хотел, — сказал Больжи. — Но еще он так думал: если бессмертный человек затеял войну, она будет всегда. Пожалуйста, воюй, если сам тоже мягкий, как все люди. А нет для тебя смерти, сиди дома, других на войну не зови!

С Больжи я познакомился летом, а осенью того же года, уже с места постоянной дислокации нашей части меня послали в командировку в город. К тому времени привезенный из Хара-Шулуна сувенир лежал в чемодане под моей койкой, я все реже вынимал его оттуда, но, укладывая в дорогу портфель, прихватил подарок Больжи с собой. Решил зайти в краеведческий музей, чтобы выяснить там его научную и художественную ценность.

Милая застенчивая девушка из отдела досоветского прошлого подвела меня к молодому человеку со шкиперской бородкой, предварительно объяснив, что это товарищ Чижов, сотрудник Ленинградского музея истории религии и атеизма («В Казанском соборе, знаете?»), приехавший в Бурятию для завершения работы над диссертацией.

Поначалу Чижов отнесся ко мне с подозрением. Он усмотрел тут какой-то подвох, поскольку не мог уловить связи между моей военной формой и Саган-Убугунном. Наконец, сообразив, что никакой связи нет, взял амулет, зачем-то понюхал его.

— Откуда он у вас?

— Я начал рассказывать, но Чижов перебил:

— Все ясно. Трояк.

— Что? — не понял я.

— Три рубля. — Он повернулся к девушке: — У вас ведь есть денежный фонд для приобретения экспонатов?

— Есть, — испуганно подтвердила та. Чижов явно подавлял ее своим авторитетом столичного специалиста. — Но такие вопросы решает завотделом или заместитель директора по науке. Я не вправе...

— У вас в провинции все как-то уж слишком централизованно, — заметил Чижов.

Девушка покраснела. Возможно, на нее действовала также и его борода. Во всяком случае, на меня она произвела впечатление — настоящий научный работник. Меня призвали в армию на два года после окончания военной кафедры при университете, и я давно решил, что, как только демобилизуюсь, немедленно отпущу себе бороду.

— Советую оформить покупку у товарища лейтенанта, — сказал Чижов. — Но больше трех рублей не дайте! Красная цена!

Я и в мыслях не держал продавать мой пакетик, но меня поразил сам размер предложенной суммы. Это была чудовищная несправедливость. Вещь, с помощью которой пытались изменить судьбы мира, оценивалась в жалкую трешку. Слышал бы Больжи!

— Между прочим, — небрежно сказал я, — этот амулет принадлежал барону Унгерну.

Чижов отреагировал мгновенно:

— Ах вот как? Тогда рубль.

Я опешил:

— Почему рубль?

— Мы невысоко ценим подобные реликвии.

Музейная девушка с обожанием глядела ему в рот. Она восхищалась его решительностью и принципиальностью.

— Мы, специалисты, — добавил Чижов, несколько смягчая акцент предыдущей фразы.

Наверное, я выглядел достаточно жалко, потому что девушка, оторвав взгляд от Чижова, что стоило ей заметных усилий, ободряюще улыбнулась мне:

— Но ведь вам эта вещь дорога как сувенир, правда?

С запоздалым негодованием я заявил, что ничего продавать не собираюсь, не за тем пришел, просто хотел узнать, к какому веку относится этот амулет.

— К двадцатому, — сказал Чижов. — Или вы думали, что он уцелел со времен Чингисхана?

— Ничего я не думал... Вот здесь надпись. Что она

означает? — Я показал ему странные знаки над головой Саган-Убугуна, похожие на древесные корни.

— Какие у нас любознательные офицеры! — Чижов мягко взял девушку под локоть. — Вы идите, занимайтесь своими делами. Я и так все время вас отвлекаю. Мы тут с товарищем лейтенантом потолкуем на узкоспециальные темы.

Я почувствовал, что надо бы и мне уйти, но не ушел, поскольку еще не придумал той уничтожающей реплики, которую на прощание брошу Чижову.

— Давайте поступим вот так, — предложил он, когда мы остались вдвоем. — Доверьте мне на сегодняшний вечер ваше сокровище. Словарь у меня в гостинице, попробую перевести эту надпись. Почему-то мне симпатична ваша настойчивость... Встретимся завтра здесь же, в пять часов. Идет?

Польщенный, я отдал ему амулет.

— Если интересуетесь историей, — сказал Чижов, у дверей пожимая мне руку, — могу дать один совет: не разменивайтесь на популярщину, сразу беритесь за серьезную литературу, за источники.

На следующий день в музее я его не нашел, вчерашняя девушка, сообщила, что товарищ Чижов отбыл в Ленинград утренним поездом. В то время, как я сидел в скверике и жевал пирожки, дотягивая до условленного срока, он уже где-то в районе Ангарска прижился к вагонному стеклу свою шкиперскую бородку.

А вскоре загредел и мой поезд. С одной стороны вагона мелькали белые скалы, сплошь усеянные автографами туристов, с другой — далеко внизу текла зеленая Селенга, тянулись плоские, заросшие ивняком песчаные островки, за ними вздымались сопки, где среди темной зелени хвои четкими проплешинами выделялись участки успевшего пожелтеть осинника. Я курил в тамбуре и думал о том, что так и не выслал Больжи обещанные батарейки для транзисторного приемника. О Чижове старался не думать. Дело было не в нем. Все равно бурхан Саган-Убугуна не мог вечно лежать в моем чемодане, ему суждено было продолжить скитания по миру, и какая, в конце концов, разница, что он ушел от меня так, а не иначе.

Вторую неделю Роман Федорович вел свой отряд на запад. За это время дважды нагоняли их партизаны

Щетинкина и дважды теряли снова. Отряд тек по степи, как вода по горному склону, — обходя камни, разделяясь на множество ручейков, а в ложбинах опять сливаясь в едином русле. Попадались на пути еще улусы. Смертельно рискуя, входил в них Роман Федорович, наскоро демонстрировал могущество Саган-Убугуна, чтобы весть о его любимице быстрее облетела степь, и вновь мчался дальше. У него отросла мягкая светлая борода. На почерневшем лице она выглядела ненастоящей, сделанной из пакли. У Цырен-Доржи запали виски, очки сваливались. От постоянной тряски болела печень, желудок не принимал пищу. Во сне к нему являлся сямский принц, они разговаривали по-французски, вспоминали Петербург. Просыпаясь, Цырен-Доржи долго не мог разлепить воспаленные от песка веки. Всадники сидели в седлах как пьяные. Кони отошали: когда в последний раз с боем уходили от Щетинкина, их невозможно было перевести в галоп. Иногда Цырен-Доржи казалось, что они уже вступили в область невидимого и теперь можно не торопиться. На привалах чахары сговаривались убежать, шептались между собой. Двое убежали, а третьего, который пытался их задержать, Роман Федорович, не разобравшись, зарубил саблей. Август перевалил за середину, но они уже потеряли счет дням. Траву в степи подернуло осенней желтизной. Желтые просверки заслонили в глазах Романа Федоровича всю зелень. Всякий раз, приближаясь к нему, Жоргал слышал тяжкий запах зла, дух смерти, и тогда от тоски и бессильной ненависти, как от ледяной воды, начинали ныть зубы. А Роман Федорович был с ним ласков, сулил подарить китайский халат, женить на ханской дочери, если Жоргал после поедет по улусам, рассказывая всем про любовь Саган-Убугуна и сплющенные пули.

От чахаров Жоргал держался в стороне. Ел вместе с двумя близнецами, которые пристали к отряду в первом от Хара-Шулуна улусе, пораженные неуязвимостью русского генерала в бурятском дээле.

Внезапно повернули на север. Прибывшиеся ночью казаки сообщили: след его взял 35-й кавполк. Нужно было менять направление, петлять, сбивать с толку. Чахары говорили, будто вернее всего бросить за собой отрубленные уши врага — они заметут след. Но пленных не было, уши резать некому. Унгерн решил дневать в сопках. Поели, не разводя огней, выставили до-

зоры и легли спать. Жоргала назначили караульным. Он сидел под сосной, вглядывался в залитую солнцем степь, надеясь увидеть вдали чужих всадников и боясь этого.

На сосне истошно трещала сорока, лесная вестовица: Подошел Дыбов, поднял голову.

— Место указывает, гадина! Снял бы я ее, да стрелять не хочется. Здесь далеко слышать... А ну пошла!

Он пустил в сороку камнем, но та не испугалась, продолжала верещать, прыгая с ветки на ветку.

— Нельзя в нее стрелять, — сказал Жоргал. — Это чья-то душа.

Дыбов удивился:

— Чья же?

— Того, кто спит. Убьешь ее, он не проснется.

— Ох и дикари! — помотал головой Дыбов. — На кой черт генерал с вами связался!

А Жоргал подумал, что, значит, не он один в отряде желает гибели Унгерну, если отлетела чья-то душа и кричит на дереве, призывая красных.

Потом его сменили, он лег под сосной, уснул, а когда проснулся, еще в полудремоте, услышал прямо над собой затухающий сорочий стрекот. И почувствовал вдруг пронзительную пустоту в груди — души не было на месте. Он снова закрыл глаза, стараясь не проснуться до конца. Сорока затрещала громче. Жоргал не шевелился. Казалось, что все, о чем он сейчас думает, рождается не в голове, не в сердце, а падает сверху вместе с этим птичьим криком. Душа подсказывала ему, как нужно поступить.

Жоргал приподнялся на локте — все спали. Стреноженных лошадей отвели попасться в ложбину между сопками, лишь белая кобыла Манька, по-прежнему упитанная, с расчесанной гривой, была привязана к дереву. Выев траву вокруг себя, она лениво хрупала овес, который Цырен-Доржи высыпал перед ней на попону, и при этом, похоже, задремывала. Воздух над ее спиной был чист и прозрачен.

Спали казаки и чахары. Тоненько похрапывал Цырен-Доржи. Унгерн лежал в тени, на кошме, — палатку давно бросили, не до нее стало. Обычно, пока он спал, Дыбов не ложился, сидел около, но сегодня и его сморило — свистел носом, откинувшись к сосне и держа винтовку на коленях.

Жоргал осторожно встал, осмотрелся. Караульные

тоже спали, степь была пуста до самого горизонта. Сорока куда-то исчезла, но шума крыльев он не слышал. Ветка, где она только что сидела, была неподвижна. Зной, тишина. А в груди что-то ерзало, мешало дышать. Это душа-птица устраивалась в своем гнезде. Но вот устроилась, затихла. Жоргал глубоко вздохнул и сделал шаг по направлению к Унгерну.

Тот спал на спине, мелкие капли пота покрывали лоб. Под расстегнутым воротом дээла виден был ременный шнурок. Голова Унгерна покоилась на седле, а седло лежало на сосновом корне.

Жоргал достал нож, перерезал шнурок, придерживая двумя пальцами, потом бережно вытянул бурхан и сунул за голенище.

Унгерн заворочался во сне, открыл один глаз, а Жоргал уже размахивал у него над лицом сухой веткой, отгоняя оводов.

— Уйди, дурак, — сказал Унгерн и повернулся на бок.

Жоргал отошел, сел на землю. В правом сапоге, где лежал бурхан, было горячо, жар поднимался к бедру. Он подумал, что сам, по своей воле, Саган-Убугун никак не мог полюбить этого человека. Бурхан заставил. Только в нем и живет та сила, которая говорит Саган-Убугуну: делай так! Недаром же Унгерн всегда носит на себе этот мешочек из шелка.

Жоргал подобрал кусок песчаника и со стороны, щелчком, послал его в свой правый сапог. Ничего не произошло, камень на лету не рассыпался прахом, но Жоргал не очень огорчился. Догадывался уже, что Саган-Убугун не станет его охранять. Как коню нужна трава, чтобы скакать, а светильнику — жир, чтобы гореть, так и бурхану требуется особая молитва, тайное заклинание, которого он не знал. Но и с одной травой, без лошади, никуда не уедешь. Отныне Саган-Убугун свободен. Он может вернуться к своему горному озеру и там опять кормить птиц с ладони, а не плющить ею свинец. Пестрые сороки будут клевать зерна с его руки, роняя черные перья. И мир придет в улусы.

Жоргал подошел к белой кобыле, ослабил обмотанный вокруг дерева повод. Пусть Саган-Убугун не ломает себе ногти о хитрый степной узел. Теперь-то он может уехать, а раньше не мог. В кустах Жоргал связал концы шнура и надел бурхан на шею, спрятав под

халатом. Он сделал то, что хотел. Пора уходить. Унгерна убьют и без него. Взять мешок, ружье и уходить, пока не поздно.

— Он хитрый был, Жоргал! — засмеялся Больши. — В год змеи родился...

Тогда я не догадался спросить, сколько лет было Жоргалу, но позднее высчитал, что по двенадцатигодичному циклу год змеи падает на 1892-й и 1904-й. Приблизительно, разумеется, не из месяца в месяц. Значит, Жоргалу в то время было или двадцать девять лет, или семнадцать. Скорее всего, семнадцать. Около того.

Роман Федорович полежал немного на боку, но уснуть не мог. Кожа на шее помнила прикосновение чьих-то пальцев. Томясь, провел рукой по горлу, по груди — бурхан исчез, шнурка тоже не было. Он еще полежал, глядя на валявшуюся возле сухую сосновую ветку, и вдруг ясно увидел, как склоняется над ним Жоргал с этой веткой в руке. И сразу все понял, кроме одного: зачем ему амулет? Хочет он сам стать неуязвимым или сделать уязвимым своего повелителя? Первое еще можно было простить. Второе — никогда.

Роман Федорович вытащил кольт — на тот случай, если Жоргал или кто другой немедленно решат проверить, как отнесется к пропаже Белый Старец. Поодаль зашевелились кусты, вышел Жоргал. Винтовки у него не было.

— Иди сюда! — крикнул Унгерн.

Он подумал, что его политика начинает приносить плоды, правда, пока не совсем те, какие ожидалось: на яблоне созрела еловая шишка.

— Коней смотрел? Или так, оправлялся?

— Так, — кивнул Жоргал.

— Живот болит? Если болит, ступай к Цырен-Доржи. Он траву даст.

— Пойду, пожалуй, — согласился Жоргал. — Пускай даст.

— Не надо, — остановил его Унгерн. — Дыбов! Приведи-ка Цырен-Доржи.

— Вот и совсем не болит, — радостно сообщил Жоргал. — Все же пойду.

А к ним уже приближался Цырен-Доржи — заспанный, ничего не понимающий. На щеке у него, как на за-

мерзшем окне, отпечаталась ветка папоротника. Узнав, что разбудили его из-за Жоргала, который заболел животом, Цырен-Доржи изумился, потом обиделся, но ни одно из этих двух чувств не выдал ни голосом, ни выражением лица. Ласково пригласил:

— Пойдем, траву дам. С чаем выпьешь.

— Нет, ты его здесь смотри, — распорядился Унгерн. — Вели халат снять.

— Сними, — послушно сказал Цырен-Доржи.

Дыбов возмущенно засопел: дожили! Какого лешего генерал так нянькается с этим бурятом!

— Зачем снимать? — жалобно спросил Жоргал. — Совсем не болит.

Еще несколько человек проснулось. Сидели под деревьями, смотрели.

— А ну снимай халат! — приказал барон. — Быстро!

Уже все понимая, Жоргал медленно отстегнул верхний крючок. Знал: Саган-Убугун не подставит свою ладонь, чтобы его спасти. Может быть, он ушел пешком, раз белая кобыла здесь? Но вернется к Унгерну, когда Жоргал упадет на траву и бурхан снимут с его мертвого тела. Не захочет, а вернется. И все пойдет, как прежде. Нужно было бросить этот мешочек в лесу или сжечь. Он отстегнул второй крючок. Цырен-Доржи подступил ближе, готовясь начать осмотр. Жоргал глубоко вздохнул и вдруг сам вытащил бурхан, взялся за него обеими руками, не снимая шнурок с шеи.

— Порву! — И напряг пальцы, отчего шелк слабо треснул. — Я сильный!

Барон поднял кольт.

— Выстрелишь, — крикнул Жоргал, — а я все равно порву! Мертвый порву!

— Зачем? — спросил Унгерн.

— Чтобы ты не жил, собака!

— Дурья твоя башка! — громко, дабы все слышали, сказал Роман Федорович. — Думаешь, Саган-Убугун хранит меня только потому, что я ношу его бурхан?

Казачи, посмеиваясь, сидели в отдалении, а чахары и буряты начали подходить ближе.

— Я сражаюсь за веру, поэтому Саган-Убугун любит меня. И без бурхана будет любить...

Но Жоргал ему не поверил. Ясно было: отпустишь бурхан, сразу убьют. Порвешь — тоже убьют. Лишь так вот, вцепившись ногтями в шелк, он еще мог жить.

Роман Федорович повернулся к Цырен-Доржи:

— Спроси-ка, здесь ли Саган-Убугун.

Упав на колени перед Манькой и пробормотав короткую молитву, тот воскликнул:

— О, великий! Подай знак, что ты с нами!

Кобыла чуть присела на задние ноги, заржала, и тогда Жоргал заплакал. Слеза потекла по щеке, по пробивающимся усам, заползла в угол рта. Ослабли сжимавшие шелк пальцы, но он пересилил себя и закричал:

— Говоришь, не нужен бархан, да? А зачем его моему брату надевал?

Роман Федорович не сразу нашелся, что ответить. Дух, им же самим вызванный из бездны, перестал повиняться. Узкие глаза его воинов смотрели строго и недоверчиво. Казаки и те притихли. Все ждали, что будет. Роман Федорович улыбался, а душа ныла. Чахеры, конечно, считают, что его охраняет этот амулет, подаренный богдо-ханом. Любовь Саган-Убугуна должна быть воплощена в какой-то вещи, иначе в нее трудно поверить. То, что могло его спасти, вновь вознести на вершину власти, могло, оказывается, и погубить. Пуля, пущенная в Жоргала, рикошетом ударит и в него самого. Все пойдет прахом, если этот дурак порвет амулет. А доказать, что Саган Убугун и без бурхана будет вести себя по-прежнему, уже нельзя. Пока нельзя.

Тем временем Дыбов отошел в сторону, затем неслышно начал подкрадываться к Жоргалу сзади. Молодец, подумал Унгерн, догадался.

Но Жоргал заметил, повернул голову.

— Не подходи, порву!

Выругавшись, Дыбов замер, опустил шашку. Цырен-Доржи переводил сострадательный взгляд с Жоргала на Романа Федоровича и обратно — он жалел их обоих. Оба они не знали истинной мудрости, поклонялись фетишам, а теперь расплачивались за это.

Держа бурхан перед грудью, Жоргал то сдвигал руки, то чуть разводил их, натягивая шелк, словно играл на маленькой игрушечной гармонике. Он чувствовал, что не сможет долго так стоять, все равно рано или поздно собьют с ног, отнимут бурхан. Он уже был весь мертвый, только в пальцах оставалась жизнь, но они дрожали от напряжения, слабели. Скоро им не под силу будет справиться с китайским шелком.

— Отдай, — сказал Цырен-Доржи. — Ван простит тебя.

Унгерн кивнул:

— Клянусь Буддой...

— Клянись по-русски, — сказал Жоргал.

— Слово русского офицера. Прошу!

— Нет, — усмехнулся Жоргал. — Не так.

Тогда Унгерн подошел к нему, встал спиной к чахарам и мелко перекрестился, шепнув:

— Вот те крест!

Теперь Жоргал окончательно уверился, что все дело в бурхане. Он понял: наступил час его смерти. Но не было ни тоски, ни страха, только слезы почему-то бежали по щекам. Он видел, как белая кобыла, дергая шеей, стянула с дерева повод и, никем не замеченная, побежала в сторону, скрылась за склоном сопки.

— На! — крикнул Жоргал и со всей силой рванул бурхан, разорвал пополам, но ни одна из половинок не упала на землю, обе повисли на шее, на шнурке. Разорвал и закрыл глаза, ожидая выстрела. Стоял, качаясь, и слезы, затекавшие в рот, уже не казались солеными — он знал, что мертвые плачут пресными слезами. Но выстрела все не было, Жоргал открыл глаза и увидел Дыбова.

— Не стреляйте, ваше превосходительство, — говорил он. — Красные близко... Я его по-казацки успокою.

Дыбов поднял шашку, но руку его перехватил один из чахаров, толстый и веселый.

— Зачем человека без пользы резать? Отрубим ему уши, за собой бросим.

— Потом отрубишь, — сказал Дыбов, пытаясь вырвать руку.

Но чахар держал его крепко.

— С мертвого нельзя, не поможет. С живого надо! Завтра отрубим... Ночевать здесь надо. Кони устали, не пойдут дальше.

— Оставь его, — сказал Дыбову Унгерн. Ссориться с чахарами не хотелось. — Пусть делают, как знают.

Жоргала связали, положили под деревом. Трое всадников, заметив наконец исчезновение Маньки, бросились ее ловить, но через час вернулись обратно, так и не поймав.

Я снова взял со стола бурхан, взгляделся. Как раз посередине тянулся едва заметный нитяной шов, от которого тело Саган-Убугуна и казалось немного скрюченным. Он похудел, когда его сшивали, свел плечи и тянул грудь. Но лицо было спокойно, Саган-Убугун по-прежнему улыбался, и ладонь его, тоже не затронутая швом, выглядела непропорционально большой по сравнению с ушитым телом.

— Мать починила, — объяснил Больжи.

Все кончилось после того, как Жоргал разорвал бурхан и пропала кобыла Манька. Ночью покинули Романа Федоровича последние казаки, а чахары, посоветовавшись, под утро связали своего вана, посадили его со связанными руками на лошадь и повезли навстречу 35-му кавполку, который уже вырастал на горизонте, раскидывался извилистой цепочкой головного эскадрона, и барону Унгерну показалось на миг, что это не всадники скачут, а бегут по степи тени полуденных облаков.

Рядом, тоже связанного, везли Цырен-Доржи. На его всегда аккуратно выбритой круглой голове отросли и как-то вдруг сделались заметны торчащие, как у чертика, жесткие черные волосы. Поглядев на них, Роман Федорович вспомнил легенду об отшельнике, зло сплюнул скудную слюну. Цырен-Доржи не обратил на это внимания. У его стремени, по пояс в петербургском холодном тумане, шел сиамский принц, говорил, что даже из тех волос, которые Саган-Убугун отрастил за семьсот лет, невозможно сплести мост через эту бездну.

Жоргала чахары отпустили на все четыре стороны, и он, распевая песни, поехал домой, в Хара-Шулун.

А с Чижовым я встретился через два года, когда после демобилизации решил съездить в Ленинград, где ни разу не бывал. Но встретились мы не в Казанском соборе, не под сенью воронихинских колоннад. Я увидел его в одном из тех букинистических магазинов, где обычно вахту несет всего один продавец, и держится он с царственной неприступностью, потому что магазинчик маленький, клиентура постоянная, цены высокие, а картотека имеющихся в наличии изданий лишь отчасти отражает действительное положение вещей. Именно так

и держался Чижов — с безмятежным достоинством профессионала. Был семьдесят второй год — золотой век букинистической торговли, но тогда я этого не понимал. Чижов казался мне Адамом, изгнанным из райского сада науки. Я никак не ожидал увидеть его здесь, вернее, увидеть в таком качестве и все-таки узнал сразу, едва вошел в магазин. Все с той же острой светло-рыжей бородкой, напоминающей ломтик дыни, в сатиновом халате и нарукавниках, он говорил какой-то нервной седовласой женщине, которая порывалась пройти за прилавок и посмотреть книги на полках:

— Нет. Я сам покажу все, что вас интересует.

Я узнал его сразу еще и потому, что думал о нем.

— Разрешите взглянуть вон ту книжку, — попросил я, указывая на верхнюю полку.

Чижов полез по стремянке, достал, положил передо мной. Дождавшись, пока он спустится, я потребовал со-седнее издание. Чижов полез опять. Мое лицо не вызвало у него никаких воспоминаний. К тому же я был в штатском.

— Еще, пожалуйста, вот эту...

Я интересовался книгами, расположенными исключительно на самой верхотуре. Труднодоступными.

Чижов недобро покосился на меня, но промолчал. Поволок стремянку в указанном направлении. Он бы и рад был, наверное, пустить меня за прилавок, однако рядом стояла та женщина, которая сама туда просилась и получила отказ.

— Вот видите, — злорадно сказала она. — Вам же было бы легче работать.

Чижов не удостоил ее ответом — он тянулся за книгой. Стремянка опасно раскачивалась на неровном полу. У меня возникла надежда, что он, может быть, упадет. Это был бы лучший вариант. Но Чижов не упал. Протягивая очередной том, спросил:

— Молодой человек, вы нарочно разыгрываете спектакль перед дамой? Она же не подходит вам по возрасту.

— Хам! — сказала женщина и ушла, хлопнув дверью.

— Вы меня не узнаете? — Я чувствовал себя графом Монте-Кристо, явившимся из небытия, чтобы отомстить. — Семидесятый год. Краеведческий музей. Помните лейтенанта, у которого вы взяли амулет с Саган-Убугуном?

— К сожалению, не помню, — сказал Чижов. — Что-то будете брать из этих книг?

— И не подумаю, — нагло улыбнулся я.

Он спокойно убрал всю груды под прилавок.

— Что вас еще интересует?

Был, конечно, соблазн погонять Чижова по полкам, пока не вспомнит, но я вовремя раскусил его хитрость. Та женщина ушла, и попроси я еще какую-нибудь книгу, он тут же пригласил бы меня пройти за прилавок.

Я склонился к самому лицу Чижова:

— Жду вас на улице...

По-прежнему накрапывал дождь, туманил витрину, где лежали раскрытые на титульных листах старые книги — девятнадцатый век, начало двадцатого. Дождь был гораздо старше. Я встал так, чтобы держать под наблюдением оба входа, парадный и служебный. До закрытия магазина оставалось минут сорок. Приятно было думать, как все эти сорок минут Чижов будет маяться ожиданием. Я запросто мог его отлупить — был выше, крепче и, главное, моложе. Не в том смысле моложе, что ловчее, реакция лучше, а так, безответственное.

Чижов вышел уже около восьми часов — надеялся, видимо, что мне надоест ждать. Заметив меня, быстро зашагал в сторону Невского. Я двинулся за ним. Сразу догонять не стал, чтобы он дольше помучился. Несколько раз Чижов оглядывался, замедлял шаг, хотел остановиться, выяснить отношения, но так и не остановился, а на Невском даже сделал ряд попыток стряхнуть меня с хвоста. Он залетал в гудящие, простроченные треском бесчисленных кассовых автоматов магазины, нырял в толпу, выныривал, однажды перебежал проезжую часть на красный свет, но все в пределах нормы, со стороны не подумаешь. Чижов, похоже, сам внушал себе, что просто он торопится, просто заглядывает по пути в магазины. Ближе к центру толпа густела, словно каша, из которой выпаривается вода. Я не отставал, наслаждаясь этой гонкой по огромному, чужому, залитому огнями мокрому городу. Шел за Чижовым по пятам, как 35-й кавполк за бароном Унгерном. Шел и, подогревая себя, мстительно бормотал: «Вы шулер и подлец! И я вас здесь отмечу, чтоб каждый почитал позором с вами встречю...»

Внезапно Чижов метнулся на край тротуара, взмахнул рукой. Зеленый огонек прижался к обочине. Чижов сел в такси, хлопнул дверцей. Огонек погас. Я едва

успел вскочить на заднее сиденье, когда машина уже тронулась.

Водитель притормозил.

— А вам куда?

— Туда же, — сказал я.

Чижев даже головы не повернул. На месте он расплатился сполна. Я платить не стал — денег оставалось на обратный билет, на носки для деда и на то, чтобы пару раз поесть в диетической столовой. Мы вылезли одновременно. Машина уехала, шум дождя сделался слышнее. Может быть, это шумело море. Вроде бы мы находились на Васильевском острове. На доме висела табличка с надписью «...линия», а из художественной литературы я знал, что улицы называются линиями, как в дачном поселке, только на этом острове, где когда-то жили булочники, аптекари и Александр Блок. Рядом сиял стрельчатыми окнами большой гастроном. Мы стояли в луже друг против друга, и я не знал, что говорить. Мелодия разговора звучала во мне, а слов не было.

— Да нет у меня вашего амулета! — не выдержав, заорал Чижев. — Честное слово, нет!

— Где же он?

— Подарил одной знакомой. Она в Москве живет.

— А вы, значит, в Ленинграде.

Пронеслась машина, обдав нас грязью.

— Дурацкий разговор, — сказал Чижев. — Я в Ленинграде. А вы?

— В Перми, — ответил я, хотя можно было и не отвечать.

— Подумать только, как нас всех раскидала жизнь... Хотите, дам десять рублей? Будем в расчете.

— Вы же предлагали рубль? Помните?

Из-за угла, грозя снова окатить нас грязной водой, вынырнула машина. Я схватил Чижева за локоть, чтобы оттянуть подальше от проезжей части.

— Двадцать пять, — накинул он, вырывая руку и оставаясь на месте.

Я успел отскокить, а его забрызгало. Это придало мне уверенности.

— Ладно, — сказал я. — Давайте десять, и пошли в магазин.

— Я не пью, — испугался Чижев.

— Идемте, идемте.

Я затащил его в гастроном, поставил в очередь к кас-

се, а сам побежал в бакалейный отдел. Индийский чай высшего сорта продавался свободно. Чижов с десяткой наготове честно ждал моих указаний. Я велел ему купить на все деньги чаю. Получалось что-то около восемнадцати пачек, но он проявил неожиданное благородство, выбил чек на двадцать, выйдя за пределы обговоренной суммы. Мы загрузили их в мой портфель.

— Понимаю, — сказал Чижов. — Какие в провинции развлечения? Разве чайком побаловаться.

— Теперь на почту, — ответил я.

— Какая почта? Все закрыто.

— Тогда завтра увидимся.

У Чиждова вытянулось лицо:

— Это еще зачем?

Но я уже уходил от него в неизвестном направлении. Мне было все равно, куда идти. Всю ночь я скитался по городу, под утро немного поспал на вокзале, а днем, в два часа, когда букинистический магазин закрывался на обед, опять предстал перед Чижовым. Чуть не силой повел его на почту, и мы отправили посылку с чаем в Хара-Шулун, Будаеву Больши Будаевичу. Потом зашли в кафетерий, на паях выпили по чашке кофе, съели по пирожку с запеченной сосиской — питерское лакомство, о котором я и не слыхал. На плацкартный билет денег уже не хватало. Я решил, что поеду в общем, и купил еще один пирожок. Чижов стал оправдываться: дескать, получил тогда телеграмму и вынужден был срочно выехать из города. Я видел, что он врет, но мне это даже нравилось — пускай врет. Сосиска брызгала горячим соком, злость куда-то исчезала. Настоящая месть должна быть чуточку сентиментальна, говорил Чижов, имея в виду Жоргала, про которого я ему рассказал по дороге на почту, но как бы и меня тоже. Она должна быть неразумна, смешна, нелепа. В этом случае месть ведет к пониманию между людьми. Расчувствовавшись, Чижов хотел купить еще чаю и послать в Хара-Шулун от своего имени. Я сказал, что хватит, и он тут же со мной согласился. Его научный руководитель умер, диссертацию не удалось защитить. Жена, ребенок, зарплата сто рублей. И никаких перспектив на жилье. А среди собирателей книжного антиквариата есть люди с положением. Обещают помочь с квартирой. Тогда он снова займется наукой. А пока приходится жить с тещей. Но с ним считаются в научном мире. Недавно из Улан-Удэ пришло письмо, просят

о консультации. Он им написал: шлите копченого омуля. В шутку, конечно. Кстати, рисунок на амулете нанесен красками, сделанными из рыбьих костей. Надпись тоже. Ничего там особенного не написано. Пустяки... Причем кости не от всякой рыбы. Их, значит, вываривают... Но тут по радио пропикало три часа, и Чижов помчался в свой магазин.

Мой поезд уходил вечером, и я снова отправился бродить по улицам.

Нева была шире, чем Селенга, но уже, чем Кама.

Медный всадник топтал змею, в год которой родился Жоргал.

Отсюда, из этого города, генерал-майор Унгерн фон Штернберг как полномочный эмиссар Керенского летом 1917 года отбыл в Забайкалье, чтобы укрепить среди тамошних казаков доверие к Временному правительству. Обрато уже он не вернулся. Через три с половиной года генерал-лейтенант Унгерн стоял под Ургой, смотрел в бинокль на витую кровлю дацана Узун-хурэ, где рядом с колесом учения Будды, похожим на корабельный штурвал, китайские гамины в пепельно-серых мундирах устанавливали пулемет. Саган-Убугун, Урга, Унгерн. В остзейской фамилии странно отзывалось название монгольской столицы и имя буддийского отшельника с их «у», «г», «р» или «и», словно некто, дающий имена и через имена определяющий судьбы, заранее предвидел, что когда-нибудь они встанут рядом. Унгерн смотрел в бинокль, градуировка шкалы рассекала пыльное облако, в котором скакали чахары с пиками наперевес. Богдо-хан, выкраденный им у китайцев, терпеливо ждал своего часа. Саган-Убугун уже садился на белую кобылу, чтобы ехать не то на восток, не то на запад — никто не знал, в какой стороне расположено его горное озеро. Горы были везде, озера — тоже. Жоргал и Болжи ссорились из-за молочной пенки, мать их мирила. Роман Федорович терпеть не мог молочную пенку — тошнило от одного ее вида, но, несмотря на это, дух, вызванный им из бездны, был еще послушен. Казалось, что походы Чингисхана окончились только вчера. Такое было время. В это время мой дед составлял опись движимого имущества во дворце свергнутого бухарского эмира. Бабушка, беременная моей мамой, шила распашонки и видела за окном тяжелые снежные горбы на домиках Замоскворечья. Февраль был где белым, где желтым, где зеленым. Через полгода, когда конные сот-

ни великого вана пересекли границу Дальневосточной республики, в Петрограде шел дождь, песчаные вихри катились над бурятской степью, а между ними, посередине огромной страны, в деревянном городе моего детства, о котором ни дед, ни бабушка еще не думали как о городе своей старости, выюгой тополиного пуха заметало недавно переименованные улицы — прямые, немощенные, с заржавелыми водопроводными колонками, торчащими на углах кварталов, как вкопанные в землю старинные пушки. Восток и Запад были двумя зеркалами, с двух сторон поставленными перед Россией. Она гляделась то в правое, то в левое, всякий раз удивляясь тому, что отражения в них не похожи одно на другое.

В юности я сочинял стихи. Сидел на лавочке возле Медного всадника и записывал в книжечку: «Там, где желтые облака гонит ночь на погибель птахам, всадник выткался из песка, вздыбил прах и распался прахом...»

Московская знакомая Чижова включила пылесос, поднесла его урчащее жерло к маленькому пакетику из шелка, подвешенному на нитке к трюмо или книжному шкафу. Пакетик начал биться, дрожать, а пылесос гудел, вытягивая из него последние пылинки Азии, ее песчинки.

Романа Федоровича Унгерна, карателя и садиста, увезли в Иркутск, затем в Новониколаевск, там судили, приговорили к высшей мере социальной защиты и расстреляли.

А на следующий день Цырен-Доржи, близоруко шурысь, вышел из тюремных ворот на улицу. Ему выдали проездные документы до монгольской границы и отпустили. От солдата из охранной команды он знал, что расстрелянных закапывают на пустыре за городом.

Цырен-Доржи добрался туда лишь поздно вечером. Прежде побывал на рынке, где приобрел зеркальце и два мешочка: один с конопляным семенем, другой — пустой. Этот мешочек он наполнил на берегу Оби крупным чистым песком. Комья глины над могилой подсохли, рядом валялся расщепленный черенок лопаты. Бродячие псы кружили по пустырю, Цырен-Доржи гнал их, но они не уходили, с волчьей сторожкой настырностью садились в нескольких шагах. В домишках на окраине розовым закатным огнем полыхали окна. Как и везде, на закате здесь тоже подул ветер, остудил голову Цы-

рен-Доржи, чисто выбритую тюремным парикмахером. Вокруг громоздились кучи мусора, поросшие лопухами и крапивой. Мусор был сухой, опрятный, ничем не пах, потому что время голодное, гнить нечему. Пахло чужой травой, чужой осенью. И все-таки запах тления витал над пустырем — почти неуловимый, кажущийся, проникающий в сознание не через ноздри, может быть, а через глаза, которые видят эту подсохшую глину, этот черенок лопаты.

Цырен-Доржи подобрал искалеченный венский стул, добил его о землю и развел из обломков небольшой костерок. Опустившись на корточки, вынул мешочек с заговоренным песком, посыпал приплюснутый бугорок над телом вана, прочитал молитву. Затем достал маленькое круглое зеркальце на ручке, а из другого мешочка высыпал на него горсточку конопли: кунжутных зерен на рынке не оказалось. Осторожно вода пальцем, как это делают женщины, перебирая на столе крупу, он выложил из конопляных зернышек фигурку скорпиона и долго шептал над ней, пока все грехи тела, слова и мысли покойного вана не переселились в этого скорпиона, темневшего на поверхности зеркальца. Тогда Цырен-Доржи начал сбрасывать коноплю в огонь, но не всего скорпиона сразу, а по частям — сначала правые лапки, потом левые, потом загнутый хвост и тулово. Он сбрасывал их резкими щелчками, и грехи Романа Федоровича сгорали вместе с конопляным скорпионом. Горели гордыня и ложь, ненависть и неверие. Они сгорали, чуть потрескивая, в этом костре на окраине Новониколаевска, рассыпались пеплом на обугленном черенке лопаты, которой рыли могилу для вана, — черенок Цырен-Доржи тоже положил в огонь.

Между тем он сел прямо на землю и, раскачиваясь из стороны в сторону, зашел, забормотал:

— Ты, создание рода размышляющих, сын рода ушедших из жизни... Послушай... Вот и спустился ты к своему началу... Плоть твоя подобна пене на воде, власть — туман, любовь и поклонение — гости на ярмарке... Все обманчиво и лишено сути... Не стремись к лишенному сути, ибо новое перерождение твое будет исполнено ужаса...

Качался Цырен-Доржи, качалось пламя костра.

— Ты, ушедший из жизни, прислушайся к этим словам... Все собранное на земле истощается... высокое —

падает... живое — умирает... соединенное — разъединяется...

Он хотел покорить полмира, как Чингис, а теперь лежал в сибирской глине, и наконец-то Цырен-Доржи, всегда знавший, как печально любое завершение, мог сказать ему об этом прямо. Все на земле проходит, но и тот, кто забывает эту истину, тоже достоин зауспокойной молитвы, особенно если он забывал ее с такой яростью, как Роман Федорович, который подчинил силе своего забвения даже всезнающего Цырен-Доржи, заставив и его стремиться к лишенному сути.

— Пусть огонь победит деревья... Вода победит пламя... Ветер победит тучи... Боги да укрепятся истиной, истина да правит, а ложь да будет бессильна, — пел Цырен-Доржи.

Он ждал, что вот сейчас одна звезда над ним загорится ярче других, из сердца Будды исторгнется белый луч, ослепительно сияющий и полый внутри — божественный тростник, растущий вершиной вниз, пронизет могильную глину, и душа Романа Федоровича, покинув мертвое тело через правую ноздрю, втянется в сердцевицу этого луча, унесется по нему к звездам, как пуля по ружейному стволу.

Цырен-Доржи смотрел вверх, но темно и пусто было в небесах. Будда Амитаба, владыка Западного рая, не принял душу Унгерна к себе.

Все сильнее дул ветер, догорал костер, комья сухой травы бесшумно пролетали над его синеющими языками и пропадали во тьме.

Пробираясь из Новониколаевска в Тибет, Цырен-Доржи встретил в одном из дацанов хара-шулунского лама, который позднее стал колхозным счетоводом. На ночлеге Цырен-Доржи рассказал ему о том, как пытался спасти душу Унгерна. Через много лет лама вспомнил об этом в разговоре с Жоргалом. От Жоргала узнал Больжи. Сам Цырен-Доржи считал, что или он опоздал, явившись на могилу через сутки после расстрела и душой Унгерна завладел русский бог, или конопля не смогла заменить кунжутные зерна. Но хара-шулунский лама предполагал, будто владыка ада Чойжал снизу, из-под земли, просунул в могилу свою черную трубу и через левую ноздрю Унгерна высосал его душу к себе, в подземную область.

Рассказывая мне об этом, Больши для наглядности издал губами протяжный чмокающий звук, после чего добавил:

— Конечно, сказка... Мы не верим.

Пока Жоргал ехал домой, в улусе уже узнали о том, что красные схватили Унгерна, хотя никто не понимал, почему Саган-Убугун его не защитил. Эту весть принес из города Аюша Одоев, служивший в 5-й армии и награжденный за храбрость часами, но даже Аюша никому ничего не мог объяснить, потому что сам не знал. А Жоргал, вернувшись, все рассказал, показал разорванный бурхан, и скоро отец Хандамы, самой красивой девушки улуса, разрешил ему привести к своей избе коня помолвки. Слава Жоргала до краев наполнила Хара-Шулун, потом переплеснула в соседние улусы, разлилась по степи, отчего и маленькому Больши стало хорошо — старшие ребята его не обижали, взрослые давали лучшие бараньи лодыжки в «шагай» играть. Многие издалека приходили в Хара-Шулун, чтобы взглянуть на человека, который сделал Унгерна мягким, как все люди. Когда же следующей весной посылали делегатов от аймака в Верхнеудинск, на праздник 1 Мая, послали и Жоргала — не посмотрели, что молодой, что совсем недавно отвязал своего коня от материнской золотой коновязи.

Накануне отъезда зашел к ним в юрту нагаса, сказал:

— Ты великий батыр, Жоргал! Почему у тебя нет ордена? У Аюши Одоева и то часы есть, а что перед тобой Аюша? Приедешь в город, иди к начальнику, проси орден. Сам начальником будешь!

На праздник в Верхнеудинск съехалось много народу. В большой комнате маленькие мужчины говорили длинные речи, и все собравшиеся громко били в ладоши, словно отгоняли злых духов. Бойцы народно-революционной армии ДВР с песнями шли по улице, везли пушки. Жоргала с товарищами поселили в каменном доме, у каждого была железная кровать, две простыни и одеяло. Трижды на дню их кормили в столовой и ели бесплатно — вместо денег отдавали простые бумажки с печатью. Жоргалу выдали девять таких бумажек: праздник должен был продолжаться три дня. В первый день он съел завтрак, обед и ужин, во второй ничего не ел,

берег бумажки, а на третий день пошел в лавку — хотел на пять бумажек купить косынку для Хандамы, чтобы на шестую еще поужинать напоследок. Но хозяин лавки его прогнал. Тогда Жоргал нашел начальника, который выдавал делегатам эти бумажки, и объяснил ему, почему удалось захватить барона Унгерна. Он думал, что если начальник и не даст ордена, то уж во всяком случае даст часы, как у Аюши Одоева, а эти часы можно подарить Хандаме вместо платка. Но начальник был русский, из всего рассказанного Жоргалом он понял только одно: этот парень сам пришел к Унгерну, воевал против Советской власти, а теперь явился с повинной, потому что увидел, как сильна власть, устроившая такой замечательный праздник, и лучше скорее повиниться перед этой властью, чем ждать, пока она сама обо всем узнает. Он позвал другого начальника, тот позвал солдат, и Жоргала отвели в тюрьму, отобрали талоны на бесплатное питание. Когда их отобрали, Жоргал ударил одного из начальников кулаком, тот упал, из носу у него потекла кровь. Поэтому делегатам, пришедшим просить за Жоргала, его не отдали, сказав, чтобы в следующий раз тщательнее проверяли людей в своем аймаке.

Целый месяц Жоргал просидел в тюрьме, где выучился играть в карты. Следователю на допросах он рассказывал про Саган-Убугуна, сплющенные пули и кобылу Маньку. Следователь записывал и кивал головой. Он понимал, что если все это правда, то Жоргалу нужно дать орден, а не держать в тюрьме. Но, будучи человеком образованным, понимал и другое: правдой это быть никак не может. Через неделю допросы больше стали походить на задушевные беседы. Следователь пытался растолковать Жоргалу вред религиозных пережитков, из-за которых он теперь лишен возможности спать с молодой женой. Жоргал тяжело вздыхал, соглашался, показывал, какие у Хандамы маленькие уши и тонкие руки, по ночам представлял, как она обнимает его, а на запястье у нее тикают золотые часы, охотно ругал лам за жадность, но вины своей не признавал и от рассказанного не отступался. Тогда следователь стал ловить его на противоречиях. Их обнаружилось достаточно, поскольку Жоргал, твердо придерживаясь основной линии, в частностях легко менял показания, чтобы угодить следователю. Но тот не радовался, а, напротив, сердился. Возвращаясь в камеру, Жоргал в бешенстве

бил по стене кулаками, потом отсасывал из разбитых костяшек кровь и скулил, как побитый пес.

Приезжал в город отец Хандамы с тремя мужчинами, не родственниками. Они подтвердили, что в Унгер-на стреляли из ружья с расстояния пятнадцати шагов и не могли убить. Следователь посоветовался с начальством, но отпускать Жоргала было не велено. Сказали: «Отпустив его, мы продемонстрируем всему бурятскому населению, что верим в эту чертовщину, и тем самым сыграем на руку ламской пропаганде». В конце концов и в самой тюрьме отыскался свидетель, бывший в отряде Унгерна и все видевший. После его очной ставки с Жоргалом следователь не пошел на службу, остался дома. Лежал на койке, бессмысленно уставившись в потолок, и повторял: «Есть многое на свете, друг Горацио...» Этой цитатой он собирался начать разговор с начальством. На следующий день Жоргала отпустили домой.

И Жоргала оставили в покое.

Вернувшись в Хара-Шулун, первым делом он побил нагаса — за то, что дал такой совет. Затем побежал к матери, хотел взять у нее бурхан и разорвать в куски. Но мать не дала. Спрятала. А когда Больжи уходил на фронт, повесила бурхан ему на шею. И он остался жив, ни одна пуля его не задела. А Жоргал погиб. Правда, не от пули, от минного осколка.

После войны Больжи и Хандама вместе работали на ферме. В октябре пятьдесят третьего года они поехали в аймачный центр, на торжественное заседание, посвященное 30-летию Бурят-Монгольской АССР. На этом заседании в клубе выступал Аюша Одоев, делился воспоминаниями о гражданской войне, о боях с Унгерном, которого будто бы он, Аюша, лично и поймал, в решающем поединке выбив саблю у него из руки. Пионеры подарили Аюше модель трактора, оркестр заиграл туш, все захопало, а Хандама умоляюще взглянула на Больжи:

— Если ты мужчина, иди и скажи, как было на самом деле!

— Почему сама не пойдешь? — спросил он.

— Плакать стану, — ответила Хандама. — Все русские слова забуду.

Но Больжи не пошел, побоялся, и с того вечера Хандама до самой своей смерти с ним не разговаривала.

— Тогда еще не старый был, — сказал Больжи. — Пузырь надувался...

Он стоял у окна, смотрел на улицу. Я подошел, встал рядом. Порывами дул ветер, закручивая вдоль дороги песчаные столбики. Как только их сносило на траву, они тут же рассыпались.

— С Гусинки дует, — определил Больжи.

И вот что странно: к концу его рассказа секрет загадочной неуязвимости Унгерна как-то перестал меня занимать. Расплющенные пули обернулись второстепенной, даже, можно сказать, технической деталью, которая любопытна сама по себе, но не столь уж и важна для понимания целого. Неловко было к ней возвращаться. Все равно, как в присутствии автора картины интересоваться гвоздем, на котором она висит.

Я не думал, что Больжи всерьез верит в волшебную силу своего амулета. А если и верит, то не больше, чем абитуриентка, надевающая стоптанные босоножки, чтобы не провалиться на экзамене. Бурхан был всего лишь поводом позвать меня в гости и рассказать историю Жоргала.

Все так.

Тем не менее, отойдя на приличное расстояние от крайних домов, я повторил опыт Жоргала — подбросил вверх камешек и поймал на грудь, как футбольный мяч.

Шелковый пакетик покоился в нагрудном кармане гимнастерки. Больжи сам положил его туда и застегнул пуговицу.

Тактику танкового десанта мы отрабатывали в поле, а вечером танки и бронетранспортеры перегоняли в ложбину между сопками, укутывали маскировочными сетями, выставляли часовых. Еще по дороге до меня донеслось пение трубы, мелодично обещавшей кашу с тушенкой и компот. Капитан Барабаш любил классические армейские сигналы. В дни его дежурства по части сначала на плац выходил трубач, а уж потом включалась селекторная связь.

Я зашагал быстрее, немного срезал путь, пройдя кустарником по склону сопки, и лагерь открылся передо мной с высоты, весь разом. Боевые машины казались отсюда огромными бесформенными свертками. Новенькие маскировочные сети с бутафорскими листьями были чуть зеленее, чем рано пожухнувшая трава. Возле

переднего танка ходил часовой, на его автомате поблескивал примкнутый штык-нож. Неподалеку стояли наши палатки, среди них одна стационарная, с окном. Возле ручья дымила кухня. Солдаты с котелками сидели на траве: старослужащие группами, молодняк — по одному, по двое. Отдельно расположились офицеры — Барабаш, ротный, командиры взводов. Было такое чувство, будто лагерь подо мной замер в моментальном снимке. Мелкие движения рук, выгребаящих из котелков кашу, шаги часового, качание ветки — все это ничего не значило, было несущественно для общей картины. Я видел, как прекрасны лица моих друзей, слышал, не слыша ни одного слова, как значительны их разговоры. Я спускался к ним. Песок, сыпавшийся из-под моих сапог, как в песочных часах, отмеривал минуту счастья и полноты жизни.

Я быстро поел, выпросил на кухне полкотелка горячей воды и пристроился у палатки бриться. Офицеры разошлись, остался один Барабаш. Немыслимо изогнув свое длинное костистое тело, он зашивал порванный брезентовый чехол от сигнальных флажков. Ротный такими вещами не занимался, просил солдат, но Барабаш всегда все делал сам. Соскребая двухдневную щетину, я рассказывал ему про Больжи, Жоргала и барона Унгерна. Барабаш сперва посмеивался, но потом даже иглу отложил, слушал с интересом. А я заливался соловьем. Удивительная вещь, стоит хотя бы раз изложить вслух какую-то историю, и она западает в память уже в том виде, в каком досталась первому слушателю. Действительно бывшее, увиденное или услышанное заслоняется собственными словами, переливается в них. Приноравливаясь к Барабашу, который уже зашил свой чехол и теперь в любой момент мог встать и уйти, я кое-что присочинял на ходу, другое убирал, смещал акценты, делал грубый нажим в соответствующих местах, словом, строил сюжет, вязал интригу и позднее, пытаясь восстановить подлинный рассказ Больжи, с горечью убедился, что у меня это не получается. Видимо, и не получится. История простого человеческого мужества перед лицом власти, тайны и смерти в моем пересказе превратилась в плоское уравнение с одним неизвестным. Этим неизвестным были расплющенные пули.

Побрившись, я щедро полил себе шею и подбородок тройным одеколоном. Барабаш промолчал, хотя обычно, едва я приступал к этой гигиенической процедуре, тут

же отходил подальше сам или отсылал меня. Терпеть не мог этот запах.

Однако сейчас Барабаш, исследуя шелковый пакетик, словно и не замечал, как я лью на ладонь ненавистную жидкость.

— Ну, — хищно сощурившись, спросил он, — и что ты об этом думаешь?

— Черт его знает, — сказал я. — Мистика.

— А ты хорошо подумай.

— Может, панцирь был под халатом? — высказал я предположение, которое и раньше приходило мне в голову, но не казалось убедительным.

Барабаш тут же отверг его:

— Это какая броня должна быть, чтобы пули плющились! Соображаешь?

— Тогда не знаю.

Барабаш сдержанно улыбнулся. С такой улыбкой он выходил на огневой рубеж — всегда последним, когда остальные офицеры батальона уже отстрелялись, и руководитель стрельб заткнул щечками пробоины в мишенях.

— Знаете, так говорите, — сказал я без особого напора.

— Завтра, — пообещал Барабаш, возвращая мне амулет. — А пока думай. Ты же человек военный.

Утром я сунулся было к нему, но он отмахнулся:

— Потом!

Едва мы выехали в поле, забарахлил двигатель у моего бронетранспортера. Пока возились, я и не заметил, как Больжи прогнал мимо своих телят.

В обед Барабаш сам позвал меня:

— Ну что? Пойдем? — В руке он держал автомат.

— Куда? — спросил я.

— К приятелю твоему.

— А это для чего? — Я указал на автомат.

— Не догадываешься? — Барабаш вскинул его на плечо, и я заметил привернутую к стволу насадку для холостой стрельбы — специальное приспособление, которое часть пороховых газов возвращает в газовую камеру. Иначе нельзя вести огонь очередями: при холостом выстреле не срабатывает возвратно-спусковой механизм.

— А-а! — разочарованно протянул я. Эта мысль тоже приходила мне в голову.

— Что? — насторожился Барабаш. — Понял?

— Да я уж думал... Навряд ли.

— Почему?

— Не мне вам объяснять. Холостой сразу слышно.

Нет в нем настоящей раскатистости, глубины, эха, лишь короткий сухой хлопок, немного напоминающий выстрел из пистолета, но еще, пожалуй, рассеянное и суше. В этом звуке есть что-то неприятное и фальшивое, как во всякой имитации.

— Если заранее знать, тогда конечно, — сказал Барабаш. — А кто в богом забытом бурятском улусе видел тогда холостые патроны? Пастуху непонятно, зачем они вообще нужны. Да и охотнику тоже. Для этого надо быть военным.

— Можно по внешнему виду отличить, — возразил я.

— Ну да! Издали-то? Если я постараюсь, и ты со стороны не поймешь, какой патрон — холостой или боевой. Никто ведь из своих ружей не стрелял. Всем заряжал винтовку этот Дыбов!

Мы уже шли через поле к реке. Неизменный плащ и черная шляпа Больши маячили на прежнем месте. Утром прошел дождь, да и сейчас было пасмурно. Телята в воду не лезли, смиренно паслись на бережку. В своей брезентухе Больши издали казался каменным чучелком. Чем ближе мы подходили, тем беспокойнее становилось у меня на душе. Я догадывался, для чего Барабаш прихватил с собой автомат, но надеялся, что до этого дело не дойдет. И без того были опасения, что Больши сочтет меня болтуном, ничего не понявшим в его истории.

— Может, не ходить? — робко предложил я. — Бог с ним.

Но остановить Барабаша было не в моих силах. С упругой раскаткой кадрового офицера он продолжал идти вперед, исполненный решимости немедленно раскрыть Больши глаза на обман полувековой давности. Барабаш, видимо, искренне считал, что ему за это будут только благодарны. Он исполнял свой долг.

Мой пузырь, расположенный недалеко от головы, потихоньку начинал раздуваться, однако думать пока не мешал. Кое-какие факты, на которые я вчера не обратил внимания, теперь всплывали, требовали объяснения. Почему, например, Дыбов не разрешил Больши подобрать стреляную гильзу? Почему в решительную минуту Унгерн побоялся продемонстрировать Жоргалу, что

любовь Саган-Убугуна не исчезла вместе с амулетом и белой кобылой? Может быть, холостые патроны кончились?

— Все зависит от настроя, — говорил Барабаш. — От обстановки. Больжи, конечно, и на войне бывал, и холостые патроны видеть наверняка доводилось. Но он просто не связывал их с тем случаем. Звук не такой, значит, этот Убугун ладонью глушит. Наплети мне с три короба, сам все другими ушами услышу.

— А отдача? — выложил я свой последний козырь. — При холостом выстреле отдачи почти нет.

— Что отдача? Они, может, эту винтовку впервые в руки взяли. Откуда ты знаешь, какая, скажем, отдача у американской М-14? Вот и они так же. Нет, значит, и быть не должно.

Огонь горел в горне походной кузницы. Раскаленная пуля, зажатая щипцами, коснулась наковальни, и молот осторожно опустил на нее. Раз, другой. Два удара молота равносильны были одному движению ладони Саган-Убугуна. Белая кобыла Манька, имевшая, разумеется, и другое имя, более подходящее для той роли, которую суждено было ей сыграть, ждала своей очереди. Подручный кузнеца уже снял мерку с ее копыта, очеркнул углем на палочке. Дыбов складывал в мешок коробки с холостыми патронами. Кончался июль 1921 года. Роман Федорович ходил по лагерю, отдавая распоряжения: готовились вновь выступить на север. Цырен-Доржи с грустью наблюдал за своим учеником. Ученик оказался способным, в благодарность за слово истины он показал учителю, как дрессировать лошадей. И Манька тоже проявила себя способной ученицей. Но уже ничего нельзя было изменить. Цырен-Доржи знал, что власть, опирающаяся на обман, будет свергнута не мудростью познавших, а простотой одураченных. Он, мудрый, был бессилен. Ему оставалось только повиноваться. Если власть заставляет людей верить в то, во что не верит сама, она будет раздавлена тяжестью этой веры, думал Цырен-Доржи. Он понимал, что и сам Роман Федорович чувствует свою обреченность. Недаром драгоценный китайский чай сорта му-шань, предохраняющий от слабоумия в старости, он подарил Цырен-Доржи, сказав с печальной усмешкой:

— До старости я не доживу.

— Мэндэ! — улыбнулся Больжи. — Здравствуйте.

Приветствуя его, Барабаш козырнул изящно и четко, с конечным фиксированием ладони, как перед строем.

Больжи величавым жестом откинул полу плаща.

— Чай будем пить?

Он, оказывается, сидел со своим термосом в обнимку, как ребенок с любимой куклой.

— Будем, — быстро проговорил я, надеясь оттянуть начало разговора.

Нарисованные на термосе птицы топорщили разноцветные хвосты. Больжи отвинтил никелированный колпак, дунул в него, собираясь налить туда чай. Я смотрел, как поднимается пар над горлышком, лихорадочно соображая, чем бы отвлечь Барабаша, когда за спиной у меня внезапно прогремела короткая автоматная очередь. От неожиданности я присел, но тут же смекнул, что к чему. Обернулся. Барабаш стоял сзади, держа автомат у бедра. В шаге от него дымилось пятно обожженной травы. Стрелял он вниз и в сторону. На телят выстрелы произвели гораздо меньшее впечатление, чем на меня. Лишь некоторые медленно повернули головы и, не переставая двигать челюстями, уставились на Барабаша с любопытством, но без страха.

Больжи спокойно, словно ничего не произошло, наполнил чаем колпак, протянул мне:

— На! Хороший чай.

Все, с чем соприкасался Больжи, отмечено было незримым знаком качества.

Увидев, что телята бежать не намерены, ловить их не придется, Барабаш прицелился в стоящего на отшибе рыжего теленка и опять надавил спуск. На этот раз он выпустил длинную очередь — выстрелов пять-шесть. Автомат затрясся в его руках, из ствола вырвался пучок желтого пламени.

Теленок недовольно взмыкнул.

— Ничего, — успокоил его Барабаш. — По технике безопасности дальше семи метров можно. Газы не достают. — Он положил автомат, присел рядом с нами. — Ну что, видели?

— Видели, — кивнул Больжи. — Холостым стрелял. Зачем?

— Да вот, — Барабаш хлопал меня по плечу, — рассказывал вчера, как Унгерна убить не могли. Теперь-то понимаете, почему?

— Нет, — твердо ответил Больши.

— Чего тут не понять? Я в теленка целился. Так? Теленок живой?

— Жив, — согласился Больши.

— И с Унгерном то же самое...

— Эх ты! — укоризненно покачал головой Больши. — Думал, старый дурак, да? Холостой патрон не знает?

— Точно говорю! — Барабаш начал сердиться. — А пули он еще раньше в кузнице расплющил. Тюк-тюк, — и готово! Потом в пояс положит и вытряхнет, сколько нужно.

— Иди, начальник, — сказал ему Больши. — У тебя свои дела, у меня свои... Давай. — Он взял у меня колпак от термоса. Чай я уже выпил. — И бурхан давай!

Он морщил переносье, будто хотел и никак не мог чихнуть, отчего кожа на лбу у него как-то странно и неприятно двигалась, а вместе с ней как бы сама собой пошевеливалась и шляпа — незнакомый нелепый человечек сидел передо мной. Все чужое проступило в нем резче — удлиннились глаза, веки отяжелели, скулы выпятились, даже акцент сделался заметнее.

— Давай, — повторил он. — Тебе не надо.

— Подарки назад не берут, — ответил я детской формулой.

Мне показалось, что в глубине души он и надеялся услышать именно такой ответ: отдал, значит, ничего не понял или все забыл. Ведь мы с ним сами, вдвоем, установили правила этой игры — не сговариваясь, но доверяя друг другу.

Больши закрутил колпак, встал и направился к телятам, что-то раздраженно крича им по-бурятски, отчасти, вероятно, предназначенное нам — Барабашу и мне. Он шел по берегу, обняв свой термос, огромный, как огнетушитель, рядом с которым выглядел особенно маленьким — со спины вовсе мальчик, только волосы седые, а я молча смотрел ему вслед, и горло перехватывало от дурацкой, необъяснимой, никаких вроде бы разумных оснований не имеющей жалости к этому человеку, чья вера была не чем иным как гордостью, гордость — памятью, а память — любовью. И верностью.

— Эй! — окликнул его Барабаш.

Больши не оглянулся.

Шепотом выругавшись, Барабаш вскинул автомат и,

вода стволом перед собой, как десантник, приземлившийся в самой гуще врагов, расстрелял все оставшиеся в магазине патроны одной бесконечно длинной очередью. Отскочившая гильза обожгла мне руку, и как в этот момент — не знаю, случайно или нет — Больжи остановился.

— Чего палишь? Уже словами сказал.

— А если все было так, как я говорю? — спросил Барабаш. — Тогда что?

— Не было так, — покачал головой Больжи.

— Ну а если было?

— Тогда будешь думать, что Жоргал дурак неграмотный. Зря бурхан порвал. Все зря делал!

— Нет, — серьезно произнес Барабаш. — Этого я думать не буду.

— А что будешь?

— Лихой он парень, этот Жоргал. Вот что буду думать... Я бы лично дал ему орден. Он свое дело сделал.

Барабаш сказал то, что должен был сказать я. Сказав, закинул на плечо автомат и зашагал к дороге. Он тоже сделал свое дело, сомнения его не мучили. Теперь уходил Барабаш, а мы с Больжи смотрели ему вслед. Он шел через поле своей пружинистой прыгающей походкой, раскачиваясь всем корпусом, как разминающийся атлет — однажды мы встретились в городе, Барабаш был в штатском, и эта походка показалась мне смешной — а я стоял на месте, не зная, то ли его догонять, то ли идти к Больжи, который улыбался, но сам ко мне не спешил.

На следующий день приехали проверяющие, но не из дивизии, как ожидалось, а из штаба округа. Все прошло отлично. Ротного и взводных, в том числе и меня, наградили часами. Вернее, объявили о награждении, а сами часы мы получили осенью, на дивизионном строевом смотре. Только Барабашу ничего не досталось. Часы были системы «Командирские», со светящимся циферблатом, пыле- и водонепроницаемые. Кроме того, их можно было использовать как секундомер.

Через много лет моя жена утопила эти часы в Каме, стирая с мостков белье на даче. Примерно в это же время я прочитал книгу Б. Цыбикова «Конец унгерновщины» (Улан-Удэ, 1947), а также ряд других книг на эту тему. В них последние месяцы и недели унгерновской

авантюры описаны гораздо подробнее и несколько по-иному, чем следует из рассказа Бальжи. Считаю необходимым упомянуть об этом, но на своем стою твердо: что слышал, то слышал.

Наука история изучает причины и следствия. Последние, как правило, признаются всеми, а относительно первых возникают разногласия.

Р. Ф. Унгерн фон Штернберг (1886—1921), барон, генерал-лейтенант, был разбит в августе 1921 года под Гусиным озером, после долгой погони захвачен в плен, судим и расстрелян в Новониколаевске, ныне — Новосибирск.

Это следствие.

А причин много. Помимо изложенной, были, разумеется, другие, более важные и хорошо известные. На них я не останавливался.

ПО СЛЕДАМ ЛЕГЕНДЫ

*Герою Советского Союза
Алексею Алексеевичу Борканюку
посвящается*

От автора

Позвольте рассказать о человеке, которому посвящена эта повесть. Его биография была простой и очень сложной. Родился он на заре нашего века в небольшом закарпатском селе, что расположилось в центре Европы. Да-да, я и сам с удивлением узнал, что географический центр Европейского континента расположен возле Рахова в Закарпатье, обозначен он специальным знаком.

Его родной край не раз за свою длинную историю испытал на себе и чужеземные нашествия, и безжалостный гнет магнатов самых разных национальностей. Оторванный империалистическими хищниками от своей родины — Украины, он и в нашем уже столетии служил разменной монетой в разбойничьем торге колонизаторов разных мастей.

Все это видел Олекса Борканюк — ибо его судьба слилась с судьбой народа. Он стал комсомольцем, а вскоре и коммунистом. Партия направила его на учебу в СССР, он выехал из Закарпатья нелегально, по чужим документам, через несколько границ добрался до нашей страны, получил здесь образование и профессию журналиста, ибо считал, что публицистика должна быть боевым оружием партии в предстоящих классовых битвах.

Многие страницы жизни О. Борканюка, думаю, гораздо увлекательнее иных приключенческих романов, хотя он и был далек от «приключений» — ему приходилось работать в условиях подполья, а с началом Великой Отечественной войны взять в руки оружие.

Каким он был?

Всматриваюсь в его лицо: высокий лоб, тонкие черты, задумчивые глаза, изломанная, словно в удивлении миром, бровь.



Читаю строки, написанные им: «Всю жизнь я был честным, преданным народу, и никогда у меня в мыслях не было личной выгоды. И таким иду на смерть».

Он написал это ночью 3 октября 1942 года, когда ему сообщили о приговоре хортистского военного суда. Представляете, какое мужество и какая сила воли, уверенность в правоте своего дела и всей своей жизни должны быть у человека, чтобы письмо-завещание сестре и брату начать сообщением о смертном приговоре: «Сегодня меня повесят». В этом письме есть слова, которые объясняют, нет, не его спокойствие перед казнью — мужественное самообладание: «Верю также, что народ меня не забудет, когда настанут лучшие времена».

Народ не забыл и никогда не забудет своего верного сына — пламенного партийного публициста, замечательного партийного работника Алексея Алексеевича Борканюка, товарища Олексу.

Он прожил короткую жизнь — всего сорок один год. Все сознательные годы отдал, как писал сам, борьбе «за лучшее будущее бедного народа». Сын лесоруба-гуцула, Олекса Борканюк стал видным политическим и общественным деятелем, депутатом от КПЧ в парламенте буржуазной Чехословакии и не раз выступал с его трибуны с беспощадно резкими разоблачениями внутренней и внешней политики ее правительства. Неизменно и твердо защищал он интересы людей труда. Интерпелляции — запросы в парламент О. Борканюка и его товарищеско-коммунистов служат образцом того, как, используя легальные возможности, можно защищать исконные права трудящихся на работу, хлеб, мирную жизнь. Работая какое-то время в легальных условиях, О. Борканюк специально изучил законодательство буржуазной Чехословакии, чтобы успешно вести борьбу против беззакония и произвола, насаждаемого в те годы в Закарпатье «отечественной» и зарубежной буржуазией.

Олекса Борканюк был партийным работником подлинно большевистского типа, он много сделал для превращения краевой партийной организации Закарпатья в боевую организацию коммунистов, выражавшую интересы не только рабочих и крестьян, но и всех честных людей, желающих своему краю лучшего будущего. Борканюк резко выступал против сектантства и оппортунизма, национальной ограниченности.

Однажды почти случайно во время работы в Исторической библиотеке мне попала в руки книга «Чем явля-

ется для нас Советский Союз». Это был сборник статей, выступлений, интерpellаций секретаря Закарпатского крайкома Коммунистической партии Чехословакии Алексея Алексеевича Борканюка. Они были написаны и произнесены в тридцатые годы, когда Закарпатье, оторванное от родной Украины империалистическими договорами после окончания первой мировой войны, входило в состав буржуазной Чехословакии.

Я начал читать книгу и уже не смог оторваться от нее. Будто ветер жестоких классовых битв ворвался из прошлого в наше нынешнее время.

Статьи О. Борканюка поражают талантом, страстью, умением говорить о самом сложном просто и понятно для тех читателей — зачастую полуграмотных, — которым они предназначались. После учебы в СССР О. Борканюк был редактором молодежной газеты «Трудящаяся молодежь», потом редактировал орган Закарпатского крайкома КПЧ «Карпатскую правду», как уже говорилось, возглавлял краевую партийную организацию.

О. Борканюк был среди тех, кто одним из первых почувствовал страшную угрозу, которую нес человечеству гитлеровский фашизм, и вступил в борьбу с ним. Выступления О. Борканюка за единство рядов в отражении фашистской угрозы, за труд, хлеб и мир для трудящихся — эти выступления являют собой образец действий коммуниста-трибуна.

В конце 1941 года О. Борканюк и группа его товарищей были заброшены в оккупированное хортистами Закарпатье. Товарищ Олекса в тяжелейших условиях сделал все, что мог. До своей последней минуты он вел себя мужественно и смерть свою встретил достойно.

Значит, повесть «По следам легенды» — об Алексее Алексеевиче Борканюке?

Утверждать это со стороны ее автора было бы и самонадеянно и неточно. Мотивы этой повести, образы главного героя и его товарищей действительно навеяны, подсказаны мужественной жизнью товарища Олексы. Реальны многие события, в ней происходящие.

В Закарпатье в эти годы активную политическую деятельность вела целая плеяда замечательных партийных деятелей. О. Борканюк был одним из них...

Изучая письма и статьи О. Борканюка, воспоминания современников, исторические документы, я видел перед собой людей не просто особой судьбы. Это были комму-

нисты, не знавшие страха и сомнений, люди кристальной честности, готовые жертвовать собой во имя счастья народа. Это повесть о них, о друзьях-соратниках О. Борканюка по совместной борьбе.

Однажды у меня появилось сомнение: следует ли давать главному герою повести имя Олексы, не станет ли это поводом полностью отождествить его с Борканюком? Ведь мой рассказ — это всего лишь попытка пересказать легенду жизни замечательного человека, он не претендует на строгость биографических исследований и вобрал в себя эпизоды из жизни других людей, и то, что увиделось автору сквозь глубь минувших времен. Ведь спутником героизма всегда становилась легенда, а легенды рождались как дань мужеству...

Сомнения эти исчезли: ведь легенды — из области творчества, а не протокольных записей.

Когда повесть уже была написана, венгерские друзья сказали мне, что проспект в Будапеште, на котором в печальные времена Хорти и Гитлера находилась зловещая тюрьма Маргит-Керут, ныне носит название проспект Жертв. Так он назван венгерским народом в память о тех, кто стал жертвами фашистского террора, в память и об Олексе Борканюке, о людях его судьбы.

Остается только еще раз сказать: какие замечательные были это люди! И все, что связано с их жизнью, трудом и борьбой, для нас свято.

«...Никогда не теряйте надежду в нашу победу и никогда не теряйте надежду, что я к вам возвращусь» *

22 июня 1941 года в четыре часа утра Олекса проснулся внезапно, словно от того, что кто-то резко и грубо цапалнул сердце чем-то острым. Над Москвой уже занялся ранний рассвет, в комнате было светло.

— Что с тобой? — спросила сонным голосом Сирена.

Олекса ответил:

— Не знаю...

Стараясь не тревожить жену, он тихо встал, подошел к кровати Оленьки. Дочка спокойно и уютно причмокивала, посапывала во сне. Олекса долго смотрел на нее, а тревога не проходила...

Он узнал, что фашистская Германия вероломно на-

* Здесь и далее в заголовки глав вынесены строки из статей и писем А. Борканюка.

пала на Советский Союз, на страну, приютившую его после оккупации хортистами родного Закарпатья, утром. Позвонил старый товарищ по работе в Коминтерне и сказал только одно слово, тяжелое и мрачное:

— Война...

Он вышел на улицы Москвы, долго ходил по ним, вроде бы бесцельно, а сам жадно, пристально всматривался в лица встреченных им людей. О том, что гитлеровская авиация бомбила на рассвете Минск, Киев и другие крупнейшие центры СССР, что фашистские дивизии перешли границу, многие уже знали.

Но в утренних газетах об этом еще ничего не было — не успели...

Олекса всматривался в лица людей — уже шла война, и сегодня-завтра многие из них возьмутся за оружие. От них, их мужества и стойкости отныне зависела судьба всей планеты...

Дома Олекса взял на руки Оленьку, прижал к себе, словно хотел защитить, укрыть ее собою, сказал Сирене:

— Первый год прошел для нее в мире... А какими будут другие?

— Советский Союз быстро разгромит фашистов, — уверенно, горячо сказала Сирена. — Нет силы в мире, которая одолела бы эту страну.

— Такой силы нет, — подтвердил Олекса, — но война будет жестокой. Как в старину говорили: не на жизнь, а на смерть... Я видел фашистов вблизи, встречался с ними лицом к лицу... Бешеные собаки кусают, пока их не убивают. Ты их тоже видела, Цико... А когда их стая, огромная, в несколько миллионов...

— Не все там одинаковые, Олекса.

— В бою стреляют, Цико, а не присматриваются к врагам... И ты меня поймешь...

Сирена кивнула согласно:

— На фронт?

— Добьюсь любой ценой разрешения партии уйти на фронт. Мое место там... Место каждого коммуниста, какой бы национальности он ни был, — сегодня на фронте...

— А я? — с отчаянием спросила Сирена и бросила взгляд на дочку.

— Тебе работа найдется в тылу... И береги доченьку — она должна выжить в этом страшном урагане, потому что без детей мы как сосны без корней...

«Я знаю, какие трудности стоят передо мной, но знаю и то, какое... задание доверено мне и моим товарищам».

Свою группу Олекса формировал, готовил тщательно, обращая особое внимание на отработку действий в боевой обстановке, в тылу у фашистов. Там хоть и родные места, но засели в них враги.

Перед отъездом из Москвы Олексу принял Клемент Готвальд. Готвальд много работал в эти напряженные дни, очень устал, но Олексу встретил приветливо, с тем радушием, на которое был щедр к полюбившимся ему людям.

— Как настроение группы? — прежде всего спросил он.

— Боевое, товарищ Готвальд.

— Надежные люди?

— Верю, как в себя.

— Это хорошо, — сказал Готвальд, — без веры в таком деле нельзя... С кем пойдешь в огонь?

— Михаил Мажорович — вы слышали о нем, инструктор Закарпатского крайкома... На партийной работе в Мукачево был Самуил Габерман. Третий наш товарищ — венгр из Комарово Дьюла Кеваго, токарь, Хорти бросил его за решетку... Выбрался, в эмиграции в СССР, с первых дней войны добровольцем в Красной Армии. Есть боевой опыт и у Йожефа Деканя — бывший боец Интернациональной бригады в Испании, дважды был ранен. Радистом у нас будет хороший паренек, инженер из Москвы Виталий Розовский.

— Действительно, интернациональная группа... Хорошо подготовились? Времени ведь было в обрез...

— Всему обучились — стрелять, взрывать, прыгать с парашютом...

— Все это пригодится. Но задача твоя важнее. Интернациональный состав группы — не случайность. Центральные Комитеты компартий Чехословакии и Венгрии приняли решение о создании на Закарпатье одного из руководящих оперативных центров для координации действий партизанских групп и подпольных организаций. Ты возглавишь его... Желаю успеха, товарищ Олекса.

Помолчал, совсем просто добавил:

— Пусть тебе повезет...

И вот настала та минута, которая должна была настать... Первой из Москвы уезжала Сирена в город, который еще был тыловым, а завтра там ляжет линия

фронта. Олекса прощался с женой у теплушки. На руках у Сирены — дочь, у ног — тощая сумочка. Вагоны, весь вокзал забиты красноармейцами — их ждал фронт — и стариками, женщинами, детьми, уезжающими в эвакуацию.

— Сколько раз мы с тобой прощались, Олекса? — грустно спросила Сирена.

— И всегда встречались! — нарочито бодро ответил Олекса.

Медленно уходил эшелон, Олекса бежал рядом с теплушкой, будто старался задержать печальный состав.

— Я напишу тебе! Мы снова встретимся!

Он написал Сирене еще из Москвы:

«Моя любимая Путю!

Завтра мы едем на работу. На этот раз уже наверняка. Наша отправка очень затянулась, и это достаточно усложнит нашу работу в самом начале. Но что поделаешь. Война есть война. Все же я надеюсь, что наша работа увенчается успехом. Мы все от нас зависящее будем делать, чтобы так и случилось.

Пришло то время, о котором мы говорили на протяжении многих лет. Такой войны, которую мы переживаем сейчас, не знала история. Будет это тяжелая и длительная война. Вырвет она немало жизней и принесет большое опустошение. Трудно сказать, какими формами и путями пройдет эта война, но одно можно сказать с уверенностью: в конце концов победа будет нашей. И мое самое большое желание — дожить до той минуты, когда мы будем победителями. И я твердо верю, что доживу до этой счастливой минуты...»

Когда он писал эти строки, война уже бушевала на огромных пространствах. Фашистские армии рвались к Москве, пали Минск, Киев, многие другие города.

Страна, давшая приют Олексе Борканюку, была в огне. На его родной земле над Мукачевом, Ужгородом, Хустом развевались знамена хортистской Венгрии.

Карпаты стояли в осеннем золоте, молчаливые, грозные. На дальних полонинах, на горных тропах появились первые партизаны. Он рвался к ним всем сердцем, торопил подготовку группы. И путь его к Карпатам лежал через Геленджик. Туда Олекса и его товарищи отправились воинским эшелоном. Он медленно пробирался на юг мимо других эшелонов — с красноармейцами, орудиями, мимо санитарных поездов, мимо забитых беженцами вокзалов. Этому составу уступали дорогу...

В Геленджике, где еще было спокойно и море тихо катило волны у самой кромки небольшого аэродрома, Олекса и его товарищи расположились в маленьком домике. В один из вечеров, когда нетерпение уже достигло предела, они слушали сводку от Советского Информбюро.

Левитан с горечью сообщал:

— В истекшие сутки шли тяжелые, кровопролитные бои на всех фронтах... После упорного сопротивления наши войска оставили города...

Над Карпатами свирепствовали необычные для зимней поры грозы. Порывистые ветры схватывались в единоростве на верховине и полонинах, раскачивали вековые сосны, гнули к земле буки и ясени.

Под снегопадами стыли в молчании редкие села, искали спасения от бурь овечьи отары, вышли из берегов и стремительными потоками ринулись в долины горные реки, разбивая в щепки плоты.

Молнии били огненными стрелами по вершинам.

Вылет в связи с непогодой откладывали несколько раз. Олекса и его товарищи нервничали, ожидание угнетало сильнее предстоящих опасностей. Здесь, над южным маленьким аэродромом, небо было чистым и голубым, как-то даже не верилось, что где-то его рвут на части грозы.

Олекса настаивал на вылете в любых условиях. Его убеждали, что это верная гибель... Он и сам понимал, что с грозой не поспоришь, однако уплывало драгоценное время и рушился так тщательно отработанный план заброски его группы в тыл врага.

Наконец синоптики сообщили, что грозы уходят от Карпат в сторону, однако ветер не стихает... Но ждать уже больше было нельзя, и группа получила «добро» на вылет.

Самолет набрал высоту и взял курс на северо-запад. Он скользил в ночной январской мгле почти бесшумно, без бортовых огней. Сильный встречный ветер раскачивал его, переваливал с крыла на крыло.

В слабо освещенном салоне с наглухо закрытыми шторками иллюминаторами на металлических скамейках расположилась группа десантников из шести человек. Это были люди разного возраста: самому старшему около сорока пяти, самому молодому чуть перевалило за двадцать, остальные — на рубеже четырех десятков. И у всех — оружие, снаряжение, рюкзаки...

Олекса выбрал место ближе к пилотской кабине на откидной скамейке. На нем была армейская форма без знаков отличия, автомат он закрепил ремнями к рюкзаку.

— К нему и обратился командир экипажа, вышедший из пилотской кабины:

— Товарищ Первый, через несколько минут будем у цели... Приготовьтесь.

Десантники догадались, что он сказал, задвигались, проверяя снаряжение.

— Где мы сейчас? — Командир группы открыл планшет с картой.

— Вот здесь. — Летчик узким лучом фонарика высветил точку на карте. «Ясиня» — было написано название населенного пункта.

Командир группы сквозь ночную мглу ясно увидел Ясиня — село лесорубов и чабанов, бедняцкие хаты и дома-крепости кулаков. Он родился в этом селе, это была его родная земля.

Ясиня со всех сторон окружены горами, будто каменным поясом. Такие села называли издавна сердцем Карпат. На севере виднеются Горланы. На западе — вершины Близнацов, на юго-востоке — Черные горы с Петросом и горою Поп-Иван. Но над всеми вершинами поднялась красавица Говерла.

Горы и леса долго были для него и жизнью, и всем миром. И даже солнце он встречал, когда оно поднималось из-за гор, и провожал его ночевать тоже за каменную гряду.

Командир группы десантников вдруг так ясно увидел восходящее солнце, что зажмурился, будто лучи его нестерпимо брызнули в глаза. Он пришел в себя оттого, что летчик тряс его за плечо:

— Погода опасная, товарищ Первый. Разбросает вас по всем Карпатам...

— Можно ниже? — спросил Первый.

— Нет! — прокричал летчик. — И так чуть макушки гор не цепляем. Может, возвратимся? Не будем рисковать?

Первый отрицательно покачал головой, поправил лямки своего парашюта.

— Будем выбрасываться.

Летчик взглянул на часы, отбросил массивные защелки на двери, открыл ее. За бортом была мгла, ветер играл в прятки с ночью.

Десантники встали.

— Удачи вам, хлопцы! — крикнул летчик, поднял и резко опустил руку.

Один за другим десантники исчезали в проеме двери. Первый подождал, пока выбросились во тьму его товарищи, улыбнулся летчику — свет сигнального фонаря над дверью к экипажу выхватил из полутьмы его лицо — и шагнул в пропасть.

Он приземлился на склоне горы, среди высоких сосен, черневших в темноте. Здесь, на земле, было тихо, и только раскачивавшиеся вершины деревьев говорили о том, что ветер не стих.

Олекса сложил и спрятал в снег под приметным деревом парашют, проверил оружие, сверился по карте, где находится.

Вскинул за плечи вещмешок и побрел по глубокому снегу к месту сбора группы. Там никого не было, и следов к этой поляне он тоже не заметил. Олекса решил дожидаться своих, долго сидел у потайного костра. Шли часы, издали доносился лай собак, хлопнуло несколько выстрелов.

Олекса ждал свою группу, еще не зная, что остался один. И когда ждать стало бесполезно, он побрел по снегу к Ясням.

...Командир 8-го венгерского королевского корпуса снял трубку глухо заворчавшего телефона.

— Да, их должно быть шесть... Нашли погибшего? Отправьте тело в ближайший населенный пункт и продолжайте поиски...

Хортистские солдаты, растянувшись узенькой цепочкой, прочесывали лес. Идти по снегу было трудно, солдаты зло переругивались. Впереди шли офицеры.

Вот один из солдат заметил следы, показал их товарищу. Тот предостерегающе поднял руку, глянул, заметили ли следы офицеры. Те, проваливаясь в снег, ушли вперед.

Солдаты пошли прямо по чужим следам, разрушая их.

Послышалась частая стрельба, и все заторопились вперед. Это Михаил Мажорович лежал за сваленной сосной, стрелял скупой экономии патроны. Он знал, что погибнет — никто не мог ему помочь. Мажорович отстреливался, давая время уйти своим товарищам.

Снайпер поймал его в перекрестье прицела...

Каратели провели по улицам села к управлению Вн-

талия Розовского и Иосифа Деканя. Они были сильно избиты, лица в кровоподтеках. На телеге у управления лежал труп. Розовский всмотрелся и отвернулся — это был Дьюла Кеваго...

— Ваш? — спросил его офицер.

Виталий отрицательно покачал головой.

— Зачем врешь? — разозлился офицер. — Он разбился во время прыжка — упал на скалы...

Неожиданно офицер смягчился:

— Если хотите — попрощайтесь...

А в это время еще два человека уходили по склонам гор в противоположные стороны. Самуил Габерман, решив, что вся группа погибла, попытался оторваться от преследователей, выйти за кольцо облавы. Это ему удалось, и еще несколько месяцев он продолжал борьбу, пока не пал в бою с карателями, отстреливаясь до последнего патрона.

Олекса знал, что находится неподалеку от родного села, карта помогла ему сориентироваться. Он побрел по глубокому снегу в ночь. Иногда до него доносились голоса, лай овчарок, выстрелы. Он кружил по снежной целине — горы не отпускали его, он в третий и четвертый раз пересек свои же полузаваленные снегом следы и только тогда нашел укромное убежище под широкой елью, решил ждать рассвета. Невыносимо тяжелой была мысль о том, что его товарищи погибли. Как так могло случиться, что их ждали солдаты и жандармы? Неужели предательство? Тогда кто их выдал?

Олекса гнал прочь от себя такие мысли. Предательства быть не могло — группа готовилась в условиях строжайшей конспирации, считанные люди знали о том, куда и когда ее будут забрасывать. Здесь, в Карпатах, сроки и место десантирования были известны только секретарю подпольного райкома партии, человеку проверенному, давнему его другу.

Тогда что же случилось?

Он терялся в догадках, и эта неизвестность угнетала его сейчас больше всего. Неужели остался один, совсем один?

Только гораздо позже Олекса узнает, что все его товарищи выполнили свой долг, что измены не было, а произошла одна из тех нелепых случайностей, которых так много случается на войне. Из лагеря, который находился неподалеку, бежала группа советских военнопленных, и облава проводилась именно поэтому. Но когда ка-

ратели услышали неясный гул самолета, увидели парашютистов, они сразу сообразили, в чем дело...

Это станет известно ему потом, а пока он обессиленно сидел под сосной, привалившись спиной к ее стволу, и поземка постепенно заметала его сухим снегом. Теперь он слышал лишь неясный шум деревьев, которые сплетались где-то там, в близкой вышине, своими вершинами. Да, их всех, кроме него, расстреляли почти в упор... Но задание должно быть выполнено — он ведь пока жив? И Олекса прикидывал, кто из его давних друзей мог уцелеть в лихие дни оккупации, вспоминал старые партийные явки — вдруг их не обнаружили жандармские ищейки?

Нет, он не сложит оружие...

Сидеть в снежном укрытии было хорошо, однако все настойчивее думалось о том, что с рассветом каратели могут возобновить поиски. Тогда ему из этой западни не уйти. Он встал, сделал несколько шагов и вдруг понял, что не в состоянии оставить свое укрытие... И тогда, чтобы превозмочь себя, упал на снег и покатился вниз, по склону. Так он всегда делал в детстве, когда спускался с гор, с лесных делянок в родные Ясиня, и уставал так, что хотелось только одного — сидеть и не двигаться...

Где они сейчас, Ясиня? Небо было низким и темным, даже на десяток шагов впереди не было ничего видно. «Встань и иди!» — резко приказал себе Олекса. Куда угодно надо идти, только подальше от места выброски. Пусть ему поможет чутье горца, пусть помогут ему горы — ведь они свои, родные, не выдадут ворогу...

Лишь перед рассветом небо чуть прояснилось и робко выглянули неяркие звезды. Он достал карту: в Ясиня путь лежал строго на север. Теперь он шел уверенно — туда, где прошла его юность, где начиналась та его жизнь, под которой война резко и безжалостно провела черту. А когда придет время подводить итоги и этим дням, и всему, что было и прошло, он напишет:

«Прожил я 41 год; из них посвятил 20 лет делу бедного народа. Всю жизнь был честным, преданным, неутомимым борцом без личных выгод. Никогда не кривил душой. И таким умираю...»

Эти строки он написал в письме-завещании жене и дочери. Палачи явили неожиданную милость — разрешили письмом попрощаться с женой и маленькой дочуркой. Он догадался, что это игра в милосердие, как могли они отослать письмо отсюда, из хортистского Будапеш-

та, в СССР? Что же, надо было перехитрить тюремщиков, и Олекса написал еще одно письмо, когда ему дали бумагу и чернила... И когда его вели на казнь, чьи-то руки незаметно взяли из его рук этот сложенный в квадратик листик, и письмо по нелегальным каналам выпорхнуло на волю, преодолело поля сражений, пришло к нам...

Ночь перед казнью тянулась невыносимо долго. Сквозь густо заплетенное в решетку окно виделся только черный траурный квадрат ночного неба, но память была сильнее оков решетки, она уводила Олексу на волю, перенесла в Карпаты, в совсем недавнее прошлое.

Это святая правда, что перед смертью и бессмертием человек видит всю свою жизнь. Увидел ее и Олекса — годы борьбы, свою любимую Сирену, своих верных друзей...

«Всю жизнь я был честным, преданным народу, и никогда у меня не было мыслей о личной выгоде».

Узкая дорога петляла у гор. Чуть дальше она стремительно уходила по их склонам вверх, туда, где неясно плыли в дымке вершины. А пока извивалась на склонах, пробивалась сквозь ущелья, старательно обходила убогие нивки — земля здесь была на вес золота. Порой казалось, что дорога исчезла, провалилась в пропасть, а это она просто играла в свои игры с путниками, неожиданно и грациозно пряталась в тени ясеней, буков, кленов.

По дороге катилась легкая бричка-пролетка. Парой лошадей правил пожилой гуцул. Его пассажирами были молодые люди, один из них явно из здешних мест, другой приезжий, городской.

Бричка остановилась у перекрестка, где две дороги образовали крест. Давным-давно поставили здесь каменную капличку. Под щитком из белой жести — иконка с увядшими цветами.

У каплички на траве разложили на холстине скудную еду слепой старик скрипач и девочка-поводырь.

Путешественники подошли к деду.

— Здравствуйте, отец!

— Слава Ису!

— И ты, дивчинка, здравствуй! Как тебя зовут?

— Маричка, — несмело ответила девочка.

— Какое красивое имя! — сказал один из приехавших.

— Имя красное, да доля тяжкая, — откликнулся ста-

рик. — Внучка моя, отца с венской недород да голод докнавали. Чех? — спросил он молодого человека.

— Да, отец, из Праги.

— А чего занесло в наши края? По голосу слышу, не из купцов-банкиров ты, из других...

Незрячие глаза старика, казалось, видели собеседника, прошупывали его взглядом.

— К другу приехал... — ответил пражанин.

— Ко мне, — подтвердил невысокий, с резко очерченным лицом, быстрый, но несуетливый его спутник. — Я Олекса, из Ясиней...

Дед помолчал, взял скрипку в руки, тронул струну, поплыли в прозрачном воздухе печальные звуки.

— Жив твой отец, Олекса? — спросил он.

— Прощен будет, дедусь, — ответил Олекса так, как велит обычай.

— А старший брат, Василь? — снова спросил слепец.

— Знаете его?

— Помню, в восемнадцатом, когда Советы у нас ненадолго установились, он землей бедноту наделял. Славный опришок * был.

— Почему «был»? Живет и сейчас, только не из опришков он — коммунист, — поправил его Олекса.

— Не перечь, — строго ответил слепец, — опришки — то гордость народа нашего, сыны Карпат. И у тебя имя, как у Довбуша, — Олекса...

Снова тронул он струну, и показалось, это не скрипка, это горы зазвенели, затосковали...

— Предскажи нам судьбу, дедусь, — попросил пражанин.

— Я не цыганка-гадалка, — строго ответил слепой старик, — они, цыгане, во-он там таборятся, — указал вдаль. На берегу быстрой речки и в самом деле расположился цыганский табор. — Куда путь держите? — заинтересовался слепец.

— К центру Европы! — ответил Олекса.

— А-а, это туда, где камень со знаками стоит. Возле Рахова... всю Европу не увидите, хоть и высокое место, но долю свою, говорят в народе, можно там угадать...

— Возьмите нас с собой, — тихо попросила Маричка.

— Подрасти и сама к нам приходи, — ответил ей Олекса, — вместе будем искать лучшую жизнь...

* Опришки — участники народно-освободительной борьбы в XVI — первой половине XIX века в Галичине, Буковине, Закарпатье. Боролась против феодально-крепостнического гнета.

— Не просись с ними, Маричка, — сказал слепец, — неизвестно еще, у кого путь легче, у нас, убогих, или у них.

— Вйо-о! — взмахнул батошкой гуцул.

Старик и девочка долго стояли у каплички. И снова показалось, что видит слепец, как по извилистой дороге катит вдаль легкая бричка.

Когда поднялись выше, все Карпаты — их полонины, леса, вершины, поддерживающие небосвод, — раскинулись у ног молодых людей. Они стояли у крутой пропасти — внизу стремительно перекатывала воду через камни горная речка. Неподалеку от них возвышался гранитный обелиск с надписями на нескольких языках.

Карпаты открывались им во всей своей первозданной красоте: бескрайние, могучие, спокойные. Они всматривались в даль и видели небольшие села, отары овец, крутые дорожки, исчезающие в зеленом море лесов.

Неподалеку присел на камень-валун возница-гуцул, не хотел мешать молодым в разговоре.

— Хорошо, что ты привез меня сюда, Олекса, — сказал Юлиус. — Я видел Карпаты у нас в Чехословакии, они там тоже прекрасны, но здесь...

Он охватил взглядом бескрайние просторы.

— ...Здесь они совсем другие... Даже горы как-то отражают характер живущего в них народа.

— Напиши о наших Карпатах в своей «Творбе», товарищ Фучик.

— И напишу! — горячо пообещал Юлиус. — Только напишу не о том, какие они удивительные, эти горы. Я буду писать, как жандармы расстреляли мирную демонстрацию в самом центре Иршавы, как бастовали рабочие Хуста, как на обочинах горных дорог богатейшего края умирают от голода дети и старики...

— И это все — в самом центре Европы, — горько подтвердил Олекса. Он указал на гранитный обелиск.

— А иные привыкли думать, что центр Европы находится в капиталистических столицах, на Елисейских полях или Унтер-ден-Линден... — улыбнулся Фучик. Он помолчал, сказал с удовлетворением: — А хорошо, что товарищ Готвальд послал меня к тебе.

— Я просил его об этом, когда возвращался после учебы в СССР через Прагу в свое Закарпатье. Товарищ Клемент обещал...

— Знаю, но тогда меня не было в Праге. Потом вызвали в ЦК, говорят: отправляйся в Мукачево, там ре-

дактором «Трудящейся молодежи» назначен молодой товарищ. Помогите ему...

— Спасибо тебе, Юлек, — серьезно проговорил Олекса. — Быстро пролетели эти дни, а след от них останется на всю жизнь... Значит, уже завтра — в Прагу?

— Пора. Товарищ Готвальд просил не задерживаться. Сложно у нас, — задумчиво сказал Фучик. — Оппортунисты голову поднимают, есть и откровенные капитулянты... Ну, ничего, у нас с тобой дорога прямая — вместе со всей партией, со всем народом... И навсегда — в братстве с СССР!

— Только так! — подтвердил Олекса.

— Хорошо ты это сказал: «на всю жизнь»... Я чех, ты украинец, гуцул, но судьба у нас одна. Сами ее выбирали...

— А если крушение, гибель? — спросил Олекса. — Об этом не думаешь?

— Такого быть не может, — твердо сказал Фучик. — Временные поражения, неудачи, даже смерть твоя или моя — в борьбе всякое случается. Но впереди — только победа.

Сверкнули молнии, переплелись в небе и вдруг будто высветили для молодых людей их судьбу: тюрьмы в Берлине и Будапеште, решетки на окнах, виселицы на тюремной брусчатке...

Олекса и Юлиус смущенно взглянули друг на друга. Затянувшееся молчание нарушил гуцул.

— Хлопцы, — позвал он, — пора вниз, гроза уже рядом...

В горах мощно полыхали зарницы, край горизонта затягивался темной полосой.

— Сейчас, вуйко, — откликнулся Олекса, — успеем.

— Тебе гроза в горах ни о чем, ты вырос здесь, а вот пражский товарищ может простудиться, — чуть насмешливо ответил гуцул.

— А я грозу люблю! — воскликнул Фучик. — И пусть будет гром — настоящий! И ветер — прямо в грудь! Буря в центре Европы! Ради такого стоит и промокнуть под ливнем.

— Тогда нам действительно по пути, — сказал Олекса. — Когда узнал, что ты приезжаешь, заволновался. Твои статьи вся рабочая Чехословакия читает, за твоими плечами — несколько арестов...

— Не печалься, Олекса, все это у тебя еще будет — и аресты, и тюрьмы, — насмешливо откликнулся Фучик.

— Ну, хлопцы, — проворчал гуцул, — напророчите один одному. Про лучшее думайте, а это — на последний случай.

— Судьба у нас такая, вуйко, — посерьезнел Фучик. — Сами предупреждаете — гроза надвигается. А она не только Карпаты захватит своим крылом. Мне кажется, — повернулся он к Олексе, — что я и вправду отсюда, из центра Европы, всю ее вижу. И чувствую: пронесутся над нашей старой Европой ураганы, кого-то унесут с собою.

— Юлек, — протянул руку Олекса, — вот тебе моя рука! Будь моим побратимом — и в счастливое, и в лихое время...

— До самых крайних дней... — протянул Олексе свою руку Фучик. И добавил: — В самые свирепые грозы...

Прямо с гор Олекса и Юлиус подъехали к вокзалу. Был вечер, солнце уже закатилось за дальний горизонт, но еще не стемнело окончательно. И в этом неясном свете, где-то на смене дня и ночи, увидели Олекса и Юлиус на привокзальной площади переселенцев.

Они расположились табором — распряженные подводы, тощие лошади уткнулись в охапки соломы, бегают малые дети, ужинают вместе с провожающими их родственниками перед дальней дорогой. На подводах — деревянные сундуки, фанерные чемоданы, узлы, иконы — убогий скарб, который неизвестно зачем везут они за океан.

Смотрят печально на переселенцев Олекса и Юлиус, видят, как плачут дети, сутулятся старики. Здесь же стоит слепой музыкант со своей внучкой Маричкой. Гомон привокзальной площади перекрывают печальные звуки скрипки, и звучит песня:

Верховине, світе милий,
Рідна моя мати,
Чому твої діти ходять
По світу блукати?
Чому ходять, блукаючи,
Доленьки шукають?
А пройдисвіти, злодюги
Тебе обкрадають...

— Тысячи людей покидают наш край, — сказал Олекса Фучику, — уезжают в неизвестность. Бегут отсюда от голодной смерти, чтоб встретиться с нею за океаном...

— Мне переселенцы напоминают израненных, измотанных журавлей, которые отбились от своего ключа, — задумчиво проговорил Юлиус.

— Как в «Фата моргана» у Коцюбинского: словно калеки-журавли.. И такие же несчастные.. Здесь, наверное, и мои земляки есть. — Олекса всматривался в привокзальную площадь, выхватывая из этого человеческого муравейника лица людей, сцены разлуки.

— Вуйко! — окликнул он пожилого гуцула у ближайшей подводы — тот слезно и тяжело прощался с лошастью. — Где люди из Ясиней?

— Та-ам, — гуцул указал на край площади.

Переселенцев было много. Вербовщики специально собирали большие партии, чтобы расходы на дальнюю дорогу были меньшими.

— Эгей, Ясиня! — выкрикнул Олекса во всю свою молодую силу.

— Здесь! — откликнулись издали.

Олекса и Фучик шли в толпе, и обступали их со всех сторон нищета, отчаяние, безысходность. Наконец нашли переселенцев из Ясиней, и Олекса обнялся с односельчанами. Здесь были и совсем молодые люди, его сверстники. Они обступили земляка.

— Это мой друг, журналист из Праги, — представил Олекса Юлиуса Фучика.

— Что, пан журналист любопытствует, как люди нищету на беду меняют? — спросил молодой переселенец в кептаре*, перетянутом широким кожаным поясом — чересом.

— Товарищ Фучик пишет по правде, — строго сказал Олекса.

— Раз тебе он товарищ, то и нам не чужой человек. — Взгляды у переселенцев стали более доброжелательными.

Все собрались в круг, ждали, что еще скажет Олекса, который был, как и они, с гор.

— Зачем уезжаете, люди добрые? На кого горы наши покидаете? — спросил Олекса.

Площадь и все, кто был на ней, слушали печальную песню:

Верховине, світе милий,
Рідна моя мати,
Чому твої діти ходять
По світу блукати...

* Кептаре — гуцульская верхняя одежда.

— Горы наши, — продолжал Олекса, — хоть и из камня, но живые, им силы нужны, чтобы стоять вечно! Без людей они поседеют, рухнут, осядут в землю...

— Правильно говоришь, Олексо, — ответили ему, — только что делать?

— У меня убогий шмат земли за долги забрали...

— У меня хату в казну отписали..

— Мои детки у порога хаты голодную смерть встретили...

— Да знаю я, что не от сытости за моря-океаны бегите... Только что найдете вы на чужбине? В Америке хорошо тем, у кого капитал имеется, доллары. Там этому богу молятся. А вы своих богов везете, — указал Олекса на иконы. — Тяжко будет богам нашим древним, русинским, из чужих углов на вашу беду смотреть!

— То правда, Олексо! — зашептались переселенцы. — Только что делать? Здесь конец известный. А там — вдруг повезет... — сказал пожилой лесоруб.

Олекса и Юлиус попросились с переселенцами, пошли к вокзалу. За ними, словно тень, брел сквозь толпу человек, одетый в одежду явно с чужого плеча.

— Кажется, нас провожают? — заметил его Юлиус.

— Бис с ним, — засмеялся Олекса. — А вот их, — он указал на табор переселенцев, — жалко, ох как жалко!

— Придет время, — твердо сказал Юлиус, — и иной станет этот край, эта земля. Для того живем!

— Для того живем... — повторил Олекса.

По перрону вокзала быстро шла, почти бежала девушка с цветами.

— Еле успела! — перевела она дыхание. — Это вам, товарищ Фучик, — протянула она цветы Юлиусу.

— Познакомься, Юлек, — представил ее Олекса. — Сирена тоже журналистка, работает в нашей партийной газете.

— Значит, Сирена... — весело заулыбался Фучик. — А мою жену зовут Густой! — Юлиус вскочил на ступеньки вагона.

Поезд тронулся, и Юлиус взмахнул рукой на прощание:

— Скоро снова приеду!

«Наши враги знают, что наша нынешняя борьба — это начало их гибели...»

Начальник полиции просматривал донесения агентов в пухлой папке. Взял одно из них, отчеркнул красным карандашом... «Юлиус Фучик»... Нажал на кнопку звонка.

— Позови Будяка, — приказал вошедшему офицеру.

Будяк, бравый хлопец, тот, что «проводил» на вокзале Олексу и Фучика, появился немедленно.

— Твое сочинение? — показал ему бумагу начальник полиции.

— Так точно, господин полковник, — подтвердил Будяк.

— Где сейчас Фучик?

— Отбыл в Прагу вечерним поездом, — доложил Будяк.

— Кто проводил?

— Этот новый редактор «Трудящейся молодежи» и дивчина из «Карпатской правды». Ну и мы, как положено... в стороне постояли, — ухмыльнулся Будяк. — Провели пана коммунистического публициста с почетом...

— Чего он к нам приезжал?

— Не установили.

— Остолопы! — Полковник быстро выходил из себя. — Навели справки о новом редакторе комсомольской газеты?

— Так точно, — тянул Будяк. — Партийная кличка — товарищ Олекса. Родом из Ясиной. Старший брат коммунист. Олекса закончил горожанскую школу в своем селе, потом торговую в Мукачево. Выезжал года на три в Европу, чтобы, значит, коммерцией заниматься.

— Чем-чем? — удивился полковник. — Да ты еще глупее, чем я думал! Уехал в Европу, торговал неизвестно чем и с кем, а вернулся красным журналистом и редактором газеты...

— Про то не подумали, — растерялся Будяк.

— Так думайте, для того вас кормим и выпить даем. Теперь вот что: взять этого «товарища» Олексу под постоянный надзор, пусть наши люди по пятам за ним ходят, в спину ему дышат. И прятаться им особенно не надо, мы — власть здесь, имеем право. Ясно?

— Куда ж яснее, — ощерился в улыбке Будяк. — Чтоб испугался, значит...

Полковник тяжело задумался. Будяк почтительно молчал.

— Непокойно в крае, — проговорил начальник полиции, — забастовки, демонстрации, к коммунистам тянутся уже не только рабочие, но и крестьянство, лесовики, те, кто от века политикой не занимался... И Фучик неспроста приезжал...

— А что Прага? — позволил себе поинтересоваться Будяк.

— Прага сообщает, что публицист этот — из готвальдовцев. Готвальд ему обычно ответственные задания дает. И к кому зря посылать не станет. Значит, наш редактор, этот товарищ Олекса, — у них перспективная фигура...

— Держится уверенно, — подтвердил Будяк. — И его слушают. Красиво выступает, — неожиданно для себя сказал Будяк.

— Займитесь паном редактором вплотную, — распорядился полковник. — И выясните, на чем его подловить можно, скомпрометировать — вдруг на горилку падкий, до дивчат ласый... Или еще чего... Нет чело века без греха...

— Это уж точно. — Такое Будяку было понятно.

— Как твоя сотня? — спросил полковник.

— Формирую из надежных хлопцев. Соколы! По первому приказу будут резать и вешать, кого скажем.

— Про то не мели языком! Мы живем в стране, где законы соблюдают!

— Ага ж, в республике... — ухмыльнулся Будяк.

— Вот-вот! А если кто-то хочет, чтобы всякие лайдаки и голодранцы тихо сидели в своих курятниках, то это тоже понятное желание.

— Мы им пропишем права на том месте, на которое они и сесть не смогут, — мрачно пообещал Будяк.

— Но чтоб недоразумений не было! — повысил голос полковник. — Вы самостоятельно ведете борьбу. Оружие мы вам дадим, а дальше уж ваше дело...

«Хустское кровопролитие свидетельствовало о чрезвычайном обострении классовой борьбы».

Редакция «Трудящейся молодежи» — краевой молодежной газеты выглядела более чем скромно. Это несколько комнат, тесно заставленных столами, стульями,

шкафами для книг, газетных подшивок, папок с вырезками.

Олекса поднялся из-за письменного стола с густо написанными листочками в руке, сказал коллегам:

— Послушайте, что получилось...

Он читал четко, ясно, выделяя интонацией главное:

— «7 ноября трудящиеся Советского Союза вместе с мировым пролетариатом будут отмечать 13-ю годовщину победоносной пролетарской революции в России, годовщину новой эпохи, эпохи диктатуры пролетариата и строительства социализма».

Олекса — невысокого роста, неистраченные силы чувствовались в каждом движении.

— «Буржуазная Чехословакия 28 октября праздновала 11-ю годовщину своего господства, годовщину жестокого ущемления и угнетения трудящихся масс...»

Журналисты слушали редактора с одобрительным вниманием. Это были молодые люди, одетые просто, по-рабочему.

— Очень правильно сказано, — поддержали они Олексу. — Какое название выбрал?

— «Две годовщины», — ответил быстро Олекса, — в этом суть! По времени они почти совпадают, эти две даты истории, но какая социальная пропасть лежит между ними!

В комнату вошла девушка, очень строгая, неулыбчивая.

— Товарищ Олекса, — сказала она, — тебя приглашают в крайком.

— Ну улыбнись же, Мирослава, — шутливо сказал ей Олекса, — тебе будет к лицу улыбка, все это подтвердят!

— Товарищ Олекса, — все так же невозмутимо повторила Мирослава, — тебя просят не задерживаться...

— Иду... — вздохнул Олекса.

Секретарь крайкома КПЧ пожал руку Олексе, садиться не пригласил — времени в обрез.

— Через несколько дней, — сказал устало, — в Хусте начнется забастовка рабочих фирмы «Вейсхауз». Там уже находится сенатор Иван Локота, другие наши товарищи. Жандармы стянули в Хуст дополнительные силы. Крайком партии предлагает выехать тебе в Хуст...

— Еду! — сразу же решительно ответил Олекса. — Сейчас же!

— Возможны провокации, — предупредил секретарь

крайкома. — Как стало известно, жандармам выдали боевые патроны.

— Вот уже до чего дошло... — протянул Олекса.

— Да, — подтвердил секретарь крайкома, — буря приближается... И это ее первые порывы...

В Хусте приближение бури Олекса почувствовал сразу. Город волновался. На улицах группками стояли рабочие. Они бросали косые, неприязненные взгляды на вооруженные жандармские патрули.

Обыватели попрятались в домах, лавочники торопливо закрывали железными решетками и ставнями витрины магазинов.

Машины фирмы «Вейсхауз» провезли к строительной площадке штрейкбрехеров. Те спрыгивали с грузовиков, испуганно оглядывались.

— Приступайте к работе! — надсадно распоряжались мастера. Их никто не слушал.

По какой-то команде рабочие выстроились в колонну и преградили штрейкбрехерам дорогу к стройке. Полетели камни и булыжники.

— Знамя вперед! — спокойно сказал Иван Локота. Олекса стоял рядом с ним в первом ряду рабочей колонны.

Назревала схватка. Жандармы бросили карабины на руку, нервно поправляли каски.

— Прекратить беспорядки! Разойтись! — тонкоголосо выкрикивал жандармский офицерик.

— Долой карателей! — отвечали рабочие. — Хлеба и работы!

К офицеру сзади подобрался агент в штатском.

— Тот, что у знамени, — сенатор Локота. Желательно в него не стрелять — политический скандал может случиться. А Олексу мы возьмем на себя...

— Провались ты... — злобствовал офицер. Он скомандовал: — Приготовиться!

Демонстранты, увидев поднятые стволы винтовок, чуть подались назад, теснее сжали ряды.

— В кого стрелять будете? — выкрикивали. — В народ? В голодных? По какому праву? По какому закону?

Олекса, Локота, Мирослава нерушимо стояли у знамени, которое держал в сильных руках молодой рабочий Гинцяк.

Низкорослый агент в штатском поближе пробирался к знаменосцам, к Олексе. Мирослава искала глазами

своих помощников, которым поручила охранять Олексу. Один из них, по виду деревенский хлопец, был совсем рядом, и она еле приметным жестом обратила его внимание на агента. Хлопец почти мгновенно оказался рядом с Олексой, чуть справа от жандармского шпика.

— Огонь! — истерично скомандовал офицер. Свинец хлестнул по рядам рабочих.

Низкорослый, почти вплотную подобранный к знамени, к тем, кто стоял под ним, в эти секунды выхватил пистолет. Мирослава рванулась к Олексе, закрывая его собою, а парень сбил шпику на землю резким ударом в висок. Упал от толчка и Олекса. Выстрел хлопнул запоздало, пуля ушла вверх. Парень схватил выбитый у агента пистолет и бросился в толпу, которая оцепенело ждала второго залпа. Пороховой дым закрыл лица людей, страшная тишина несколько мгновений стояла над площадью. Лежали неподвижно несколько человек на брусчатке, раненые пытались отползти в сторону.

Молодой рабочий у знамени, не выпуская дробку, медленно опустился на землю, обвел землю и небо последним взглядом. Он что-то хотел сказать, но смерть пришла к нему раньше, чем он успел произнести свое последнее слово.

Локота склонился над ним, потом укрыл погибшего знаменем. Олекса встал на колени перед убитым, слезы текли по его лицу.

— Надо уходить! — уговаривала его Мирослава. Олекса ее не слышал, он смотрел на погибшего будто умолял его встать...

Жандармы с винтовками наперевес теснили рабочих, прижимали к серым стенам домов, некоторых хватали и бросали в крытые кузова машин.

К Локоте подошел жандармский офицер.

— Вы арестованы... Не трудитесь доставать свой мандат, господин сенатор, нам известно, кто вы.

— И не боишься кровавых снов, каратель? — крикнул Локота. — За что у человека жизнь отнял? За то, что он хотел иметь хлеб для себя и своих детей?

— Митинг закончился, сенатор, — нервно задергался офицерик, — советую замолчать!

— Ничего не простим! — гневно продолжал Локота. — Придет время, и тебя, и таких, как ты, будем судить принародно!

— Арестовать! — выкрикнул жандарм. Он испуганно осматривался — к Локоте подходили рабочие, иные

из них были в крови раненых товарищей, которых выносили с площади. Локоту увели под усиленной охраной.

— А где тот, Олекса? — спросил офицер у агента. Шпик вытирал окровавленное лицо большим клетчатым платком.

— Где-то здесь, — пробормотал неопределенно.

Но Мирослава, другие рабочие уже оторвали Олексу от Гинцяка, помогли ему выбраться с площади. Олекса и Мирослава держали путь к городской окраине, куда жандармы и шпики боялись соваться. Они долго блуждали по узким улочкам. Быстро темнело, город будто вымер: эхо выстрелов разнеслось повсюду, кого они разгневали, а иных и испугали. Буквально на следующий день о расстреле демонстрации в Хусте узнает весь край, и тысячи людей выйдут со знаменами на улицы и площади. Но это будет завтра, а сейчас Олексу надо было укрыть от жандармов, и Мирослава торопливо вела его подальше от центра, в глубь рабочего предместья. Наконец она остановилась у неприметного, укрытого садом домика, осмотрелась, открыла калитку.

Хозяин встретил их у порога.

— Кого бог послал? — спросил хмуро.

— Племянница ваша из Ужгорода, неужели не узнали? — Мирослава подошла поближе, чтобы он мог рассмотреть ее.

— И без предупреждения... — осуждающе проговорил хозяин. — А если бы...

— Не было времени упреждать. Вон все как повернулось.

— Проходите в хату.

Старенькая керосиновая лампа вырывала у темноты стол, кровать с пышными подушками, лавку, застеленную домашней выделки многоцветной дорожкой. Хозяйка, видно, привыкшая к неожиданным гостям, споро-висто собирала ужин.

— Как там? — спросил хозяин. — Мне комитет не разрешил на демонстрацию идти, чтоб, значит, не расконспирироваться. Приказали дома быть, как чувствовали, что здесь понадобится. А выстрелы слышал.

— Убили Гинцяка, — почти со слезами ответила Мирослава. Ее бил нервный озноб.

— Заплатят они еще за это, — хозяин сжал тяжелые кулаки, положил их на стол.

В окошко тихо стукнули, и хозяин вышел на улицу. Он отсутствовал недолго, почти сразу же возвратился.

В ответ на вопрошающий взгляд Мирославы сказал:
— Свой... Предупредил, что похороны Гинцяка будут завтра.

— А что с Локотой? — с тревогой спросил Олекса.

— Увезли... Похватали многих жандармы.

Мирослава настойчиво проговорила:

— Олексо! Тебе не следует идти на похороны Гинцяка. Это все равно что подойти к жандармам и сказать: «Вот он, я. Забирайте».

— Не отговаривай, — возмутился Олекса. — Разве сейчас время прятаться?

— Смотри, — Мирослава достала из кармана пистолет, который успел ей на ходу передать парень, сбивший с ног шпика. — Из него тебя хотели убить...

— Завтра весь рабочий люд на улицы Хуста выйдет, — сказал хозяин. — Любили у нас Гинцяка, уважали. Учиться хлопец мечтал...

Он словно бы и не возражал Мирославе, но явно одобрял намерение Олексы быть на похоронах молодого рабочего.

— Как ты не поймешь, — с болью произнес Олекса, — что не смогу я отсиживаться в безопасном месте, погиб ведь наш товарищ! Давай не будем больше об этом, — он не хотел продолжать разговор.

— Тогда возьми, — Мирослава протянула Олексе пистолет.

— Зачем? Пока наше оружие — слово и гнев... А пистолет... это потом... когда не будет другого выхода. Ложилась бы ты спать, день завтра будет трудный.

Мирослава, не раздеваясь, прилегла на кровати, с нежностью посмотрела долгим взглядом на Олексу. Он сидел у стола, опустив сжатые ладони на чисто выскобленные доски. Сидел и думал о том, что надо достойно провести в последний путь боевого товарища.

...По улицам Хуста шла траурная процессия. Рабочие несли гроб, укрытый красным знаменем. Оркестры играли траурные марши. Весь рабочий Хуст вышел на улицы. Работа всех предприятий остановилась. Бесконечное шествие закрыло проезд по улицам бричкам, автомашинам. К окнам учреждений прилипли барышники и чиновники.

— Кого хоронят?

— Какого-то Мыколу Гинцяка... Того, что в забастовку убили...

Поддерживая вдову, шел в первых рядах за гробом

Олекса. Рядом с ним — Мирослава со своими друзьями, они зорко всматривались в людей.

Чиновники в окнах переговаривались:

— Хотя б скорее закопали... Страшно...

— Закопают, но нам припомнят...

— А жандармы зачем?

На углах и перекрестках маячили полицейские, жандармы. И чувствовалось, стоит им сделать лишнее движение — сметут их, растопчут.

— Всех не перебеешь. Видите, панове, сколько их...

На одном из перекрестков выстроились люди в странной форме, очевидно заимствованной у фашистов и несколько видоизмененной под «народный лад». Широко расставлены ноги в кованых высоких ботинках, в руках — то ли палицы, то ли дубинки. Командовал ими Будяк.

— Волошинцы, — негромко сказали Олексе.

— Вижу, — ответил он.

Из рядов процессии выдвинулись вперед крепкие хлопцы-гуцулы, прикрыли ее с флангов.

Олекса попросил Мирославу поддержать вдову Гинцяка, быстро прошел вперед, остановился перед Будяком.

— Геть с дороги, — сказал негромко, спокойно.

Будяк оглянулся на своих — те уже нарушили строй, переминались, озирались.

— Не мешайте проводить в последний путь хорошего человека, хлопцы, — обратился к ним Олекса. — Иначе плохо будет вам, ой как плохо...

Рабочие надвигались уже плотной стеной. И окончательно сломался строй «штурмовиков», разбрелись они кто куда. Будяк в одиночестве заметался на перекрестке и тоже исчез. Процессия подошла к кладбищу. Фабрики, лесопилки, мастерские города откликнулись протяжными гудками.

«У этих господ не лежит сердце ни к языку, ни к культуре, ни к судьбе нашего народа. Они разжигают националистическую травлю...»

Униатский священник Августин Волошин ужинал с близкими друзьями-единомышленниками. На богато сервированный стол с укором смотрели святые с многочисленных икон. Среди гостей — служители церкви, адвокаты, местные дельцы.

— Когда будем брать власть, Августин? — спросил

его «оруженосец», крепко скроенный Брашак, напоминавший типичного погромщика из толпы.

— Нам ее отдадут, Брашак, — спокойно ответил Волошин. — Сейчас не восемнадцатый год, когда Антанта в нас не поверила, подарила наш край Массарику. Антанта теперь кончилась, и поднялась над Европой новая сила — немецкий национал-социализм во главе со своим великим фюрером Гитлером.

Волошин фразы произносил торжественно, значительно, будто проповедь читал в соборе. Сухой, аскетичный, с нервным румянцем на щеках, он странно выделялся среди своих раскормленных гостей.

— Не зевай, Августин, а то пока ждать будешь, Бродий к власти прорвется, — серьезно сказал ему Брашак.

— То пустое, — отмахнулся от него Волошин. Он встал: — Дозвольте, панове, поднять эту чарку за колыбель земель украинских, за нашу подкарпатскую Русь! Выпили дружно, с усердием.

В уголке большой парадной «залы» девушка в строгом темном костюме и расшитой шелком блузке записывала «высказывания» Волошина, который время от времени поглядывал на нее с явной теплотой.

— Кто такая? — спросил у Брашака сосед.

— Пан Волошин новой стенографисткой обзавелся, — ухмыльнулся многозначительно Брашак.

— Еще одной? А София куда подевалась?

— Любит наш Августин... свежих людей. Докладывал мне Будяк, что София, красавица наша, отправилась в батюшкин приход попроситься, ждет ее дальняя дорога... — Брашак заговорил совсем тихо.

— Не может того быть! — удивился сосед.

— Еще как может. Эта бывшая учительница давно уже служит двум господам. Причем неизвестно еще, какому старательнее.

— Волошину про то известно?

— Не сомневаюсь — знает. Но так нашему дорогому Августину удобнее. — Брашак рассмеялся.

— Панове! — истово обратился ко всем Августин Волошин. — Собирайте, накапливайте силы, гуртуйте вокруг себя всех, кто ненавидит большевизм, кому дороги наша вера и идея! Мы должны с оружием в руках встретить заветный светлый час. А он грядет!

— Светлый час... — прокомментировал Брашак. — Власть он хочет урвать, вот чего он хочет, какие сны видит!

Гости поднялись из-за стола, разбились на чинные группки. Дельцы потели в своих суконных костюмах-тройках «под Европу», сверкали драгоценности на крестах у священников. В передней комнате дремали мордатые хлопцы — волошинская охрана.

Волошин расспрашивал Брацка:

— В последнее время мне все чаще говорят о каком-то «товарище Олексе». Кто такой, узнавали?

Брацка почтительно доложил:

— Олекса — сын лесоруба из Ясиной. Отец умер, старший брат коммунист, в комсомол вступил в двадцать четвертом году, через год — в партию, участвовал в коммунистических демонстрациях, агитировал среди рабочих и лесорубов.

— Из убежденных, — неопределенно протянул Волошин.

— Говорят, из самых идейных, — подтвердил Брацка. — Из края исчезал на три года, — продолжал он. — В полицейском досье...

— Кто его смотрел?

— Будяк... Так вот там эти три года никак не обозначены. А мы установили, что он через Германию и Польшу нелегально уезжал в Советский Союз, учился в Харькове. Возвратился в край тоже по чужим документам.

— Высокого полета птица, — протянул Волошин.

— Полет тот можно и оборвать... — сказал многозначительно Брацка.

— Все можно, — согласился Волошин.

Брацка ехидно спросил:

— А ваша любимица хоть попрощалась с вами?

— Кто? — сделал вид, что не понял, Волошин.

— София, — с удовольствием объяснил Брацка. — Укатила на днях в Берлин. Точно знаю это.

— Пусть посмотрит Европу, — уклончиво прокомментировал Волошин.

«Трудящиеся должны бороться против всякого национализма. Буржуазному национализму следует противопоставить интернациональное, революционное единство».

Начальник полиции докладывал губернатору края:

— Получено сообщение, что к нам направляются известный коммунистический публицист Юлиус Фучик и группа коммунистов из Чехии и Словакии.

— Зачем они жалуют? — удивился губернатор. Он внешне скучающе слушал полицейского.

— Цель поездки — знакомство с положением в Закарпатье.

— Можно представить, что напишет в своей коммунистической газете Фучик! — Губернатор уже не скрывал раздражения.

— Статьи его нам славу не умножат, — подтвердил начальник полиции. — Какие будут распоряжения?

— Ума не приложу, — с досадой ответил губернатор. — С одной стороны — едут открыто, с другой — явно антиправительственная акция.

— А может, турнуть их отсюда, чтоб и следов не осталось? — решительно предложил полицейский.

Губернатор отрицательно покачал головой:

— Скандал разразится колоссальный. Запросы, интелпелляция в парламенте... Нет, что-то другое надо придумывать...

...Олекса, Мирослава, Сирена, несколько активистов крайкома встречали на вокзале Фучика и делегатов от рабочих.

— Смотри, Олекса, — тронула за плечо Олексу Сирена. Впрочем, он и сам уже обратил внимание на то, что перрон вокзала заполнялся суетливыми людьми, одетыми разномастно, но в одном стиле — под «простых» украинцев. Кое-где мелькнули желто-голубые флажки с трезубцем. Было немало и крепко выпивших. Среди толпы сновали Будяк и несколько его подручных.

Олекса посмотрел на часы, подозвал Мирославу.

— Мирослава, времени нет, но вдруг... Быстро пошли хлопцев на заводы, пусть поднимают рабочих.

— Не успеем, — отчаянно сказала Мирослава, — а эти вас затопчут. Напоили, подкупили всю городскую шваль...

Поезд из Праги шел точно по расписанию. В одном из вагонов у окон стояли, смотрели на плавно проплывавшие горы Юлиус Фучик и его товарищи.

— Люблю Карпаты, — сказал один из рабочих. — При взгляде на них начинаешь понимать, что такое вечность.

— Нет в этих горах тишины, — ответил Фучик. — В Закарпатье ежемесячно участвуют в рабочих демонстрациях по пятьдесят-шестьдесят тысяч человек... Пос-

ле тяжелейшего неурожая здесь нищета достигла предела. Безработица, болезни... Добавьте к этому политику насильственной колонизации и вы поймете, сколько отчаяния и гнева накопилось в Карпатах.

А там, куда они ехали с миссией солидарности, им готовили недобрую встречу. Повинуясь команде Будяка и его подручных, сброд на перроне кое-как выравнял ряды. Полицейские покидали станцию. Они ухмылялись.

— Всыпьте красным, хлопцы, — бросали на ходу, — чтоб и носа к нам впредь не совали...

Мирослава уже на бегу торопливо сказала Олексе:

— Я к безработным... Они поймут...

Девушка вскочила в пролетку на привокзальной площади, крикнула извозчику:

— Быстрее к бирже!

— Не поеду, — хмуро сказал пожилой гуцул, — убьют вот те... — указал он на вьющуюся на перроне толпу.

— Поедешь, коханный, — зло ответила Мирослава. — Вот деньги, здесь хватит...

— Не-е, — замотал головой извозчик.

Мирослава в другой руке уже держала пистолет.

— Выбирай...

— Вьо-о! — взмахнул батожком извозчик.

— И быстро чтобы!

Пролетка понеслась по узкой улице.

На бирже труда сидели, стояли, перебрасывались фразами сотни безработных. Хмурые, изможденные, они знали, что работы нет и скоро не будет, и пришли сюда скорее по привычке, чем в надежде на счастливый случай.

Пролетка с Мирославой влетела во двор биржи.

— Товарищи!.. — выкрикнула Мирослава. Она стояла в пролетке, на виду у всех. Безработные вяло подошли.

— Товарищи! К нам едут рабочие Чехии и Словакии, чтобы посмотреть, как мы бедствуем, и поддержать наши требования...

— ...Жаль, — сказал Олекса своим товарищам, — что поезда из Праги ходят точно по расписанию. Не успеет Мирослава.

Один из коммунистов, в форменной куртке и фуражке железнодорожника, начал пробиваться сквозь толпу к зданию вокзала. Он вошел в комнату дежурного:

— Видишь? — указал в окно на спящих по перрону полупьяных людей.

— Никогда такого не было, — срывающимся голосом сказал дежурный по станции.

— Задержи пражский... Дай красный по линии...

— Не имею такого права! — побледнел дежурный.— С работы погонят, если не посадят, а у меня пятеро на шее, пять ртов голодных...

— Давай красный... От имени крайкома партии прошу... Кровь ведь здесь прольется! Весь сброд сюда сползся... И все жандармское воронье слетелось!

Дежурный, отчаянно махнув рукой, включил красный на семафорах.

А в кабинете начальника станции, где расположились полицейские чины, Брашак и его подручные, уже предвкушали скорую расправу с делегацией пражан. Полицейский полковник сказал одобрительно Брашаку:

— Неплохо поработал... Сколько людей вывел?

— Сотни две, не меньше.

— Да наших с сотню наберется... Сила! Где Будяк? — спросил громко, чуть ли не с воодушевлением.

— Здесь я! — откликнулся Будяк.

— Готова депутация?

— Так точно!

— Значит, подходите к вагону с этими пражскими коммунистами и говорите: так, мол, и так, не желаем мы, народ, видеть вас, чешских колонизаторов, на своей земле. Убирайтесь! Во избежание несчастных случаев из вагона выходить не советуем. Ясно?

— Куда ж яснее! — щерил редкие зубы в злорадной ухмылке Будяк.

— Только смотри мне, не перепутай чего, а то три шуры спущу и солью присыплю! Дыхни!

— Так я трошки... для бодрости, — не испугался грозного тона Будяк.

— Лайдак! — сплюнул в угол полковник. — Выметайся на перрон.

— Что там происходит? — неожиданно осипшим голосом спросил Брашак, выглянувший в окно.

Пражский поезд, выглянувший из-за поворота, споткнулся о красный свет семафора и замер, паровоз недовольно швырялся сизым паром.

— Что произошло? — заволновались и коммунисты-пражане, окружив в тамбуре вагона Юлиуса Фучика.

— Не знаю, — ответил Фучик, — но, наверное, что-то серьезное, раз задержали скорый. Не всем здесь по вкусу наш приезд...

— Когда в этой стране будет порядок? — ворчал солидный пассажир, обращаясь к своему соседу. — У меня встреча с самим губернатором назначена.

— Земелькой или лесом интересуетесь?

— Изучаю конъюнктуру, — уклонился от ответа толстосум.

— Богатый край... Лес, земля, уголь, рабочие руки — за копейки... Благодать!

А на вокзале обстановка накалилась до предела. Олексу и его товарищей провокаторы окружили плотным кольцом, теснили от перрона, размахивали короткими дубинками. Побледневшая Сирена прижалась к Олексе.

— Забьют? — спросила почему-то шепотом.

— Могут, — неопределенно проговорил Олекса. Он взглянул на часы — задерживалась Мирослава с поддержкой.

— Олекса! — взволнованно сказала Сирена. — Если что случится, знай, я тебя очень люблю...

— Вот теперь ничего не случится, — улыбнулся Олекса. — Мирослава успеет, она должна успеть!

Кое-где уже вспыхнули потасовки.

На бирже труда в это время шел быстрый митинг...

— Товарищи безработные! — Мирославе изменила сдержанность, она страстно, горячо обращалась к толпе хмурых, потрепанных жизнью людей. — Там, на вокзале, жандармы собрали всю городскую гниль, провокаторов и погромщиков, чтобы задушить правду о нашей жизни, о нашей с вами беде. Так неужели же допустим такое?

— Нам что до того? — сказали из толпы. — Ты нам работу дай! Какую угодно, но чтобы хоть на хлеб зарабатывать!

— Товарищи! — уже тихо сказала Мирослава. — Неужели не понимаете? Эти люди из Праги ради вас сюда приехали, а их...

По толпе безработных прошел гул. Несколько человек — вожаки — вышли вперед.

— Двинулись, хлопцы, — командовал молодой парень и лихо бросил кептарь на плечо. — Такой случай, что надо помочь...

Из комнаты дежурного по станции хорошо было вид-

но, как на вокзальную площадь вступают безработные. Увидели их из кабинета начальника станции полицейские, Брашак и другие.

— Это еще что такое? — побагровел начальник полиции.

— Кажется, нам здесь больше делать нечего! — Брашак вытирал пот с лица.

— ...Давай зеленый, — хлопнул по плечу дежурного железнодорожник-коммунист.

Поезд плавно подкатил к перрону. Олекса встретил Фучика объятиями.

— Вот мы и снова вместе! — радостно сказал другу. — Видишь, как нас встречают!

Безработные выметали с перрона погромщиков.

— Товарищи! Все на площадь! — крикнул Олекса, энергично вскочив на ступеньки вагона.

Из здания вынесли стол, на него встали Олекса, Фучик, их товарищи.

— Друзья! — говорил Фучик. — Рабочие Праги шлют вам свой братский пролетарский привет! Мы знаем, как вам тяжело живется в вашем прекрасном крае. Нет работы, нет хлеба, нет земли... В забастовщиков стреляют, в села посылают карательные отряды... Детей ваших в школах учат на чужом им языке, даже ростки украинской культуры пытаются уничтожить...

Внимательно слушали Фучика участники митинга, слушали его и полицейские в кабинете начальника станции — окна открыты. Начальник полиции бросился к телефону.

— Алло, управление? Отряд полиции к вокзалу! С оружием...

— Не делайте глупостей, — сказал Брашак. — Представляете, каким эхом по стране покатаются эти выстрелы?

Теперь говорил Олекса:

— Спасибо рабочим Чехии и Словакии за поддержку. Мы знаем, — это чешская буржуазия набрасывает на нас ярмо, а рабочий класс Чехословакии протягивает нам руку помощи. Передай, товарищ Фучик, Центральному Комитету партии, товарищу Готвальду: мы боролась и будем бороться до конца вместе с нашими чешскими и словацкими братьями по классу! Да здравствует пролетарский интернационализм!

Олекса и Юлиус прыгнули с «трибуны». К ним пробилась сквозь толпу девочка-подросток.

— Вот я и пришла к вам, — повзрослевшая Маричка сказала это решительно, но все-таки смущаясь. — Не прогоните?

— Да тебя не узнать, Маричка! — радостно удивился Олекса. — А как дедушка? Живой?

— Слава Ису! — по-взрослому серьезно ответила Маричка. — Мой братик подрос, теперь он у деда поводырем будет. А мне дедушка сказал: «Иди к Олексе, брату Василя из Ясиной, он правильной дорогой тебя по жизни поведет».

— Мирю! — позвал Олекса. И когда девушка подошла, сказал ей: — Вот тебе помощница. Позаботься о ней, хорошей комсомолкой будет наша Маричка! Помнишь ее, Юлек?

Фучик пожал приветливо руку смущенной девочке.

«Энергично стоять и дальше во главе угнетенных масс и развивать борьбу».

Олекса и Фучик зашли в маленький ресторан. Клиентами здесь были люди скромные: рабочие, приезжие крестьяне. Их встретил официант, но без обычного в таких местах подобострастного поклона.

— Определи нас в уютный уголок, Иване, — попросил Олекса.

Иван бросил внимательный взгляд на его спутника, признал своего.

— Добре, товарищ Олекса, — ответил.

Юлиус Фучик улыбнулся.

— Популярная ты особа... товарищ Олекса.

Они заняли столик в углу.

— Иване, — сказал Олекса официанту после того, как сделал скромный заказ, — попроси хлопцев, — он кивнул на маленький оркестр на эстраде, — пусть играют для гостя наши, закарпатские...

Оркестр заиграл народные мелодии, Олекса и Фучик заговорили вполголоса.

— Товарищ Готвальд передает тебе привет. Просил сказать, что ЦК окажет закарпатским коммунистам любую возможную помощь. А я... хочу своими глазами увидеть твое Закарпатье...

— Может, напишешь? Здесь есть о чем писать... Борьба разворачивается нешуточная, ожесточенная...

— По всей Чехословакии так... — задумчиво сказал Фучик. — Гитлер рвется к власти, и обстановка везде

резко обострилась. Если фашизм победит — мы станем одной из его первых жертв.

— Да, это ясно каждому здравому человеку, — подтвердил Олекса.

— Плохо то, — говорил далее Фучик, — что в ЦК нет единства... Откровенные капитулянты, уклонисты, деятели с сектантскими замашками ослабляют наши силы. Трудно приходится товарищу Готвальду. Но скоро с разбродом будет покончено...

— Давно пора, — горячо поддержал Олекса. — Сейчас мы должны особенно заботиться о сплоченности, о единстве перед угрозой фашизма и войны... В нашей организации подавляющее большинство выступает именно за это! Нельзя во время боя болтаться на нейтральной полосе...

— Товарищ Готвальд поручил передать, — после паузы сказал Фучик, — что ЦК намерен в скором времени рекомендовать тебя первым секретарем крайкома партии...

— Мне бы опыта побольше, — смутился Олекса.

— Мы свой опыт приобретаем в борьбе.

В зал вошла Сирена. Олекса увидел ее, поднял руку.

— Добрый вечер, товарищ Фучик, — сказала Сирена.

— Вечер добрый... Только зови меня просто Юлеком.

— С радостью, — Сирена просияла. — Как Густа?

— Шлет тебе привет. Приглашает в гости.

— Хорошо бы, — мечтательно протянула Сирена. — Олекса, вокруг ресторана полно шпиков. И наглые такие... Один мне говорит: «Передай своим, пусть заканчивают беседу, а то прохладно стоять...»

Юлиус расхохотался.

— Ну и ну! У вас тут по-домашнему...

— Город небольшой, все друг друга знаем... Я уже привык к сопровождению — наступают на пятки, но пока не наглеют... А померзнуть мы их заставим, уйдем черным ходом...

«Время не ждет. Положение чем дальше, тем напряженнее».

По улицам и площадям Берлина шагали отряды штурмовиков. Коричневые истоиво чеканили шаг, дружно вскидывали руки в фашистском приветствии. У рейх-

стага бесновалась огромная толпа — ждали появления Гитлера. Перед Берлинским университетом пылали костры из книг. С заводских конвейеров сходили снаряды, танки, пушки...

Но волны беснующейся толпы не докатывались до мрачных серых стен массивного здания, в котором размещалось гестапо. Здесь в одном из тихих кабинетов за массивным столом просматривал документы молодой штандартенфюрер.

Адъютант доложил ему:

— По вашему вызову... Софья Бой-ко, — славянскую фамилию адъютант произнес по складам.

— Пусть войдет, — ответил штандартенфюрер.

Вошла миловидная девушка, одетая, как все берлинские женщины того времени, безвкусно, но с претензией на переменчивую моду.

— Здравствуйте, господин штандартенфюрер. Мне приказали...

— Знаю, — полковник говорил отрывисто, чеканными фразами. — Вы поступаете в наше распоряжение. Формальности выполнены?

— Да, — кивнула София, — я все подписала.

— Аванс?

— Получила...

— Это вам за прежние заслуги. В принципе мы довольны и вашей преданностью идеям фюрера, и вашей информацией о настроениях среди курсантов спецшколы. Есть изменения в семейном положении?

— Нет.

— И быть без нашего согласия не может, — резко сказал полковник. — Вашего... любовника... мы отправили... знаете куда?

— Да, — опустила голову София, чтобы скрыть слезы.

— Оттуда он не выберется. Не мешает вам выполнить особо важное задание. Для таких, как вы, это недозволённая роскошь — спать по любви.

— Как прикажете, господин штандартенфюрер, — оправилась от удара София.

— Вашим местом службы снова будет Закарпатье. Вы приедете туда с дипломом Венского университета. Наши люди позаботятся о том, чтобы вы заняли достойное место в обществе. Вы станете личным секретарем-стенографисткой хорошо знакомого вам пана Воло-

шина... Он не станет вам мешать, — продолжал штандартенфюрер. — В этом крае есть единственная реально опасная для нас сила — коммунисты. Вы должны знать о них все...

— Позвольте... — осмелилась перебить гестаповца София.

— Нет! Я еще не закончил — вопросы потом. Вас наверняка попытается завербовать местная полиция — поторгуйтесь, но не особенно сопротивляйтесь. Начальник полиции — наш давний друг, но о вашей миссии он не знает... Вопросы?

— У меня нет вопросов, — встала и вытянулась София.

— Уже лучше, — проворчал гестаповец. — После инструктажа в наших отделах собирайтесь в путь.

Он протянул ей фотографию Угрюмого.

— Запомните этого человека. Его приказы для вас — закон.

...Родное село Софии лежало у самых гор.

Посреди села, на возвышенности, красовалась ухоженная церковь. К ней примыкал дом священника с большим садом.

София соскочила с брички, легко побежала к дому:

— Мамо! Тато! — крикнула у порога.

Выплыла мать, грузная, с ключами у пояса.

— Доченька! Слава Ису! — София утонула в ее объятиях.

— А где отец?

— На службе, — указала попадья на церковь, где на паперти толпились люди.

— Боже! — умиленно шептала София. — Будто в детство возвратилась...

Она еще раз поцеловала мать и пошла по дорожке к церкви, пробралась через молящихся поближе к алтарю.

Священник вел службу:

— Фюреру германского народа... Адольфу Гитлеру... многие лета...

— Многие лета... — взревел полупьяный дьякон.

Верующие удивленно смотрели на своего священника, несколько старух умиленно закрестились

София тихо пошла к выходу.

Она была в саду, когда к хате подкатил тарантас. В нем важно восседал Будяк.

— Ой, кто к нам приехал! — помчалась навстречу ему София.

Стол попадья накрыла им под старой яблоней. Отец-священник осуждающе посмотрел, как София и Будяк лихо опрокинули граненые рюмки, и скрылся в доме.

Попадья ласково улыбалась Будяку.

— Файный хлопец, — улучила она минутку, чтобы сказать это дочке. Будяк вырядился как для вечернего променада. Он и София выпили еще.

— Что нового? — спросила раскрасневшаяся София.

— А ничего! — беспечно ответил Будяк. — Твой Августин ждет, когда ему Гитлер власть подарит... Брашак все такой же желтый и злой. Грызутся с Бродием и другими, будто и не из одной своры... Выпьем?

— Выпьем... А как узнал, что я здесь?

— Угрюмый послал... Чтoб, значит, не задерживалась.

— Перейдем в хату, — предложила София. — Прохладный вечер сегодня...

Они взяли со стола бутылки, хлеб, сало, другую закуску.

— Не туда, — прошептала София, когда Будяк ткнулся в одну из дверей.

Через несколько дней София увиделась с Угрюмым. Они шли по аллеям городского парка. Здесь их разговор никто не слышал.

— Как Волошин встретил? — спросил Угрюмый.

— Радостно, — улыбнулась София.

— Поддерживайте с ним хорошие отношения, — сказал Угрюмый. — Если надо будет... Словом, сообразайте сами, наш Августин далеко не святой...

София смотрела на Угрюмого преданно и понимающе.

— Вы знакомы с новым коммунистическим лидером, Олексой?

— Да, — удивилась София, — я недолго учила его...

— Вот Олексой займитесь всерьез... Это приказ.

— Бесплезно, — твердо сказала София. — Ни за-вербовать, ни переубедить его невозможно. Это я знаю точно.

Она вдруг ясно увидела себя и Олексу в Ясинях, много лет назад. Он шел по селу с фанерным чемоданчиком в руках. Был воскресный день, в церкви только

что закончилась служба. София вышла на паперть вместе с отцом, заметила Олексу, сказала:

— Я скоро приду.

— Не надо бы тебе знаться с тем коммунистом, — недовольно проворчал священник.

— Пустое говорите, — передернула плечами София.

— И отец у него был бунтарского рода, а старшие братья — так те среди коммунистов в селе главными стали, — настаивал священник.

София уже подходила к Олексе.

— Куда собрались?

— В Мукачево...

— В науку?

— Как получится, — ответил неопределенно Олекса. Под взглядом односельчан, с любопытством рассматривавших его и дочь священника, он чувствовал себя неловко.

— Я вас провожу, — предложила София.

Они пошли к околице Ясиней, к широкой поляне. На ней обучались верховой езде группа хлопцев. Они прыгали на бегу в седла, брали барьеры.

— Вот с кем вам надо быть, Олекса, — сказала София.

— С кулацкими сынками из «Сельской конницы»? — Олекса пожал плечами.

— Зачем вы так? — примирительно сказала София. — «Сельская конница» — это сугубо спортивная организация. Посмотрите, как прекрасны всадники на фоне наших гор!

— Оно конечно... — иронически протянул Олекса. — На коне сподручнее... топтать лесорубов... Нет уж, в помощники жандармов меня не заташат!

— Не пойму я вас, — сказала София. — Вы — русин, гуцул с дедов-прадедов...

— Я украинец! — Олекса ответил ей с вызовом. — Нас могут называть как угодно — русинами, карпатороссами, но мы — украинцы!

— Не надо горячиться, — София ласково тронула его за плечо. — У нас с вами... и с теми, кто на конях, — она указала на всадников, — одна земля, одна отчизна — Карпаты!

Она вдруг вспыхнула ярким румянцем, и голос ее зазвенел, как натянутая струна:

— Грядет время, и мы погоним отсюда всех, у кого

другая кровь! И тогда наши трембиты пропоют славу самостийной державе на земле наших предков.

— Вот вы какая! — удивился Олекса.

— Да, я такая! — с вызовом ответила София. — И я клянусь вам, — она истово перекрестилась, — что такое время наступит!

Всадники перестроились для конной атаки. И вот уже бешено мчится лава, вскинуты руки, как для сабельного удара. Но сабель пока еще у них нет. Пока...

— Так что вы все-таки будете делать в Мукаче-ве? — спросила София.

— Наверное, поступлю в торговую школу.

— Чтобы торговать дегтем и гвоздями? — с иронией заметила девушка.

— Университет в Праге для таких, как я, закрыт! — ответил с вызовом Олекса.

— Нравится вы мне, Олекса, настойчивостью. Жалко, не поняли мы друг друга...

— Почему же? Даже очень хорошо поняли...

...Она вспомнила все это и вновь сказала Угрюмому:

— Бесплезно тратить время. В этом случае возможен только один вариант...

Угрюмый чуть приметно кивнул, и София поняла, что он согласен с нею. Но осуществление «варианта» пришлось отложить — Олекса внезапно исчез из края...

«С большевистской решительностью поднимайтесь все в бой под руководством коммунистов против всякого национализма, против фашизма, против империалистической войны».

Даже самые опытные агенты охраны не смогли установить, когда и как уехал товарищ Олекса через границы — в Москву, на VII конгресс Коминтерна.

Ранним московским утром Олекса шел по набережной Москвы-реки. Выходило солнце и золотило звезды Кремля. Был июнь.

В Новомосковской гостинице он поднялся лифтом на один из этажей, отыскал нужный номер, постучал.

— Одну минутку! Кто там в такую рань? — откликнулись из номера.

— Здесь проживает постоянный корреспондент газеты «Руде право» в Москве товарищ Фучик? — чуть иронично спросил Олекса.

Дверь распахнулась, и друзья обнялись,

— Входи, гуцул, — пригласил Юлиус. — Ишь ты, и не узнать!

Олекса был одет в строгий костюм, галстук со вкусом подобран к рубашке.

— А что? — заулыбался Олекса. — И мы, как говорится, из Европы! Помнишь?

— Как же! Проходи, — вновь пригласил Фучик. — Кофе на столе, обслуживай себя самостоятельно. А мне надо две-три минуты.

Он ушел в соседнюю комнату и, пока Олекса разливал кофе, появился тоже в праздничном костюме, на ходу причесывая влажные волосы.

— Ты чего такой торжественный? — с любопытством спросил Олексу.

— Сегодня на конгрессе Коминтерна выступает товарищ Сыровы, — ответил Олекса.

— Пожелаем успеха товарищу Сыровы, — серьезно сказал Фучик. — Не каждому дано право подняться на такую высокую трибуну, с которой тебя видят лучшие люди земли и ты их видишь... Вырос, гуцул! Рад за тебя!

Фучик знал, что под псевдонимом Сыровы Олекса нелегально прибыл в Москву, чтобы участвовать в работе VII конгресса Коминтерна.

— Наверное, тебя сейчас жандармы по всему Закарпатья ищут, — вдруг рассмеялся он. — Им и в голову не придет, что ты... в Москве!

— А пусть себе ищут, — отмахнулся Олекса.

Они вместе пришли в Колонный зал Дома союзов. И когда председательствующий объявил: «Слово предоставляется товарищу Сыровы, Закарпатская Украина», на трибуну поднялся Олекса. Он явно волновался, но вскоре заговорил уверенно, твердо: ведь все, что он намеревался сказать, продумано, проверено борьбой.

— Каким было положение на Карпатской Украине во время VI Всемирного конгресса Коминтерна? Организация компартии была изолирована от трудящихся масс... Революционное движение на Карпатской Украине регрессировало, компартия утратила свое массовое влияние. Успехами компартии в целом и, в частности, карпато-украинской организации мы обязаны прежде всего VI конгрессу Коминтерна и исполкому Коминтерна, с помощью которых мы смогли вскоре после VI конгресса очистить Компартию Чехословакии от правых оппортунистов и ликвидаторов. Оппортунистическая по-

литическая линия партии была заменена революционной, и был избран новый Центральный Комитет во главе с товарищем Готвальдом...

Завершил свое выступление Олекса словами, которые прозвучали как клятва:

— Мы, украинские коммунисты, заявляем, что наша борьба главным образом направлена против фашистских агентов Гитлера, Пилсудского и Хорти, которые стремятся использовать украинские районы в Чехословакии как плацдарм для антисоветской борьбы в Центральной Европе. Мы заявляем, что приложим все силы для того, чтобы превратить Карпатскую Украину в мощную цитадель для защиты Советского Союза...

После конгресса товарищ Олекса срочно возвратился в Закарпатье. Когда о появлении Олексы в крае стало известно Угрюмому, он через Софию отдал приказ осуществить «вариант» устранения партийного вожака трудящихся Закарпатья.

«У всех у нас беда одна, поэтому надо объединяться и защищаться против войны и фашизма».

Губернатор Закарпатья вызвал начальника полиции.

— Хочу вам сказать то, что вы знаете не хуже меня, — беспорядки в крае достигли предела.

Полицейский развел руками:

— Всею виною коммунисты. Они мутят воду.

— Сколько их? Горстка!

— Вы ошибаетесь, с тех пор как первым секретарем у них стал Олекса, они выросли в несколько раз.

— Наша аграрная партия в десятки, сотни раз превышает по численности коммунистическую. Но рабочие идут за ними, за коммунистами! В наших руках полиция, юстиция, в наших руках все! И в то же время мы бессильны? Неужели ничего нельзя сделать?

— Коммунистическая партия находится на легальном положении, господин губернатор. У полиции связаны руки... Главарь коммунистов Олекса — депутат парламента. Особа неприкосновенная...

— Заладили! Неприкосновенен только бог. Все остальные — смертные... Случаи... несчастные... подстерегают нас неожиданно...

— Вас понял, господин губернатор.

Судя по выражению лица, полицейский действи-

тельно правильно понял губернатора. Он срочно встретился с Угрюмым, а тот уже вызвал к себе Будяка.

В здании, принадлежащем националистической спортивной организации «Пласт», были не только спортивный зал, комнаты для тренировок, душевые. Длинный, глухой коридор вел к двери, обитой листовым железом. Угрюмый работал в «Пласте» «тренером». Он и Будяк подошли к этой двери. Угрюмый достал связку ключей, открыл тяжелые замки.

— Заходи, — пригласил он Будяка.

Здесь был небольшой, но вполне современный арсенал — винтовки и автоматы нескольких систем, ручные пулеметы, револьверы, гранаты.

— Выбирай, — лаконично предложил Угрюмый.

Будяк взял из пирамиды короткий австрийский карабин, легко и привычно вскинул его к плечу.

Угрюмый поморщился.

— Не то... Ведь это будет несчастный случай в горах? И о нем обязательно пронюхают газетчики, а эксперты извлекут пулю?

— Вероятно, — подтвердил Будяк, удивившись про себя, откуда тренеру «Пласта» известны подробности.

— Тогда советую вон тот охотничий «зауэр». Нарезные стволы. Калибр 7,8. Цейсовская оптика, еще старая, не та, которую сейчас потоком гонят.

Будяк взял ружье-двустволку.

— В горы ходят с охотничьим ружьем, — рассуждал Угрюмый. — А из этой штуки, — он любовно похлопал приклад ружья, — на пятьсот метров... сам пробовал...

— Беру, — согласился Будяк. — Во что положить? — спросил он, умело разбирая ружье.

— В футляр из-под скрипки. Удобно нести по городу.

Будяк деловито вышел из здания «Пласта» со «скрипкой». Он почти лицом к лицу столкнулся с компанией молодых людей: два парня заигрывали с девушкой.

— Извините, — вежливо попросил Будяк пропустить его, на узком тротуаре было сложно разминуться.

— Шагай... скрипач, — грубо ответили ему, толкнули так, что он прилип к стене. «Скрипка» упала на мостовую, футляр раскрылся, Будяк поспешно схватил его и почти побежал по улице — хулиганы явно затевали скандал. Когда Будяк скрылся за углом, девушка приказала «поклонникам»:

— Вы — за ним, а я к Мирославе.

Мирославу она разыскала в редакции.

— Выйдем, Мир, срочное дело.

Мирослава накинула платок, вышла с девушкой на улицу.

— В «Пласте» побывал Будяк, — взволнованно сказала девушка, — получил оружие. Готовится покушение. На кого — то ясно! Олекса никуда не собирается?

— В горы, к гуцулам.

— Значит, прознали...

Олекса уехал в горы на следующий день. Вез его тот же пожилой гуцул, с которым он вместе с Юлиусом ездил «к центру Европы». Олекса с тех пор подружился с ним, полностью доверял.

— Красота здесь такая, что жить и жить хочется, — сказал Олекса, окидывая взглядом близкие горы.

— Не дают жить, — мрачно ответил гуцул. — И собственные живоглоты, и эти... фашисты.

Встретились им старый музыкант с мальчиком-поводырем. Брели они дорогой, остановились.

— Рад тебя видеть, дедушка, — сердечно сказал слепцу Олекса. — У Марички все хорошо, учиться ее устроили.

— Бог тебе воздаст за добро, — ответил благодарно дедусь. Он предупредил: — Будь осторожен, Олекса, чужие люди в горах бродят, из города, не наши...

— Кто такие? — встревожился возница.

— Не знаю этого. Но вроде прячутся, кого-то ждут...

Будяк с рюкзаком и охотничьим ружьем карабкался по крутым склонам вдоль дороги. Он выбрал место под отвесной скалой, залег, зарядил ружье.

Наверху, прямо над ним, появились трое хлопцев. Будяк у них — как на ладони.

— Лежит, будто муха на стекле, — сказал один из них.

— Сейчас станет эта муха дохлой, — ответил его товарищ, доставая из-под кептаря наган.

Они видели, что бричка с Олексой приближается к засаде.

— Стрелять нельзя...

— Тогда как?

— Есть способ... Помогайте, — один из хлопцев выбрал большой камень, подсунул под него жердь. Камень медленно сдвинулся к обрыву, и хлопцы обрадовались — получалось неплохо...

Будяк поймал в оптический прицел Олексу, увидел,

что тот весело смеется, и злорадно подумал: «Отвеселился, коммунист»...

Но камень уже катился вниз, увлекая за собой другие, помельче. Это была все сметающая на своем пути лавина, и Будяк услышал ее грохот, бросил ружье, прыгнул под укрытие скалы.

Гуцул резко остановил лошадей, тревожно огляделся:

— Слава Ису, мимо... Чудно только, сколько здесь ездим — никогда камнепада не было... Чья-то чистая душа за тебя молится, товарищ Олекса.

— Спасибо ей, — серьезно ответил Олекса. Он и сам понимал, что был на волосок от гибели.

Они молча доехали до развилки, в сторону близких гор ответвлялась еле заметная тропинка.

— Дальше я пешком, — сказал Олекса, — места знакомые.

Он шел уверенно, привычный к горным тропам, и вскоре увидел землянки лесорубов. Его встретили неприязненно. Старший при виде чужака сказал, не ответив на приветствие:

— Уходи, горы не любят чужих.

— Я здесь свой, — ответил спокойно Олекса. Он знал, что лесорубы привыкли видеть в горожанах сборщиков податей и других вестников всяческих бед.

— А свой, тогда бери крису.

Олекса работал весь день, валил сосны. Вечером лесорубы собрались у костра, плеснули и ему в миску похлебки.

— Из Ясиной, говоришь?

— Из них.

— А Василя, который за Советы воевал, знаешь?

— Брат мой старший.

— Так бы сразу и сказал. — Старший отставил в сторону крису, грозное в его руках оружие — топор на длинном топорнице, доброжелательно предложил:

— Теперь рассказывай, с чем к людям пришел.

— Скоро Первое мая, — проговорил Олекса. — В этот день пролетарии всего мира показывают буржуям и эксплуататорам свою силу и сплоченность. Рабочие наших городов тоже выйдут на демонстрации. И они хотели бы знать, поддержите ли вы своих братьев по труду.

— Ты где будешь в это время, Олекса, брат Василя? — спросил задумчиво старший.

- В первом ряду.
- А если пуля жандармская?
- Что же, видно, такая судьба...

...Древнее Мукачево праздновало Первое мая. По узким улочкам мимо старинных приземистых зданий, соборов, учреждений со львами на вывесках шли колонны рабочих, крестьян, лесорубов. По призыву Коммунистической партии рабочий народ под красными знаменами вышел на улицы. Колонны вели пять духовых оркестров. На главной улице они соединились, и революционные мелодии слились в одну, мощную — «Интернационал». За оркестрами медленно ехали триста велосипедистов в спортивной форме членов пролетарских физкультурных организаций. Во главе рабочих колонн шли товарищ Олекса, члены крайкома КПЧ. Сирена и Мирослава были неподалеку, как и у других участников манифестации, у них в руках были первые распустившиеся ветки сирени.

По бокам первомайских колонн, охраняя их, шли крепкие парни с гуцульскими топорами в руках. Они опирались на них, как на посохи, но не следовало никому испытывать их терпение...

— Да здравствует единый фронт! Все в бой за лучшую жизнь в Закарпатье!

Эти лозунги были на всех транспарантах: на украинском, чешском, венгерском языках.

Рабочий класс Мукачева праздновал гневно и мощно свой пролетарский праздник — 1 Мая...

«Не отдадим Подкарпатье ни внутренним, ни чужеземным фашистам!»

Клемент Готвальд встретился с группой депутатов-коммунистов чехословацкого парламента. Среди них был и Олекса.

— Приближается, — сказал Готвальд, — особый день. Помните?

— Конечно! — ответили ему. — 7 ноября!

— По недомыслию или чтобы бросить вызов, буржуазное правительство решило, что Национальное собрание будет заседать как обычно. Понимаете?

— Редкая возможность.

Его поняли сразу.

— Вот именно! Кому поручим выступать в палате депутатов?

— Товарищу Олексе!

— Пусть говорит от имени всех нас.

Олекса с трудом, но добился слова на заседании палаты депутатов Национального собрания Чехословакии. В этот день председательствовал Бенеш. Он делал вид, что выступление депутата-коммуниста его не интересует. Олекса говорил вот о чем:

— Свои первые слова с этой трибуны посвящу вопросам внешней политики, которые касаются восточной части республики. Но перед тем, как перейти к этим вопросам, позволю себе от имени трудящихся Подкарпатя передать братский привет трудящимся Советского Союза, особенно трудящимся Советской Украины, которые сегодня отмечают 18-ю годовщину своего победоносного Октября.

Сегодня на улицах Киева, Харькова участвуют в демонстрациях сотни, тысячи, миллионы трудящихся, с радостью подводят они итоги успехам, которых достигли на пути социалистического строительства. А эти успехи немалые...

Среди реакционных депутатов, — а их большинство — поднялся шквал возмущения, свист, выкрики: «Долой!», «Агент Москвы!»

В ложе прессы улыбался Фучик. Он приподнялся, крикнул:

— Молодец, Олекса!

— ...Трудящиеся массы Подкарпатя радостно приветствовали тот факт, что чехословацкое правительство изменило свою предыдущую политику по отношению к Советскому Союзу, установило с ним отношения и заключило пакт о взаимопомощи...

Доктор Бенеш опустил голову и отвел глаза — напоминание было ему неприятно.

— ...Трудовой народ Подкарпатя не хочет войны, не хочет фашизма, он хочет свободы! Поэтому обращаюсь в адрес правительства: в интересах укрепления позиций мира в таком важном районе, как Подкарпатье, требую, чтобы правительство установило равноправие народа Подкарпатя...

Шум и крики в зале усилились.

— ...Все трудящиеся Подкарпатя, все организации, которые действительно хотят бороться против фашизма, за улучшение жизни трудового народа Подкарпатя, должны еще теснее объединяться в один могучий народный фронт. Потому что только могучим фрон-

том могут они отразить опасность фашизма, опасность войны.

Завершение речи товарища Олексы горстка депутатов-коммунистов встретила аплодисментами, реакционеры — злобными выкриками.

В перерыве между заседаниями Юлиус отыскал Олексу, хлопнул его по плечу.

— Ты прекрасно выступал, Олекса!

— Спасибо, Юлек!

— Слушай, ты ведь приехал в Прагу с Сиреной? Так?

— Да, упросила-таки взять с собой.

— Вечером мы с Густой ждем вас.

...Юлиус, Сирена, Олекса сидели за празднично накрытым столом. Густа разливала чай.

— Честное слово, Олекса, ты здорово сказал! — вернулся к событиям дня Юлиус. — Попомни мои слова — эта банда политических двурушников в решающие дни предаст и продаст народ, родину...

— Ты прав, Юлек. Положение с каждым часом становится все напряженнее. Республика и жизнь народа в опасности — это должен понять каждый честный человек... И помощь к нам может прийти только с Востока!

— Знают ли там, в СССР, о грозящей опасности? — спросила Сирена.

— Знают, — уверенно ответил Юлиус. — Мне не раз приходилось там слышать песню... — Он тихо напел мотив:

Если завтра война,
Если завтра в поход...

— Если завтра война... — с грустью спросила Густа, — что нам предстоит?

— Борьба, — твердо ответил Юлиус, — до победы!

— Тяжкой эта борьба будет, — сказал Олекса. — Знаешь ли ты, Юлек, что фашисты поспешно наводняют Закарпатье своей агентурой? Торопятся, действуют почти открыто, нагло, сколачивают националистические банды, запасают оружие... Пойми меня правильно. Я не страшусь ни борьбы, ни даже смерти. Если мне скажут: «Пойди и умри за наше дело», я пойду и умру. Но принесет ли моя гибель пользу, устоит ли наше дело, если мы — ты, я, Сирена, Густа, все другие наши товарищи — погибнем?

Юлиус долго молчал. Наконец сказал, как глубоко продуманное:

— Смерть — удел человека, но не великого дела, в которое верят миллионы. Наше дело нельзя ни задумать, ни расстрелять!

«Только вместе с великим Советским Союзом мы сможем отбить агрессию фашизма!»

В следующий свой приезд в столицу Чехословакии Олекса поразился переменам, которые в ней произошли. Город вроде бы спокойно дремал под солнцем, но это было обманчивое спокойствие. Тревога витала в воздухе. Заметил Олекса и плакаты с обликом Гитлера, и группки молодых людей в коричневых рубашках, кожаных куртках, подкованных сапогах. Кто они, откуда вынырнули?

Вот почти лицом к лицу он столкнулся с типом со свастикой на нарукавной повязке, еще один, вот дружно вскинулись руки в фашистском приветствии.

Полицейский отвернулся — это его не касалось. Какая-то дамочка всхлипнула от восторга: «Ах, какие славные!» Прохожие молча обходили группку молодых последышей нацистов, как видно, приехавших на «экскурсию» из Судет.

Олекса вскоре понял, почему они толкуются именно здесь: рядом был киоск, торгующий нацистской литературой и символикой — газеты, журналы, нацистские значки, свастики всевозможных размеров и... короткие дубинки, цепи.

— Можно вот это? — спросил Олекса у продавца, явно из «ветеранов», со шрамом через низкий покатый лоб. Киоскер проследил за его взглядом, протянул массивную цепь с гирькой.

Олекса повертел ее, не зная, как используется эта штука.

— Не так, — киоскер смотрел на странного клиента свысока. — Ганс! — окликнул он одного из молодых. — Покажи!

Ганс умело намотал цепь на ладонь, гирьку зажал в кулаке, кулак упрятал в рукав куртки и вдруг развернул плечи, рука его взметнулась, гирька просвистела в сантиметрах от головы Олексы.

— Ов-ва! — удивился тот. — Можно попробовать?

Он вроде бы неловко намотал цепь, подражая Гансу,

взгляд его упал на десяток бюстиков Гитлера, выставленных киоскером напоказ на прилавок. Олекса озорно подмигнул бюстикам, все еще неуклюже разворачиваясь корпусом с отведенной в сторону рукой, и вдруг пружинисто выбросил цепь — гирька смела бюстики на мостовую, как коса сметает бурьян...

— Славянская свинья! — взвизгнул киоскер. Юнцы бросились к Олексе, он отступал, размахивая цепью, осматриваясь, прикидывая, как скрыться.

Внезапно рядом с ним притормозил грузовик, и чья-то крепкая рука почти силой втащила его в кабину. Грузовик рванул на красный свет, мимо полицейского на перекрестке, который демонстративно смотрел в противоположную сторону.

Минуту ехали молча, Олекса пытался успокоиться, шофер искоса поглядывал на своего неожиданного пассажира.

— А если бы они тебя прирезали? — спросил.

— Об этом не подумалось, — чуть смущенно ответил Олекса. Ему вроде было и неловко за мальчишескую выходку, но в душе он был собою доволен.

— С такими головорезами шутки шутить опасно. И откуда они выползли? — неожиданно сказал шофер то, о чем раньше размышлял Олекса.

— Пятая колонна прокладывает дорогу главным силам. И не шутки это — кто-то ж должен дать их фюеру по морде...

Шофер снова неожиданно сказал то, о чем думал, в чем был убежден и Олекса:

— На это способны только русские... Тебе куда?

— К парламенту, если не затруднит.

— Депутат? — недоверчиво спросил шофер.

— Он самый.

— От коммунистов?

— От них.

— Тогда понятно.

Грузовик притормозил неподалеку от парламента.

— Дальше не пустят. — Парень пожал Олексе руку.

— Дойду...

Он добился на этом заседании слова. Поднялся на трибуну и гневно бросил в зал:

— Фашисты и их прихвостни, платная агентура и предатели народа действуют уже почти открыто. Цель их ясна — коричневое господство над Европой, а потом

и над миром. Разве можно не видеть этого? Разве можно не замечать больше грозу над нашими народами? Гитлер, этот кровавый мясник, не сегодня завтра двинет свои полчища против Чехословакии... Только вместе с великим Советским Союзом мы сможем отбить агрессию фашизма... Наш лозунг, призыв каждого честного человека — за мир и хлеб, против угрозы войны и фашизма!

Под аплодисменты одних, свист и улюлюканье других Олекса покинул трибуну. Во время перерыва к нему подошел Фучик.

— В честь блестящей речи приглашаю депутата товарища Олексу в рабочую пивную «Под звездой». Был там?

— Нет.

— Тогда тем более надо пойти.

Пивная находилась в старом подвале и была из ряда тех, в которых проводит вечера рабочий люд. Юлиус и Олекса расположились за угловым столиком, отсюда хорошо просматривался весь зал, невысокие подмости — сцена. Вскоре началась развлекательная программа — артисты, по всему было видно, — самодеятельные, из рабочих клубов. Певица и небольшой оркестр исполнили несколько народных песен. Был еще жонглер с булавами.

— Ты понимаешь, — горячился Олекса, — такая меня злость взяла, когда увидел, как они в открытую, не таясь, суют прохожим фашистскую погань, кастетами торгуют. Может, и оружие у них найдется, если поискать?

— Вполне вероятно, — согласился Фучик. — Нагледят фашистские прихвостни с каждым днем. Глишковцы уже примериваются, как пройдут маршем по Праге... Смотри на сцену, — вдруг сказал он.

На сцену выскочил актер, удивительно точно загримированный под Гитлера. Такая же липкая прядь упала на глаз, блуждающий взгляд, суматошные движения... Он носился по подмосткам, словно бешеный: вскидывал руку в фашистском приветствии, немо открывал узкогубый рот — произносил «речь», приплясывал в экстазе.

— Ух ты... — удивился Олекса.

— Полиция уже трижды штрафовала владельца пивной за этот номер.

«Гитлер» в припадке бешенства большим мясницким ножом кромсал карту Европы. И вдруг он увидел вза-

ле хрупкую, тоненькую девушку, поманил ее пальцем. Девушка с веночком простеньких цветов на голове испуганно попятилась, попыталась укрыться в глубине зала. «Гитлер» выкрикнул что-то хриплое, угрожающее, и тогда она поднялась на сцену, начала танцевать какой-то свой танец, медленный и грустный, то приближаясь к «Гитлеру», то отдаляясь от него. Она боялась, ее сковывал ужас.

— Кто она? — шепотом спросил Олекса.

— Не знаю... — ответил Юлиус, — может, Судьба, может, История. Или просто: «Гитлер и жизнь»... Смотри...

«Гитлер» все больше выходил из себя, злобно плевался слюной, челка совсем закрыла глаз, а девушка печальным танцем о чем-то его умоляла, наверное, о пощаде и милосердии.

Бесноватый настиг ее, сорвал веночек, бросил на ее волосы терновый венец, ей удалось ускользнуть, и он снова погнался за нею, рассекая воздух ножом. Жадно и цепко рвал он на девушке одежду, и танец девушки уже напоминал агонию обесиленного, вконец загнанного человека. И вот уже руки у нее связаны колючей проволокой, свет стал красным, потом багровым, с потолка спустилась веревочная петля, и «Гитлер» набросил ее на шею девушке, толкнул ее на пол и наступил сапогом на поверженную.

— Такое может случиться и с нашей Прагой, — произнес мужской голос где-то там, в глубине сцены.

Аплодисментов не было. Были угрюмые лица рабочих, тревога и боль.

Олекса и Юлиус долго гуляли в тот вечер по Праге, поднялись к Вацлавской площади.

— Кажется, мы приблизились к финалу, — сказал Юлиус.

— Да, развязка наступит не сегодня завтра, — согласился Олекса. И напомнил: — У меня через два часа поезд.

— Я не смогу тебя проводить. Время тревожное, должен быть в ЦК...

— Не обижусь, — ответил Олекса. — Только вот что: давай попрощаемся, побратим мой дорогой. На всякий случай...

Они обнялись. Было поздно — выключилось вечернее освещение Вацлавской площади. Она внезапно погрузилась в темень...

«Пришел тот час, о котором мы говорили на протяжении многих лет».

15 марта 1939 года где-то после полуночи Густа и Юлиус подъехали на такси к своему дому. Одеты они были немного торжественно. Густа держала в руках гвоздики.

Они поднялись по лестнице, вошли в квартиру.

— Как это хорошо, — сказал Юлиус, снимая галстук и пиджак, — что в Советском Союзе так чтят память о поэтах своих народов. Подумать только: над всем миром нависла опасность, а в советском посольстве — прием в связи со 125-летием со дня рождения Тараса Шевченко.

— Мне кажется, — ответила Густа, — что мужественные стихи Шевченко как-то созвучны нашему грозному времени.

— В этом — сила гения, — поддержал ее Юлиус. Он подошел к ламповому приемнику, включил его. Медленно накаливались лампы...

— Сейчас четыре, — сказала Густа, посмотрев на часы. — А Прага начинает вещание в шесть, так что...

Договорить она не успела. Неожиданно зазвучали пражские позывные — мелодия из «Вышеграда» Сметаны.

Встревоженные, они оба подошли к приемнику. Диктор начал читать правительственное сообщение:

— Сегодня, 15 марта 1939 года, войска рейха перейдут границу Чехословакии... Правительство призывает население не оказывать сопротивления — оно будет немедленно и решительно сокрушено вермахтом... Немецкая армия вступит в Прагу около девяти часов утра...

— Тебе надо сейчас же скрыться, — сказала побледневшая Густа Юлиусу

...Олекса встретился с Сиреной на окраине города, на берегу реки. Он был одет для дальней дороги, за спиной — небольшой рюкзак.

— Присядем перед дорогой, — сдерживая слезы, сказала Сирена.

Они присели на поваленное дерево.

— Береги себя, Цико, — нежно сказал Олекса, — в тебе вся моя жизнь.

— Не волнуйся, любимый, — ответила Сирена. — Скоро и я постараюсь выбраться отсюда. Встретимся в Москве.

— Ты же знаешь, ЦК решил, чтобы я покинул край. Не думал, что вот так, тайно, придется уходить мне в эмиграцию...

— На чужбину... — эхом откликнулась Сирена.

— Советский Союз для нас, коммунистов, не чужбина, — поправил ее Олекса. Он решительно сказал: — Буду продолжать борьбу... И чувствую, что скоро возвращусь в Закарпатье с оружием в руках...

Пройдет немного времени, и с небольшого аэродрома в Геленджике поднимется в ночное небо самолет, возьмет курс на Карпаты...

«Прожил я 41 год, из них посвятил 20 лет делу трудового народа».

Угрюмый ехал в легковой автомашине вместе с Софией. Они притормозили у патруля — солдаты только-только выволокли на парашютах из леса трех убитых десантников. София всмотрелась в лица погибших.

— Мажорович, — узнала она одного из них.

— Три здесь, двух догоняют, — сказал Угрюмый. — В воздухе было шесть куполов. Наверное, летчик ошибся и выбросил их прямо на комендантский взвод охраны. Где шестой?

София вновь всмотрелась в убитых.

— Габерман, — узнала еще одного. Она что-то напряженно прикидывала.

— Эти двое, — наконец проговорила, — работали вместе с Олексой. А у Олексы сейчас одна тропа — в Ясиня. Рано или поздно он пойдет туда, чтобы найти крышу и кусок хлеба. Ищите его в Ясинях.

О том, что Олекса уйдет в Ясиня, догадалась не только она.

Секретарь подпольного райкома срочно вызвал к себе Мирославу:

— В Ясинях живут родные Олексы. Он, судя по всему, попытается укрыться у них. Надо опередить гестаповцев.

Девушка была одета для дальней дороги.

— Постарайся, — попросил ее секретарь.

— Хорошо, — сказала Мирослава.

— Ты понимаешь ведь, что Олекса не просто наш товарищ — его знает весь край, он как знамя в бою.

— Хорошо... — повторила Мирослава.

Будяк со своими «хлопцами» встретил Мирославу на горной дороге.

Подвыпившие «боевики» окружили девушку. Она держала руку в кармане старенького кептарика.

— Хорошенькая...

— Заберем эту кралю с собой, — предложил один из бандитов и заголосил: — Пидманулы Галю, забрали с собою...

— Заткнись, — прикрикнул Будяк. Он в упор рассматривал девушку, вспоминая что-то. Вспомнил:

— Коммунистка! Вот это подарочек!

Мирослава выхватила пистолет и выстрелила себе в сердце...

И все-таки Олексе удалось уйти от преследователей и вести борьбу еще несколько месяцев. Потом каратели с овчарками плотным кольцом окружили старую усадьбу брата, где он нашел приют и которую вот-вот собирался покинуть...

Олексу вывозили из Ясиной под усиленной охраной. Прибыли грузовики с жандармами, полукольцом окружили пятак земли вокруг сельской управы. Жандармы стояли с винтовками в руках — злые и испуганные, потому что знали, кого будут конвоировать они по горной дороге.

Прошел по Ясиням и соседним селам бовташ-глашатай, бил в барабан, натужно выкрикивал:

— Люди! Биров зовет вас к управе! Бросайте дела, идите к пану бирову!

Бовташа останавливали:

— Что там случилось?

— Не вем! — многим равнодушно отвечал бовташ. И только одному из лесорубов тихо проговорил: — Иди к управе и других зови — проводите Олексу в дальнюю дорогу...

Месила беднота постолами грязь пополам с талым снегом. Застыли, опершись на топорики, лесорубы и чабаны. Из подвала управы вывели Олексу. Четверо жандармов выводили: один впереди с винтовкой, двое по бокам, и еще один замыкал шествие.

— В машину коммуниста!

На допросах с пытками и жестокими побоями он ничего не сказал. Ему предложили подписать «обращение» к населению края: мол, прекращайте сопротивление, усердно трудитесь во имя победы великого фюрера.

ра... Олекса только рассмеялся в ответ: «Такой ценой ни свобода, ни даже жизнь не покупаются!»

Тогда его повезли по селам и городкам края, показывали на площадях — закованного в кандалы, со свежими багровыми шрамами на лице:

— Ваш «товарищ Олекса» в наших руках!

Ясно, чего добивались палачи — сломить волю к сопротивлению у населения, представить «доказательство» того, что якобы партийное подполье разгромлено, о чем они неустанно трубили во всех своих газетенках.

Однажды во время таких мучительных «смотрин» Олекса поднял над головой руки в кандалах, тяжело проговорил:

— Люди, меня они заковали, но ваши руки пока не в железе... Возьмите же в них винтовки!

Его жестоко избили, и прошло немало дней, прежде чем он смог подняться на ноги. Потом его привезли в тюрьму, куда оккупанты упрятали наиболее мужественных участников Сопротивления. Из окна одиночной камеры Олекса видел тюремный двор, на котором охрана выстроила заключенных. Они стояли ровной шеренгой, некоторые, как и Олекса, в кандалах. Узники все были избиты, обессиленных поддерживали товарищи, многие были перевязаны грязными тряпками — бинты требовались солдатам фюрера.

Вдоль строя прохаживались охранники с овчарками, и только кованый грохот сапог нарушал тишину.

Олексу вывели из камеры и поставили перед строем. И он узнал сразу же многих в этой печальной шеренге, это были его товарищи по партийной работе, вожаки сельских партийных ячеек. Некоторым из них он когда-то давал рекомендации в партию. И они тоже узнали его...

— Марш перед строем! — скомандовал офицер. Рядом с ним вертелся переводчик из националистов.

Позвякивая кандалами, Олекса пошел по брусчатке.

— Товарищ Олекса, — одними губами шепнул один узник другому.

— Товарищ Олекса... — тихо пронеслось по рядам.

Олекса дошел уже до середины плаца, и здесь его остановили — лицом к лицу с узниками.

— Кто знает этого человека? — спросил громко офицер. — Опознавший опасного преступника получит двойной рацион!

Переводчик хотел перевести эти слова, но Олекса жестом остановил его:

— Этот господин спрашивает, кто из вас знает меня? — Он перевел вопрос, сделал паузу, продолжил: — За это обещают двойную пайку...

Узники молчали.

— Еще раз спрашиваю: кто знает этого человека?

Переводчик на этот раз торопливо сыпал словами — он заметил гневный взгляд офицера, когда прошлый раз замешкался. И, выслуживаясь, выкрикивал уже по собственной инициативе:

— Вы же все знаете его! — Националист подбежал к одному из узников:

— Может, и тебе он неизвестен? — Он ткнул пальцем в грудь его соседа: — И ты его первый раз видишь, да? Будто и не заседали на одних и тех же коммунистических сборищах?

— Спасибо вам, товарищи! — поблагодарил Олекса. — Эти, — он указал на своих палачей, — знают, кто я. Поэтому советую: кто очень ослаб — опознайте меня, может, пайка хлеба спасет от смерти...

— Увести! — яростно завопил офицер. — Всех лишить воды и пищи на двое суток.

— Держитесь, братцы! — проговорил Олекса и медленно пошagal к кованым дверям тюрьмы.

Он прошел тяжкую дорогу свою до конца.

Судили его хортисты в Будапеште...

«...Военный суд присудил меня к смерти. Эти строки пишу за несколько минут перед смертью».

— Вам сообщили приговор? Предупредили, что он окончательный и обжалованию не подлежит?

— Сказали...

— Вы имеете право на последнее желание, — цедил полковник, председатель военного суда. — Просите... Разумеется, кроме жизни. Впрочем...

— Нет! — резко прервал его Олекса. — Я не буду ни просить, ни тем более вымаливать помилование, слишком грязную цену мне предлагали уже не раз за возможность жить дальше.

— Так что же вы хотите? — со скрытым интересом спросил полковник.

— Прикажете дать бумагу и карандаш — хочу написать родным, попрощаться с ними.

— В письмах вы не имеете права сообщать о ходе суда и обвинениях против вас.

— А разве состоялся суд? — с иронией спросил Олекса.

— Не будем об этом, — побагровел полковник. — Разумеется, вы можете сообщить, что казнены...

— Благодарю вас. Это случится завтра? Не беспокойтесь, особой тайны вы не разгласите...

— Утром... Что еще?

— Хотел бы попрощаться с Золтаном Шенгерцом, — сказал Олекса.

— Вас судили венгры, и последний человек, с которым вы хотите увидеться в этой жизни, тоже венгр? — удивился полковник.

— Меня судили не венгры, а фашисты, — резко бросил Олекса. — А венгры... Венгры не забудут мое имя. Я умираю и за их счастье...

— Откуда вы знаете, что секретарь ЦК Венгерской Компартии Золтан Шенгерц тоже находится здесь, в «Маргит-Керут»?

— Не будем задавать друг другу, господин полковник, скажем так, нескромные вопросы...

Полковник позвонил в колокольчик...

— Увести! — приказал конвоирам.

Свидание Олексе он разрешил...

Одновременно распахнулись две противоположные двери, и в камеру вошли Олекса и Золтан, шагнули, загремев кандалами, навстречу друг другу.

Обняться они не смогли, их разделяла решетка.

— Благодарю тебя, товарищ Олекса, за возможность попрощаться. Не держи зла на землю, на которой при-
мешь смерть.

— На этой земле мы боролись вместе, плечом к плечу, товарищ Шенгерц, — ответил Олекса. — И оба любим ее одной любовью...

Наступал рассвет. Последний рассвет в жизни товарища Олексы, 3 октября 1942 года.

Было 8 часов утра, но лучи солнца еще не пробились на широкий квадрат внутреннего двора будапештской тюрьмы «Маргит-Керут». Тихо и пустынно пока еще было, лишь у виселицы на помосте озабоченно суетились палачи: прикидывали, правильно ли, точно под петель, стоит табурет...

Потом вышел военный оркестр. Его вел молоденький офицер в очках, по внешнему виду — из штатских, недавнего призыва.

На решетках тюремных окон появились ладони — узники по тюремному телеграфу узнали, что происходит во дворе, и, хватаясь за узлы решеток, пытались дотянуться до окон, попрощаться с товарищем Олексой.

Приблизились к виселице начальник тюрьмы, священник, врач в военном мундире, какие-то люди в штатском.

Палачи стояли в сторонке от них, возле виселицы. Их было двое.

Охрана вела Олексу по переходам тюрьмы. Он шел — руки за спину, твердо. И камеры, мимо которых он проходил, откликались грохотом — это заключенные били в двери кулаками, всем, что было под руками.

И узники прощались с товарищем Олексой...

На чешском:

— Прощай, Олекса!

На венгерском:

— Прощай, товарищ Лекса!

На словацком:

— Карпаты у нас одни, и свобода у нас одна! Коммунисты умирают, чтобы жил народ! Прощай...

На немецком:

— Прощай! Смерть фашизму!

На украинском:

— Прощен будешь, Олекса! Мы победим!

— Прощай...

Его поставили у помоста с виселицей. Олекса поднял голову, увидел петлю, и за нею на голубом небе облака, они легкие, вспененные, плыли на восток, и показалось ему на мгновение, что это родные Карпаты...

Виселицу квадратом оцепили солдаты — гонведы, карабины на руку, с примкнутыми штыками, лезвия штыков — в одну точку, к сердцу Олексы.

Начальник тюрьмы беспокойно оглядывался — он ждал еще кого-то. Наконец к группе палачей примкнул гестаповец — ждали его. И сразу заиграл военный оркестр, которым управлял молоденький венгерский офицер. На тюремном дворе неожиданно зазвучали звуки чардаша.

Олекса улыбнулся и взглядом поблагодарил музыкантов. Председатель читал приговор, но слов в вихре музыки не было слышно — только нелепо открывался и захлопывался мясистый рот.

Олекса, в поношенной, изорванной, в бурых пятнах засохшей крови гимнастерке, сам поднялся на помост. Он неожиданно для всех взмахнул рукой, и оркестр смолк.

— Прощайте, товарищи! — крикнул Олекса. И повторил на чешском, немецком, венгерском: — Прощайте, товарищи!

— Иг्राйте! — заорал начальник тюрьмы музыкантам.

Оркестр молчал, а его молоденький офицер каменно смотрел в пространство.

— Меня они сейчас повесят, но правду убить нельзя! Да здравствует Советский Союз! Смерть фашизму...

Один из чинов тюрьмы подскочил к дирижеру, сорвал с него погоны. Офицер-музыкант будто очнулся, сломал свою дирижерскую палочку, как ломают шпагу, и швырнул ее на булыжники тюрьмы.

— Свобода народам! — крикнул Олекса.

Узники тюрьмы откликнулись «Интернационалом». Слова его на разных языках слились в боевой гимн пролетариев, зазвучали как приговор фашизму, вырвались к голубому небу, к облакам... к Карпатам, пламенным сыном которых был товарищ Олекса.

И влился в них клич трембит на верховинах и полонинах, потайными стежками которых шли и шли друзья Олексы — партизаны: чабаны, лесорубы, бокораши, трудари карпатского края...

«Теперь тысячи и сотни тысяч лучших сынов народа умирают за лучшее будущее человечества».

Свои последние дни Юлиус Фучик провел в берлинской тюрьме Плетцензее. Он накануне казни говорил товарищу по заключению:

— Когда мне зачитали приговор, я сказал фашистам: мой приговор вам вынесен уже давно: смерть — фашизму! Жизнь — человеку! Будущее — коммунизму!

Открылась дверь камеры, и вошел надзиратель. Он принес ручку, чернила, лист бумаги.

— Напишите письмо родным, если хотите, — сказал он Фучику.

После его ухода в камере долго стояла тишина.

— Юлек, не отчаивайся, — сказал товарищ по камере, — еще, может, и помилуют...

— Нет, — ответил Фучик, — помилования не будет, да и не нужна она мне, пощада фашистов...

Он сел к столу, на бумагу легли строки прощального письма: «Мои милые!..»

Верьте мне: то, что произошло, ничуть не лишило меня радости, она живет во мне и ежедневно проявляется каким-нибудь мотивом из Бетховена. Человек не становится меньше от того, что ему отрубают голову. И я горячо желаю, чтобы после того, как все будет конечно, вы вспоминали обо мне не с грустью, а с такой радостью, с какой я всегда жил...

Далее в письме строки вымарала цензура...

В камере тюрьмы Плетцензее было темно, как в могиле. Юлиус и его товарищ не спали — грохотали кованые сапоги в коридорах, гремел металл, и слышно было, как в соседних камерах прощались, плакали, молились.

— Как ты думаешь, который час? — спросил Юлиуса товарищ.

— Где-то после полуночи, — ответил Фучик. Он, продолжая начатый разговор, сказал: — Умирать легко, когда знаешь, что твоя жизнь принесла людям добро... Сейчас хочу только одного: чтобы сохранились для будущего странички моего «Репортажа».

Грохот сапог усилился и вдруг стих у двери камеры. Щелкнули щитком глазка, загремели тяжелые запоры...

— Пришли за мной, — Юлиус поднялся с откидной койки, встал во весь рост, руки в наручниках.

Вошли охранники, электричества не было, и они осветили камеру, Юлиуса, его товарища лучами фонариков.

Было седьмое сентября 1943 года...

И была сырая, промозглая берлинская ночь. Тюрьма Плетцензее тонула во мраке — вырисовывался на фоне черного неба один из ее сгоревших корпусов, часть разрушенной стены. Проекторы рвали на части горизонт. Вот-вот должен был начаться налет.

Заклученные стояли в несколько рядов. Перед ними ходили два священника. Дорога с этого плаца вводила в камеру смерти...

Охранники равнодушно вышагивали на плацу, у ворот, по углам каменной стены.

Гестаповец читал фамилии смертников. Восемь человек вышли из рядов и в сопровождении охранников и священника побрели к камере. Священник остался стоять у входа в нее, остальные вошли в черный проем. Один из заключенных бросился на землю, отбиваясь руками и ногами.

— Не хочу умирать! — закричал он, потеряв самообладание. Четверо охранников набросились на него, кованными сапогами подняли с земли. Другой заключенный достал из потайного кармана рубы фотографию жены и дочери, долгим взглядом попрощался с ними.

— Юлиус Фучик!

Юлиус присоединился к новой восьмерке заключенных.

Охранники повели их к камере смерти. У ее порога Юлиус Фучик остановился, громко сказал:

— Прощайте, товарищи!

Камера эта была небольшой: квадратная, посредине виселица. Света не было — подача электроэнергии из-за налетов прекратилась, вешали при свечах, язычки огня колебались, когда к виселице шел обреченный.

На глазах у Фучика вынули из петли предыдущую жертву, выволокли за ноги из камеры. Потом подтолкнули к виселице его...

На фашистский Берлин обрушились бомбы невидимых в ночной тьме бомбардировщиков.

О том, что Юлиуса казнили фашисты, Густина узнала гораздо позже. В конце августа этого года колонна женщин-узниц втягивалась в ворота концентрационного лагеря Равенсбрюк. Женщины шли мимо эсэсовцев к длинным рядам темных одноэтажных бараков. Лагерь выглядел аккуратно и пустынно. Среди узниц брела Густина Фучик — она поддерживала измученную подругу.

Колонна остановилась, чтобы пропустить странную процессию: четыре узницы в полосатых платьях тянули небольшую тележку, на которой лежали три гроба, кое-как сколоченные из неотесанных досок. Узницы непрерывно пели веселую песенку. Их сопровождала надзирательница с овчаркой.

Густина отвернулась — она не могла смотреть на это...

«Моя любимая жена, спасибо тебе за прекрасно прожитое время с тобою».

Сирена подняла на руки дочку Оленьку, подошла с нею к окну. Конец августа, безоблачное небо было еще пол-летнему голубым, Олечка радостно смеялась.

— Посмотрите за дочкой, мне надо на радио, — попросила Сирена соседку.

...В радиостудии она привычно села за столик с микрофоном, проверила, на месте ли текст передачи. Неожиданно вошел человек в военной форме без знаков различия.

— Сирена Игнатьевна, — обратился он. — Я из Центрального штаба партизанского движения. Это письмо нам только что доставили из Закарпатья. Его передала через надежных людей Дося, сестра товарища Олексы.

Сирена порывисто схватила листки бумаги. Она побледнела, прочитав первые строки, без сил опустилась на стул.

— Я попрошу товарищей отложить передачу, — сочувственно сказал посланец штаба.

— Не надо, — сказала Сирена, — передача должна состояться.

Она придвинула к себе микрофон, вытерла слезы, заговорила:

— Дорогие мои земляки-закарпатцы! Только что я получила прощальное письмо от моего мужа, первого секретаря Закарпатского крайкома партии товарища Олексы. Письмо шло больше года по дорогам подполья, шляхам войны. Мой любимый Олекса писал его мне и дочке Оленьке, но оно адресовано всем живым. Слушайте же, что он написал...

«Мои дорогие, не оплакивайте меня и не горюйте по мне. Сейчас тысячи и сотни тысяч прекрасных сынов народа умирают за лучшее будущее человечества. Война — самое большое несчастье для человечества. Будем надеяться, что после этой войны настанет мир, который надолго, а может, навсегда сделает это несчастье невозможным. Прощаясь с вами, желаю вам дожить до мира и счастливой жизни. Если доживете — и меня помяните незлым, тихим словом».

Еще, — продолжала Сирена, — мой Олекса написал: «Моя любимая дочка Оленька, как раз год был

тебе тогда, когда немилосердная война разлучила нас. Ты была моим утешением, ты была моей жизнью. Иду на смерть, кровь капает из моего сердца, зная, что не увижу больше тебя...»

Вот его последние слова: «Прощайте, дорогие!

Будапешт, тюрьма, 3. X. 1942 г.»

— Прощай, Олекса... — тихо проговорила Сирена. — Прощай... Наша победа уже близко... Части героической Красной Армии скоро выйдут на перевалы, ступят на украинскую землю под Карпатами. Их встретят твои боевые друзья-подпольщики и партизаны-верховинцы. И не будет заклятому врагу пощады! Смерть фашизму, свобода народам!

«...Знаю, что наше дело справедливое и победа будет нашей».

Стонали от взрывов Карпаты. Фашисты бежали из Закарпатья. Горные дороги были забиты до предела: отступали гитлеровские и хортистские части, бежали полицейские, националисты всех мастей. В потоке беженцев тащился открытый автомобиль с Угрюмым, Будяком и Софией. Будяк был за рулем.

— Передохнуть надо. — Будяк и в самом деле устал.

— Тогда только здесь. Поднимемся выше — там такая дорога, что ни вправо, ни влево не шагнуть.

Они свернули на боковую дорогу, остановились под могучими деревьями. Будяк достал флягу, хлебнул шнапса. Угрюмый отошел в сторону, его воротило от горной высоты.

София показала Будяку на него глазами.

— То наше прошлое, — проговорила тихо. — А бывает, когда от прошлого надо избавляться.

Будяк кивнул. И когда снова садились они в машину, Будяк вежливо открыл дверь, поддержал под локоть Софию и ударил эсэсовским кинжалом Угрюмого в спину.

Труп он сбросил в пропасть.

София, когда они отправились дальше, равнодушно думала о том, что вот снова придется менять хозяев. Где теперь все эти волошины, бродии и иже с ними, на которых чуть не молилась? Сгнули, провалились в пропасти, которые сами себе выкопали.

Еще ей было страшно. Совсем рядом катился, достигал ее неумолчный гул. И она торопила Будяка — скорее, если не успеют перевалить через горы, окажутся в ловушке.

А на перевале засели эсэсовцы. Они безжалостно расстреляли из пулеметов колонну беглецов, среди которых было и венгерское подразделение.

Венгерский офицер пытался положить своих людей за камни, яростно кричал:

— Что вы делаете, сволочи! Мы...

И не успел больше ничего сказать — перерезала его очередь.

Некоторые из его солдат сделали по два-три выстрела — эсэсовцы сверху забросали их гранатами.

— Союзнички... — презрительно процедил эсэсовец.

Гранаты рвали на части густую толпу беженцев. Это был ад: трупы устилали всю дорогу, потому что справа и слева были пропасти — укрыться негде. Автомашина с Софией и Будяком почти повисла на краю бездонного обрыва. София, схватив короткий немецкий автомат, выпрыгнула из машины и отбежала в сторону. Будяк лихорадочно выворачивал руль, пытаясь развернуться. Взрыв гранаты сбросил его вместе с машиной в пропасть. София равнодушно проводила взглядом подпрыгнувшую на скалах, словно мячик, машину.

Она залегла за каменным придорожным крестом: впереди были эсэсовцы, за спиной — солдаты Красной Армии. София мысленно попрощалась с лесом и горами, передернула затвор, поднялась, полоснула длинной очередью по тем, что закрыли для нее выход из ловушки.

— Смелая девица, — пробормотал один из фашистских офицеров. Он подождал, пока она подошла поближе, и нажал на спусковой крючок.

Эсэсовские офицеры просматривали в бинокли горы, узкую полосу дороги, сбегающую в долину. Они видели: совсем рядом за камнями, редкими деревьями, скалами залегли советские и чешские солдаты.

— Скоро они поднимутся в атаку, — пробормотал один из эсэсовцев.

— Русским придется туго, у них один путь — на наши пулеметы, — ответил ему второй офицер.

— Продержимся до темноты и уйдем...

...Советские воины и чешские солдаты из корпуса Свободы бросились в первую атаку... Откатились, оставив

убитых. Была потом и вторая атака, и третья... Два офицера — советский и чешский — укрылись за скалой.

— Положим всех ребят... Что делать? — спросил советский майор своего коллегу, чешского капитана.

— Эти гады выбрали-таки место, на которое можно идти только в лоб... — ответил капитан.

В это время застучали выстрелы. Там, за спиной у эсэсовцев. Сперва одиночные, прицельные: с деревьев, со скал...

Эсэсовцы заматались, пытаются укрыться от неведомо откуда взявшихся снайперов.

— Кто-то нам помогает, — сказал майор своему товарищу.

Выстрелы переросли в непрерывный огонь — теперь уже били и из автоматов, ухали гранаты.

— А ну-ка, хлопцы! — поднялся майор. Он вскинул автомат и побежал вперед: — В атаку! За мной!

Чешский капитан бежал рядом с ним.

Оттуда, из-за перевала, донеслось «ура!». Там тоже пошли в атаку.

Через несколько минут все было кончено. На перевале советские, чешские солдаты обнимались с людьми в одежде гуцулов, в ватниках, колушках.

— Здравия желаем, — сказал майор командиру партизан, — спасибо за помощь. Кто вы?

— Партизанская бригада имени Олексы Боркнюка!

Медленно оседали дым и гарь недавнего боя, укатывалось вдаль эхо его, и открывались с перевала бесконечные просторы гор — вершины, скалы, полонины, леса, бурные реки — КАРПАТЫ, те Карпаты, которые видел в свой смертный час с помоста во дворе тюрьмы «Маргит-Керут» товарищ Олекса.

«Я умираю и буду жить!»

На просторную площадь в центре Мукачева пришли рабочие мукачевских заводов, приехали гуцулы с гор. Толпа все росла и росла. В ней было много людей в гуцульской одежде, но было немало и таких, кто носил еще гимнастерки с нашивками за ранения, с боевыми наградами.

На площади стоял со своей скрипкой и слепой старик с внуком. Он еще больше поседел, густые брови совсем закрыли незрячие глаза. Он вслушивался в гомон толпы, взгляды которой были обращены к зданию в центре площади.

Охрану здания несли бойцы народных боевых дружин.

Сквозь толпу протискивалась девушка в гимнастёрке, еще хранящей следы недавно снятых погон, с солдатскими наградами на груди. Люди, увидев ее, улыбались, уступая дорогу.

— Дедушка! — вскрикнула девушка, заметив старика музыканта.

— Маричка! — Слепец протянул руку, огладил лицо девушки. — Внучка! Вернулась живая...

— Живая, дедушка, живая! Я знала, что встречу вас здесь!

— А где мне быть? — удивился слепец. — Где народ, там и я... Всю жизнь свою я ждал этого часа... Жаль, что не дожил до него наш Олекса...

— Его жена там, с ними. — Маричка указала на здание...

...В просторном зале завершалась первая конференция коммунистической партии Закарпатской Украины. Делегаты ее стоя пели «Интернационал». Прозвучали заключительные слова боевого гимна коммунистов, и Иван Туряница сказал:

— А сейчас, дорогие товарищи, пойдем к людям. Они ждут, что мы им скажем...

Группа руководителей КПЗУ вышла на балкон. Среди них была и Сирена, избранная членом ЦК. На площади восторженно встретили коммунистов. Взметнулись, развернули свои крылья алые стяги.

— Друзья! — обратился ко всем Иван Туряница. — Товарищи! Трудовой народ Закарпатья! Долгие годы и десятилетия вели мы тяжкую борьбу за счастье народное, за то, чтобы воссоединиться с нашей общей Отчиной — Советской Украиной, с великим Советским Союзом! Нет среди нас сегодня многих героев, пали они в этой битве с врагом: украинцы, чехи, венгры — сыновья и дочери народа.

Встретили люди эти скорбные слова печальным молчанием.

— Но дело, за которое отдали они свою жизнь, наша борьба увенчались победой! Сообщаем вам, что первая конференция Коммунистической партии края, выполняя вашу волю и ваш наказ, только что единогласно приняла резолюцию «О воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной»... Будем просить Советский Союз принять нас в свою братскую семью!

— Навеки вместе!

И подхватило эти слова эхо, принесло их в горы, на верховины и полонины, вплело в стремительный бег чистых рек.

ОПЕРАЦИЯ ПРИКРЫТИЯ

По земле катилась война. Шел сорок четвертый. Каждый день приближал Красную Армию к рубежам Советской страны. Немцы, сопротивляясь, отступали в глубь Европы.

А в Берне было туманно и тихо. Ветер с Ааре нес запах сетей и рыбы. Он разгонял туман, этот ветер, запутавшийся в узких Шпитальгассе, Марктгассе и Крамгассе.

Раннее утро — любимое время детей. Школьники до занятий спешили покормить медведей, живших на берегу реки. Дети покупали в лавочке морковь и угощали зверей, смешно встававших перед ними на задние лапы.

Человек, спустившийся к реке, тоже купил несколько морковок. И, бросая их животным, подумал, что за две такие морковки он в лагере для военнопленных вербовал нужного ему агента.

Где-то в старом городе мелодично запели часы. Они именно не звонили, а пели. И звук их несся над домами предвестием мирного и счастливого полдня.

«Пора». Поднявшись по ступенькам набережной, человек сел в маленький, почти игрушечный вагон трамвайчика, напоминавшего ему детскую железную дорогу в его родном Мекленбурге. Вагончик медленно полз по улицам, огибая многочисленные фонтаны. Возле «Цайтглоксентрум» — башни с часами — человек вышел из трамвая. Его ждали у здания ратуши, чем-то напоминавшего ему старинный русский терем, какие он видел в Смоленске.

У самого большого и нарядного фонтана, перебросив светлый плащ через плечо, опираясь на трость, стоял



Алекс. Он был постоянен, как и подобает настоящему британцу. А потому носил в Европе только твид. На этот раз костюм был песочного цвета.

Колецки не любил твид. Он чем-то напоминал ему тяжелый форменный мундир. Вырываясь из Германии в нейтральную тишину, он надевал легкую фланель, в которой чувствовал себя человеком, уехавшим на отдых.

Алекс увидел его и поднял трость, коснувшись набалдашником твердых полей шляпы. Эта немного фамильярная манера завсегдатая лондонского Сохо поначалу коробила Колецки. Он, оберштурмбаннфюрер СС, был старше на два звания англичанина, у которого числился на связи.

— Привет, Алекс, — Колецки приподнял шляпу.

— Здравствуйте, мой дорогой Герберт, — Алекс улыбнулся одним ртом. Глаза его, пусто-светлые, попрежнему смотрели цепко и настороженно.

— Вас учили улыбаться в вашей хваленой школе? — съязвил Колецки. — Поучились бы у американцев. Люди Даллеса, например, улыбаются так, словно встретили родного брата, вырвавшегося из тюрьмы.

— По тюрьмам специалисты вы, немцы, а американцы молодая нация. Молодая, веселая и богатая. Мы, англосаксы, слишком плотно вжаты в рамки тысяч условностей. Это наше бремя, которое мы стараемся нести с гордостью. Зато мы внимательны к друзьям. У вас в отеле уже стоят три упаковки «Принца Альберта». Кажется, это ваш любимый табак?

— Вы очень внимательны ко мне. Кстати, почему вы не курите трубку, как истинный британец?

— Слишком традиционно — улыбка, твид, трубка. В этом что-то от колониализма.

Колецки засмеялся:

— Может быть, вы и правы.

— Пройдемся, центр города подавляет меня обилием фонтанов.

Они пошли вниз по Крамгассе. Постепенно исчезли нарядные вывески магазинов, контор, ресторанов. Вторая половина улицы была нашпигована мелкими лавочками, кустарными мастерскими, складами.

Элегантный Берн предстал своими задворками. Дома, иссеченные временем и непогодой, устало жались у тротуара.

— Я люблю такие места. — Алекс закурил сигарету. — Анатомия города! Вернее, анатомический атлас.

Там, наверху, внешняя, показная часть Берна. Как у человека — глаза, нос, брови, кожа. А здесь, внизу, его чрево — истощенное сердце, изрытая печень. Эти развалины могут больше сказать о городе, чем его фасады.

Колецки усмехнулся про себя. Что знает этот самодовольный англичанин о развалинах? Развалинах тех городов, где сожжены и окраины и центр, где люди боятся выглянуть из подвалов. «Анатомия города!»

Они спустились к мосту Нидербрюкке, пошли вдоль реки. Вода в Ааре была желтой и мутной после дождя. Пенные барашки возникали у быков моста и разлетались, донося брызги до берега.

— С какого года мы работаем вместе? — прищурившись, спросил Алекс.

— С Польши, с тридцать девятого.

— Польша. Польша. Ваш Гитлер совершил серьезный просчет: вместо того чтобы возглавить крестовый поход против мирового коммунизма, он решил стать владыкой всего мира. А коммунизм жив, как видите.

— Но они же ваши союзники!

— Пока, Герберт, пока. Нам вместе с вами бороться против коммунизма. Придет время, и кто-то объявит крестовый поход против этой системы. Наша задача — постичь дорогу будущим ландскнехтам Запада.

— Русские скоро станут на границе, Алекс.

— Во-первых, не станут, а понесут в Европу свои идеи. Остановить их не в наших силах. Поэтому у нас общая задача: пока есть возможность, создать разветвленную сеть агентуры в Белоруссии, на Украине.

Мимо них прокатил велосипедист, кудрявый парень. На раме, прижавшись к нему, сидела девчонка.

— А они любят друг друга. — Теперь у Алекса даже глаза улыбались. — Любят, не думая об опасности, идущей с Востока.

Он поковырял песок тростью, подумал.

— Итак, Герберт, что со школой?

— Мы создали ее. Группа прикрытия подготовлена.

— Кто руководит? Поль?

— Поль. Кстати, кто он?

— Поручик. Поляк. Я встречался с ним лично. Школа — база. Как только русские выйдут к границе, никаких активных действий, берегите людей. Вермахту выгодно держать в напряжении русский тыл. Нам же необходимо сохранить кадры для будущего. Ваша задача — ждать резидента. В номере вы найдете доку-

менты. Теперь вы станете полковником Армии Крайовой, уполномоченным лондонской беспехи *. Ваша кличка «Гром».

— Диверсии вы отвергаете полностью?

— Этим займются другие. Ваше дело — поддержать резидента, когда придет время.

Алекс отвернулся, прикуривая новую сигарету.

Колески смотрел на мутную речную воду, на след от велосипедных колес, рельефно впечатанный в песок, и ему очень хотелось ударить этого самоуверенного, ироничного англичанина.

В кабинете начальника Главного управления погранвойск НКВД висела огромная карта. Ее принесли сегодня утром. На плотной бумаге жирным контуром легла полоса. Она шла вдоль рек, по лесу, мимо населенных пунктов. Это была западная граница СССР. Граница, к которой еще были направлены стрелы танковых ударов, штрихи пехотных атак.

Начальник управления разглядывал карту. Он вспоминал сорок первый год, вспоминал, как в тяжелых боях отходили пограничники на восток. А теперь бойцам в зеленых фуражках предстояло охранять тыл действующей Красной Армии. Три года войны прошли перед его глазами. Три долгих года потерь и побед.

— Товарищ генерал, — доложил адъютант, — офицеры в сборе.

— Проси.

Вот и настал долгожданный час. Сегодня ему предстоит инструктировать начальников отрядов вновь созданного Белорусского пограничного округа.

В кабинет один за другим входили офицеры.

— Товарищи, — сказал начальник Главного управления, — через несколько дней наши войска выйдут на государственную границу СССР. Вы назначены начальниками отрядов вновь организованного Белорусского погранокруга НКВД. Прошу к карте, определим места дислокации отрядов.

Офицеры подошли к карте. Как много мог сказать им этот аккурратно расчерченный лист бумаги. Нет, не карта висела перед ними, не карта! Это молодость их смотрела с глянцевого листа. А сколько времени про-

* Служба безопасности.

шло? Всего три года. Но один военный день и за десять мирных посчитать можно, такая уж ему цена.

— Товарищ генерал, разрешите вопрос?

— Слушаю вас.

— Начальник 112-го пограничного отряда полковник Зимин. Как будет формироваться личный состав отряда?

— Вопрос по существу. Нами созданы специальные запасные полки, из подразделений Красной Армии отзываются в распоряжение погранвойск бойцы и офицеры. Личный состав отряда будет пополнен за счет призывников этого года. Ну а костяк будущих отрядов — подразделения по охране тыла действующей Красной Армии. Вас устраивает ответ, полковник Зимин?

— Так точно.

— Тогда обратимся к карте. Товарищи офицеры, вы будете нести охрану границы в условиях военного времени, перед вашими заставами лежит Польша, сожженная войной. Польша, истекающая кровью, ждущая своего освобождения. В тылу пограничных отрядов — банды польских националистов, разрозненные немецкие группировки, шатающиеся по лесам бандеровцы и просто уголовники и контрабандисты, агентура, беспехи Армии Крайовой, СД, абвера. И учтите: пристальное внимание к западным советским землям проявляет Интеллидженс сервис.

Трудная предстояла служба.

Глина была сырая и на ровных срезах блестела под солнцем. Зеленела трава на бруствере, пахло земляным духом и весной. Командир батальона капитан Шкаев шел вдоль окопа, аккуратно ступая до матового блеска начищенными сапогами. Был он совсем молодой, этот комбат. Молодой и удачливый. Пять орденов словно вбиты в гимнастерку, и ни одной нашивки за ранения.

Он шел вдоль окопа, цепко оглядывая сектора обстрела. Остановился у пулеметной ячейки, попрыгал, проверил окопчик с боезапасом, остался доволен.

— А ну-ка, — комбат отодвинул молодого сержанта, стремительно повел стволом противотанкового ружья. — Ничего не видишь? — спросил он.

— Никак нет.

— А то, что у тебя бугорок в левом секторе перекрывает биссектрису огня?

— Так маленько совсем.

— Это ты танку объясни, когда он оттуда на тебя пойдет. Срыть!

И расчет пополз в поле срезать саперными лопатами еле заметную складку на земле.

Он был совсем молодой, этот комбат. В сорок первом прямо со школьной скамьи на курсы младших лейтенантов, потом бои, отступления, оборона, атаки. За свою короткую жизнь он научился командовать людьми, знал назубок любое стрелковое оружие, был храбрым и добрым.

Командир первой роты старший лейтенант Кочин смотрел, как ладно, в обтяжку сидит на комбате гимнастерка, как лихо сдвинута на бровь шерстяная пилотка, и думал: без всего этого героического Шкаев не сможет жить, наверное.

— В общем, я обороной доволен, Кочин, — сказал комбат, — внешним видом людей доволен, оружием.

Они пошли вдоль извилистого окопа, солдаты вскакивали, поправляя гимнастерки. Капитан махал им рукой: мол, сидите, чего там, не на плацу. В землянке, сработанной на совесть, в два наката, комбат сел за стол.

— Дворец. Линия Мажино. Много в обороне сидел?

— Пришлось.

— Смотри, Кочин, — Шкаев растянул на столе карту. — Есть данные разведки, что немцы силами полка атакуют именно на участке твоей роты. Ты завяжешь оборонительный бой. Нужно, чтобы они потоптались перед твоей обороной час или час десять. Понял?

— А чего не понять?

— Радости в голосе не слышу.

— Вы мне, товарищ капитан, минометов подкиньте, взвода два.

— Роту дам. Ну как? — Комбат сам был поражен своей щедростью. — Сейчас артиллеристы придут копать огневые. Так что командуй, а я у себя, в штабе.

Шкаев козырнул и вышел.

К вечеру начался дождь. Мелкий, затяжной и противный. Глина в окопе сразу оплыла, и сапоги вязли в ней, как в трясине. За стеной дождевой пыли почти не просматривалось поле, исчезла видимость и перед окопами. Кочин приказал усилить боевое охранение.

Он вошел в землянку, стянул пудовые от глины сапоги и сел, устало прислонившись к обитой досками

стене. На столе стоял холодный ужин, золотились в свете коптилки патроны к ППШ, лежала свернутая карта. Постепенно предметы стали сливаться, выстраиваться в какие-то неясные фигуры, и Кочин задремал. Сон был тяжелый и вязкий, он словно провалился в него. И в этом сне пришел к нему старый контрабандист по кличке Шмель, он резал ножом желтое сало и смеялся шербатым ртом. Потом Шмель достал дудку и загудел. Именно этот звук разбудил командира роты.

Кочин осторожно открыл глаза и понял, что это гудит зуммер полевого телефона. Он поднял трубку.

— Кочин, — в голосе Шкаева переливалась злость, — сдавай роту Алешкину и в распоряжение штаба армии. Срочно!

— Что случилось?

— Ты пограничник?

— Да.

— Забирают вас из Красной Армии.

Дела Кочин передал быстро, потом достал вещмешок, там в глубине лежала его пограничная фуражка. Настоящая, довоенная. В ней в сорок первом прибыл на заставу младший лейтенант Алексей Кочин. Ничего, что опалило тулью, ничего. Фуражка-то боевая, в ней Кочин тем страшным июлем с двумя пограничниками вышел к своим.

Алексей выпрыгнул из окопа, оглянулся. В ночной темноте он угадывал бесконечное поле, а за ним линию вражеской обороны. Дальше была граница.

Ах, как играла музыка на плацу! В звуках духового оркестра слышались щемящая грусть и счастье. Только что они прошли, печатая шаг, мимо генерала — начальника училища. А трубы пели: «Ускоренный выпуск, ускоренный выпуск». И это ничего, что на погонах только одна звездочка.

Главное — они уже офицеры. Скосишь глаза к плечу — и видишь золото погон. Как ладно затянута портупеей шерстяная гимнастерка, как легко двигаться в новых хромовых сапогах! А кобура с пистолетом стучит по бедру при каждом шаге. Заветный ТТ, личное оружие офицера.

А трубы поют. И в тактах вальса слышится: «Ускоренный выпуск». Они танцевали прямо на плацу. И де-

вушки были нарядными, многие из них на время сменили выцветшую военную форму.

Ускоренный выпуск, после него не положен месячный отпуск, а дается тебе всего три дня на сборы, прощания, на всякие тары-бары.

Младшему лейтенанту Сергееву и прощаться-то было не с кем. Только с друзьями, да и то ненадолго, потому что назначения получили они на западную границу.

Все. До одного. Весь ускоренный выпуск.

Вместе с рассветом в город пришла канонада. Звук орудий был настолько явственно слышен, что казалось, стреляют совсем рядом. Орудийный грохот приближался с каждым часом. В некоторых домах начали вылетать стекла. Улицы были пусты. Жители попрятались. На улицах валялись рваные ремни, дырявые под сумки.

Осенний ветер тащил по камням мостовых рваную бумагу, со звоном раскатывал консервную банку. У здания с вывеской, где готическими буквами было выведено «комендатура», стояло несколько грузовиков. Солдаты спешно выносили ящики, бросали их в кузов.

В кабинете коменданта жгли бумаги. Пепел черными хлопьями летал по комнате. Огромный камин был забит пеплом, но бумаги все бросали и бросали. Корчились в огне бланки с черным орлом.

Комендант в расстегнутом кителе с майорскими погонами шуровал кочергой в камине. Китель его был весь обсыпан пеплом.

— Эй, кто-нибудь! — крикнул он.

В кабинет вбежал обер-лейтенант.

— Господин майор...

Он не закончил фразы: оттерев его плечом, в кабинет вошел высокий человек в штатском.

— Можете идти, обер-лейтенант, — приказал он. — Закройте дверь и сделайте так, чтобы нам не мешали.

— Но... — Обер-лейтенант посмотрел на майора.

Комендант бросил кочергу, застегнул китель.

— Идите, Генрих, и закройте дверь.

Посетитель снял плащ, небрежно бросил его на спинку кресла. Майор внимательно разглядывал элегантный штатский костюм вошедшего.

— Ну? — спросил он.

— Служба безопасности, майор. — Посетитель

улыбнулся. — Всего-навсего служба безопасности. Оберштурмбаннфюрер Колецки.

Майор продолжал молча глядеть на него. Человек в штатском вынул из кармана удостоверение. Майор взял черную книжку, прочел.

— Слушаю вас, оберштурмбаннфюрер.

— У вас, как в крематории, пепел.

— Крематории больше по вашей части.

Колецки расхохотался.

— А вы не очень-то гостеприимный хозяин, майор.

— Я не люблю гостей из вашего ведомства. После них одна головная боль.

— Ну зачем так прямо! Вам звонили?

— Да.

— Где наши люди?

— В городе.

— Они надежно укрыты?

— А что надежно в наше время?

— Ваша правда, майор, ваша правда, но зачем же столько скептицизма? Надеюсь, что вы сожгли все, что надо, и не откажетесь проводить меня. Кстати, кто еще знает об агентах?

— Я, начальник охраны фельдфебель Кестер и четверо рядовых.

— Прекрасно, — Колецки подошел к окну, — прекрасно. Вы точно выполнили инструкцию.

Он достал портсигар, предложил майору, щелкнул зажигалкой.

— Когда вы хотите ехать? — Майор с удовольствием затаился.

— Мы с вами поедem немедленно.

— Но я должен эвакуироваться вместе с комендатурой.

— Эту акцию проведет ваш заместитель.

— Но...

— Ах, майор, я бы никогда не стал настаивать ни на чем противозаконном.

Колецки достал из кармана пакет. Майор прочел бумагу, пожал плечами.

— Другое дело. Приказ есть приказ.

На улице их ждал большой, покрытый маскировочной сеткой «опель-капитан». За рулем сидел солдат в полевой форме с буквами СС в петлицах. Он выскочил

из машины и распахнул дверцу. Когда «опель» двинулся, из-за угла вслед за ним выехал грузовик и пристроился сзади. Машины подрулили к зданию бывшей ссудной кассы, стоявшему в глубине березового парка. Из дверей, поправляя ремень, выбежал фельдфебель.

— Все в порядке, Кестер, — сказал майор, — снимайте караул.

— Распорядитесь, — приказал Колецки, — чтобы солдаты помогли разгрузить машину!

В комнате, куда сразу прошел Колецки, находилось пятнадцать человек. Лейтенант и четырнадцать солдат.

— Приветствую вас, Польш. Не будем терять ни минуты. Немедленно переодеться в польскую форму, взять рацию и документы.

Увидев поляков, комендант схватился за кобуру.

— Вы слишком нервный, майор, — усмехнулся Колецки, — зовите ваших людей и постройте в коридоре.

— Кестер!

Стуча сапогами, прибежал фельдфебель.

— Вам надо будет помочь кое-то погрузить, положите пока оружие, — сказал Колецки.

Солдаты построились в коридоре.

— Пойдемте со мной и вы, майор. Сюда, в эту комнату.

Последнее, что увидел майор — польского офицера и сноп огня, огромный и желтый, выбивающийся из автоматного ствола. В коридоре люди в польской форме расстреливали немцев.

— Скорее в лес, — крикнул Польш.

...Колецки остановил машину на городской площади, улицы были пусты, только у костела покосился подбитый вездеход. Он закурил. Прислушался к канонаде, достал пистолет, обошел машину и выстрелил шоферу в голову. Открыл дверцу, и труп вывалился на мостовую. Колецки сел за руль и развернул машину.

Старшина Гусев прощался с заставой. Везде, начиная от свежевыкрашенного зеленой краской дома и кончая посыпанными речным песком дорожками, чувствовалась заботливая рука старшины. Он огляделся. Сопки, поросшие дальневосточной елью, кедрачи у во-

рот. Медленно шел по двору, привычно фиксируя наметанным глазом мелкие недостатки и упущения.

— Дежурный! — крикнул Гусев.

К нему подбежал сержант с красной повязкой на руке.

— Слушаю вас, товарищ старшина.

— Почему пустые бочки от солярки не убраны?

— Не успели.

— Надо успевать, служба короткая, а дел много.

— Слушаю. — Дежурный повернулся и пошел выполнять приказание, думая о том, что старшина остается старшиной даже в день отъезда с заставы.

Гусев отправился на конюшню. Высокий, туго затянутый ремнем, не старшина, а картинка из строевого устава.

В тридцать шестом на плацу вручили ему петлицы с одним треугольником, так стал он отделенным командиром. А через год, в тридцать седьмом, за лучшие показатели в службе и учебе прибавил Гусев на зеленые петлицы еще один треугольник. Потом стал старшим сержантом. А на сверхсрочную остался уже старшиной. Десять лет накрепко связали его с заставой. Здесь был его дом, все личные и служебные устремления. Началась война, и граница, и до этих дней беспокойная, полыхнула прорывами банд, диверсантов-одиночек, контрбандистов.

На западе шла война, а у них тревоги по три раза на день. За ликвидацию банды семеновских белоказачков получил старшина Гусев медаль «За боевые заслуги». Вот теперь самое время поехать в отпуск, но отзывают его на западную границу.

Старшина шел прощаться с конем.

Почувствовав хозяина, Алмаз забил копытами, заржал призывно и негромко. Гусев достал круто посоленный кусок хлеба, протянул коню. Алмаз жевал, кося на хозяина огромный фиолетовый глаз, а старшина прижался щекой к теплой шее коня, гладил его по шелковистой шкуре и повторял:

— Ничего, Алмаз. Так надо, Алмаз. Служба у меня такая.

Поезд нещадно трясло на стыках, старые вагоны скрипели, подпрыгивали, и иногда казалось, что они вот-вот развалятся.

Поезд шел на запад по вновь восстановленной железнодорожной колее. Вернее, не шел, а крался, опасаясь налета немецких самолетов. И хотя бомбежки стали уже значительно реже, все равно в центре состава стояла платформа со спаренными пулеметами.

Капитан Тамбовцев лежал на жесткой полке, положив под голову скрученную шинель и полевую сумку. Все, что нужно ему, поместилось в вещмешке, заброшенном под полку.

В сороковом году лейтенанта Тамбовцева назначили офицером штаба одной из погранчастей НКВД. Потом началась война. Да много чего было потом. И задержание диверсионных групп в тылу, и маршрутная агентура абвера и СД.

Тамбовцев лежал на полке и никак не мог уснуть. В Москве он, кажется, выспался за всю войну сразу. Его вызвали пять дней назад, прилетел в столицу из Молдавии, где его полк нес службу по охране тыла.

— Поедешь на западную границу, — сказал ему в управлении полковник Губин. — Туда, где служил раньше, на должность старшего помощника начальника штаба отряда. Обстановку, Тамбовцев, знаешь сам. Сейчас на территории освобожденной Польши создан Корпус национальной безопасности. Поддерживай связь с ними. Помни другое: наш человек жив. Помогал фронтовым чекистам. Живет там же. Ждет тебя. Тебе придется столкнуться со многими неожиданностями.

— Что вы имеете в виду, товарищ полковник?

— Несколько странно ведут себя наши союзники. Есть данные, что они хотят воспользоваться немецкой агентурой. На, смотри. — Полковник положил на стол фотографии.

Тамбовцев взял немного нечеткий снимок. Два человека стояли, видимо, на берегу реки. Один, в шляпе, низко надвинутой на глаза, опирался на трость, второй был схвачен объективом в профиль. Тяжелые, нависшие надбровья, нос чуть с горбинкой, мощный подбородок.

— Сняли в Швейцарии. Фотографировал наш человек с велосипеда, поэтому нечетко. Этот, — полковник ткнул карандашом в человека в шляпе, — сотрудник отдела М-5 Интеллиженс сервис капитан Уолтер Бернс. Его собеседник — оберштурмбаннфюрер СС Колецки. Вот их служебные фотографии. Смотри. Бернс работает в отделе, занимающемся Польшей, а следовательно, и Западной Белоруссией. Колецки один из быв-

ших руководителей службы безопасности в Белоруссии. По каналам разведки приходят сообщения, что немцы постоянно ищут контакты с союзниками.

— Значит, пушки этой войны еще не отгремели, а союзники готовят агентуру на будущее?

— Так-то вот получается! — усмехнулся полковник. — Надо быть готовыми ко всему.

Лошади шли медленно. Колецки почти лежал, прижавшись к шее коня, но все равно упругие ветки больно били его в темноте по лицу. И чем дальше, деревья, угадываемые в темноте, сходились плотнее и гуще. По крупу лошади хлестнула ветка. Ударила так сильно, что Колецки натянул поводья, сдерживая животное. Лес кончился, и сразу стало светлей. Он поднял голову. На небе сквозь разорванные тучи на короткое мгновение выпрыгнула луна.

— Слезайте, пан полковник, — сказал проводник, — дальше пойдем пешком.

Колецки соскочил с седла, прошелся, разминая ноги. Ночь словно отступила, глаза отчетливо различали светловатую полосу дороги, пересекавшую поле.

— Пойдемте, пан полковник. — Проводник зашагал вперед. Они вышли к маленькому городку. У него не было охраны — их заменяла огромная свалка мусора.

— Попрямее через эти кучи? — спросил Колецки.

— Придется, пан полковник. Держитесь за мной. Я знаю тропинку, здесь много битого стекла и жестяных банок.

Колецки шел за проводником, чертыхаясь про себя. Они миновали свалку, перелезли через забор, прошли какой-то сад и очутились на темной улочке с двухэтажными домами. Она, извиваясь, убегала в темноту и была наполнена тревогой и опасностью. Колецки на всякий случай расстегнул кобуру.

— Не беспокойтесь, пан полковник, русских здесь нет, — сказал проводник, — а народная беспека и милиционеры ночью не выходят на улицы. Ночь — наше время.

Они шли вдоль домов, стук сапог разносится в темноте гулко и тревожно. Свернули в щель между домами, настолько узкую, что казалось, плечи задевают за дерево стен. Колецки шел наугад. Ему очень хотелось за-

жечь фонарь, но он понимал, что этого делать нельзя. Наконец проводник остановился.

После темноты свет керосиновых ламп казался необыкновенно ярким, и Колецки на секунду зажмурился.

В комнате было трое. Они шагнули навстречу. Одинаково рослые, подтянутые, сохранившие офицерскую выправку даже под штатской одеждой.

— Пан майор, — обратился к одному из них проводник, — полковник Гром из Лондона.

Колецки пожал протянутые руки, выслушав псевдонимы: Буря, Волк, Жегота. Потом сел, махнул рукой собравшимся, предлагая место за столом.

— Господа офицеры, — начал он, — прошу доложить обстановку на границе.

— По моим данным, — сказал майор Жегота, — завтра русские станут на границе.

— Завтра, — задумчиво повторил Колецки. — Что ж. Вам известно, что вы и ваши люди придаются мне для выполнения специального задания?

— Да. Я хотел бы узнать, пан полковник, сколько вам нужно людей? — спросил майор.

— Для операции в русском тылу мне нужно минимум пятьдесят человек. Но это должны быть самые подготовленные, самые смелые люди.

— Мы найдем таких.

— Их надо освободить от любых заданий до особого распоряжения.

— Когда оно поступит?

— Это знает Лондон. У вас есть карта, майор?

— Конечно, пан полковник. Я хотел добавить, на той стороне люди Резуна уничтожают всех коммунистов. Поляков, русских...

Один из офицеров расстелил карту района.

— Вот здесь была, следовательно, и будет русская застава, — сказал Колецки. — У отметки 12-44 должна быть полная тишина. На других участках все, что угодно. Но здесь никаких конфликтов. Бандеровцами я займусь лично.

Солдат строили прямо вдоль эшелона, стоявшего на путях. Кочин обходил строй своей заставы, внимательно оглядывая людей. У многих на груди ордена и медали. Почти половина людей — совсем молодые, не-

давно надевшие военную форму ребята. Но чего-то в строю не хватало. Как-то не так выглядели до войны солдаты-пограничники.

На левом фланге стоял старшина Гусев. В ладно пригнанной гимнастерке, в пограничной фуражке. И старший лейтенант понял, чего не хватало солдатам. Именно этих зеленых фуражек. На головах пограничников были пропотевшие, застиранные пилотки.

Кочин остался доволен внешним видом личного состава заставы. В общем-то народ ему попался хороший. Правда, заместитель, младший лейтенант Сергеев, еще совсем молодой, только что из училища.

— Отряд, равняйся! — раздалась команда. — Смирно!

Командовал заместитель начальника отряда полковник Творогов. Высокий, широкоплечий, он, кинув руку к козырьку, зашагал навстречу начальнику отряда полковнику Зимину.

— Товарищ полковник, вверенный вам отряд при- был на место дислокации. Отставших и больных нет. За время следования никаких происшествий не случилось.

— Здравствуйте, товарищи пограничники!

— Здравия желаем, товарищ полковник! — многого- лосо и гулко ответил строй.

Полковник Зимин шагнул в сторону и, чуть выдер- жав паузу, скомандовал:

— Для встречи справа! Под знамя! Слушай! На ка- раул!

Четко печатая шаг, по щебенке насыпи двигался зна- менный взвод. Впереди знаменосец и два ассистента с шашками наголо.

Строй следил за знаменем. Тяжелое полотнище, вздрагивая в такт строевому шагу, свисало за плечом знаменосца. Нет, не простое это знамя. Обожжено бы- ло полотнище, пробито пулями. Видимо, не всегда оно стояло закрытое чехлом. Алое полотнище плыло вдоль строя, и пограничники провожали его глазами. Гулко печатал шаг знаменный взвод, покачивалось полотнище знамени.

В походной колонне погранотряд втягивался в уз- кие улочки. Город был почти тронут войной. Обтекла она его, пожалела. Ломилась через заборы сирень. Це- лые улицы словно покрылись белой пеной. Горбати- лись булыжные мостовые, причудливо изгибаясь, бежа-

ли мимо маленьких домов, мимо костела и укрытых зеленью двухэтажных особняков с геральдическими щитами на фронтоне.

Отряд шел по городу. И тротуары заполнились народом. Людей встречала новая жизнь. В этом прирубежном городке хорошо знали, что такое граница. Раз вставали на ее охрану солдаты в гимнастерках с зелеными погонями — значит, все, война ушла за пределы Родины.

Штаб отряда разместился в особняке. У дверей его застыли два каменных льва. У одного была отбита часть морды, и казалось, что лев хитро улыбается, глядя на мирскую суету. Рядом стоял часовой.

Кабинет начальника разведотдела был на самом верху, в бывшем зимнем саду. Он располагался в стеклянном эркере, и даже в пасмурную погоду в нем было светло и радостно.

Они сидели вдвоем: грузный, широкоплечий подполковник Середин и капитан Тамбовцев.

— Итак, на границу мы встали. — Середин отхлебнул чай. Подстаканник был сделан из снарядной гильзы, и поэтому красивый хрустальный стакан выглядел в нем чужеродно.

— Конечно, порядок наведем, — продолжал подполковник. — Погранрежим установили почти на всей западной границе. Но в тылу неспокойно. Смотри. Отметка 12-44, здесь расположена третья застава. Начальник — старший лейтенант Кочин. Кадровый пограничник, потом командир роты в Красной Армии, отозван к нам. Офицер боевой, знающий. Его участок наиболее вероятен для прорыва в наш тыл. Сразу за заставой на много километров тянутся леса, болота. По нашим данным, в тылу заставы действует банда оуновцев. Так что направляйся туда и разбирайся на месте.

Старшина Гусев вел наряд вдоль пограничной реки. Он шел впереди, два солдата с автоматами сзади. Пели птицы, плескалась рыба в реке, палило солнце, и Гусеву казалось, что никакой войны нет и помине. Он остановился, вскинул бинокль, долго разглядывая сопредельную сторону.

Тишина.

Гусев опять повел биноклем, запоминая мельчайшие складки местности, подходы к реке.

— Товарищ старшина, — позвал его пограничник, спустившийся с откоса к реке.

— Что у тебя, Глоба?

— Скорей сюда, товарищ старшина.

Гусев опустил бинокль и легко сбежал по откосу к реке.

— Ну что?.. — начал Гусев. И увидел потускневший металлический герб Советского Союза. — Это же погранзнак!

— Стой, старшина! — крикнул вдруг ефрейтор Климович. — Стой!

— Ты чего, Климович?

— Стой, стой.

Ефрейтор снял автомат, положил на траву, расстегнул ремень, опустился на корточки и медленно начал приближаться к засыпанному погранзнаку.

— Отойдите! — повернулся он к старшине и Глобе.

— Зачем? — опять удивился Гусев.

— На фронте вы не были, старшина. Отойдите на двадцать метров.

Старшина и Глоба отошли.

Климович осторожно лег на землю, медленно ведя по ней руками. Медленно и уверенно. Очень осторожно.

Вот левая рука замерла, нащупав еще невидимый проводок.

Ефрейтор достал нож и начал аккуратно расчищать землю вокруг. Лицо его покрылось влажной испариной. А проводок вел его руки, и наконец они нащупали круглый бок противопехотной мины.

— Натяжная, — сквозь зубы сказал Климович.

Он аккуратно расчистил поверхность, обнажая взрыватель. Вот он. Через минуту Климович разогнул усталую спину, поднял погранзнак.

— Все! — крикнул он. — Идите сюда.

Гусев подошел, долго смотрел на взрыватель, на ладони ефрейтора.

Лес ложился на лобовое стекло «виллиса», как на экран. Темной плотной полосой.

— Тут две дороги, товарищ капитан, — сказал, при тормозив, шофер, — одна через лес — короткая, другая в объезд.

Тамбовцев посмотрел на уходящее солнце, на темную стену леса и сказал:

— В объезд.

— Может, лесом, товарищ капитан?

— А зачем зря рисковать?

— Да какой здесь риск!

Наезженное полотно дороги уходило в темноту деревьев, разделяясь у самого леса.

...Трое с пулеметом лежали за деревьями на опушке по правую сторону дороги, двое с автоматами по левую.

Один наблюдал за машиной.

А «виллис» все ближе и ближе. И уже невооруженным глазом различимы офицерские погоны. Пулеметчик передернул затвор МГ. Бандиты начали прилаживать «шмайссеры».

Машина на скорости повернула у самого леса и пошла вдоль опушки.

— Кабан! — крикнул бандит. — Пулемет!

А машина, подпрыгивая на разбитых колеях, уходила все дальше и дальше от засады.

Кабан вскочил и, положив ствол пулемета на сук, дал длинную, почти бесполезную очередь вслед.

Подъезжая к заставе, Тамбовцев увидел вышку. Настоящую пограничную вышку и недостроенный забор. Несколько солдат без гимнастерок прибавляли светлые, оструганные доски. И хотя забор не охватил всю территорию заставы, у ворот уже стоял часовой. Он шагнул навстречу машине, поднял автомат. Тамбовцев выпрыгнул на землю, расстегнул карман гимнастерки, достал удостоверение.

В углу у забора стояли палатки, под навесом приткнулась походная кухня с облупленным боком, в двух аккуратно вырытых землянках, видимо, расположились склады.

Из палатки навстречу Тамбовцеву шел высокий старший лейтенант в выгоревшей пограничной фуражке.

— Начальник заставы старший лейтенант Кочин.

— Помощник начальника штаба отряда капитан Тамбовцев.

Офицеры пожали друг другу руки.

— Как на границе? — спросил Тамбовцев.

— Пока сложно. Охраняем секретами, подвижными нарядами. Тянем телефонную связь.

- Спокойно?
- Почти. Это не вас обстреляли?
- Нас, из леса.
- Вчера бандиты напали на наряд. Потерь нет. Но вообще на участке непривычно тихо.
- А как у соседей?
- Прорывы в сторону тыла и за кордон. Правда, и у нас почин.
- Что такое?
- Задержали нарушителя погранрежима.
- Интересно.
- Прошу. — Кочин показал на одну из палаток. — Там канцелярия заставы.

И хотя канцелярия помещалась в палатке, но это все же было подлинно штабное помещение. Стол, секретер для документов, в углу стеллаж, на котором разместились четыре полевых телефона и рация. На стойках закрытые занавесками карта участка и график нарядов.

Горела аккумуляторная лампочка, за столом сидел младший лейтенант Сергеев. Увидев Тамбовцева, он встал.

- Товарищ капитан...
- Продолжайте, продолжайте.

Тамбовцев сел на табуретку в темноту, внимательно разглядывая задержанного.

— Гражданин Ярош Станислав Казимирович, житель пограничного села, задержан за нарушение погранрежима и контрабанду.

— Так какая ж то контрабанда! Бога побойтесь, пан хорунжий...

— Называйте меня «гражданин младший лейтенант», — строго сказал Сергеев.

Задержанный закивал головой. Это был мужчина неопределенного возраста, где-то между тридцатью и сорока. Смотрел он на Сергеева прищуренными, глубоко запавшими глазами. Одет Ярош был в табачного цвета польский форменный френч, пятнистые немецкие маскировочные брюки и крепкие сапоги с пряжками на голенищах.

На столе перед Сергеевым лежали пачки сигарет, стояло несколько бутылок, какие-то пакетики, свертки.

— Гражданин Ярош, — строго, даже преувеличенно строго начал Сергеев.

Тамбовцев усмехнулся. Из темноты он разглядывал

руки Яроша. Крепкие, с сильными запястьями, они лежали на столе спокойно, по-хозяйски. И хотя всем своим видом задержанный изображал волнение, руки его говорили о твердой воле и полном спокойствии.

— Вы, — продолжал заместитель начальника заставы, — нарушили пограничный режим. Где вы были?

— Так, пан лейтенант, я до той стороны ходил. К швагеру. Родич у меня в Хлеме.

— А вы знаете, что переходить границу можно только при соответствующем разрешении?

— Так я в Хлем подался семь дней назад, ваших стражников еще не было. А обратно шел, они меня и заарестовали.

— Вас не арестовали, а задержали. Что это за вещи? — Сергеев указал на стол.

— Родич дал и сам наменял в Хлеме.

— Значит, так, — вмешался в разговор Тамбовцев. — Ввиду того, что вы, Ярош, пересекли границу до принятия ее под охрану советскими пограничниками, мы вас отпускаем. Но помните, в следующий раз будем карать по всей строгости советского закона.

— Оформите протокол, — приказал Кочин Сергееву. — Вещи верните, они не подлежат изъятию как контрабанда. Все.

Кочин повернулся и пошел к дверям. За ним поднялся Тамбовцев. Задержанный внимательно посмотрел вслед капитану.

Они сидели в палатке и курили. Тамбовцев, Кочин и Сергеев. Полог палатки был откинут, и в темном проеме виднелся кусок неба с огромными, словно нарисованными звездами.

— Как на юге в августе, — сказал Тамбовцев.

— А вы там служили, товарищ капитан? — спросил Сергеев.

— Да нет, пацаном в «Артеке» был. А служил я здесь.

— На этом участке? — удивился Кочин.

— Именно.

В проем заглянул дежурный.

— Товарищ старший лейтенант, к вам женщина.

— Какая женщина? — Кочин встал.

— Гражданская, говорит — учительница местная.

— Зови.

Она вошла, и в палатке словно светлее стало. Будто не маленькая аккумуляторная лампочка горела, а сто-свечовка.

Женщине не было и двадцати пяти.

— Вы ко мне? — после паузы спросил Кочин.

— А вы начальник пограничной стражины?

— Я начальник заставы.

— Вы уж простите, я не привыкла пока.

— Я вас слушаю.

— Пан начальник...

— Товарищ начальник, — поправил Кочин.

— Простите. Знаете, привычка. Я местная учительница Анна Кучера, вот мои доку**менты**. — Она протянула Кочину несколько бумажек и паспорт.

Кочин развернул паспорт.

— Довоенный, — усмехнулся он.

— Да, товарищ начальник, при немцах аусвайс выдали, а паспорт сохранился.

— Вы давно работаете здесь?

— С сорок третьего года. Муж погиб. Он был в подполье. Меня после его смерти друзья устроили в деревню.

— Вы садитесь, товарищ Кучера.

Сергеев вскочил, уступая женщине стул. С первой минуты, как только она появилась в канцелярии, младший лейтенант не сводил с нее глаз.

— Я слушаю вас, — сказал Кочин.

— Понимаете, в лесу банда.

— Мы знаем.

— Я понимаю, но по ночам в деревне появляются люди из леса.

— Вы их видели? — спросил Тамбовцев.

— Да. Вчера ночью, двое с автоматами. Они прошли мимо моего дома. Я испугалась и до рассвета просидела у окна. Они вернулись в лес той же дорогой.

— Значит, ночь они провели в деревне? — Тамбовцев встал.

— Да, наверное.

— А у кого?

— Не знаю.

— Но все же?

— Не знаю. Они шли с левой половины.

— А Ярош там живет? — спросил Кочин.

— Нет, он в другом конце.

— Вы кого-нибудь подозреваете?

— Нет. Но я очень боюсь.

— Анна Брониславна, — Кочин заглянул в паспорт, — вы бы очень помогли нам, если сказали, к кому они ходят.

— Я боюсь этих людей.

— Хорошо, — Тамбовцев подошел к женщине. — Завтра к вам приедет инспектор из района. Вы понимаете меня?..

Тамбовцев спал в машине, не раздеваясь, только сапоги стянул. Лежать было неудобно, ноги и руки затекали, и он ворочался под шинелью.

— Товарищ капитан, — к машине подошел дежурный по заставе, — два часа.

Тамбовцев вскочил, потянулся длинно и хрустко, начал натягивать сапоги. Над лесом висела луна. Огромная и желтая. В свете ее предметы вокруг казались удлинненно-расплывчатыми. Тамбовцев оделся, накинул поверх гимнастерки трофейную маскировочную куртку, достал из кобуры пистолет, сунул его за пояс.

Он отошел к машине и словно растаял в темноте. Тамбовцев шел вдоль лесной опушки осторожно, неслышно, легко перемещая свое большое и сильное тело.

У поворота к деревне Тамбовцев остановился, прислушался. Никого. Только лес шумит да плещет неподалеку река. Он вытер вспотевшие ладони о куртку и зашагал к деревне. В полукилометре от нее, у леса, стояла заброшенная смолокурня. Тамбовцев шел к ней. Луна освещала ее полуразрушенный остов лишь с одной стороны, и зыбкая, размытая тень его таила в себе неосознанную опасность. Тамбовцев даже остановился на секунду, достал пистолет и шагнул к смолокурне.

Вот она совсем рядом. В темноте он различал чуть приоткрытую дверь. Сделал еще шаг. Дверь, протяжно скрипнув, приоткрылась. И звук этот, неприятно неожиданный в тишине ночи, заставил Тамбовцева вскинуть пистолет.

В смолокурне кто-то был. Тамбовцев ощущал присутствие человека.

— Заходите, капитан, — сказал голос из темноты.

Они обнялись, практически не видя друг друга. Но Тамбовцев хорошо знал, с кем шел на встречу.

— У нас мало времени. На той стороне появился оберштурмбаннфюрер Колецки. Сейчас он полковник Гром, представитель службы безопасности лондонского правительства Миколайчика.

— С какой целью он прибыл? — спросил Тамбовцев.

— Пока не знаю, поэтому завтра опять уйду за кордон.

— А если наши задержат?

— Вы должны организовать мне окно.

— Что вы знаете о банде рядом с заставой?

— Бандеровцы. Главварь у них некий Резун.

Ветви затрещали, и ефрейтор Панин едва успел сорвать с плеча автомат, как тишину разорвала длинная пулеметная очередь. Он упал, уронив бесполезное уже ему ружье.

Младший наряда Карпов, молодой парнишка, не нюхавший пороха, попавший в погранвойска сразу из запасного полка, припал к земле. В рассветной качающейся дымке из леса выдвигались полустертые темнотой фигуры людей.

— Раз, — начал он считать, — два, три, четыре...

Он досчитал до пятнадцати.

— Ракету, — прохрипел раненый, — ракету.

Младший наряда выдернул из чехла ракетницу, поднял ее и нажал на спуск. В небе лопнул красный шар.

Бандиты ударили из автомата. Пули выбили фонтаны земли у головы солдата. Но он уже опомнился, пришел в себя. Страх не было. Пограничник поднял автомат и ударил длинной, в полдиска, очередью. Двое бандитов упали, остальные продолжали приближаться.

Тогда он вынул из сумки гранаты, примерился и кинул их одну за другой. Яркое пламя взрывов разорвало предрассветный полумрак, и он увидел фигуру человека с раскинутыми, словно для полета, руками, чье-то лицо с широко раскрытым в крике ртом.

Солдат снова ударил из автомата. Но стрелял он уже в пустоту. Бандиты ушли. Со стороны заставы, ревя на поворотах, мчался грузовик с подкреплением.

Вернувшись на заставу, Тамбовцев снова забрался в «виллис», но заснуть больше не смог. Когда рассвело, к машине подошел Кочин. Тамбовцев вылез, кивнул начальнику заставы.

— Доброе утро. На, держи, — он протянул Кочину документы.

— Может, возьмешь солдат, Борис?
— Нет. Розыск — дело индивидуальное, — он махнул рукой. — Пошел.
— Думаешь найти бандитов?
Кочин смотрел вслед Тамбовцеву. Смотрел долго, пока тот не скрылся за деревьями.

Лес был действительно гiblyм. Мрачный, глухой. Солнце почти не пробивалось сквозь густые кроны деревьев, свет задерживался где-то наверху, а внизу были постоянные сумерки.

Тамбовцев, ступая мягко и пружинисто, передвигался почти бесшумно, внимательно разглядывая землю, деревья, кустарник.

Вот желто блеснул автоматный патрон, а рядом след от сапога. Глубокий след, видимо, тащил человек что-то тяжелое. Еще один след, и еще. Вон бинт в крови, свежий совсем. На траве капли крови. Дальше, дальше по следу. Дерн вырублен. Под ним земля свежая. Это могла. После стычки с пограничниками, о которой говорил Кочин при первой встрече, бандиты унесли своих убитых. Значит, здесь их последнее пристанище.

Тамбовцев искал следы.

Вот уже и солнце начало склоняться к верхушкам деревьев, а он все еще кружил в чаще, по маршруту, понятному только ему одному.

Комната Анны Кучеры была просторной и чистой. Стол покрыт домотканой скатертью с веселыми петухами, на окнах стояли в глиняных горшках букеты полевых цветов.

Младший лейтенант Сергеев, в тесноватом пиджаке, в широких брюках, разглядывал полку с книгами. На ней стояли учебники, книги на польском, белорусском, старые издания Толстого и Некрасова.

Вошла Анна, неся миску с дымящейся картошкой.

— С книгами у нас трудно, — сказала она. — Я уже в роно написала, нужно больше книг на русском языке, особенно советских писателей. А там мне отвечают — ждите. А сколько ждать можно? Скоро учебный год начнем.

— Война, — односложно ответил Сергеев.

Ему очень хотелось помочь этой красивой женщине.

— У меня тут тоже кое-что есть. — Сергеев полез в саквояж, с которым, видимо, раньше ходил по деревням умелый коммивояжер или сельский фельдшер, и вытащил две банки консервов.

— Роскошь-то какая, — сказала Анна, разглядывая пестрые наклейки.

— «Второй фронт», — ухмыльнулся Сергеев, — помощь союзников.

Они сидели за столом. Картошка и колбаса лежали в тарелках с синеватыми цветами. И все это — тарелки, вилки и ножи — смущало Сергеева, отвыкшего за годы войны от подобной сервировки.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказала Анна.

Вошел плотный усатый человек лет пятидесяти. Одет он был в полосатый пиджак, под которым виднелась сорочка, и латаные немецкие брюки, заправленные в желтые краги.

— Я до вас, панна Анна.

— Это вот наш староста, — пояснила хозяйка. — Ковальский.

— Я, дорогой пан товарищ, пока власть в деревне представляю, — сказал Ковальский, внимательно и цепко разглядывая Сергеева. — Так что документы пожалуйста.

Ковальский расстегнул пиджак, и Сергеев увидел широкий ремень и кобуру.

— Я из районного отделения народного образования. Инспектор Ляцкевич Антон Станиславович. Приехал школу перед началом года проверить, — Сергеев протянул документы.

— Хорошее дело, доброе, пан товарищ, — Ковальский взял паспорт, командировку. — Значит, в пограничной стражнице отметились?

— Конечно.

— Добре, — Ковальский вернул документы, покосился на стол.

— А вы садитесь с нами, пан Ковальский, — предложила учительница.

— Це добро, дзенькую бардзо, — Ковальский сел, взял нож и отрезал здоровенный кусок консервированной колбасы.

Ярош шел по улицам польского пограничного городка. Маленький был городок, зеленый, двухэтажный. Его можно скорее назвать местечком. День сегодня был базарный, поэтому скрипели по улицам колеса телег. Везли крестьяне на рынок немудреную снедь.

Военных в городе много было. Русских и поляков. Ярош вышел на площадь. Над зданием повяцкого старостата висел красно-белый польский флаг. У костела толпились, ожидая службу, одетые в праздничные темные костюмы люди.

Ярош прошел мимо длинной коновязи, рядом с которой вместе с лошадьми приткнулись два военных «студебеккера», и свернул на узкую улочку. На одном из домов висела жестяная вывеска — огромная кружка пива с белой, кокетливо сбитой чуть вбок шапкой пены. И надпись: «Ресторан Краковское пиво». Ярош толкнул дверь и вошел в чистенький, отделанный светлыми досками зал.

На стенах плотно, одна к другой, висели акварели с видами Кракова. За стойкой парил огромный уса-тый мужчина. Увидев Яроша, он приветливо закивал ему.

— Как торговля, пан Анджей? — Ярош подошел к стойке и облокотился на нее.

— Сегодня все должно быть хорошо — базарный день. Как всегда?

— Да, — Ярош кивнул.

Хозяин налил рюмку бимбера, наполнил пивом две высокие кружки. Беря деньги, он наклонился, словно случайно, и прошептал:

— Пришли двое из лесу, просили показать тебя.

— Где они?

— Ждут сигнала.

— Ну что ж, знакомь.

Ярош выпил водку, взял пиво и пошел к свободному столику.

Хозяин, подождав, пока он сядет, достал из-под стойки пластинку, положил ее на патефонный круг, опустил мембрану. Зал наполнили звуки грустного танго.

Ярош спокойно пил пиво.

Двое подошли к стойке.

— Ну? — тихо спросил один.

Хозяин глазами указал на Яроша. Он пил пиво и слушал довоенное танго.

Младший лейтенант Сергеев проснулся. Он так и не понял, что его разбудило. В классе, где он спал, было темно, только квадрат окна синел в темноте.

Сергеев прислушался. Тихо. Ветер раскачивал ветви деревьев, и они шуршали за окном.

Но не это разбудило Сергеева. Он сел и начал зашнуровывать ботинки. И тут он услышал шепот, похожий на шорох. Говорили за стеной.

Сергеев достал пистолет, спустил предохранитель и подошел к двери класса, что вела в комнату Анны, нажал. Дверь была заперта. Тогда он осторожно, стараясь не шуметь, открыл окно и вылез на улицу.

Огляделся. Никого.

Сергеев сделал первый шаг к крыльцу.

Из кустов двое в приплюснутых «полювках» наблюдали за ним. Сквозь завешенное окно комнаты Анны пробивалась тонкая полоска света. Сергеев припал лицом к стеклу, стараясь рассмотреть комнату. В узкую щель он увидел широкую спину, обтянутую зеленоватым сукном френча.

Младший лейтенант слишком поздно почувствовал опасность.

На крыльцо вышел человек.

— В чем дело, Поль?

— Убрали чекиста.

— Оттащите его подальше. Лучше к дому Ковальского.

Ковальский чистил наган. Масляные пальцы блестели в свете свечи. Свеча была добрая, из костела, толстая, крашенная золотыми полосками. Она горела ярко, чуть потрескивая.

Распахнулась дверь, и свет свечи забился, заплясал на сквозняке. В комнату вошли двое. Зеленые френчи, «полювки», высокие сапоги с твердыми, негнушимися голенищами, автоматы «стен».

Ковальский замер, с ужасом глядя на белых орлов, увенчанных короной, на конфедератках вошедших.

— Ну, — сказал человек с погонами поручика, — здравствуй, пан войт.

Ковальский попытался что-то сказать, но ужас сделал его тело непослушным. Он что-то замычал, глядя на стволы автоматов, на красивое лицо поручика, подергивающееся нервным тиком.

— Я-а-а, — попробовал выдавить он из горла, — па-ан...

Поручик подошел, выбил из-под него стул и уже упавшего ударил сапогом.

— Ты, прихвостень красный... — Поль усмехнулся, передернул затвор автомата.

— Не надо, — прохрипел Ковальский, — не надо... Я не хочу... пан добрый... пан...

Поручик наклонился, прошептал что-то.

— Нет, — ответил Ковальский. Он дополз до стены и теперь сидел, вжавшись в нее спиной. — Не знаю, — выдал он.

Поручик опять ударил его ногой, и Ковальский начал сползать безвольно и расслабленно.

В комнату вошел Колецки. Он с интересом поглядел на распростертое тело и сказал, доставая сигарету:

— Надеюсь, Поль, вы не убили его.

— Нет, оберштурмбаннфюрер. Простите, пан полковник. Жив, холера.

Ковальский застонал, открыл глаза, увидел Колецки и вскочил. Разом. Словно в нем распрямилась пружина.

— Господин... — начал он.

— Вы простите нас, надеюсь, за маленькое испытание. Мои люди чуть перестарались. Проводите нас к схрону Резуна. — Колецки прикурил, рассматривая Ковальского сквозь дым сигареты.

— Конечно, господин штурмбаннфюрер, давно ждем вас. — Ковальский вытер рукавом разбитый рот, покоился на поручика.

— Пошли, — сказал Колецки, — нам надо управиться до рассвета.

На крыльце Поль спросил Колецки:

— Он ваш агент?

— Да.

— Что же вы меня не предупредили?

— Хотел его проверить. Мне показалось, что он еще может пригодиться.

— Может или пригодится?

— Вы умный человек, Поль, зачем нам свидетель?

— В отряде Резуна есть надежные люди.

— Это издержки нашей профессии, Поль. Хозяевам надо, чтобы на этом участке границы было тихо, как в морге. Нам слишком дорог человек, который встретит резидента. Есть весьма правдоподобная легенда. Прак-

тически безупречная. Тем более что люди идут сюда на долгое оседание. Они станут законопослушными гражданами, попытаются вступить в партию, занять соответствующие посты. Их время придет.

— Значит, мы своей кровью мостим им дорогу? — зло спросил Поль.

— Конечно. Наша задача — провести резидента и уходить. Все.

— А как же...

— Поль, пусть поляки сами разбираются с русскими, а русские с немцами. Поверьте, вам тяжело слушать, а мне тяжело говорить. Но, выполнив приказ, мы уйдем.

— Куда?

— К англичанам. Здесь нас никто не должен видеть. Наше дело проводить человека из Лондона. Он в тысячу раз дороже всех костоломов Резуна и людей Жеготы, думающих только о том, сколько они убили коммунистов. Их диверсии — кровавое, бесполезное сегодня, а за тем человеком — будущее. Будущее новой войны с Советами.

— А мы с вами кто же? Кровавое настоящее?

— Нет, Поль, мы с вами автоматически на службе у будущего. И мы очень нужны тем, кто думает о пятидесятих, шестидесятих годах. А пока пошли мостить дорогу в завтра.

— Приедет взвод маневренной группы отряда, ты дашь человек десять — и конец банде Резуна. Понял? — Тамбовцев лег на раскладушку. — Ох, и устал же я, Кочин, если бы ты знал! Как на границе?

— Спокойно.

— Ну, слава богу.

— Ладно, я пойду наряды проверю. — Кочин встал. — А ты спи...

— Товарищ старший лейтенант... — вошедший дежурный так и не успел договорить.

В палатку вбежала Анна Кучера.

Она была в кофте, юбка сбилась, волосы распушены.

— Скорее... Скорее... Там...

— Что?! Что случилось?!

— Сашу убили.

— Сними маскировочные щитки, — приказал Тамбовцев шоферу, — освети место убийства.

Шофер немного повозился, и фары вспыхнули в темноте нестерпимо ярко.

Сергеев лежал, подогнув под себя руки, белая рубашка стала черной от крови. Тамбовцев наклонился, перевернул его.

Кинжал вошел точно под лопатку и остался в теле.

Тамбовцев осторожно вытащил его, осмотрел. На ручке, сделанной из рога, был прикреплен серебряный трезубец.

— Разверни машину чуть вправо, — крикнул он шоферу.

Свет фар побежал по траве, по поломанным кустам, мимо забора.

Рядом с трупом на влажной земле четко отпечатался след сапога с рифленой подошвой.

Тамбовцев полез в машину, вынул чемодан, достал фотоаппарат. Синевато-дымно вспыхнул магний.

— Его убили не здесь, — повернулся он к Кочину. — Сюда они перетащили труп. А зачем?

На подножке машины сидела закутанная в шинель Анна.

Тамбовцев поднялся, сел рядом с ней, закурил.

— Как вы обнаружили труп?

— Я... Я спала... Потом шум услышала... Я встала... Смотрю, Саша мимо дома крадется...

— Что вы еще видели?

— Потом двух людей видела с автоматами.

— Они шли в ту сторону, что и Сергеев?

— Да.

— Кто видел Сергеева у вас?

— Ковальский. Он у нас вроде как староста, до выборов в сельсовет.

— Кочин, — Тамбовцев встал, — пошли людей за Ковальским. А мы пока к школе подъедем.

У здания школы шофер вновь зажег фары. В их мертвенно-желтом свете кусты, стволы деревьев, трава потеряли свои краски и стали однообразно темными.

Тамбовцев увидел раскрытое окно, подошел к нему, осветил классную комнату фонарем. Потом луч фонаря побежал по траве. Остановился на секунду. Опять побежал.

Тамбовцев шел за лучом, фиксируя каждую мелочь.

Луч фонарика добежал до кустов. И тут Тамбовцев снова увидел тот же след гофрированной подошвы.

— Товарищ капитан, — подошел старшина Гусев, — Ковальского нет.

— Как нет? А кто у него дома?

— Он одинокий. В доме пусто, а вот в конторе...

— Пошли.

Он сразу увидел все. непогашенную свечу, несобраный наган, опрокинутый стул, окурки на полу.

Вошел Кочин, быстро осмотрел комнату.

— Били они его.

— Да, — Тамбовцев подошел к столу, собрал наган, подкинул его на ладони. — Били и в лес увели. Но ничего, завтра мы с бандой покончим.

— Уже сегодня, — усмехнулся Кочин.

Они вышли на крыльцо. Над леском появилась узкая полоса света. Она увеличивалась с каждой минутой, и предметы стали вполне различимы.

Они погрузили тело Сергеева в машину, накрыли его шинелью. Машина двинулась осторожно. Шофер вел ее аккуратно, словно вез раненого.

...Выстрелы, приглушенные расстоянием, они слышали, подъезжая к заставе.

Навстречу машине бежал дежурный.

— Товарищ начальник! У соседа справа прорыв в сторону границы. Просят подкрепления.

Теперь машину вел сам Тамбовцев. Стрелку спидометра зашкалило у предельной отметки. «Виллис» бросало из стороны в сторону, иногда на колдобине машину подкидывало, и казалось, она вот-вот взлетит. Звук боя все приближались, и за ревом мотора пограничники точно определяли вид оружия, из которого велась стрельба. Как музыканты определяют голоса инструментов.

Вот тяжело ударил пулемет Горюнова, его поддержали звонкие голоса ППШ. Им ответил басовито и гулко МГ и шипящие очереди автоматов «стен».

Когда Тамбовцев затормозил, бой уже заканчивался, потерял свою цельность, рассыпался на маленькие очаги.

На земле лежали трупы, валялось оружие.

К Тамбовцеву подбежал начальник заставы.

— Прорыв, товарищ капитан. Группа, человек пятнадцать. С того берега их поддерживали огнем.

— Ваши потери?

— Один убит, двое раненых.

— У них?

— Шесть человек, одного взяли.

Тамбовцев шел по берегу. Убитые лежали в самых различных позах, на всех были польские мундиры.

Подошел Кочин.

— Поляки.

— Да какие это поляки! — Тамбовцев бросил фуражку. — Поляки на фронте дерутся с немцами, а это бандиты. Фашисты польские.

...На лице у задержанного была кровавая ссадина, мундир порвался, и из-под него выглядывала несвежая белая рубашка.

Он был немолод, лет около сорока, на среднем пальце правой руки намертво засел серебряный перстень с черепом и костями.

— Вы поляк, — сказал Тамбовцев, — а носите ээсовский перстень.

— Я не поляк, господин капитан.

— А кто же вы?

— Белорус.

— Ваша фамилия и имя.

— Грошевич Олесь Янович.

— Почему вы в польской форме?

— Что со мной будет?

— Это зависит от вас. Если вы скажете правду, то она будет учтена при решении вашей судьбы.

— Судьбы...

Задержанный помолчал.

— Судьбы... — повторил он. — Дайте закурить, капитан.

Тамбовцев протянул ему папиросы и спички.

Грошевич закурил, глядя куда-то поверх головы капитана.

— Слушайте, Грошевич, ну зачем тянуть время? Говорите правду. Вы же прекрасно знаете, что наши органы располагают обширным материалом на всех предателей Родины. Что вы выигрываете? Убежать вам не удастся. Мы доставим вас в город и через неделю, пускай через десять дней, будем знать о вас все.

— Ладно. Пишите. Фамилия моя Кожух, имя Борис, отчество Степанович. До войны был инструктором Осоавиахима в Минске. В сорок первом спрятался от

мобилизации. Пришли немцы, предложил свои услуги. Работал инструктором по стрелковой подготовке в минской полиции.

— Участие в расстрелах принимал?

— Нет. Это вы легко проверите. Я учил полицаев стрелять. В сорок третьем вызвали в референтуру СД, беседовал со мной оберштурмбаннфюрер Колецки. Предложил пойти в специальную школу. Я согласился.

— Что это за школа и где она находилась?

— Под Гродно, на двадцатом километре Минского шоссе.

— Чему вас учили?

— Обучали только приемам и навыкам ближнего боя.

— Готовили диверсантов?

— Я бы не сказал. Нас было пятнадцать человек. Готовили группу. Наш командир, бывший польский поручик, мы его звали Польш, часто повторял, что нас готовят для одного боя. Больше мне ничего не известно. Мы взяли какого-то человека, он проводил нас до бункера бандеровцев, и мы их уничтожили.

— Как уничтожили? — изумился Тамбовцев.

— Ножами, — спокойно ответил Кожух. — Всех до одного.

— Зачем?

— Не знаю, клянусь вам.

— Когда вы видели последний раз Колецки?

— Час назад. Он был с нами, его псевдоним — полковник Гром.

Четверо пограничников копали могилу. Прямо в лесу, рядом со схроном банды Резуна. Трупы лежали в стороне, накрытые раскатанным брезентом.

— Двадцать два человека, — сказал Кочин. — Умельцы!

— Немцы эту сволочь хорошо готовили, — ответил Тамбовцев.

— Ты не забудь, чтобы санинструктор хлорку засыпал.

— Слушай, Борис, для чего это они стали нам помогать?

— Пока не знаю. Но скажу одно: на твоем участке готовится какая-то акция. Смотри, чтобы ребята несли службу...

Верхушки кленов разлапились по стеклам зимнего сада. Уходящее солнце высвечивало их неестественно бронзовым светом. И поэтому Тамбовцеву казалось, что он сидит внутри большого красивого фонаря.

— Любопытный у тебя кабинет, Середин.

Полковник Губин, прилетевший из Москвы, стоял спиной к офицерам, любуясь закатом.

— Кабинет на зависть, — Середин потер руки. — Только вот как зимой его топить, не знаю.

— Здесь же зимний сад был? — Губин подошел к стеклу. — Я такие особняки в Антверпене видел. Значит, под полом трубы проложены. Ты в городе мастеров найди, пусть проверят систему отопления. Представляешь, зимой город в снегу, солнце висит красное, а ты сидишь в своем фонаре в полном тепле и любишься на эту красоту.

— Пал Петрович, — Середин встал, — что в Москве-то слышно?

— А вот о новостях, Иван Сергеевич, — засмеялся Губин, — я у тебя сам спросить хотел.

— У вас там обзор шире.

— Это точно. Так вот, мы внимательно проанализировали ваше сообщение. Да, действительно дела здесь творятся странные. Фашисты уничтожают друг друга. Значит, есть третья заинтересованная сторона. До нас, товарищи, доходят данные о попытках сепаратных переговоров между деятелями УСС* и спецслужбами союзников. За нашей спиной начинается не совсем чистая игра. Москва предполагает: Польша и Западная Белоруссия стали объектом пристального внимания Интеллидженс сервис. Нам точно известно, что Колецки, который снова объявился здесь, был в тридцать девятом году завербован английский разведкой. Работал он на временно оккупированной территории, занимался подготовкой разведкадров. Сначала для СД, но мне думается, он готовил кадры для своих лондонских хозяев.

— Товарищ полковник, — Тамбовцев встал, одернул гимнастерку, — но ведь англичане наши союзники.

Губин помолчал, поглядел внимательно на капитана.

— Наши союзники, капитан, простые солдаты и офицеры, сражающиеся с фашизмом. Но, к сожалению, политику своих государств определяют не они. Я думаю,

* Управление стратегической службы.

что Лондон не зря поддерживает польское националистское формирование. Мы победим немецкий фашизм. Но империализм будет готовиться к новой войне с нами. То, что враг у нас опасный, говорит хотя бы случай с уничтожением банды Резуна. Установлено: на той стороне действует так называемая бригада Армии Крайовой майора Жеготы. Сейчас приедет наш польский товарищ, полковник Поремский, он вам расскажет о Жеготе.

Полковник Поремский, высокий, совершенно седой, с лицом, обезображенным кривым зубчатым шрамом, вошел в кабинет Середина ровно в девятнадцать тридцать.

Тамбовцев поглядел на внушительную колодку польских и советских наград и понял, что полковник здорово повоевал. По-русски он говорил чисто, но как-то непривычно расставлял слова.

— Я хочу информировать вас о Жеготе. Жегота — это подпольная кличка. Псевдо. Кадровый офицер. Станислав Юрась настоящее его имя. Принял бой со швабами в сентябре тридцать девятого на границе. Был ротным. Через три дня командовал полком, вернее, тем, что осталось от полка. Дрался честно. Потом ушел в лес. Семью его в Кракове расстреляли немцы. Их он ненавидит. Как большинство офицеров из старой армии, от политики далек. Конечно, заражен идеей национализма. Но я знаю, что он с трудом переносит двойственное положение. Хочет сражаться с фашистами. Кстати, очень многие офицеры в Армии Крайовой приходят на наши призывные пункты. Мой совет, Павел, с Жеготой надо встретиться. В этом поможет наш капитан Модзольевский.

Губин взял со стола фотографию Колецки в эсэсовской форме, протянул Тамбовцеву.

— Покажешь Жеготе, — вздохнул. — Я знаю, капитан, что это очень опасно. Но больше нам послать некого.

На городок спускалась темнота. Она накрывала его сразу, словно одеялом, и была плотной. Не горели фонари на улицах, окна домов наглухо закрыли маскировочные шторы.

— Пора, — сказал Тамбовцеву капитан Модзольевский, — пойдем, друг.

У выхода из здания польской комендатуры на диване сидели два капрала с автоматами.

Увидев офицеров, они вскочили.

— Сидите, — сказал Модзолевский, — мы пойдем одни.

— Но, пан капитан, ночь...

— Считайте, что мы пошли на свидание.

Тамбовцев вышел на крыльцо, постоял, привыкая к темноте. Сначала он начал различать силуэты домов, потом предметы помельче. Теперь он уже видел площадь, коновязь, клубящиеся в углах домов тени.

— Пошли, — Модзолевский зажег фонарик.

— Пошли.

Тамбовцев шагнул вслед за ним и засмеялся.

— Ты чего?

— Как чего, впервые за границу попал.

Модзолевский повел лучом фонаря вокруг и сказал:

— Смотри на нашу границу.

Они миновали площадь, свернули на узкую улочку, прошли по ней, опять свернули и уперлись в тупик. В глубине его стоял дом.

Модзолевский осветил вырезанный из жести сапог, висящий над входом.

— «Мастерская «Варшавский шик», — по складам прочел Тамбовцев.

— В маленьких городах так. Если пиво, то краковское, если шик, то варшавский.

Он постучал в окно. Дом молчал. Капитан опять постучал, сильнее. Наконец где-то в глубине послышались шаги, сквозь штору блеснул луч огня.

— Кто? — спросили за дверью.

— Капитан Модзолевский.

Дверь приоткрылась медленно, словно нехотя. Модзолевский направил фонарь. На пороге, закрыв глаза рукой от света, стоял невысокий человек в ночной рубашке.

— Мы зайдем к тебе, Завиша.

— Проше пана.

Хозяин пошел вперед, приговаривая:

— Осторожнее, панове... Не убейтесь, панове... Тесно у бедного сапожника.

Они вошли в мастерскую, и хозяин засветил лампу. Сидел у двери, глядя на офицеров настороженно и зло.

— Слушай, Рысь... — начал Модзолевский.

Рука хозяина нырнула под кусок кожи.

— Не будь дураком. Если бы я хотел арестовать тебя, то окружил бы дом и пришел не с русским офицером, а со своими автоматчиками.

— Что вам нужно? — хрипло спросил хозяин.

— Ты поедешь к Жеготе. Не смотри на меня так. Пойдешь к нему и скажешь, что я и русский капитан хотят с ним поговорить. Мы придем вдвоем. Только вдвоем. Передай ему, что мы доверяем себя его офицерской чести.

Хозяин вышел.

— Связной Жеготы. Личный. Он ему верит. Завиша был сержантом в его роте.

— Слушай, Казик, а не хлопнут они нас? — Тамбовцев прилег на старый диван.

— Могут... У тебя есть другие предложения?

— Нет.

— У меня тоже. Будем уповать на милость божью и офицерскую честь майора Жеготы.

Ах, какое было утро! Солнечное, росистое, чуть туманное. Добрая осень стояла над землей. Красивая, богатая и добрая.

Легко бежала бричка по полевой дороге. На душистом сене лежали Тамбовцев и МодзOLEвский. Конями правил мрачный Завиша. Бричка бежала по дороге, светило солнце, и Тамбовцев вдруг запел старое довоенное танго.

В этот вечер в танце карнавала
Я руки твоей коснулся вдруг,
И внезапно искра пробежала
В пальцах наших встретившихся рук...

— Я знаю эту песню, — засмеялся МодзOLEвский, — в нашем партизанском отряде были советские девчата-радистки, они ее пели.

И капитан подхватил:

Если хочешь, найди,
Если можешь, ириди...

Завиша удивленно с козел смотрел на них. Поют. Значит, нет у них ничего дурного на уме. Он не знал слов, но поймал мелодию и начал подпевать:

— Трам-пам-пам-пам-пам...

Бричка въехала в лес, и затихла песня. И стали лица напряженнее и старше.

— Тпру-у, — натянул вожжи Завиша.

Дом. Самый обыкновенный. Даже красивый. И дверь в нем распахнута гостеприимно. Офицеры спрыгнули с повозки, поправили обмундирование, пошли к дому. Завиша глядел им в спины, поигрывая «люггером». Пограничники поднялись на крыльцо. Прошли прихожую, оклеенную обоями в цветочек. Дверь была отворена. И они вошли в нее.

В пустой комнате у стола стоял человек в парадной польской форме. Воротник, шитый серебром, кресты на груди, конфедератка, надвинутая на бровь.

Увидев вошедших, он бросил два пальца к козырьку.

— Майор Жегота.

— Капитан Модзолевский.

— Капитан Тамбовцев.

— Вы, господа, положились на мою офицерскую честь и пришли. Спасибо. Я тоже полагаюсь на вашу честь. Слушаю вас.

— Господин майор, — Тамбовцев подошел к столу. — Мы знаем вас как настоящего солдата Польши. Мы не будем говорить о политике. Я принес вам фотографию человека, которого вы знаете как полковника Грома. Кто он, вы узнаете из справки, которую наше командование поручило передать вам. Мы только надеемся, что солдаты Польши и вы, майор, не будете служить под командой оберштурмбаннфюрера СС.

Тамбовцев положил на стол пакет.

— Как найти нас, вы знаете. Прощайте, майор Юрась.

Капитан кинул руку к козырьку и повернулся, словно на строевом плацу. Пограничники вышли.

Жегота раскрыл конверт, достал фотографию. Долго, очень долго смотрел на нее. Потом начал читать справку.

Война уходила на запад. А у заставы Кочина по-прежнему было тихо. Томился в ожидании капитан Тамбовцев. Каждый день полковник Губин отвечал Москве:

— Пока тихо.

Шлялся по пивным и базару Ярош.

Ждал капитан Модзолевский.

За окном светило неяркое солнце. Осень в Лондоне, как ни странно, выдалась сухой и безветренной. В кабинете было тепло, несмотря на строжайшую экономию, хозяин изредка растапливал камин. Бернс сидел у стола, огромного, темного, без единой бумажки на нем.

— У вас все готово, Уолтер? — спросил шеф.

— Да.

— Я говорил с человеком, он произвел на меня хорошее впечатление. Он умеет думать. А это главное. Легенда?

— Вполне надежная. На ту сторону придет демобилизованный по ранению офицер. Документы подлинные. Он придет в Минск, поступит работать на стройку техникум. У него есть диплом. И будет ждать.

— Вы уверены, что он пройдет границу?

— Да. Люди майора Жеготы нападут на заставу. В момент боя его и переправят.

— А если неудачно?

— Не должно быть, все учтено.

— А если все-таки провал? Не забывайте, мы числимся союзниками.

— У него есть запасная легенда. Что он местный житель, ушел с немцами, возвращается к жене.

— А жена-то есть?

— Конечно, шеф.

— Ну что ж, начинайте. И немедленно Колецки в Лондон. Для него сейчас найдется масса неотложных дел. Ему придется работать с бывшими коллегами. Эти люди очень пригодятся нам в будущем. Начинайте операцию.

Ночью Колецки разбудил радист.

— Вам радиграмма, пан полковник. Вашим шифром.

Колецки сел на топчан, взглянул на колонку цифр.

— Идите, сержант, спасибо.

Когда радист вышел, Колецки поднял Поля.

— Берите всех наших, кто остался, и едем в квадрат 6Н-86.

— Уже? — спросил Польш.

— Да.

— Слава богу.

— Разыщите мне этого контрабандиста,

— Яроша?

- Да. И как можно скорее.
 - Человека привезти сюда?
 - Ни в коем случае. Спрячьте его в городе у Карла.
 - Есть.
- Поль встал и начал одеваться.

Утром Колецки пришел к Жеготе. Майор брился, пристроив у окна маленькое зеркало.

— Пан майор, получен приказ. Послезавтра вы должны напасть на заставу у отметки 12-44.

— Чей приказ?

Жегота смотрел на полковника пристально и тяжело. И Колецки на секунду смутился.

— Это приказ из Лондона.

— Хорошо. — Майор специально не назвал Колецки по званию. — Хорошо, — повторил он, — я буду готовить людей.

Колецки вышел, а Жегота быстро добрился и вызвал адъютанта.

— Завишу ко мне, хорунжий.

— Слушаюсь, пан майор.

Ярош пил пиво. Ресторан был пустой. Занятые люди не заходили сюда с утра. Народ обычно собирался после обеда.

Распахнулась дверь, вошли трое. Они взяли пива и немудреной закуски, сели за столик в углу.

Ярош продолжал тянуть из своей кружки, глядя перед собой устало и тупо.

Один из вошедших подошел к его столу, наклонился.

— Добрый день, пан Ярош.

— Для кого как, — мрачно пробурчал Ярош.

— Дела плохие?

— А у кого они нынче хорошие?

— Не откажитесь подсесть к нашему столу, у нас есть для вас интересное дело.

— Интересное дело! — усмехнулся Ярош. — Какие нынче дела? Штука сукна — уже интересное дело.

Но тем не менее он взял свою кружку и пошел к столу. Сел на свободный стул и очутился между двумя здоровыми парнями, смотревшими на него настороженно и зло.

— Ну что за дело, панове? — Ярош без приглашения налил из их бутылки.

— Надо переправить человека на ту сторону, — сказал Колецки, твердо глядя в глаза Ярошу.

— Нет, — Ярош выпил рюмку, — товар — да, человека — нет.

— Мы хорошо заплатим.

— А что нынче стоят деньги?

— Ярош, — Колецки достал сигарету, — мы о вас знаем много. Вполне достаточно, чтобы Модзолевский передал вас русским. Но мы не будем этого делать. Мы убьем вас, Ярош.

Один из незнакомцев протянул руку, и в бок Яроша уперлось тонкое жало десантного ножа.

— А если меня возьмут русские?

— Они не возьмут вас. Риск минимален.

— Сколько?

— Десять тысяч злотых.

— Злотые нынче меняются на килограммы.

— Сколько ты хочешь?

Ярош покосился на нож, взял бутылку.

Сразу же второй сжал его локоть.

— Пусти, — Ярош вырвал руку. Выпил. Помолчали.

— Еще десять тысяч советских рублей.

— Пять, Ярош, пять, — усмехнулся Колецки.

— Давай.

Хозяин, отойдя в угол стойки, внимательно смотрел за столиком. Одной рукой он расставлял кружки, другой доставал из ящика наган.

Колецки вынул бумажку.

— Подпишите, пан Ярош, так будет спокойнее и вам. Вы же коммерсант, а подлинная коммерция требует порядка.

— Когда вести человека?

— Завтра.

— Давайте деньги.

Ярош считал их долго. Аккуратно складывая каждую бумажку. Колецки презрительно глядел на него. Он слишком хорошо знал таких людей, готовых за деньги на все.

Наконец Ярош выдохнул и сунул деньги в карман.

— Надо было поторговаться, — улыбнулся он.

— Подписывайте.

Ярош взял протянутую ручку, долго читал расписку. Потом поднялся.

— Ну вот и все. — Колецки спрятал расписку в карман.

— Где мы увидимся? — спросил Ярош.

— Нам так приятна ваша компания, что мы просто не расстанемся до завтра.

Ярош хотел что-то сказать. Но, посмотрев на мрачных спутников Колецки, встал и пошел к выходу.

Они уже подходили к дверям, когда хозяин крикнул:

— Пан Ярош! Ваше сало и бимбер.

— Я сейчас, — буркнул Ярош и пошел к стойке.

Трое у дверей провожали его настороженными глазами.

Хозяин достал из-под стойки мешок, протянул Ярошу.

— Передай, — тихо сказал Ярош, — переправляют завтра ночью.

Он взял мешок, кинул на стойку деньги и пошел к дверям.

Завиша стоял на площади у дома, у дверей которого был прибит герб новой Польши. Серебряный орел без короны на красно-белом фоне. Этот герб словно давил на него. Притягивал и пугал одновременно. Завиша стоял на площади у коновязи, смолил огромную самокрутку и все не решался сделать первого шага. А его сделать было нужно. Просто необходимо. И он шагнул, как в воду, и пошел через площадь.

У двери сидел капрал, положив ППШ на колени.

— Тебе чего, Завиша?

— Мне к пану капитану.

— Иди, он на втором этаже.

Завиша толкнул дверь, и она закрылась за его спиной, отгородив от площади, людей у базара, от его прошлого.

Тамбовцев бежал на второй этаж, перескакивая через ступени. Он без стука ворвался в кабинет Середина.

— Что? — спросил его Губин. — Что?

— Радиограмма от Модзолевского.

Губин взял текст, прочел.

— Машину, я лечу в Москву.

Начальник контрразведки, комиссар госбезопасности 2-го ранга, закончил читать документы и потер лицо ладонями.

— Ваше мнение, Павел Петрович?

— Я изложил его в рапорте, товарищ комиссар.

— Кровавую дорожку устелили они для своего агента. Кровавую. Значит, англичанам очень нужно, чтобы этот человек остался у нас на длительное оседание.

— Видимо, так, товарищ комиссар.

— Ну что ж, Павел Петрович, поможем им. Пусть оседает. Под нашим контролем. Пусть. Только Колецки должен быть арестован, он не просто агент разведки, он военный преступник. На его руках кровь советских и польских граждан. Когда вы летите?

— Прямо сейчас.

— Желаю удачи.

Губин встал и пошел к выходу.

— Кстати, Павел Петрович, — сказал ему вслед комиссар, — подготовьте наградные документы на всех участников операции и не забудьте польских товарищей. А Ковалеву скажите, что ему присвоено звание подполковника. Пусть выезжает в Москву. Хватит, погулял в контрабандистах. А то привыкнет к фамилии Ярош и свою забудет.

Ярош не видел лица человека, которого ему нужно было переправить, он видел только его спину.

Они шли к реке. Колецки, двое его людей, агент и он. Ночь была безветренной и светлой.

— Плохая погода для нашего дела, — сказал тихо Ярош.

— Ничего, я обещал, что пограничникам будет не до нас.

Они подошли к реке, и Ярош вывел из зарослей лодку.

— Садитесь, — сказал он агенту и забрался в лодку сам.

Внезапно правее вспыхнула красная ракета, потом еще одна. Ударил пулемет, ему, захлебываясь, вторили автоматы.

— Пошел, — Колецки оттолкнул лодку.

Секунда, и она растаяла в темноте.

— Все, — сказал Колецки, — наша игра сделана. Теперь надо спешить, за нами пришлют самолет.

Они втроем поднялись по тропинке и пошли, сопровождаемые звуками близкого боя. Миновали поле, вошли в березовую рощу. Колецки шел впереди, прислушиваясь к непрекращающейся пальбе.

Он услышал за спиной хриплый крик, обернулся, но чьи-то сильные руки сдавили ему локти, выкручивая их, и он застонал. Вспыхнул свет фонаря, и он увидел Жеготу и Модзолевского. Поль лежал на траве, двое поляков вязали ему руки ремнем.

— Obersturmbannführer Колецки, — сказал майор, — именем народной Польши вы арестованы.

Капитан Модзолевский поднял ракетницу. В черном небе лопнул зеленый огненный шар. И сразу же стрельба стихла.

Колецки понял все и закричал, забился, пытаясь разорвать сильное кольцо рук, державших его.

Лодка приткнулась к берегу.

— Теперь тихо, — прошептал Ярош, — идите за мной.

Они медленно начали подниматься по склону.

Тамбовцев видел, как две темные фигуры поднялись на склон и пошли вдоль опушки в сторону деревни.

— За мной, — прошептал он солдатам.

Старшина Гусев и трое пограничников неслышно двинулись за капитаном.

Ярош и агент вошли в деревню.

— Где живет Кучера? — спросил агент.

— В школе.

— Я пойду к ней, а ты иди в город, купи мне билет до Минска и жди на площади у вокзала.

— Деньги.

— Какие, тебе же заплатили?

— Только за переход.

— На, — агент протянул ему пачку, — здесь хватит на все.

Из окна вокзала Губин и Тамбовцев наблюдали за площадью. Поезд до Минска должен был отойти через двадцать минут. Ярош стоял у киоска и пил квас.

— Едут, — сказал Губин и облегченно вздохнул.
На площадь выехала бричка, правила ею Анна Ку-
чера.

Агент увидел Яроша и сказал тихо:

— Ликвидируйте его на обратном пути.

Анна молча кивнула.

Ярош подошел к бричке, протянул билет.

— Поезд отходит через пятнадцать минут. Ты под-
везешь меня, Анна?

— Конечно, дядя Ярош.

— Тогда я папирос куплю, ты подожди.

Агент шел по перрону. Остановился у шестого ваго-
на, протянул билет проводнику. Поднялся в вагон. За-
гудел паровоз, вагоны двинулись и медленно поползли
вдоль вокзала.

— Все, — сказал Губин, — поехал наш красавец.

Ярош подошел к бричке, легко запрыгнул на козлы.

— Слезай, Анна.

— Почему? — не понимая, спросила она.

Ярош крепко взял ее за руку.

— Тихо, ты арестована.

Анна на секунду отвела глаза и увидела Тамбовцева
и троих пограничников, идущих к бричке.

А война уходила дальше и дальше на запад. Закан-
чивалась осень. Но еще впереди была последняя воен-
ная зима, а потом уж весна Победы. Война откатыва-
лась, а на границу выходили наряды. В любую погоду.
В любое время.

АДМИРАЛЬСКИЙ КОРТИК

БАРКЕНТИНА «КЕЙФ»

Дача стояла на возвышенности, в центре большой поляны, и чем-то напоминала стремительный старинный корабль.

— На что она похожа, ребята?

— На дачу и похожа, — резонно ответил Генка. — На что же еще?

— Заметим, на классную дачу, — добавил Петр.

Ну что ж, мои впечатления могут объясняться тем, что я уже знал, как называли этот загородный особняк Валерий Золотов и его друзья.

Просторный участок оказался изрядно запущенным, хотя видно было, что он знал и лучшие времена. Асфальтовая лента соединяла ворота с гаражом, выложенные кирпичом дорожки вились между пропаханными грядками и мертвыми клумбами, огибали здание и обрывались у деревянной баньки, сложенной над маленьким, но на удивление чистым прудом.

За банькой стоял огромный ящик, доверху наполненный бутылками из-под портвейна. В гараже тоже обнаружили три набитых бутылками мешка. А в общем осмотр двора ничего не дал.

Я без труда нашел на связке нужный ключ и, сорвав печать, толкнул дверь. На первом этаже располагаются службы, кухня, кабинет и зал, а наверху — спальни и зимняя веранда. Но, переступив порог, мы вначале оказались в небольшом холле перед двустворчатой дверью с табличкой «Кают-компания».

В «кают-компании» стоял спертый плотный воздух, в котором смешивались запахи винного перегара, табачного дыма и перестоявшейся еды. Не знаю, как мои спутники, а я уловил в этой сложной смеси еще один компонент. Раньше, до того, как я стал работать на следствии, я думал, что выражение «запах смерти» не



более чем красочная метафора, но потом убедился в обратном. Смерть имеет даже два вида запахов: реально ощутимый обонянием и психологический, воспринимаемый сознанием, создающий особое отношение к месту, которое она посетила. И если первый может отсутствовать, то второй — ее неперемный спутник.

В «кают-компани» запах смерти исходил от грубо начерченного мелом на полу силуэта, повторяющего контуры распростертого человеческого тела.

Поскольку я читал протокол, то отчетливо представил позу, в которой лежал убитый. Собственно, первичный осмотр места происшествия проведен толково и грамотно, в принципе можно было им и ограничиться, но я привык детально изучать места преступлений.

Я разъяснил приглашенной с соседней дачи пожилой супружеской паре права и обязанности понятых, затем повернулся к практикантам.

— Мы готовы, — нетерпеливо сказал Генка.

— А раз так, приступаем. Только вначале откройте окна.

Легкий сквозняк быстро выдавил на улицу сизый воздух с его тяжелым духом, и дышать сразу стало легче. С запахами разделаться просто, нетрудно навести порядок в комнате, убрать тарелки с закишей пищей, стаканы с остатками спиртного и даже стереть мокрой тряпкой зловещий меловой силуэт.

Но самая тщательная уборка не поможет избавиться от того, что превратило уютную загородную дачу в место происшествия. Недаром на предложение поехать сюда вместе глава семейства ответил категорическим отказом.

«Кают-компания» представляла просторную светлую комнату. Три мягких кресла, журнальный столик, декоративный электрокамин-бар, магнитофон. Справа у окна — стол, сервированный на четыре персоны. Открытые консервы, вареная колбаса, сыр, кабачковая икра, ваза с яблоками и виноградом. Французский коньяк «Камю» — треть бутылки, пустая бутылка из-под шампанского, бутылка с незнакомой иностранной этикеткой. Пепельница с окурками.

На стене большая гравюра — фрегат с туго надутыми парусами, накрененный в лихом галсе, орудийные порты окутаны клубами дыма. На журнальном столике искусно выполненная модель парусника, над ним — старинный штурвал. Вот и еще атрибут морской роман-

тики, на ковре — ножны от кортика. Того самого, что сейчас лежит у меня в сейфе.

Мы начали делать рулеткой нужные замеры, как вдруг зазвонил телефон.

«Телефон на даче — редкость», — была первая мысль, но я уже прошел в кабинет и взял трубку.

— Все в порядке? — осведомился мужской голос.

— Да, — ответил я. Действительно, не спрашивать же, что он понимает под «порядком».

— О'кэй, — раздалась гудки.

Осмотр и составление протокола, планов и схем заняли часа два. Дело шло к концу, и я поднялся наверх, заглянул в две маленькие комнатки с кроватями и вышел на веранду. Отсюда открывался умиротворяющий вид на окрестный пейзаж, и, надо сказать, с приподнятой точки обзора он выглядел еще живописней. А через поляну по направлению к даче шел человек.

Я спустился вниз и вместе с практикантами вышел на крыльцо, чтобы встретить посетителя. Но прошла минута, другая, третья, а в калитку никто не входил.

— Ну-ка, ребята, посмотрите, куда он делся.

Вернувшись в дом, я сел в кресло и услышал тихий тупой скрежет, который то пропадал, то появлялся вновь. Жук-древоточец!

Я подошел к стене и посмотрел вблизи на ровную деревянную поверхность. И точно. Одна дырочка, другая, третья... А сколько ходов уже проделано там, внутри? Дача оказалась больной...

Вернулись Генка с Петром.

— Никого нет. Наверное, он куда-то в другое место шел.

Может быть, конечно, и в другое. Но тропинка ведет прямо к воротам.

Я сфотографировал все помещения, снял со стены ножны от кортика. Подчиняясь внезапно пришедшей мысли, отлил в пронумерованные флаконы образцы спиртного из экзотических бутылок. Кажется, все, можно дописывать протокол.

Хотелось есть, а предстоял еще обратный путь до станции, потом ожидание электрички, потом...

— А почему вы не ездите на машине? — Мысль Петра работала в том же направлении, что и у меня.

— Потому что на ней ездит прокурор, — дал я исчерпывающий ответ и приготовился к следующему во-

просу, но его не последовало. Чувствовалось, что ребята устали.

Из окна электрички я все время смотрел в левую сторону. Там, за деревьями, любили проводить время Валерий с друзьями, и, видно, отдых удавался на славу, недаром же они назвали дачу «Баркентина «Кейф».

В названии чувствовалась фантазия, изобретательность и даже некоторый изыск, а слово «кейф» произносилось правильно, без распространенной ошибки.

Грамотные, симпатичные, положительные молодые люди с развитым воображением... И тем не менее один из участников вчерашней вечеринки лежит сейчас на холодном каменном столе морга, а другая заперта в душевой камере.

Лес расступился, и я увидел знакомое здание на холме. Сейчас оно напоминало мне парусник, идущий ко дну.

СВИДЕТЕЛИ

Допрос, можно сказать, не получился. Марина Вершикова дала показания, подписала протокол, но контакта с ней установить не удалось. Она все время плакала и сквозь слезы рассказала, что да, ударила Петренко кортиком, за что — не помнит, так как была пьяна. Убивать не хотела, и как все получилось — сказать не может...

Сплошной туман. Как докладывать шефу?

Прокурор пребывал в благодушном расположении духа, это я понял сразу же, как только он ответил на приветствие.

— Можно направлять в суд. — Я положил перед ним законченное накануне дело.

— Так-так, — Павел Порфирьевич взглянул на обложку. — Иванцов и Петриков, грабеж, две кражи, угон автомобиля и вовлечение несовершеннолетних. Целый букет... А что, Иванцов так и не признался?

Меня всегда поражала феноменальная память шефа, который не только держал в голове перечень всех дел, находившихся в производстве следователей, но и помнил их суть, ориентировался в обстоятельствах преступлений, знал позиции обвиняемых и свидетелей.

— Не признался. Ну это дело его — не новичок. На этот раз влепят ему на всю катушку...

Белов дочитал обвинительное заключение, полистал

пухлый том и размашисто подписался под словом «утверждаю».

— А как обстоит дело с убийством на даче Золотовых?

— Вчера делал дополнительный осмотр, сегодня допрашивал подозреваемую...

— Ее фамилия Вершикова, если не ошибаюсь? — Шеф не ошибался и знал это, просто хотел продемонстрировать свою осведомленность и блеснуть памятью — маленькие слабости свойственны людям. — Ну и что она? Признается?

— Признается-то признается, да как-то странно. Дескать, убила, а как — не помню, по деталям ничего не дает.

— Это объяснимо — вечеринка, выпивка... В общем-то дело несложное. Надо в этом месяце и закончить.

Шеф внимательно разглядывал меня. Он был массивным, внушительного вида мужчиной с крупными, простоватыми чертами лица и имел привычку изучающе рассматривать собеседника. Один глаз он потерял на войне, протез был подобран умело, и долгое время я не мог определить, какой глаз у него живой, а какой — стеклянный, и оттого испытывал неловкость, когда он вот так, в упор, меня рассматривал.

— И еще вот что. У меня был Золотов-старший...

— Интересно, когда же он успел?

— ...Он просил как можно деликатней отнестись к ним. Они уважаемые люди, и так уже травмированы, а тут следствие, повестки, огласка, ну вы понимаете... Так что постарайтесь как-нибудь помягче. Может быть, вообще не будет необходимости их допрашивать...

— Такая необходимость уже есть! — Я не любил подобных разговоров.

— ...а если все-таки понадобится, то можно вызвать по телефону, одним словом, по деликатней. Мы же должны внимательно относиться к людям, с пониманием...

Это уже начинались нравоучения, до которых шеф большой охотник.

— ...проявить терпимость и такт. Так?

Он выжидающе посмотрел на меня, ожидая подтверждения.

— Так. — Действительно, что можно еще сказать в ответ? — Я могу идти?

Шеф был прав — дело из той категории, которые следователю нужно лишь должным образом задокументировать.

тировать и оформить, закончить его можно довольно быстро.

Я набросал план расследования и отпечатал необходимые документы: запросы на характеристики всех участников вечеринки, сведения о наличии у них судимостей и постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Обычные вопросы: причина и время наступления смерти, характер и локализация телесных повреждений, причинная связь их с наступившими последствиями, наличие алкоголя и ядов в крови.

— Можно? — Дверь кабинета приоткрылась.

— Входите.

Блондинка лет двадцати двух, короткая стрижка, аккуратно уложенные волосы, гладкая кожа, чуть-чуть косметики — личико красивое и какое-то кукольное.

— Присаживайтесь. Вы, как я понимаю, Марочникова?

Она кивнула.

— Паспорт с собой?

— Да. — Девушка положила документ на стол, и я начал переписывать установочные данные в протокол. Марочникова Ирина Васильевна, двадцать три года, образование 10 классов, работает на студии телевидения, ассистент режиссера, не замужем, ранее несудима...

— Допрашиваетесь в качестве свидетеля, должны говорить правду, за дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность. Распишитесь, что предупреждены об этом. — Я подвинул свидетельнице протокол.

— Я всегда говорю правду! — Она округлила глаза и, приподняв брови, с укором посмотрела на меня.

Я подождал, пока она распишется.

— Теперь расскажите, давно ли знаете Золотова, как часто ездили на его дачу, кто еще там бывал, как проводили время, а потом подробно про последнюю вечеринку.

Марочникова развела руками:

— Так много вопросов... Давайте я буду рассказывать все подряд, а если чего упусти — вы напомните?

— Ну что ж, давайте так. — Про себя я отметил, что она уверенно держится в кабинете следователя, пожалуй, слишком уверенно для своего возраста.

— Значит, так... С Валеркой мы познакомились года два назад, кажется, на какой-то вечеринке или на танцах, точно не помню. Ну, встречались, ходили в кино,

театры, кафе. Знакомых у него много, да и у меня тоже, часто собирались компаниями, ну, музыку послушать, шампанского выпить. Вначале в городе, у кого-нибудь дома, а потом стали ездить на дачу к Валере. У него дедушка был адмирал... — Ирина на мгновение умолкла и выжидающе посмотрела на меня, очевидно, ожидая реакции удивления. Но я молча ждал, и она продолжила:

— И у дедушки чудесная дача, знаете, такое уютное место — кругом лес, в общем, красота. Мы туда приезжали обычно на день-два, человек по шесть, и всегда было все нормально. Музыку слушали, у него записи классные, танцевали, вина хорошего выпьем, там запас марочного, импортного... В общем, отлично время проводили. Дача со всеми удобствами, даже финская баня есть...

— Почему финская? — не выдержал я.

— А какая же? Финская баня, так и Валера говорил...

— Ну хорошо, продолжайте.

— Всегда все нормально было, ни драк, ни скандалов, а тут вдруг такое дело... Не надо было в этот вечер ездить, ничего бы и не случилось...

— Подробнее, пожалуйста.

— Ну все как обычно — приехали вечером я, Машка Вершикова, Валера и Федор. Машку-то я уже давно знаю, а Федю в первый раз в жизни видела, это она его привела. Ну, сели, поужинали, магнитофон послушали, потанцевали... Все нормально... Я пошла наверх спать, а разбудила меня уже милиция... Оказывается, такое несчастье...

— Скажите, Марочникова, вы были сильно пьяны в тот вечер?

— Кто, я?! — Ирина посмотрела такими изумленными чистыми глазами, что мне должно было стать стыдно за допущенную бестактность. И может быть, стало бы, если бы я не читал справку дежурного следователя, в которой черным по белому написано: «Опросить Марочникову не представилось возможным ввиду того, что она находится в сильной степени опьянения».

— Кто, я?! — повторила она. — Да я вообще больше трех рюмок никогда не пью!

— Значит, это были вместительные рюмки. — Я показал свидетельнице справку, и она мгновенно перестроилась:

— В этот вечер и правда немного перебрала. Знаете, коньяк на шампанское...

— А остальные?

— Да как вам сказать... Валерка выпил прилично, Машка тоже свою норму выбрала. А Федя — тот сачковал.

— Не ссорились?

— Нет, что вы! Какие там ссоры! Все чинно-благородно.

— Чинно-благородно! Прямо тишь да гладь! Как же в такой благополучной компании могло произойти убийство?

— Понять не могу! Машка, конечно, деваха с закидонами, но такое... Может, баловались по пьянке, он и напоролся случайно?

— Вы ее хорошо знаете?

— А как же! Подружками были! Развлекались вместе, то да се... Она баба компанейская, веселая. Но с вывертами. Никогда не знаешь, что выкинет. Бывает, сядет ни с того ни с сего в угол — все танцуют, а у нее глаза на мокром месте. Что у человека внутри, разве ж узнаешь. Чужая душа — потемки...

— Какие у вас с Золотовым отношения?

— Ну ясно какие! Неужели непонятно?

Мне было понятно, но допрос тем и отличается от обычного разговора, что в протокол вносятся не догадки, умозаключения и намеки, а слова, прямо и недвусмысленно высказанные собеседником. Хотя бывает, что добиваться этих прямых слов неудобно. Но ничего не поделаешь.

— Признаться, непонятно. — Я выжидающе смотрел на Марочникову.

Она досадливо поморщилась и передернула плечами.

— Ну живу я с ним. Что такого — мне же не шестнадцать лет. Надеюсь, в протокол вы этого записывать не будете?

— Придется записать. Как и все, о чем говорим. Так что собой представляет Золотов?

— Нормальный парень, как все. Пофорсить, правда, любит, как же — адмиральский внук! А так ничего... Марочникова неторопливо прочитала протокол.

— Правильно записано?

— Правильно. Только вот стиль. — Она неодобрительно покачала головой.

— Сделайте скидку на то, что это все-таки не ро-

ман. — Я не нашелся, чтобы ответить более хлестко и сразу поставить ее на место, да и немудрено: впервые свидетель обращает внимание на стиль протокола.

— Да, это явно не роман. — Марочникова расписалась и внимательно посмотрела на меня. — А жаль. Ну ладно, до свидания.

Золотов Валерий Федорович, 29 лет, образование высшее техническое, работает в горкоммунхозе, инженер по озеленению, неженат, несудим... Среднего роста, выглядит старше своих лет, полный, лицо обрюзгшее. Что Марочникова в нем нашла?

Одет дорого, но безвкусно. Старается держаться солидно, но ему это не совсем удается — нервничает, а оттого делает много ненужных движений: поминутно вытирает лоб большим клетчатым платком, обмахивается им, смотрит на часы, достает и прячет обратно в пачку сигарету.

Мы беседуем почти час. Он очень внимательно выслушивает вопросы, понимающе кивает головой, с готовностью отвечает, но чрезмерно многословен, часто сбивается с мысли, отвлекается на мелочи, второстепенные детали и выжидающе смотрит на меня, ожидая знака или жеста, поощряющего его к дальнейшему повествованию.

Несколько раз он, как бы к слову, вспомнил своего дедушку-адмирала, между делом небрежно назвал по имени несколько известных в городе людей, дав понять, что он с ними на короткой ноге.

И то, что Золотов таким примитивным способом пытается произвести впечатление на собеседника, выдавало в нем человека недалекого. По существу дела он фактически ничего не сказал.

— Все шло нормально, послушали музыку — последние записи, выпили. У меня хороший бар — «Камю», «Бордо»... Ире стало нехорошо, не надо было коньяк с шампанским мешать, я отвел ее наверх, слышу — Маринка кричит. Сбегаю в «кают-компанию», — Золотов испуганно выпучил глаза, — она в истерике, а Федор — на полу. Вначале подумал, что это он спьяну, гляжу — в сердце кортик...

Золотов перевел дух и снова вытер вспотевший лоб.

— Это же надо... В моем доме... Ну скажите, мне

это надо? — Он искательно посмотрел на меня, ожидая сочувствия и одобрения.

Но сочувствия не последовало, и он, сокрушенно разведя руками, продолжил:

— Тогда я позвонил... Конечно, неприятно — милиция, понятые, одним словом, скандал, но что поделаешь...

— Почему вы сказали, что произошел несчастный случай и Петренко сам напоролся на кортик?

— Так я ж когда звонил, так и думал. А потом Маринка рассказала мне, что это она его...

— За что же?

— Да разве ее поймешь? Ревела все время, толком ничего не добился. Полез он к ней, что ли... А вам она разве не объясняла?

В этот момент мне не понравился его взгляд, настроенный и цепкий, не соответствующий растерянной позе и недоумевающему лицу.

— Что вы можете сказать о своих гостях? — Я сделал вид, что не обратил внимания на вопрос, и Золотов не переспросил.

— Люди как люди. — Он сделал неопределенный жест.

— Подробней, пожалуйста.

— Да я их знаю мало. Разве что Марочникову... — Я понял, что Ирина проинформировала своего друга, о чем мы с ней говорили. — Маринка ее подруга, но встречался я с ней раз пять, и все больше в компаниях. Перебросимся словами, потанцуем — и все... С Петренко тоже шапочное знакомство...

— Как же вы собрались под одной крышей — четыре малознакомых человека?

— Да так как-то... От скуки. И потом знаете, как бывает: я — с Ирой, она позвала подругу, а та привела своего парня... Так сказать, четверо в одной лодке... Мне не жалко, дача большая, места всем хватит, ду- мал, компанией веселей будет. — Золотов опять печально улыбнулся, приглашая к ответной понимающей улыбке. — А вышло вон как...

Прощался он важно, с достоинством.

Итак, факт убийства налицо, есть труп, и есть признание убийцы. Но обстоятельства и причины преступления по-прежнему непонятны. Неясно и многое другое в этой истории. Путей восполнить пробелы уже нет: все, кого можно допросить, допрошены. Впрочем, остался еще один свидетель...

Кортик был устаревшего образца и напоминал сужающийся к концам католический крест. Чешуйчатые ножны, резные перекрестья и набалдашник. В свое время он, сверкая бронзой, висел у бедра какого-нибудь флотского офицера и, болтаясь в такт ходьбе, придавал особый шик морской форме. Сейчас все металлические детали покрылись слоем патины, витая костяная ручка потускнела и подернулась сеткой мельчайших трещинок. Проволочный шнур, повторяющий извивы рукоятки, тоже потемнел, выцвела перевязь. И этот налет старины придавал кортику вид дорогой антикварной вещи.

Я нажал едва заметную в рельефных выпуклостях перекрестья кнопку замка и потянул рукоятку, освобождая блестящую сталь, лишь в нескольких местах тронувшую мелкими точками коррозии. Обоюдоострый ромбический клинок с обеих сторон покрывал тонкий узор травленого рисунка — парусники, якорь, перевитый канатом, затейливая вязь сложного орнамента. Кружево травления нанесено мастерски, так что даже продольные выемки — долы — не исказили изображения. Красивая отделка, изящная форма, продуманные пропорции клинка и рукоятки, искусная резьба... В таком сочетании стали, кости и бронзы эстетическая функция вытеснила утилитарную, эта привлекательная вещица воспринималась как настенное украшение, произведение искусства, а не оружие...

На клинке не осталось криминальных следов, благородная сталь отталкивает жидкость, и она скатывается каплями, но если присмотреться, в углублениях рисунка увидишь бурые разводы...

Странно, что на ножнах и рукоятке не обнаружены отпечатки пальцев: не протирала же их Вершикова после убийства! Очень странно.

ИСКУШЕНИЯ ДЛЯ ИЩУЩЕГО ИСТИНУ

Характеристики на всех участников трагической вечеринки были одинаковыми, хотя и написаны разными словами. Если бы их заложили в компьютер с заданием выдать портреты охарактеризованных лиц, мы бы получили фотографии близнецов среднего пола.

Такого же однообразия я ожидал и от справок о судимости, однако, к своему удивлению, обнаружил, что Валерий Золотов тринадцать лет назад привлекался к

уголовной ответственности за мошенничество, но, учитывая его несовершеннолетний возраст, дело прекратили, ограничившись мерами общественного воздействия.

Никакого юридического значения этот факт не имел, но как штрих, характеризующий личность Золотова, был довольно красноречив. Любопытными были и другие новости: экспертиза дала заключение, что бутылки в «кают-компании» «Баркентины «Кейф» вместо благородного «Камю» и марочного импортного вина содержали низкосортный коньячный напиток и дешевый портвейн. И заключительный аккорд — дедушка Золотова действительно служил во флоте и перед выходом в отставку имел звание капитана 1-го ранга, но адмиралом он никогда не был.

Вот вам и почтеннейший Валерий Федорович! Человек-блеф! Теперь понятно, почему Ирина Марочникова обычную черную баню величает финской...

Зачем ему нужно это нагромождение лжи? Ну, положим, звание «внука адмирала» могло давать ему в школе какие-то крохотные привилегии, например: «Из уважения к дедушке я тебе, Золотов, сегодня двойку не поставлю» — ведь проверять действительное звание дедушки никому бы не пришло в голову. Я до сих пор не могу сказать, что заставило меня сделать соответствующий запрос... Но школу-то он закончил давным-давно, а продолжает ходить во внуках. Да еще фальсификация спиртного, упоминание о знакомствах с «сильными мира сего»... Скорее всего этот камуфляж — следствие укоренившейся привычки прикрывать собственную незначительность близостью к авторитетным людям и организациям. Но может ли эта привычка иметь какую-нибудь связь с преступлением?

С человеком-блефом нужно держать ухо востро: все, что его окружает, может оказаться фикцией, надувательством, мистификацией. А что, если и та картина преступления, которая мне подсовывается, тоже блеф? Тогда все неясности и неувязки объясняются очень просто.

Следствие практически закончено, надо получить еще пару-тройку документов, и можно составлять обвинительное заключение. И если мои сомнения небезосновательны, то этим актом блефу будет придана юридическая сила.

Но кто может быть заинтересован в такой игре? Как могли развиваться события на самом деле?

Я вышел в коридор и толкнул дверь соседнего кабинета с табличкой «Лагин Ю. Л.».

— Добрый вечер, Юрий Львович. Как поживаете?

— Мы поживаем. А ты, я вижу, бездельничаешь?

Лагин — добрый и умный человек, с огромным житейским и профессиональным опытом, но за тридцать лет следственной работы накопил немалый запас сарказма. Впрочем, я уже привык к его манере разговора, и мне нравилось общаться с ним, личностью интересной и незаурядной. К тому же всегда можно было рассчитывать получить от него дельный совет.

— Бездельничаю, Юрий Львович. От вас ничего не скроешь.

— Ну тогда подожди пару минут, я допишу, и побездельничаем вместе.

Ему было пятьдесят пять. Высокий, плотный, с большой головой, Лагин держался всегда солидно и внушительностью вида мог поспорить с шефом, недаром посетители, встречая в коридоре, часто принимали его за прокурора.

— Ну-ну, так что, ты говоришь, у тебя стряслось? — Лагин закончил писать и откинулся на спинку стула.

— Стрястись ничего не стряслось...

— Отчего же тогда тебя гложут сомнения? И что ты хотел спросить у старика Лагина?

Нет, он не читал мысли. Но как всякий хороший следователь умел определять направление хода размышлений собеседника и его ближайшие намерения.

— Странная штука получается, Юрий Львович. По делу практически все сделано, а ясности никакой...

— Такое бывает. — Лагин неопределенно крякнул.

Я пересказал обстоятельства дела. Лагин, снисходительно улыбаясь, перебирал мелкие предметы в объемистом ящике своего огромного, обтянутого зеленым сукном стола, но по глазам было видно, что слушает он внимательно.

— И что же тебя смущает?

— Да как-то неопределенно все. Нет четкой картины происшедшего.

— А ты хотел получить незамутненную, химически чистую истину, так сказать, рафинированный вариант? Впадаешь в ошибку новичков и забываешь, что она многолика.

— Сейчас вы начнете про абсолютную и относительную, формальную и материальную, квази- и псевдоистину...

— Нет уж, учить тебя философии не собираюсь. Речь о другом. Как я понял, ты боишься, что найденная тобой истина слишком туманна? — Лагин слегка улыбнулся.

— Пожалуй.

— Истина приговора должна быть ЮРИДИЧЕСКОЙ истиной. Пусть она неполна по сравнению с самим преступлением, пусть упущены какие-то детали, пропали оттенки и психологические нюансы, но эта неполнота не должна касаться основного: кто совершил преступление и как надо квалифицировать его действия. Именно здесь проходит грань, отделяющая правосудный приговор от неправосудного! И в этих вопросах истина не многолика — она одна. Ее нельзя установить неполно, можно либо найти ее, либо нет. Любая неполнота превратит истину в заблуждение, а на нашем языке — в судебную ошибку!

Лагин опять посерьезнел.

— И тут следователя подстерегает опасность. Помнишь, где это сказано: «Ищущий истину да убоится искушений»? Искушение действительно велико: хотя концы с концами не вяжутся, но в мелочах, в деталях, а все остальное понятно, ну ничего, пусть суд разберется!

А есть противоположная крайность — раздувать червячок сомнений, бояться очевидного, метаться в поисках новых фактов, запутываться в доказательствах. И в поисках несуществующей терять реальную цель.

— Вы думаете, я беспричинно раздуваю сомнения?

— Не знаю. То, что твой Золотов враль, еще ни о чем не говорит. Ну хвастался дедом, ну поил дурех портвейном вместо заморского вина, что из этого? И неясность картины преступления может объясняться очень просто: все пьяны, где уж тут восстановить детали! А раз так — твои сомнения повисают в воздухе. Если бы был хоть один факт, один камень для опоры...

Лагин прав. И когда я вышел на улицу, сомнения почти перестали меня мучить. Стоял мягкий теплый вечер, недавно прошел дождь, и воздух был чистым и непривычно свежим, асфальт впитал воду и оттого казался гладким и жирным. Я прошел через аккуратный, с умытой зеленью сквер и собирался повернуть к дому, когда меня окликнули.

Сухощавый, юркий и отчаянный Коля Таганцев, с ним здоровенный Роман Полугаров и Костя Азаров из ОБХСС. Все трое радостно улыбаются.

— Ты как раз кстати. — Таганцев хлопнул меня по плечу. — Пойдем в «Интурист» поужинаем.

— Вам что, опять зарплату повысили?

— Еще нет, но повод есть — Ромка старшего лейтенанта получил.

Предложение было заманчивым, но кое-что меня смущало.

— Неудобно, в своем районе...

— А что тут неудобного? — прогудел Полугаров. — Что мы, не можем в нерабочее время за свои деньги в ресторан сходить?

Несмотря на ранний час, ресторан был почти полон. На низкой эстраде рассаживалась за инструменты четверка длинноволосых молодых.

Мы сосредоточенно поглощали пищу и слушали музыку. Певица низким, чуть хриловатым голосом повествовала о девушке, сообщающей матери, что она влюбилась в цыгана по имени Ян. Девушка была примерной дочерью и подробно информировала родительницу о вкусах и запросах своего избранника. Ян оказался разносторонней личностью: он любил золотые кольца, дорогие шубы и вина армянского разлива. Н-да... То-то мама обрадуется!

Из-за столиков поднимались пары и выходили на танцевальную площадку под сплошную россыпь хрустальных многоцветных светильников. На плечо легла чья-то рука, я скосил глаза и увидел тонкие пальцы с аккуратным маникюром — бордовый лак с золотыми блестками.

— Можно вас пригласить?

Ирина Марочникова была в коротком синем платье простого покроя, без украшений. На ногах красивые боножки — сильно изогнутая тонкая подошва на высокой «шпильке», пристегнутая к обнаженной маленькой ступне двумя тонкими ремешками, перекрещивающимися на подъеме и щиколотках.

— Меня? — Придумать вопрос глупее было трудно. Но, честно говоря, я растерялся.

— Вас, — Марочникова обворожительно улыбалась. — Можно? Вы, конечно, думаете сейчас, зачем я вас пригласила? — Марочникова заглянула мне в глаза. — Угадала?

— Нет, — ответил я чистую правду. То, о чем она спросила, я обдумал раньше, в те короткие секунды, когда поднимался со стула. Потом, когда мы шли меж-

ду столиками к эстраде и я поддерживал ее за руку, чуть выше локтя, я перепроверил свои выводы и окончательно убедился, что никаких определенных целей Марочникова преследовать не может, скорее всего ею просто руководит интерес экзальтированной девицы к человеку экзотической, на ее взгляд, профессии. Да еще, быть может, желание завести на всякий случай «нужное» знакомство. В этом последнем ей, бедняжке, предстоит пережить глубокое разочарование.

— Я думаю, с кем вы сюда пришли.

— С Валерием. Он любит «Интурист» и бывает здесь почти каждый день.

— И зарплаты инженера-озеленителя хватает?

— Что ему зарплата! Он же как-никак внук адмирала...

— Кстати, кто вам сказал эту чепуху?

— Какую чепуху? О чем вы?

— Что Золотов — внук адмирала?

— Господи! Да это всем известно! Почему вы говорите «чепуху»?

— Да потому, что дедушка уважаемого Валерия Федоровича никогда не был адмиралом!

— То есть как «не был»? Кем же он был?

— А вы поинтересуйтесь у своего приятеля.

Но Марочникова поверила удивительно быстро.

— Вот фанфарон! Вы знаете, ложь у него в крови. Он врет по любому поводу, по мелочам, когда это не дает ему никаких выгод. Но врать про дедушку... Ведь все, ну абсолютно все знают, что он внук адмирала... Зачем ему это?

— По-моему, вы только что сами ответили.

Музыка кончилась, и я повел Марочникову к ее столику, в малый зал, примыкающий к основному под прямым углом.

— Кого мы видим! Почет и уважение! — Золотов был изрядно навеселе и улыбался так, что можно было пересчитать все его зубы. — Ай да Куколка! Молодчина! Такого гостя нам привела!

Непонятно, объяснялась его аффектация алкоголем или укоренившимся представлением, что именно так бурно надо выражать свои чувства в подобных ситуациях.

— Познакомьтесь — Жора и Таня.

Напротив Золотова сидел крепкий парень с грушевидным, расширяющимся книзу лицом и обвислыми щеками и смазливая, неряшливого вида девица, которые

приторно разулыбались и угодливо закивали головами. Жора дернулся было, чтобы протянуть руку, но передумал и правильно сделал.

— Это уважаемые люди, — продолжал распинаться Золотов. — Жора — замдиректора магазина, а Таня — его помощник.

— А что, разве есть зависимость между занимаемой должностью и степенью уважения? — осведомился я.

— Самая прямая. — Он тоненько, визгливо засмеялся, дурашливо трясая головой. — Да вы и сами это прекрасно знаете. Потому и хотел бы я быть купцом. Купец первой гильдии Золотов! Звучит? Склады, лабазы, мануфактура. Баржи с зерном по рекам ходят. Заводишко небольшой, коптильня, винокурня. — Он мечтательно закатил глаза. — Отпустил бы бороду лопатой, пароходик бы завел, как водится, банька, бильярдная, цыгане... Ирку бы с собой возил. Только фамилию ей бы заменил, надо что-нибудь звучное — Ирэн Маркизова, танцы на столе! Ножки у Ирки классные, да и фигурка — все в порядке.

Золотов победоносно посмотрел на Жору и, чуть скривившись, перевел взгляд на Таню.

— ...Так что была бы вне конкуренции. Полный сбор обеспечен!

Он залпом выпил бокал и утерся тыльной стороной руки, а руку вытер о скатерть. Потом придвинул зернистую икру и, намазав толстый бутерброд, смачно откусил.

— Вы любите икру? — обратился он ко мне, бодро двигая челюстями. И, не дожидаясь ответа, продолжил: — А я терпеть ее не могу. — Он развел руками. — Но ем. И знаете почему?

— Нетрудно догадаться. Это же по-купечески — икру есть. И шикарно: она дорогая, значит, престижу способствует.

— Ну нет! — Золотов опять хохотнул. — Вы уж меня совсем примитивом считаете! Я вот жую и чувствую, как лопаются на языке, зубах маленькие шарики. Хрусть, хрусть, хрусть... Каждая икринка — осетр! Сколько я съел за вечер икринок? Тысячи полторы? Значит, полторы тысячи осетров! Громадных, тяжелых, в толстой ороговевшей чешуе, с пилообразными спинами и мощными хвостами! Говорят, осетр еще с мезозойской эры сохранился, пережил ящеров, динозавров, птеродактилей всяких... Царь-рыба!

А я за один присест целый косяк сожрал, семьдесят пять тонн осетрины! А если посчитать, сколько они икры наметали? Миллионы, миллиарды осетров! А я один! И где все эти миллиарды царей-рыб? Вот здесь! — Он похлопал себя по отвисяющему животу. — Вот когда ощущаешь себя венцом природы!

Он перевернул бутылку над бокалом вверх дном, выливая остатки. Шампанское наполнило бокал и побежало через край, заливая скатерть. Я смотрел на него и думал, что ошибся, считая его амебой. Нет, это совсем иной зверь... Одноклеточна в нем, пожалуй, только мораль.

Я высвободил руку и кивнул Марочниковой.

— Благодарю вас, мне пора.

Она слабо кивнула в ответ, не сводя с Золотова взгляда, в котором отчетливо читалась откровенная брезгливость. Очевидно, он даже через свою толстую шкуру почувствовал этот взгляд.

Когда я вернулся к своему столику, ребята допивали кофе.

— Ну ты даешь! — встретил меня Тагаицев. — Как же ты такую девушку приманил?

Мы расплатились и прошли к выходу, на улице попрощались, ребята повернули налево, а я — направо.

Аллеи сквера были пустынные, только кое-где в тени уютно устроились влюбленные парочки да впереди, на ярко освещенной площадке перед памятником, сидела одинокая девушка. Это оказалась Марочникова.

— Почему вы не идете домой?

— Да так как-то... Засиделась, задумалась... — В мертвенном свете ртутных ламп я рассмотрел, что карандашные контуры ее глаз чуть-чуть расплылись. Плакала?

— О чем же, если не секрет?

— О жизни. У каждого своя жизнь, и каждый сам ее устраивает. Так ведь считается? — В голосе чувствовалась горечь.

Точно, плакала.

— Считается-то так, но бывает и по-другому. И вообще, пустынный сквер в вечернее время не лучшее место для подобных размышлений.

— Сейчас пойду. — Она встала и, зябко поежившись, обхватила плечи руками. — Вы не можете меня проводить?

— Увы, нет. Танца вполне достаточно.

— Достаточно? Для чего?

— Для выговора.

— Но почему? — Марочникова снова опустилась на скамейку. — Что в этом плохого?

— Потому что внеслужебные контакты с лицами, проходящими по делу, являются грубым нарушением следственной этики.

— Вот оно как... А посидеть со мной вы можете?

Я замялся, но потом сел, стараясь держаться от нее как можно дальше.

Ситуация складывалась нелепая. Выйдя из ресторана в центре родного района, я сижу на скамейке с хорошенькой девушкой, с которой очень мило танцевал сорок минут назад и которая является свидетельницей по расследуемому делу. Готовый компрометирующий материал. Информация к размышлению о моральном облике следователя Корнилова.

Но, с другой стороны, сейчас она может сказать гораздо больше того, что сказала на допросе. Доказательством не зафиксированные в протоколе слова не станут, но ориентиром на пути к истине — вполне.

— Знаете, так бывает скверно на душе, а когда остаешься одна, то еще хуже... С вами я почему-то чувствую себя свободно, как с хорошим знакомым, и мне кажется, могу говорить о чем угодно...

— Да, я исповедник в силу профессии, — попытался я перевести разговор в шутку. — Только вот грехов не отпускаю.

— Жалко... Сейчас никто не отпускает грехов. Что же Маринке делать?

— Как говорится, искупать вину.

— Искупать... Как она там?

— Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Ладно?

— Скажите, я вам нравлюсь?

— Гм... Ну...

— Я неточно выразилась, — поправились она. — Я вообще могу кому-нибудь нравиться?

— Несомненно, и, наверное, очень многим... — Я все еще пребывал в растерянности.

— А для Золотова я только безделушка, которой можно хвастать перед другими. Ему самому безразлично, как выглядит женщина! Он так и говорит: «Мне все равно, пусть будет рожа овечья, ничего, прикроем!» Для него главное — тряпки, деньги... Если у какой-нибудь уродины двадцать платьев да все руки в кольцах, он ей будет пятки лизать и каждое слово ловить! А мне: «Знай

свое место!» Я для него не человек, а лошадь, даже стихи про это написал! Он ведь еще и поэт!

— Какие стихи?

— О, там очень тонкая издевка! Мол, кто он и кто я! Если найду, дам вам почитать.

Марочникова разволновалась не на шутку, она глубоко дышала, лицо покраснелось и приняло неожиданно злое выражение.

— А сам-то... Если бы вы знали, какое он ничтожество!

Она на секунду замолчала и устало махнула рукой.

— Ладно, не хочу сейчас об этом говорить...

— На допросе вы были настроены по-другому. И считали Золотова «нормальным парнем».

— Ну вы же меня спрашивали об убийстве... К этому он отношения не имеет. А мои впечатления и переживания к делу не пришьешь, вас же интересуют факты. И вообще, со следователем лучше не открывничать...

— Если вы так расцениваете Золотова, то почему же продолжаете с ним... — я запнулся, подбирая слово, — дружить?

— Куда от него денешься? Он как паук — оплетает со всех сторон... — Марочникова уткнулась лицом в спинку скамейки и заплакала. Плакала она тихо, но горько и безысходно...

Эти резкие смены настроения, быстрый переход от смеха к слезам и наоборот выдавали в ней натуру нервную, со слабым типом характера, вынужденную нести в себе какой-то тяжкий груз, который не с кем разделить.

— Ну, мне пора. — Я написал номер своего телефона, протянул листок Марочниковой и встал.

Марочникова подняла голову и смахнула слезы со щек. В глазах продолжала блестеть влага, и мне показалось, что она смотрит с некоторой укоризной. Очевидно, в ее представлении совсем не так должен вести себя мужчина в подобной ситуации.

— Знаете, как мне плохо одной... — Во взгляде теплилась надежда.

Я вспомнил разговор с Лагиным, когда он предостерегал меня от поджидающих следователя искушений.

— Я не гожусь на роль утешителя.

Искушение не овладело мною, так что даже не с чем было бороться. Слишком многое стояло между нами.

Начался мелкий дождик. В асфальте отражались удичные фонари и свет фар проезжающих автомобилей.

Было свежо, даже прохладно. И я не мог надыхаться чистым, без ароматов, дистиллированным воздухом умытого ночного города.

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

На следующий день с утра я занялся текущими делами. Напечатал обвинительное заключение по делу Криницына, подшил его, заполнил карточки статотчетности и пошел к прокурору.

Белов сидел, закопавшись в бумаги, и время от времени делал какие-то пометки большой синей ручкой.

— Дело Криницына, Павел Порфирьевич, — ответил я на его вопросительный взгляд.

— Хорошо. — Белов достал листок учета дел, находящихся в производстве следователей, и поставил птичку. — А что у вас с другими делами?

— Акименко и Годенко — почти окончено.

Белов сделал еще одну пометку.

— Дело Вершиковой, конечно, тоже окончите.

— Не уверен.

И в ответ на вопросительно выгнутую бровь я выложил прокурору все свои сомнения.

— Э, Дмитрий Арсентьевич, признаться, такого от вас не ожидал, — с укоризной проговорил он, когда я закончил.

— Чего «такого»? — не понял я.

— Такого мальчишества, даже, извините, дилетантства! «Кажется, наверное, не похоже...» Да разве это следственные категории? Вы же профессионал и должны оперировать только фактами. Фактами! Ваши внутренние сомнения к делу не приобщишь и в приговоре на них не сошлешься... — Белов говорил устало и даже несколько обиженно оттого, что ему приходится повторять банальные вещи, учить меня прописным истинам, азам следственного ремесла.

— Я это хорошо понимаю, Павел Порфирьевич, и все же...

— ...искусство следователя, я имею в виду хорошего следователя, — невозмутимо продолжал Белов, — в том и состоит, чтобы уметь интуитивные догадки превращать в доказательство. А все эти голые сомнения... — Он махнул рукой. — Groш им цена.

Белов замолчал, выжидательно разглядывая меня.

— По делу все сделано? — спросил он, не дождав-
шись реакции на свой монолог.

— Практически все. Осталось получить акт судебно-
медицинской экспертизы.

— Получайте и заканчивайте следствие. Ясно?

Все было ясно. Я вел себя как неопытный стажер,
еще не распрощавшийся со студенческой инфантиль-
ностью, и Белов недвусмысленно указал мне на это.
Обидно. И я злился на себя за то, что еще после разго-
вора с Лагиным не отделался от своих навязчивых со-
мнений. Все, баста! В акте экспертизы, конечно, ничего
неожиданного не будет, иначе мне бы уже позвонили.
Значит, приобщаю его к делу, составляю обвинитель-
ное — и в суд. Хватит плутать в трех соснах!

Действительно, заключение эксперта не содержало
неожиданностей. Смерть наступила около полуночи от
проникающего ранения сердца, других повреждений не
обнаружено. Легкая степень опьянения, ядов в крови
нет. Все ясно и понятно, с самого начала можно было
предположить, что заключение будет именно таким. На-
до заканчивать дело...

Ругая себя последними словами, я набрал номер
Бюро судмедэкспертизы и вызвал на допрос Кобульяна.

Это был полный крепкий мужчина с близко посажен-
ными глазами и мясистым носом. Лицо его постоянно
имело недовольное выражение — неудивительно при та-
кой профессии. Сейчас его недовольству была еще одна
причина.

— Не понимаю, что за моду взяли следователи — по
каждому делу допрашивать! — брюзжал он. — Вам раз-
ве что-то непонятно в акте? Или есть какие-то сомне-
ния? Нет, надо перестраховаться и еще допросить Ко-
бульяна! Ну что я скажу нового, кроме того, что на-
писал в заключении? Скажите, что?

Он обличающе наставил на меня указательный палец.

— Может, что-нибудь и скажете, Гаригин Ованесо-
вич. Сами понимаете, читать бумагу — одно, а разгова-
ривать с живым человеком — совсем другое, — миро-
любиво произнес я. Характер у Кобульяна тяжелый, и
излишне раздражать его не следовало. Впрочем, преду-
гадать заранее, что может вызвать его раздражение,
было невозможно.

— С живым человеком! — передразнил он меня. —
Если бы мы требовали для работы живых людей, то как
бы вы расследовали убийства?

Это был уже черный юмор.

— Распишитесь, что будете говорить правду, — холодно сказал я, переходя на официальный тон. — И расскажите о результатах исследования.

Кобульян тяжело вздохнул и, смирившись, начал рассказывать. Он почти слово в слово повторил все то, что написал в акте, и замолчал, ожидая вопросов.

— Скажите, вы ни на что не обратили внимания? Может, какая-то мелкая деталь, которой обычно не придают значения?

— Не было никаких деталей! — отрезал Кобульян. — То, что убийца — здоровенный лоб, вы и так знаете, преступление раскрыто, и он арестован.

— Подождите, подождите, Гаригин Ованесович, что значит «здоровенный лоб»?

— То и значит, что удар чудовищной силы, клинок прошел через грудную кость. Средний мужчина так не ударит...

— А женщина? — У меня даже дыхание перехватило: вот оно!

— Что «женщина»? — хмуро переспросил Кобульян.

— Женщина может так ударить?

— А у вас что, подозревается женщина? — оживился он.

Я промолчал.

— Определять, кто нанес удар, не в компетенции эксперта, это задача следствия, — нравоучительно произнес Кобульян. — Но могу высказать свое неофициальное мнение: за двадцать лет работы я повидал всякого, но чтобы женщина могла так сильно ударить — сомневаюсь.

Эксперт понял, что вызван не зря, и настроение у него заметно улучшилось.

— И еще одно, — Кобульян взял со стола линейку и зажал ее в кулаке. — Обычно нож держат от себя, в сторону большого пальца, или к себе — в сторону мизинца. Соответственно, раневой канал идет снизу вверх, — он взмахнул линейкой, — или сверху вниз, — он опять показал. — А в данном случае клинок вошел под прямым углом! Если потерпевший лежал, то это объяснимо, а иначе так сильно не ударить!

Кобульян замолчал, выжидающе глядя на меня.

— Нет, по показаниям обвиняемой он стоял... — Уточнение оказалось настолько неожиданным, что я несколько растерялся. — Как же это могло произойти!

— Чего не знаю, того не знаю, — развел руками эксперт. — Что мог — сказал, а разобраться во всех тонкостях — ваша задача.

Когда Кобульян ушел, я внимательно перечитал его показания. Это уже кое-что. Если раньше мои сомнения в выдвинутой Вершиковой версии убийства были чисто интуитивными, то теперь они обретали фундамент. Протокол допроса эксперта являлся первым камнем, теперь надо собирать остальные.

Я достал план расследования. Только где они, остальные? Все намеченные мероприятия выполнены, на первый взгляд искать больше нечего и негде... Но я знал, что существует еще один путь — проникновение внутрь событий, во внутренний мир участвовавших в них людей, в хитросплетения их чувств, помыслов, в лабиринт межличностных взаимоотношений, где можно отыскать скрытые мотивы тех или иных действий, их цели...

Одним словом, путь в души участников этого дела.

ПУТЬ В ПОТЕМКАХ. ВЕРШИКОВА

Она уже не плакала. Бледная, с отеками под глазами, с сухим опустошенным взглядом, равнодушная ко всему окружающему. Модное нарядное платье измято, волосы растрепаны.

— Закурить не найдется? — Голос хриплый, чужой.

Я полез в портфель. Тусклый свет слабой лампочки рассеивался в крохотном, без окон, кабинете. Стол прибит к полу, стул и табурет по обе стороны от него тоже прихвачены металлическими уголками. Под высоким потолком лениво вращались лопасти вентилятора, натужно гудел мотор в черном отверстии вытяжной системы. Они включались автоматически, одновременно с электрическим освещением.

Не помогало. Воздух оставался душным, накрепко пропитанным до кислоты застарелым запахом дыма тысяч папирос и сигарет. Их курили взвинченные, издерганные оперативники и усталые следователи, угощали людей, сидящих напротив, — без этого устоявшегося ритуала не обходится почти ни один допрос. Глубоко затягивались подозреваемые, облегчившие душу признанием, нервно глотали дым те, кто был «в отрицаловке». Хотя это и шаблонно, но маленький, начиненный табаком бумажный цилиндрок очень часто оказывал рас-

тормаживающее действие и способствовал установлению взаимопонимания.

Я не курил, но всегда носил для подследственных дешевые крепкие папиросы.

— Сколько мне дадут?

Обычно это спрашивают на первом же допросе. И отвечать приходится каждый раз одно и то же.

— Не знаю. Суд решит.

— Суд, суд! Вы же заодно все! Как следователь напишет, так суд и заштампует!

— Это вас соседки по камере научили?

— А хотя бы! Не все же такие дуры, как я!

— Ну-ну... Только не советуя у них учиться. Такая «наука» обычно боком выходит!

— А что же вы мне посоветуете? — Вершикова заметно успокоилась и подобралась. — Рассказывать чистую правду? Ладно, расскажу!

Она с силой выпустила тонкую струйку дыма.

— Полез он ко мне! Хватать за разные места начал, платье срывал... Я от него побежала, глядь — на стене кортик висит... Схватила, выставила — не подожди! А он налетел с разбегу...

Такое объяснение ставило все на свои места. Но... Во-первых, оно запоздало на два дня. В деле появились показания Кобульяна, и то, что раньше не вызывало бы никаких сомнений, теперь воспринималось несколько в другом свете. А во-вторых, мне не понравилось, как Вершикова говорила: слишком расчетливо. Не понравилась резкая смена занимаемой позиции и настроения. И самое главное — не понравилось, что названный ею мотив, такой удобный, обтекаемый и подходящий к ситуации, Золотов уже пытался исподволь подсунуть следствию...

— Почему же вы сразу об этом не рассказали?

— Не знаю, — глядя в сторону, ответила она. — Да и какая разница — когда?

— Действительно никакой. Вы в любой момент можете изменять показания и даже не несете ответственности за лжесвидетельство. Знаете почему?

Вершикова слушала внимательно.

— Потому что ложь — одна из форм защиты. А закон предоставляет подозреваемому право защищаться любыми способами.

— И зачем вы мне это сообщаете?

— Но лучше все-таки говорить правду, — я пропус-

тил ее реплику мимо ушей. — Это не нравоучения, не назидания и не моралистика. Все подследственные сами приходят к такому выводу рано или поздно. Лучше раньше.

— Сейчас я рассказала все как было!

Я молча смотрел на нее, и она не отводила взгляда, в котором отчетливо читался вызов.

— Ну, хорошо. Тогда объясните, пожалуйста, как вам удалось нанести такой удар? — Я положил на стол протокол допроса судмедэксперта.

Читала Вершикова долго, и на лице ее отражалась растерянность.

— Ну, что скажете?

— Не знаю, не помню... Налетел с разбегу... А как все получилось, не могу сказать...

— Придется проверять! Что такое следственный эксперимент, знаете?

— Проверяйте, — упавшим голосом сказала она.

Вершиковой было двадцать два года. Уроженка сельской местности, после окончания школы приехала в областной центр с мечтой поступить в училище искусств. Попытка окончилась неудачей, но домой она не вернулась — сняла угол на окраине и устроилась в парикмахерскую кассиром. Пять лет спустя в ней уже нельзя было узнать прежнюю скромную деревенскую девочку.

Работала маникюрщицей, имела «своих» клиентов, обзавелась обширными связями среди «нужных» и «деловых» людей. Жила на широкую ногу, переехала в изолированную квартиру в центре. Обилие и разнообразие нарядов в ее гардеробе явно не соответствовало скромной зарплате.

— Скажите, Вершикова, за что вас привлекали к уголовной ответственности год назад?

— Никто меня не привлекал, — с оттенком оскорбленности ответила она. — Подозревали в спекуляции, потом разобрались, что ошиблись.

— Давно ли вы знаете Золотова?

— Не очень. Месяц-два.

В голосе чувствовалось напряжение.

— А у меня складывается впечатление, что вы знакомы гораздо дольше. Около двух лет.

— Почему это? Нет, вовсе нет! — Она говорила чуть быстрее, чем требовала ситуация.

— И что вы можете сказать о нем?

— Да что вы ко мне пристали! Ничего я вам больше не скажу! Слышите, ничего!

- Отчего же? Вопрос вам неприятен?
— Отстаньте наконец! Хватит! Я устала! — Закрыв лицо руками, Вершикова разрыдалась.
Продолжать допрос не имело смысла.

ПЕТРЕНКО

Дверь была заперта.

— Только ключа у меня нет, — развела руками хозяйка. — Если убрать надо было, я просила, чтобы он свой оставил.

— Этот? — Я показал ключ.

— Да, этот... — Клавдия Дмитриевна как-то с опаской протянула руку и так же нерешительно отперла замок.

Маленькая комнатка, стены оклеены желтыми обоями, старинный розовый абажур с бахромой, круглый стол, накрытый плюшевой скатертью. Учебники...

— Собирался поступать? — Я полистал «Физику» и «Математику» для десятого класса.

— Да, в мореходное. На штурмана.

Старый платяной шкаф со скрипучей дверцей. Пиджак, брюки, рубашка и плащ. В карманах ничего интересного.

Под кроватью — шикарный импортный чемодан с хромированными замками. Огромный, солидный, матово блестящий натуральной кожей. На дне чемодана — свитер, джинсы, несколько открыток со стереоэффектом, россыпь шариковых ручек, значки... Больше, кажется, ничего. Хотя вот, в углу... Странно! Полотняный, явно самодельный мешочек колбаской, с тесемочками...

— Как вы думаете, что это?

Практиканты пожали плечами.

— А это товарищ Федора принес, — вмешалась хозяйка. — Я тоже подивилась, когда увидела.

— Какой товарищ?

— Да этот, представительный, из горисполкома. Валерий! Вот отчества не помню.

— Почему «из горисполкома»?

— Как почему? Он же сам и говорил...

— А почему вы думаете, что это он принес?

— Да я как раз заглянула спросить что-то, вижу, он разворачивает сверток и вытаскивает... Я еще посмеялась — мужчины, а с тряпками возятся. А он говорит: «Что делать, иногда без этого не обойтись».

— И часто он приходил к Петренко?
— Частенько. И девушку с собой приводил. Марину...

— Марину или Иру?

— Марину. Черненькая такая. Феде она, как видно, нравилась...

— А не знаете, что за дела были у Петренко с этим Валерием?

— Да они же старые знакомые, еще со школьных лет. А сейчас встретились — Федя простой моряк, а Валерий какой-то начальник... А дела у них обоюдные. Федя перед экзаменами волновался: желающих много, конкурс большой... Валерий помочь обещался, говорил, на заочном отделении у него есть свои люди. Но ему тоже от Федора чего-то надо было — все его уговаривал, коньяком угощал, золотые горы сулил.

— А о чем шла речь?

— Вот этого не скажу. Я же только отрывки разговора слышала.

— И какое впечатление производил на вас Валерий?

— О, видать человек влиятельный, со связями. Такой если захочет — все сможет.

Ай да Золотов! Услышь он эту восторженность в тоне Клавдии Дмитриевны, был бы на седьмом небе от счастья. Меня так и подмывало разочаровать ее, но я сдержался.

Последние восемь лет из своих двадцати девяти Федор Петренко плавал. В начале в каботаже, потом стал ходить за границу. Сейчас его сухогруз заканчивал профилактический ремонт, значит, была возможность допросить членов команды.

После бесед с замполитом и старпомом я вызвал тех матросов, которые близко знали убитого.

Начальство недолюбливало Петренко: его называли анархистом и демагогом, это означало, что держался он независимо, чинов и рангов не признавал, позволял дерзкие шуточки, любил «резать правду-матку». Товарищи по команде отзывались о нем, в общем, хорошо: «душа нараспашку», смелый, рискованный, немного склонен к авантюрам. Слов на ветер не бросает, уживчив — для дальних рейсов это немаловажно.

Больше всех рассказал о Федоре его сосед по каюте Василий Егоров — здоровенный парень с красным, задубелым от ветра лицом.

— Влюбился Федька крепко. И было бы в кого, а то

девчонка, пигалица, ни тут, ни там... — Он показал руками. — Вначале вроде все у них складывалось, а потом вдруг раз — она ему отлуп! В рейс ушел сам не свой, ходит мрачнее тучи, не разговаривает.

Егор вздохнул.

— Потом у него вдруг идея появилась — учиться пойти! Ни с того ни с сего... Его вообще понять трудно. Парень неплохой, но со странностями. Раз зашел в каюту, а он панель отвинчивает. Снял, посмотрел и на место поставил. Я говорю: «Ты чего?» А он отвечает: «Смотрю, нет ли здесь тараканов».

Свидетель округлил глаза и сделал паузу, чтобы я тоже почувствовал всю нелепость такого поведения.

— А вы что?

— А я говорю: «Ты лучше пойдешь в трюм, крыс погоняй, если больше заняться нечем. А тараканы у нас пока еще не завелись». В общем, чудаковатый был парень.

МАРОЧНИКОВА

Крикливая, бурлящая толпа,
Копыта, высекающие гром.
Таким был этот жаркий день, когда
Я взял тебя с собой на ипподром.
Споткнулся конь или ошибся всадник,
Победа будет равно далека,
Но одному выигрыш — это праздник,
Другому — только горсточка овса.
Обидно за неравенство партнеров,
Вдвойне обиднее, когда глядишь
На лошадей красивых и здоровых
И всадников невзрачных и худых.
И у тебя мелькнет сама собой
Мыслишка, затаенная слегка:
Когда была бы я вон той гнедой,
Не выбрала б такого ездока!
Но скажет вам, не подбирая слов,
И самый заваливающий жокей:
Не лошадь выбирает ездоков,
А всадник выбирает лошадей!

— Ну как? — спросила она. — Написано специально для меня!

Я промолчал, обдумывая прочитанное. Очень интересный штрих к характеристике Золотова. Оказывается, у него своя философия... Толпа, лошади, женщины — там, внизу... И он — на трибуне, бесстрастный наблюдатель. Да, пожалуй, не просто наблюдатель. Он пре-

тендовал на роль вершителя судеб, такого сверхсущества. Очень интересно... Кто бы мог подумать!

Выявить это обычными средствами не удавалось: подобные вещи не находят отражения в характеристиках... И опять-таки, если судить по стихам, то Золотову в гораздо большей степени свойственно поведение, которое он и Вершикова пытаются приписать Петренко. Но почему Вершикова? Впрочем, если моя догадка правильна...

— Скажите, какие отношения у Золотова и Вершиковой?

Марочникова помедлила с ответом.

— Ладно. Плевать я на него хотела!

Она сосредоточилась.

— Машка у него была до меня. Уже несколько лет. Он хвастался, что в люди ее вывел...

— Каким же образом?

— В маникюрши устроил, квартиру хорошую снял — у него знакомые где-то в жилуправлении. Приучил делшки разные обдeldывать... И мне предлагал: «Займись делом — всегда при деньгах будешь!» Но я на Машкином опыте ученная — она из-за этого чуть в тюрьму не села. И держал он ее «на крючке» — чуть что — сразу: «Смотри, со мной тебе лучше не ссориться!» Боялась она его. И зависела. Пугал: «Из квартиры выселю, пойдешь опять углы снимать...»

Я вспомнил, что Марочникова тоже живет в комфортабельной квартире, снятой по договору...

— Когда такое на даче получилось, он мне перед допросом сказал, как говорить и что... Скрывал почему-то, что с Машкой знаком давно... И что с Федей отношения поддерживал... Вообще, говорил, меньше языком болтай, а то у всех неприятности будут, а у тебя — в первую очередь...

— Зачем ему эта ложь?

— Не знаю. Он же все время врет. Феде голову морочил, обещал в училище устроить. Да и многих дурил: «Приходите ко мне в горисполком, ждите в вестибюле, я спущусь...» А сам за полчаса до встречи зайдет туда — и в туалет. К назначенному времени спускается важно по лестнице. Цену себе набивал, чтобы за важную персону принимали. И многие верили...

— А что он от Федора хотел?

— Не знаю. Раньше Федор пару раз привозил ему вещички кое-какие, больше по мелочи — белье, косме-

тику. Потом не захотел. Так Золото Машу научил, чтобы она Феде голову закрутила, влюбила в себя, чтобы он ее слушаться стал...

— Золотов сильный физически?

— Толстый. Жиром заплыл. Какая в жире сила...

— Как ведет себя Золотов после происшедшего? Что говорит о следствии?

— После того вечера в ресторане я его не видела. А вообще напуган: на даче, говорил, засада, за всеми нами следят...

— Почему он так решил?

— Да приятель его, Жора, позвонил туда — ему ответили, показалось, Валерка, а подошел — знака нет... Еле ноги унес.

— Какого знака?

— Условный сигнал: на ручку калитки подкову наделал. Значит, все в порядке, ждет в гости. А если подковы нет — и идти нечего: или родители там, или еще что... Подкова эта обычно с обратной стороны на заборе висела.

— Скажите, Ира, с кем дружил Золотов?

— Да есть некоторые... — Она презрительно сморщилась. — Работают, на собраниях выступают, правильные речи произносят... А сами спекулируют, пьянствуют, развратничают... Как оборотни... Только разве это дружба? При случае один другого с потрохами продаст!

Марочникова назвала несколько фамилий, я записал. Сейчас она держалась совсем иначе, чем на предыдущем допросе, кажется, начала выходить из-под влияния Золотова.

Когда свидетельница ушла, я взял чистый лист бумаги и выписал добытые факты.

Итак, мнение судебно-медицинского эксперта о силе удара противоречит нарисованной Вершиковой версии убийства.

Вершикова полностью зависит от Золотова и подчиняется всему, что он скажет. Похоже, что картина преступления тоже придумана Золотовым.

От Золотова зависит в какой-то степени и Марочникова, что-то удерживает ее от того, чтобы рассказать все известное по делу.

Федор Петренко тоже был тесно связан с Золотовым какими-то взаимными интересами.

Золотов, Золотов, Золотов...

Да, для того чтобы разобраться во всех неувяз-

ках и противоречиях, необходимо было проникнуть во внутренний мир Валерия Золотова, через увеличительное стекло заглянуть ему в душу.

Я знал, что ничего хорошего там не увижу, предстояла грязная, неприятная работа, и если бы можно было ее избежать, я бы с удовольствием это сделал. Но иного пути не было.

ЗОЛОТОВ

— Штука в том, что понимать под словом «любовь», — он картинно взмахнул рукой. — Если определить содержание термина, все сразу станет на свои места и никаких вопросов не возникнет.

— Это уже пытались сделать и классики художественной литературы и отпетые циники. Вы же не надеетесь дать какое-то качественно новое объяснение?

— Представьте, надеюсь. И очень простое. Вы, конечно, считаете меня циником и ожидаете услышать нечто непотребное. Напрасно. Я не собираюсь затрагивать физиологическую сторону, нет, будем рассуждать с позиций обычной человеческой психологии.

Золотов сел посвободнее и даже положил руку на край стола.

— Есть люди замкнутые, есть общительные, одни быстро сходятся с окружающими, другие — нет. Стеснительные мужчины неуверены в себе, оттого держатся скованно, боятся даже спросить что-нибудь у незнакомки, не то что заговорить или в кино позвать. Им нравятся красивые, стройные, веселые и независимые женщины, но они их панически боятся и не рассматривают как реальную для себя пару.

Но вот попадетсЯ такому какая-то замухрышка — случайно, то ли работали вместе или ехали куда-то в одном купе... Познакомились, гулять стали. Это уже синица в руках, реальная ситуация! И вот наш скромник жизни без нее не представляет! В любви объяснился, замуж зовет! Пошла — верный муж. Не пошла — драма, неудачная любовь. Может даже утопиться!

Золотов чуть заметно улыбнулся.

— Вижу ваше разочарование. Действительно, до сих пор я не сказал ничего нового и открытия не совершил. Но не торопитесь с выводами. Давайте препарировать дальше тончайшую, трепетную материю чувств. Итак, с

робкими все ясно, но парадоксальный факт — то же самое, хотя и в несколько другой форме, мы наблюдаем и у вполне нормальных, развитых, смелых людей!

Он склонил голову набок, чтобы лучше воспринимать производимый эффект.

— Да, да, да! Смотрите: он и она. Познакомились. Первый поцелуй. Признание в любви. Близкие отношения. Все хорошо, все нормально. Но вдруг разрыв — и для нашего героя он оборачивается трагедией! Помилуйте, почему? Ты же мужественный парень, с сильным характером! А вокруг столько девушек — брюнеток, блондинок, худых и полных. Среди них так легко найти замену отвергнувшей подруге. Они не хуже ее, многие даже лучше!

А он отвечает: «Я ее люблю, других мне не надо!» Что же такое любовь? Возьмем грубый скальпель исследователя еще глубже, в святая святых...

И что окажется? Влюбленный находится в плену иллюзий! Коль он объяснил своей избраннице, стал близок ей, так сказать, раскрылся, то этим связал себя по рукам и ногам! И теперь его помыслы только о той, с которой достигнуто единство душ!

Искать замену для него оказывается труднее: надо начинать все сначала, заново устанавливать контакт, вновь открывать душу! Человек натывается на психологический барьер и, сам того не подозревая, приобретает комплекс, низводящий его до уровня того самого стыдливого неудачника!

Как вам нравится такой подход к проблеме?

В голосе чувствовалась скрытая гордость.

— По-вашему, любовь сродни комплексу неполноценности?

— Безусловно. Человек без предрассудков никогда не застрелится из-за несчастной любви! Да у него и не может такого быть, у него всегда любовь удачная — не с той, так с этой!

— Вот вы и свели все к физиологии.

— Вовсе нет! — Он сделал паузу. — Но вернемся к нашим баранам. Простите за неудачный каламбур. Федор привязался к Зойке, и в этом была его беда. Когда она дала ему отставку, надо было найти другую — и дело с концом! Но ему проще идти протоптанной дорожкой... Переживал, конечно, здорово... Я когда на это посмотрел, сразу понял: девка, в которую он влюбится, сможет из него веревки вить...

— Поэтому вы и познакомили его с Вершиковой, на которую имели влияние?

Золотов поперхнулся и остро глянул на меня.

— Что вы хотите этим сказать? Во-первых, ни с кем я его не знакомил, во-вторых, с Вершиковой у меня нет никаких отношений... С чего вы взяли про влияние?

— Мне известно, что у вас были какие-то дела с Петренко. Расскажите о них подробнее.

— Дела? — Вначале он удивился. — Ах, да... Ну, «дела» — это слишком громко сказано... Федор собирался в мореходку поступать. А я ему обещал помочь немножко — программу достать, учебники, про конкурс там узнать или проходной балл... Успокаивал его, одним словом...

— А что хотели получить взамен?

Вопросы у меня сами собой получались короткие, напористые и злые. Обычно я не прибегаю к такой манере допроса. Видно, рассуждения Золотова, хотя и небезынтересные с точки зрения характеристики его личности, но довольно противные, вывели меня из обычного равновесия.

Он опять удивился.

— О чем вы просили Петренко? Даже уговаривали его?

— Ну, знаете, — Золотов изобразил полнейшее недоумение. — Своими догадками вы ставите меня в тупик...

Недоумение выглядело убедительно. Артист! Видно, сказываются долгие годы репетиций. Начал он тринадцать лет назад: позвонил в соседнюю школу, представился инструктором райкома комсомола и объявил, что надо собрать с учеников по тридцать копеек на защиту зеленых насаждений. Ему поверили, и деньги были собраны даже раньше намеченного срока. Это обстоятельство и погубило тщательно продуманную операцию: из школы позвонили в райком, и обман раскрылся. Когда в условленный день Золотов пришел за добычей, его ожидала милиция.

Наверное, мои мысли как-то отразились на лице, потому что Золотов вдруг умолк и тут же широко и дружелюбно улыбнулся.

— Впрочем, что это я? Задача следователя и состоит в том, чтобы выдвигать догадки. У вас они называются версиями, правда?

— Догадка отличается от версии так же, как содержимое вашего бара от этикеток на бутылках.

Открытая улыбка исчезла в мгновение ока.

— А задача следователя — доказывать определенные явления, события, факты. Выдвижение версий — только способ достижения этой цели. Хотя, признаться, я не способен придумать ни одной версии, объясняющей все ваши фокусы.

Есть люди, которых невозможно смутить самыми очевидными, убийственными фактами, так же как невозможно уложить на лопатки куклу-неваляшку. Золотов относился к их числу. Минутная растерянность прошла, и он вновь улыбнулся как ни в чем не бывало...

— Что делать — грешен! Но это не моя вина. Я сам — жертва экономических и психологических противоречий. Судите сами: люблю, чтоб все было красиво. Сигареты — фирменные, спиртное — из известных подвалов... Словом, определенный уровень... Но сталкиваешься с суровой действительностью: всего этого так просто не купишь, а на толчке — дорого! Получаются своего рода «ножницы»...

Он растопырил средний и указательный пальцы...

— Говоря по-простому, возможности не соответствуют желаниям. А если придерживаться психологической терминологии, у меня повышенный уровень притязаний. Что же делать?

Золотов наставил на меня указательный палец, можно было бы сказать, «как пистолет», но толстый, с обгрызенным ногтем, он больше напоминал сардельку.

— Приходится прибегать к компенсации. В красивую заграничную бутылку наливаю дешевого, имеющегося в изобилии вина... И волки сыты, и овцы целы. Конечно, испытываешь некоторое недовольство собой, этакий дискомфорт. Но что делать... Как-то успокаиваешь сам себя: дескать, «это последний раз» или там «ничего, наступят лучшие времена».

— А вы не думали, что «компенсация» подобного рода перейдет в привычку? И с каждым разом неприятных ощущений будет все меньше и меньше, а когда появится возможность купить настоящий «Камю», вы предпочтете налить в испытанную бутылку все тот же коньячный напиток?

Я ожидал увидеть прежнюю бесшабашную улыбку, но реакция Золотова неожиданно была другой.

— Представьте, думал. — Он стал печальным и, по моему, на этот раз не притворялся. — Такие игры засасывают, как омут. И есть риск превратиться в дешево-

го фраера, скаредного, ничтожного и жалкого. Я знаю много подобных людишек... Но мне такое не грозит.

— Так думает каждый. Упомянутые дешевые людишки тоже были уверены — уж кого-кого, а их в омут не затянет.

— Я понимаю. Человеку свойственно примерять на себя только успех, славу, ордена, почет и уважение... Болезни, слабости и неудачи всегда проецируются на других... И все же! — Он опять взбодрился. — Я рассчитываю на выигрыш. И эти проделки с портвейном — для меня дело временное. Настанет момент, и я смогу угощать своих гостей самым лучшим, качественным и дорогим. Только что это изменит? Для них — ничего, они и сейчас с удовольствием жрут «чернила», да еще нахваливают... Свинье все одно — желуди или кетовая икра — лишь бы брюхо набить. Для меня — да! Другая самооценка, другое ощущение жизни...

— Вы считаете себя на голову выше окружающих?

— К сожалению... Не знаю, как вас, а меня окружают далеко не лучшие представители человеческого рода. Можно сказать — отбросы!

Я несказанно удивился.

— Но вы же их сами выбираете!

— Да мне и удобнее со всякой швалью — не надо церемониться, можно вести себя как захочется, к тому же они послушны... Правда, иногда бывает противно...

— И что же тогда?

— А ничего. Противно, но привычно. Дашь по морде кому-нибудь для разрядки — и все. А тот еще боится, как бы я зла не затаил. У них же ни ума, ни фантазии, поэтому со мной и интересно. Можно закурить?

Золотов совсем освоился в кабинете следователя и даже предложил мне сигарету. После первой затяжки он с силой выпустил тонкую струю дыма и тут же разогнал его рукой.

— Честно говоря, надоело мне все. У человека очень узкий диапазон удовольствий. Еда, выпивка, женщины... Все уже было, все приелось... Есть фармазоны, шеголяющие присказкой «воровать — так миллионы, спать — так с королевами!». А сами сшибают копейки и мятые рубли, таскаются с грязными шлюхами... Да и где их взять, королев? Утонченность, внутренняя культура — этого не купишь, как платье, дубленку или туфли.

— Скажите, Золотов, о каком выигрыше вы говори-

ли? После чего жизнь другая настанет и портвейн в прошлое уйдет?

Он опять остро взглянул мне в глаза.

— Да это же абстракция! Аллегория! Может, на скачках выиграю...

Золотов снова стал самим собой — веселым и добродушным рубахой-парнем.

Но, подписав протокол, он, немного помедлив и стараясь, чтобы это получилось естественно, спросил:

— Когда можно на дачу спокойно пойти?

— А почему вы спрашиваете? Дача ваша, когда хотите, тогда и идите.

— Но сейчас ведь она под наблюдением?

— Почему вы так решили? В наблюдении нет никакой необходимости.

Это была чистая правда, но я сказал ее таким тоном, что можно было не поверить. Судя по настроению взгляду Золотова, он и не поверил.

Я озабоченно заглянул в календарь и как бы машинально проговорил:

— С понедельника можете смело туда направляться.

И хотя, как я уже сказал ранее, он мог отправляться туда в любой день, теперь Золотов понимающе кивнул головой и спешно попрощался.

— Ну и тип! — Ребята присутствовали при допросе, и Петр поспешил дать волю накопившимся чувствам. — Хамелеон!

— А зачем вообще нужно такое тщательное изучение Золотова? Разве все это имеет отношение к делу?

— Может, и не имеет. Но поскольку существует возможность найти какой-нибудь штрих, дополняющий картину происшедшего... В общем, следователь должен использовать все шансы.

Сказав это, я положил еще один аргумент и на чашу весов в том подсознательном споре, который вел сам с собой после ухода Золотова, и придвинул телефон.

Добродушный тон начальника райотдела резко изменился, едва он услышал, чего я хочу.

— Зачем там нужна засада? Кого ловить? Что, нам больше делать нечего? Вон нераскрытых квартирных краж сколько, по ним работать и работать! Да у меня и людей нет! Петров болеет, Иващенко на учебе, Карпов в отпуске!

Словом, я выслушал то, что обычно приходится выслушивать в подобных случаях. И сказал то, что обычно:

напоминал об обязанности органа дознания выполнять поручения следователя; убеждал в необходимости предлагаемого мероприятия, грозился доложить Белову.

Наконец Молоков сдался.

— С понедельника, говоришь? Ну ладно, что-нибудь придумаем... Но на два-три дня, не больше!

В дверь постучали, вошел очередной посетитель — высокий, склонный к полноте мужчина с надменным одутловатым лицом.

— Золотов Федор Владимирович, — важно отрекомендовался он, протягивая руку. — Я зашел к прокурору, но Павел Порфирьевич порекомендовал обратиться непосредственно к вам.

— Очень хорошо. — Я вытащил из ящика стола бланк протокола допроса свидетеля. — У меня как раз есть к вам вопросы.

— Вы что, собираетесь меня допрашивать? — оскорбленно спросил Золотов.

— Ни в коем случае. Просто побеседовать и записать кое-что в протокол, как требуется по закону.

Некоторых слово «допрос» оскорбляет, но, если его убрать, к самой процедуре они относятся довольно спокойно. Федор Владимирович тоже успокоился.

По существу дела он ничего не сказал:

— Сын часто ездит с друзьями на дачу, ночуют, а подробностей я не знаю...

Зато пытался выведать, почему затянулось расследование и часто вызывают на допросы Валерия. Но у меня было чем пресечь его любопытство.

— Скажите, Федор Владимирович, почему Валерий известен всем как внук адмирала? Чья это заслуга?

Золотов рассмеялся.

— Молвы, очевидно. Видите ли, отец был красивый, представительный, в семье его звали Адмиралом. В шутку. Может, кто-то когда-то чего-то недопонял, вот и пошло. Недоразумение, одним словом! Ну, мы этому значению не придавали — посмеивались, и все!

Объяснение легкое, изящное и неправдоподобное. Надо отдать должное Федору Владимировичу — и прозвонил он все совершенно непринужденно.

Утро следующего дня началось с телефонного звонка.

— Товарищ Корнилов? Вас беспокоит заведующий общим отделом облисполкома Чугунцов Борис Иванович...

— Слушаю вас, Борис Иванович.

— Вы не могли бы проинформировать меня об обстоятельствах, в связи с которыми ведется расследование в отношении Валерия Золотова? Он у нас активный общественник, а сейчас ходит сам не свой, волнуется... Его, конечно, понять можно — история неприятная, что и говорить... Но к нему лично разве у вас есть претензии?

Голос был солидный, ответственный и вполне мог принадлежать Чугунцову, который действительно заведовал отделом облисполкома. В первую секунду пришло недоумение: какое отношение имеет к нему Золотов? Но больше я ничего подумать не успел — мой постоянного действия компьютер сработал мгновенно и выдал ответ, единственно правильный в этой ситуации:

— Прошу прощения, Борис Иванович, сейчас у меня люди, продиктуйте ваш телефон, я перезвоню.

Продолжительность паузы была почти неуловимой, но все же достаточной, чтобы ощутить замешательство собеседника. Раздайся в трубке короткие гудки, обман сразу бы стал очевидным. Но он назвал номер и авторитетно попрощался, поэтому все прояснилось через минуту, когда я заглянул в служебный справочник.

Привычка тщательно проверять любые сомнения заставляла меня набрать оба номера. Первый оказался аварийной службой Водоканала, по настоящему мне ответили, что Чугунцов вторую неделю находится в отпуске. Это меня несколько не удивило.

ПАУТИНА

Валерий Золотов редко когда брался подводить итоги двадцати девяти лет жизни, но за четыре месяца до описываемых событий, сидя на открытой веранде кафе «Лотос», он занимался именно этим.

Погода стояла хорошая, иссушающая жара еще не наступила, солнце светило мягко и ласково. Пузырилось в бокале полусладкое шампанское, ждал своей очереди маленький графинчик с коньяком, но настроение было скверным.

Тягостные размышления появились после того, как он принял идущего следом прохожего за человека от Шаха. Почему вдруг в голову пришла такая мысль? Черт его знает! Тот вроде смотрел как-то необычно: пристально, подозрительно... Хмурое лицо, потрепанная

одежда... Чушь собачья! Струсил без причины, и это угнетало больше всего. Как шестерка!

Впрочем, если смотреть правде в глаза, то он и есть шестерка. Хотя и не для всех. Жора, Таня, Маринка, Куколка — они все у него в руках... А есть шушера, которая вообще считает его боссом. Только что из этого? Сам-то он знает истинное положение вещей...

Золотов отхлебнул шампанского, бросил в рот квадратик шоколада, помешал ложечкой тающее мороженое. Окружающих обманывать гораздо легче, чем самого себя. Он успешно играет роль хозяина жизни, он является рабом обстоятельств, зависит от прихотей фортуны, воли и усмотрения других людей. У него есть мальчишки на побегушках, но сам он выполняет те же функции для стоящих чуть повыше. Из-за этого можно было не переживать — закон жизни: одному ты авторитет, другому — холуй. Но его такой закон не устраивал...

Интересно, Шах тоже является для кого-то шестеркой? Если да, все-таки легче...

На лестнице показалась Вершикова. Облегающие брюки зеленого велюра, тугая броская маечка. Ничего девочка... Жалко отдавать. Ну, ради дела...

Подойдя к столику, она лениво взмахнула рукой.

— Приветик!

Золотов наполнил фужеры.

— Выпьем за то, чтобы встречаться по велению души, а не по требованиям дела.

— Что-то ты сегодня поешь как соловей...

Вершикова смаковала шампанское, ела шоколад, не спуская прищуренных глаз с собеседника.

— ...не иначе хочешь втравить в какую-то гнусность.

— Мне не нравится твое настроение, красавица. — Глаза Золотова остекленели. — И тон твой тоже не нравится. Ты что, вышла замуж за начальника ОБХСС? Нет? Отчего же так осмелела?

Золотов разлил остатки коньяка.

— Слушай внимательно. Есть парень, старый мой знакомый, моряк. Непьющий, влюбчивый. В загранку ходит, будешь всегда прикинута по последней моде... А пока он плавает — можешь себя особенно не ограничивать... Ухватываешь? Это то, что надо! Загвоздка в одном, переживает он из-за несчастной любви. Рана в сердце, страдания и все такое прочее. И ты ему понравься, голову вскружи, он и отойдет...

Вершикова молчала.

— Сама понимаешь, заставляя я тебя не собираюсь — дело-то твое. А посмотреть — посмотри.

Возле солнечных часов их ждал поджарый парень с резкими чертами лица.

— Здорово, дружище, — широко улыбаясь, сказал Золотов. — Знакомься, Марина.

— Федор.

Рука была сухой и горячей.

— Значит, так, время идет к обеду, — затараторил Золотов. — Поступило предложение с учетом этого отправиться в «Сторожевую вышку». Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. Вперед, труба зовет!

Вершикова откровенно разглядывала Федора. В общем ничего... Если его приодеть «по фирме»... Интересно, почему он не привезет себе шмоток? Неужто все сбывает барыгам? Вряд ли, не похоже... Может, Золотов не брешет на этот раз и действительно привел настоящего жениха?

Ресторанный зал полупуст, но Золотов направился к столу, за которым сидел смуглый худощавый человек в белом джинсовом костюме.

— Познакомьтесь, мой товарищ, гость нашей страны, Хамид. Он случайно оказался здесь, и я пригласил его присоединиться...

«Ну и лиса, — подумала Вершикова. — Не иначе что-то задумал». В случайные встречи она перестала верить уже давно.

— Выпьем за дружбу и сотрудничество между народами!

Золотов умело разлил водку, потом, чтобы не сбавить темп, произнес еще два тоста, рассказал несколько анекдотов. Атмосфера стала свободной, завязалась общая беседа. Хамид говорил почти без акцента, держался раскованно, громко смеялся, одним словом, вошел в компанию.

Раскрутив веселье, Золотов отошел в тень и, хотя не забывал наполнять рюмки и продолжал участвовать в разговоре, погрузился в размышления.

Если для всех остальных участников застолье было просто приятным времяпрепровождением, то для него — ответственным и важным мероприятием, от которого зависела реализация дальнейших планов. Во-первых, Федор познакомился с Хамидом. Теперь они знают друг друга в лицо, что значительно упрощает будущие контакты. А во-вторых, Федька, кажется, за-

глотнул наживку — вон как он рассматривает девочку, так бы и съел глазами... Это хорошо, очень хорошо...

— А где же наш друг Сурен? — обратился к нему Хамид. — Что-то я его давно не видел.

При упоминании имени Шаха Вершикову передернуло.

— Он... э-э-э... уехал, — выдавил из себя Золотов. — Уехал отдыхать на море...

— На Белое, — ядовито рассмеялась Вершикова. — Но скоро вернется. Через каких-нибудь восемь лет!

Золотов напрягся, но Хамид продолжал улыбаться и понимающе кивал головой, отнеся несуразность ответа на счет своего незнания нюансов языка.

Вот идиотка! Золотов, не меняя радужного выражения лица, сильно наступил Марине на ногу. Так и сгорают на мелочах! Одно лишнее слово может спугнуть партнера, и с огромным трудом налаживаемый канал закрывается, не успев открыться!

... Что с тобой, Машенька? — участливо спросил он. — Нехорошо стало? Пойдем на улицу...

Он помог Вершиковой выйти из-за стола, бережно придерживая за локоть, провел к двери.

— Сдурела, стерва? Не знаешь, когда тебе можно пасть открывать? — Золотов говорил тихим ужасным голосом, страшно выпучив бешеные глаза. — Ты со своими куриными мозгами можешь мне все карты спутать в большой игре! Знаешь, что за это бывает?

— Хватит пугать! Я уже устала бояться, надоело участвовать в твоих аферах, думать над каждым словом! Когда ты оставишь меня в покое? Я уже ничего не хочу, только отвяжись!

— Ничего не хочешь? Врешь, милая! А австрийские сапоги на зиму? А канадскую дубленку? А югославское белье? А французскую косметику? Обойдешься? Нет, дорогая, ты уже порченная, к дорогим шмоткам приученная, к дармовым деньгам! Посади тебя на зарплату и одень в ширпотреб, и все — сразу же увянешь! Да и вид товарный потеряешь, а это ведь единственное, что у тебя есть!

Золотов немного успокоился и теперь наслаждался, хлеща Вершикову словами, на которые она не могла ничего возразить.

— Никакой путной специальности ты не выучилась, даже лаком ногти мазать и то я тебя пристроил. За ду-

шой ничего нет. Или я не прав? Тогда возрази, выложи свои козыри!

— Да чего ты взъелся? Что я такого сказала?

Воля у нее была сломлена уже давно, она привыкла приспособливаться к обстоятельствам, к тому же прекрасно понимала, что в чем-чем, а в этом Золотов прав.

— Не твоего ума дело! Лишнее сболтнула, а потому заруби себе на носу: про знакомых, про дела при посторонних ни ползвуха! Ясно?

— Ясно...

Вершикова высморкалась, глядя в зеркальце, поправила расплывшиеся ресницы.

— То-то. Ну как жених, нравится?

— Ничего. Но он на меня не реагирует...

— Ты просто к такому не привыкла. Медленно загорается — дольше горит. Глаз на тебя положил, еще пару раз встретитесь, и все в порядке!

Когда они вернулись к столику, Федор и Хамид беседовали как давние знакомые.

— Ну что? — участливо спросил Петренко.

— Нормально. — Вершикова как ни в чем не бывало села рядом. — Почему не пьете? И у меня пустая рюмка!

— Но... Может быть, вам хватит?

— Ерунда! Давайте выпьем за любовь! Вы верите в любовь, Федя?

— Даже не знаю, что вам ответить...

Федор растерянно подергал мочку уха.

— А почему мы до сих пор на «вы»? Живо брудершафт! — Вершикова выставила согнутую полукольцом руку со стопкой.

Преодолев неловкость, Федор выпил через переплетенные руки и замешкался.

— Ну! — Марина ожидающе подняла лицо, и он поцеловал плотно сжатые губы.

«Молодец девка! — подумал Золотов. — Умело работает. По-моему, мальчик уже готов. Или почти готов. Но надо контролировать дальнейший ход событий. Если они вдруг и впрямь надумают пожениться... Тогда плохо... Перемякнут друг на друга, и все — теряю обоих! Этого допустить нельзя... Ну да ладно, видно будет... Используем старую любовь — солдатика служивого или еще что-нибудь придумаем... Не впервой...»

Золотов на миг взглянул на себя со стороны. «А ведь я привык вертеть людьми, распоряжаться чужими судь-

бами... Даже испытываю удовлетворение от этого... И неплохо получается...

А как расценить такую привычку с позиций общепринятой морали? Безусловно, однозначно: значит, я мерзавец, отщепенец и негодяй? Так? Лично я не считаю себя негодяем. Правда, ни один мерзавец не признается в этом. Подсознательный барьер ограничивает пределы самокритики. Можно сказать: «Ах, я недостаточно усидчив!» или: «Я ленив!» В чем еще не стесняются признаваться? «Грешен — люблю хорошо поесть (выпить, одеться, погулять)!» То есть в мелочах, подразумевая, что в случае необходимости эти недостатки легко преодолеть...

А кто посмеет сказать: «Я глуп, жаден, подл, труслив»? Какая женщина произнесет: «Я развратна»? Даже не произнесет, подумает? Нет таких! Перед собой всегда находится тысяча оправданий, объяснений, уважительных причин и веских аргументов, чтобы задропировать голую правду.

А если все-таки это не удастся, можно махнуть рукой и не держать ответа перед собой, а окружающим нетрудно замазать глаза, запудрить мозги, заткнуть рты. И все в порядке! Как легко быть чистым, честным и порядочным! Мало кто занимается самокопанием...

Но я же не принадлежу к серой массе! Правда, так думают все — каждому человеку свойственно оценивать себя выше остальных... Но я могу доказать это очень просто: признаться себе в том, в чем рядовой середнячок признаться не способен: да, если исходить из объективных критериев и общепринятых оценок, то иначе, как негодяем, меня не назовешь! То, что я это понимаю, и возвышает меня над толпой!

И не всегда был таким, и моя беда, а не вина, что я таким стал. «Бытие определяет сознание». Точно! Окружающим пришлось немало постараться, чтобы сделать из меня того, кто я есть. Так что теперь пусть не обижаются...»

— Валера, ты что, заснул? — Голос Федора вывел его из задумчивости.

— Да, вроде задремал — разморило. По-моему, заседелись мы здесь...

Когда они вышли на улицу, оживление спало — то, что связывало этих четверых людей, осталось в ресторанном зале. Первым откланялся Хамид, потом засобиралась Вершикова, а Федор вызвался ее проводить.

— Счастливо, — улыбнулся им Золотов. — С Федей я не прощаюсь, вечерком зайду, поговорить надо.

Он шел в сторону лесополосы, и мягкая рыхлая земля приятно подавалась под ногами. Между молодыми деревцами Золотов лег на траву и, заложив руки за голову, закрыл глаза. Хотелось безмятежности и абсолютного покоя, но мысли о Деле продолжали терзать мозг.

О Деле он начал думать давно, с тех пор, как пришел к выводу, что деньги дают не только все доступные удовольствия, но и власть, авторитет. Зарплаты хватало только на такси, да и то не всегда. Он начал вертеться — оптом брал у знакомого продавца или завмага дефицитный товар и через своих людей сбывал его в розницу. Хлопотно, опасно и не очень выгодно: со многими приходилось делиться.

Попробовал заняться «самолетом». Доверенный человек приводил заботливого папашу, желающего «подстраховать» свое чадо на вступительных экзаменах в институт. Золотов придирчиво изучал документы, особое внимание обращал на аттестат. При хороших оценках говорил, что может попробовать, но ничего не обещает и ничего не просит вперед: если получится, тогда...

Один раз система сработала, и растроганный родитель принес пакет с «благодарностью», но дальше пошли неудачи: абитуриенты срезались все подряд, а когда один все-таки поступил, папа «забыл» выполнить свою часть обязательств.

Тогда и зародилась мечта о собственном деле. Он знал, что есть люди, свободно оперирующие суммами, которые ему только снились. Случай и услужливый посредник свели Золотова с одним из таких дельцов. Добиться расположения Шаха было нелегко, даже вспоминать неприятно...

Однажды Шах зашел без предварительной договоренности, смуглое лицо отливало серым, движения были резкими, дергаными.

— Послушай, Золото, надо оставить у тебя одну вещь. На хранение.

Он положил на стол маленький тяжелый пакет.

— На днях я его заберу. Если... — Шах задумался, напряженно глядя в одну точку. — В общем, пусть пока полежит. У тебя же будет в сохранности, как в сберкассе? До востребования... Никому не болтай. Отдашь мне или человеку, которого я пришлю... Да, и еще... — Он пристально посмотрел Золотову в глаза. —

Я тебя не предупреждаю, это и так ясно, но за сохранность отвечаешь головой. Понял?

Предчувствие не обмануло Шаха — в эту же ночь его арестовали. После суда Золотов вернулся домой и развернул сверток. Он знал, что в нем, но хотел убедиться, насколько велик капитал, волею судьбы попавший в руки. Капитал оказался солидным... И тогда пришла идея — запустить его в оборот.

Солнце слепило глаза даже сквозь закрытые веки, и Золотов повернулся на бок.

Несчастливая идея... Как раз началась полоса невезения: один прогар, второй, третий... Содержимое пакета уменьшалось, не принеся ожидаемых дивидендов. И появился страх, что в любую минуту посланный Шахом человек потребует вернуть оставленное...

Обратного пути не было, и Золотов придумал сложную многоходовую комбинацию, которая могла поправить положение, вернуть утраченное и принести немалый доход. Но... только в том случае, если каждый участник сработает точно, умело и четко.

Началось самое трудное. Упрямо не давался в руки Федя, уходила из-под влияния Марочникова, даже Вершикова время от времени пыталась бунтовать... Чтобы держать их в повиновении, приходилось все время изобретать новые способы, что-то придумывать, постоянно плести интриги. Это раздражало, возбуждало глухую, затаенную злобу.

Прямо под ухом послышалось надрывное жужжание. Золотов открыл глаза. В толстой, геометрически правильной паутине отчаянно билась большая навозная муха. Видать, погналась за запутавшейся здесь же мошкой. Едят мухи мошкару? Впрочем, теперь она сама попадет на обед... Ишь как дергается... Чувствует что-то, соображает. Или просто инстинкт? А где же хозяин?

Паук не спеша опускался из левого верхнего угла сложной ажурной конструкции, желто-коричневого цвета с белым крестом на жирной спине. Огромный: между кончиками передних и задних лап не меньше трех сантиметров. Мерзость!

Все как в его жизни! Муха гонится за мошкой, паук сжирает муху... А есть кто-то еще более сильный и могущественный.

Он подобрал сухую, с палец толщиной ветку и сильно ударил, размозжив крестовика и сорвав паутину. Все.

Он засмеялся над собой. Глупо! Ну а ты, Валерка,

кто: мошка, муха или паук? Крутишься, ловчишь, старательно плетешь хитроумную паутину, опутывая тех, кто тебе нужен... Но и сам запутан в еще более крепкой и липкой, дрожишь, прислушиваясь к ее подергиванию, потому что есть пауки крупнее, сильнее и опаснее. А еще есть люди, которые могут разорить паучинные гнезда, разорвать все их сети, а самих посадить в банку и отправить куда-нибудь далеко-далеко на север, где они — и большие и маленькие, опасные и не очень — будут заниматься непривычным для себя делом: валить лес, пилить дрова, дробить камни...

Черт возьми, те же самые мысли! Вот тебе и расслабился, отдохнул, отвлекся! Но в общем день прошел хорошо, одновременно сделано несколько дел. Осталось довести до конца еще одно.

Федор лежал на кровати в одних трусах, бессмысленно глядя в потолок.

— Опять в меланхолии? Я надеялся, что сумею тебя расшевелить!

— Тошно, Валера. Все равно тошно.

— Так лечись, дурачок! Я же тебе и лекарство нашел! Или не понравилась Маринка?

Федор поднялся.

— Понравилась. Только... Какая-то чересчур свободная, развязная, что ли...

Вот черт! Такую реакцию надо было учесть.

— Видишь ли, Федя, — печально начал Золотов. — К сожалению, это печать современной молодежи. Мы с тобой такими не были. А сейчас соблазнов много: бары, рестораны, танцульки... Все это налагает определенный отпечаток...

Он прошелся по комнате, озабоченно поглаживая затылок.

— Но у Марины все это внешнее, наносное. Она приехала из деревни, стала приспособливаться к городской жизни и, боясь в чем-то отстать, чересчур активно копировала окружающих. А окружение — сам понимаешь... Так что она по-своему несчастная — мечется, ищет чего-то, найти не может... Ей бы помочь надо...

Краем глаза Золотов наблюдал за реакцией Федора. У того на лице отразилось сочувствие.

— Оденься, Федя, пойдем воздухом подышим, а то ты опять закиснешь. Когда у тебя рейс?

— Через пять дней уходим. Короткий конец, месяца за полтора обернемся. А потом судно на ремонт станет.

— Ну ничего, хоть по твердой земле походишь. А то все волны, вода кругом... Небось скукотища?

— Да нет... Привык.

— А что ты вообще думаешь дальше делать? В училище поступишь, тут я тебе помогу железно, а потом? Зарплату прибавят на полсотни, а остальное все то же: три-шесть месяцев в море, коротенькая передышка, и опять... Не успеешь оглянуться — старость подошла... А что ты видел, кроме штормов, штилей да торговых кварталов иностранных портов? Да ничего!

— Пряма-таки и ничего?

— Федя, систематическое пересечение границы, разная конъюнктура рынков, перепады цен — да это же золотое дно!

— Контрабанду вертеть, что ли? На это намекаешь?

— А почему бы и нет? Это же не грабеж, не разбой и даже не кража — использование экономических законов!

— За такое использование в тюрьму сажают!

— Не всегда! — Золотов поднял палец. — Только если попадешься.

— Все попадаются. Рано или поздно.

— Да брось чепуху городить! Попадается только дурак. Если все хорошо продумать, риска практически не будет.

— А ты все хорошо продумал?

Золотов насторожился, почувствовав подвох.

— Чего я буду за тебя думать? У тебя своя голова на плечах. — Он протянул Петренко распечатанную пачку сигарет. — Но на добрый совет всегда можешь рассчитывать. Жизнь-то я знаю получше...

Они закурили.

— Судно большое, ты в рейсе посмотри внимательно, может, и найдешь какое-нибудь укромное местечко... Обязательно найдешь... И подумай на досуге, между вахтами, что жизнь человеческая проходит очень быстро...

— Знаешь что, смени пластинку!

Золотов изобразил обиду и замолчал. На сегодня хватит. Понемножку, исподволь ему можно будет внушить задуманное. Капля камень точит! Но чересчур нажимать не стоит. Пусть он думает, что сам пришел к тому решению, которое будет вложено ему в голову.

ВЫПАД ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Роль потерпевшего играла борцовская кукла, подвешенная на четырех растяжках к стойкам и перекладине турника. Проволока соединялась с динамометрами, показания которых лягут в основу расчетов экспертов.

Громко хлопнула дверца автомобиля.

— Привезли, — сказал фотограф.

— Всем приготовиться, сейчас начинаем.

Рослый милиционер и женщина-сержант ввели Вершикову. Она непонимающе смотрела по сторонам, но, увидев висевший на стене неподалеку от куклы кортик, вскинула голову.

— Проверять будете? Я же сказала: не помню, что да как. И потом — раз на раз не приходится...

Чувствовалось, что она уже обсудила интересующие вопросы с соседками по камере.

— Ничего не поделаешь, порядок есть порядок.

Я объяснил условия и цели эксперимента. Конвоиры недовольно переглянулись и придвинулись поближе: по вполне понятным причинам они не любят, когда в руки арестованных попадает оружие.

— Начали!

Вершикова стояла неподвижно. Минута, полторы, две...

— Пожалуйста, Вершикова, мы ждем.

Она помедлила еще несколько секунд, потом, решившись, подошла к стене и протянула руку. Сейчас имело значение каждое ее движение, каждый жест. Едва слышно зашумела камера, щелкнул затвор фотоаппарата. Фотографии и видеозапись помогут запечатлеть то, что может не успеть схватить человеческий глаз: направление удара, угол наклона клинка, траекторию его движения...

Вершикова замешкалась, чем дольше она возилась с кортиком, тем очевиднее становилось: она не знает, что клинок заперт в ножнах и освободить его можно, только нажав кнопку замка, маленькую незаметную кнопочку, о существовании которой она тоже не подозревает.

Все сильнее дергая неподдающуюся рукоятку, не понимая, в чем дело, она осознала, что бесстрастная пленка фиксирует и неуверенность и беспомощность и ее ложь становится сейчас до неприличия наглядной. Оставив безуспешные попытки, Вершикова опустила голову и заплакала.

Результат эксперимента превзошел все ожидания. Обвиняемая не только не могла нанести сокрушительного смертельного удара, но даже не способна была вытащить кортик из ножен!

Чудес на свете не бывает. Сейчас совершенно ясно, что Вершикова оговаривает себя. С какой целью? На этот вопрос следует получить ответ перед тем, как предпринимать что-либо еще. Но добиться правды от Вершиковой просто так вряд ли удастся. Человек, добровольно взваливающий на себя обвинение в убийстве, будет упорствовать до конца. Поэтому надо подобрать ключ к механизму психологической блокировки, включенному в ее сознании. А это дьявольски трудная задача...

Но пружина следствия закручена достаточно туго, теперь ряд событий произойдет и без моего вмешательства, остается ждать результатов. И разумеется, не упускать возможности по крохам собирать новые факты.

Последняя мысль пришла не случайно: на глаза попалась запыленная, с треснувшим стеклом вывеска «Городской Дом физической культуры». Здесь в секции фехтования когда-то занимался Золотов.

Зал был старый, с потрескавшимися стенами и давно не беленым потолком, стекла в окнах тусклые, почти не пропускающие света, поэтому лампочки горели даже днем. Фехтовальщики теснили друг друга, наступали и отступали, обменивались ударами, плели блестящими иглами тонкое кружево атак и защит. Мне это зрелище нравилось, тренеру — нет.

— Саша, это не работа! У тебя нет резкости! Выпад делается синхронно, всем телом! Иди к зеркалу. Витя и Гриша по очереди сражаются с Сергеем.

И, повернувшись ко мне, окончил прерванную мысль:

— Раз не помню его, значит, выше второго разряда не поднялся, да и ничем не отличился...

Тренер подошел к Саше, который стоял перед зеркалом, резко припадал на согнутую в колене ногу, одновременно выбрасывая вперед руку со шпагой.

— Корпус ровный, рука — перпендикулярно оси туловища, вот так, видишь? И — раз! Как стрела из тетивы! Чтобы пробить любую защиту!

По дороге домой я пытался ухватить ускользавшую мысль, которая представлялась очень важной, но сде-

лать этого не сумел — мешала усталость и начинающаяся головная боль.

После ужина я просмотрел газеты, журнал и рано лег, хорошо выспался, с аппетитом позавтракал и не спеша отправился на работу.

Возле юридической консультации, дожидаясь открытия, толпилась кучка людей. К своему удивлению, я заметил среди них Золотова и хотел спросить, какая необходимость привела его сюда, но Валерий Федорович при моем появлении отвернулся.

Когда я отпирал кабинет, зазвонил телефон. Кому это не терпится?

Не терпелось Таганцеву.

— Давай быстро к нам, уйма интересного узнаешь!

Таганцев выглядел оживленным.

— Вчера вечером приехал Золотов, походил по даче, посмотрел, потом подкову на калитку вывесил и отбыл восвояси. Нас он, понятно, не видел, мы в лесочке сидели — холодно, доложу тебе, и сыро! А утречком какой-то человек пожаловал, при выходе мы его и взяли. А он с начинкой!

— Что за начинка?

Николай не торопясь вытащил из сейфа газетный сверток, медленно развернул. В руках у него оказался полотняный мешочек колбаской, с тесемочками, в отличие от изъятых в квартире Петренко, туго набитый.

— Тара очень удобная, — улыбнулся Таганцев. — Привязываешь к ноге, повыше щиколотки, при поверхностном обыске можно и не найти!

Он многозначительно подбрасывал мешочек на ладони, разжигая мое любопытство, но долгу не выдержал.

— А сама начинка — вот она!

На стол с тяжелым стуком посыпались золотые пятерки и свертки с иностранной валютой.

— Ну, что скажешь? — Таганцев улыбнулся еще шире, довольный произведенным эффектом.

— Где он это взял?

— Думаю, что лучше тебе задать этот вопрос самому гражданину Гришакову.

— Ну поднимай его, познакомимся.

Оказалось, что Гришакова я знал. Это был Жора — ресторанный спутник Золотова. Таганцев посадил его на стул передо мной, а сам занял место у двери.

Одно время Гришаков действительно работал заме-

стителем директора магазина, но потом за пьянство и злоупотребления его уволили, и последние полтора года он перебивался случайными и, как можно было судить, не слишком честными заработками.

— Вы подозреваете в нарушении правил о валютных операциях, — объявил я Гришакову. — Как подозреваемый, имеете следующие права...

— А отказаться от дачи показаний я могу?

— Можете, конечно, можете, — заверил я. — Только зачем? Мы ведь не собираемся выспрашивать бог знает что... Ответьте на маленький и простой вопрос: откуда у вас эти монетки, доллары?

Гришаков громко засопел, лицо его сделалось багровым.

Я оглядел его мощные руки и крепкую фигуру. Пожалуй...

— А уж потом, раз вы «привязываетесь» к даче и этому делу, я спрашиваю вас об убийстве.

— Убийство вы бросьте. Чего все в одну кучу валить и на пушку брать! — Он задумчиво почесал переносицу. — А про монеты я знать ничего не знал. Попросили забрать пакет, я и забрал.

— Думаю, что вам, как бывшему торговому работнику, будет полезно ознакомиться с преискурантом, — любезно сказал Николай и положил перед Гришаковым раскрытый уголовный кодекс. — Обратите внимание на статью восемьдесят восьмую. Впечатляет?

— Чьи ценности, Гришаков? — спросил я. — Определенные соображения по этому поводу у меня есть. Кроме всего прочего, здесь, наверное, пахнет контрабандой. Еще одна серьезная статья! Показать?

Жора, напряженно думая, покачал головой.

Я переложил на столе бумаги.

— Сегодня утром, по дороге на работу, видел вашего приятеля — Золотова. Он голкался возле юридической консультации.

Гришаков насторожился.

— Теперь я понимаю, что ему там понадобилось. И не сомневаюсь, как он ответит на вопросы, связанные с вашим задержанием у ворот его дачи.

Было заметно, что у Гришакова по этому поводу тоже не было сомнений.

— Так что если не хотите говорить, я отправлю вас в камеру, сидите, думайте. Надумаете — проситесь на допрос. А мы попробуем пока сами разобраться что к чему.

Я стал заполнять протокол задержания.

— Да, Валерку не переговоришь, — процедил Гришаков. — Особенно если он первый начнет. Всегда старается другого подставить... Но монетки и валюта его.

— Откуда?

— Не знаю. Он деловой, вертелся везде, с фарцией знался. Хотел крупное дело повернуть, чтобы на всю жизнь хватило. Монетки он долго собирал. На даче тайничок был. А после того, что получилось, засуетился — теперь, говорит, там милиция пасется да родители собираются дачу продавать... Предложил мне, чтобы я вынес. Ну я один раз чуть не напоролся, все, говорю, хватит! А он — я, мол, все разузнал, никакого риска, а две сотни получишь! На мели я сейчас, в долгах кругом...

Стараясь вызвать сочувствие, Гришаков горестно вздохнул.

— Он любит «негров», мальчиков на побегушках.

— А Петренко ему зачем понадобился?

— Морячок-то? Ясно зачем! Вы правильно угадали: Валерка собирался металл за кордон переправлять. А оттуда — валюту, вещи... Готовился: все дружбу водил с иностранцами, что в мединституте учатся. Какие-то каналы уже нащупал. Перевозчик был нужен, он про Федю и вспомнил. Приручал, приручал, а тот — бац и на нож напоролся...

— Как это получилось?

Жора изобразил на лице многозначительность.

— Золото рассказал, что морячок приставал к Машке и чересчур разошелся, а та его... — Он сделал многозначительный жест. — Только не похоже это ни на него, ни на нее. В общем — темная история.

И тут я утвердился в ускользающей вчера мысли, в мозгу как бы раздался щелчок, и события, происшедшие на баркентине «Кейф», сразу предстали в ином свете.

Таганцев поехал задерживать Золотова на работу, а я, оформив постановление о производстве обыска, отправился к нему домой. По дороге заехал в бюро судебно-медицинской экспертизы и десять минут поговорил с Кобульяном.

Дверь открыл Золотов-старший. Узнав о цели нашего прихода, он страшно возмутился и бушевал добрых полчаса, крича, что нет закона, по которому можно измываться над людьми, если у них в доме произошел несчастный случай. Он угрожал самыми ужасными ка-

рами, называл фамилии ответственных должностных лиц, предрекал мне скорое увольнение с работы и привлечение к ответственности за злоупотребление властью.

Слушая гневный монолог, я подумал, что звонить от имени Чугунцова вполне мог сам глава семейства Золотовых, все необходимые для этого качества у него имеются.

— Жаловаться вы имеете право куда сочтете нужным, — прервал я его, улучив момент. — Я несу полную ответственность за свои действия. Так же, как и вы за свои. А потому ознакомьтесь с постановлением и распишитесь.

Мать Золотова, серая невзрачная женщина, испуганно наблюдала за происходящим, но в разговор не вмешивалась: в семье она не имела права голоса.

Валерий Федорович занимал отдельную комнату. На ковре над кроватью висела фехтовальная маска, под ней наперекрест — рапира и шпага. Много фотографий хозяина, в основном портреты, глаза картинно прищурены, обязательно присутствует сигарета. Несколько безвкусных дорогих ваз отражали представление Золотова о прекрасном.

Обыск продолжался несколько часов. За плинтусом обнаружился небольшой тайник. Он был пуст, но я сделал соскобы, и эксперты определяют, хранились ли здесь интересующие нас предметы.

В последнюю очередь осматривали письменный стол. Полнейший беспорядок, уйма всяких бумаг, навалом альбомы с фотографиями.

На всех снимках красовался вальяжный и значительный Валерий Федорович в окружении легкомысленного вида девиц или преданных сотоварищей. Разнообразия он, похоже, не признавал.

Внизу, погребенный под ворохом хлама, лежал плоский, завернутый в ватман пакет. Когда я его развернул, с глянцевых листов ударили в глаза розовые груди, колени, ягодички... Рядом — красная пачка из-под фотобумаги. Посмотрим, что там...

Я бросил пачку обратно. Так вот чем держал Золотов девушек! Веселая вечеринка, «заморское» питье, «финская» банька... Плюс увлечение фотографией и скрытая камера... Вот и готов крючок, безболезненно сорваться с которого жертва не сможет...

Два дня я готовился к встрече с Золотовым. Много из того, что удалось узнать, удивляло, но в основном мои предположения оказались верными.

Первый допрос подозреваемого, сразу после задержания, провел по моему поручению Таганцев. Протокол получился коротким: «не знаю, объяснить не могу, об этом я уже давал показания ранее, возмущен фактом ареста».

Он встретил меня издевательской улыбкой.

— Нехорошо, гражданин Корнилов! Вместе рестораны посещаем, об жизни беседуем, а потом вы меня — хватать и за решетку! Разве это по-человечески?

Держался Золотов развязно, до наглости, видно, решил, что терять нечего и надо играть ва-банк.

— Давайте ближе к делу, — сказал я как можно холоднее.

— Как хотите. Хозяин — барин. Мое дело телячье — знай мычи!

— Тогда для начала скажите: откуда у вас золотые монеты и валюта, как вы хотели их использовать?

— Если бы у меня когда-нибудь были золотые монеты, я бы использовал их очень просто: вставил себе зубы, а потом... — Он мечтательно закатил глаза, — поехал бы с хорошей девочкой в круиз по Дунаю...

— Чьи же ценности изъяты у Гришакова?

— У него и спросите!

— Уже спрашивали.

— И?.. — На лице Золотова отразился живейший интерес.

— Он показал — золото принадлежит вам.

— Какой негодяй! У меня золотого — только фамилия. Так что здесь мы решительно расходимся. Я говорю одно, он — другое. Плюс на минус, в результате — ноль. Есть еще вопросы?

— Конечно. Меня интересуют обстоятельства убийства Петренко.

— Господи, да сколько можно говорить об одном и том же? Мне уже надоело повторяться!

— Есть одна вещь, о которой вы не знаете. Петренко убит мощным ударом, Вершикова такого нанести не могла.

— А я мог?

— Вначале казалось, что нет. Но определенный навык и владение фехтовальной техникой вполне способны заменить огромную физическую силу.

У Золотова чуть дернулась щека — и только.

— По-моему, вы пьете вино из моего бара. Да еще нахваливаете.

— То есть?

— Принимаете догадки за факты. Помните вашу метафору?

— Вершикову я уже допросил. Она признала, что оговорила себя по вашему указанию...

— Интересно! Тогда, может, она сказала и кто убийца?

Этого Вершикова не сказала. Может, боялась «адмиральского внука», может, действительно не видела, как все произошло. Судя по уверенности Золотова, скорее всего — первое.

— Знаете, Золотов, я еще не встречал человека, которому нравится быть негодяем. Больше того, который сам сделал из себя негодяя. Умышленно и вполне сознательно.

Он сидел спокойно, не проявляя никаких эмоций.

— Вы думаете, никто не может определить причин этого?

— Не понимаю, о чем вы.

— Подозрения появились у меня во время нашей последней встречи. Тогда сквозь маску неунывающего бодрячка проглянул обычный человек, не удовлетворенный своей жизнью и оттого тоскующий. Человек, играющий чужую роль. И это удивляло, так как совершенно не соответствовало вашему облику.

— Устанавливаете контакт? Психологический подход? — криво улыбнулся он. — Ну-ну, попробуйте!

— И еще одно обстоятельство обращало на себя внимание. В юности вы, казалось, не проявляли задатков, способных так трансформировать личность. До определенного момента Валерий Золотов был нормальным парнем. И вдруг... Я допросил многих людей из вашего окружения тех лет, картина получилась достаточно полной, но поверить в нее очень трудно. У каждого в жизни случаются огорчения и разочарования, но чтобы для борьбы с ними убивали в себе чувства, способность сопереживать чужой боли... Даже в следственной практике сталкиваюсь с этим впервые.

Помните, что вы сказали Воронову — самому близ-

кому другу после вечеринки у него дома? Когда вы решили, что все вас предали?

— По-вашему, я каждое свое слово должен помнить?

— Неправда, помните! Это было программное заявление нового Золотова. Дескать, порядочным людям жить тяжело — их меньше, чем негодяев, они более уязвимы, чаще страдают от обид и несправедливостей. А раз так, надо самому стать негодяем, и все будет намного проще, исчезнут проблемы, переживания, не будет сомнений, душевных мук и обид! Наверное, полагали, что можно просто примерить маску негодяя, защитить ею свою болезненно ранимую душу и не страдать самому, а причинять зло и боль другим. Но маска прирастает намертво, ее, оказывается, трудно снять, а в один прекрасный момент и вовсе невозможно — она становится настоящим лицом! Помните опыт Франкенштейна? Или кадавры графа Калиостро? Созданный вами новый Золотов утратил человеческие качества и стал подобным монстром! И что же, вам стало легче жить?

— Легче! — убежденно кивнул он. — Гораздо легче! Оттаптывать мозоли другим куда менее болезненно, чем подставлять свои.

— И опять неправда! Ведь вы перестали быть самим собой, теперь маска определяла ваши помыслы, действия и поступки! И вот результат: одни считают вас оконченным мерзавцем, другие — мыльным пузырем, и только для неосведомленных и глупых людей вы — достойный и уважаемый человек! И где-то в глубине души вы понимаете это, чувствуете неудовлетворенность собой, своей жизнью и загоняете это чувство поглубже, заливаете его вином, оргиями, издевательствами над так называемыми «приятелями»!

Избавившись от сомнений, душевных мук и переживаний, вы приобрели новые качества и дошли до края! Кортиком вашего деда вы поставили точку во второй части своей биографии. И остается надеяться, что продолжение ее будет иным.

— Конечно! — Золотов опять криво улыбнулся. — В зоне я выбьюсь в передовики, и, когда через десяток лет выйду на свободу, сразу стану честным, порядочным и полезным для общества гражданином!

— Не надо иронизировать, тем более что вам совсем не хочется этого делать.

— Ладно! — решительно произнес он. — На моем

месте любая трусливая гнида врала бы, изворачивалась, причем бесполезно — все равно избобличите, загоните в угол. Не буду уподобляться такой мрази. Пишите протокол!

Золотов рассказал все. Безразлично, бесстрастно, как будто речь шла о ком-то другом. Только когда заговорил об убийстве Петренко, тон его изменился.

— Так получилось, я и не собирался. — Он сгреб в горсть подбородок, и голос стал звучать глухо. — Федор первый затеял ссору: «Кровосос, ты из каждого что-то вытягиваешь, надоело!» Слово за слово, он меня ударил, я — его... Сцепились, он сильнее, чувствую — не справлюсь, отпрыгнул в сторону, тут кортик на глаза попался... Вы, конечно, моего состояния не поймете... Я не привык, чтобы меня били, не привык проигрывать, к унижениям не привык... И чужую силу над собой терпеть не намеревался...

Когда я кортик выхватывал, хотел напугать его, остановить, одним словом, верх взять, как обычно. А он прет, как танк... Раз — и готово! И ничего не изменишь: обратного хода нет...

Я дописывал протокол.

Золотов попросил сигарету, затянулся, без обычного форса выпустил дым.

— Не повезло...

— Кому? — не понял я.

— Мне... — Он стряхнул пепел на пол. — Кому же еще? Люди живут в свое удовольствие — и ничего.

— Что за люди?

— Да мало ли... Вот Гришка-мясник, оклад восемьдесят, а ездит на двадцатьчетверке. Ему надо было двадцать пять лет копить зарплату: голодать, голым ходить, а у него рожка — в окно не просунешь! И красная, потому что коньяк каждый день жрет! Одет как король, руки в перстнях, каждую неделю рядом новая телка... Красота! Потому что умеет жить!

— Неужели машина, красная от коньяка физиономия и золото на пальцах — показатель настоящей счастливой жизни? Ее главная цель?

Губы Золотова скривились в презрительной усмешке.

— Знаю, знаю! Главное — чистая душа и спокойная совесть! А счастливая жизнь — честная работа с самоотдачей до седьмого пота, потом полезные развлечения: лекторий, шахматный павильон, библиотека... Да?

Он сплюнул прямо под ноги.

— Преснятина и серость! Когда я слышу подобные прекраснодушные рассуждения, меня начинает тошнить!

— Вам не жалко Федора? — неожиданно спросил я. Золотов смешался.

— Чего об этом толковать... Назад-то не вернешь. Живых надо жалеть.

Он тяжело вздохнул и пальцами потушил окурок.

— Мне себя жалко: влип как дурак! Потому что с дебилами связался. И не повезло с этим убийством... Я ж не такой... Ну покрутиться, деньги сделать... Зачем убивать? И в мыслях никогда... Не повезло! Тот же Гришка — ворует, аж хребет трещит, и живет припеваючи!

— До поры.

— Бросьте! Все на свете до поры. А ему на это наплевать, о будущем не думает, катается как сыр в масле и в ус не дует!

— Интересно познакомиться с таким счастливецом.

— Тут я вам не помощник. Знакомьтесь, если достанете. Но вряд ли, руки короткие.

Я начал злиться.

— Достанем, Золотов, обязательно достанем! Неужели вы не чувствуете, что происходит вокруг вас? Наступает время ответственности, и мы повытаскиваем за шиворот всякую нечисть из щелей и темных углов, как бы она ни хоронилась! И Гришку вашего извлечем на свет божий, а когда такая публика оказывается на виду у всех, то быстро скисает, теряет радость от коньячной жизни и завидует тем, у кого чистая душа и спокойная совесть, хотя вы говорили об этом с издевкой!

— Вы-то чему радуетесь? — бесцветным тоном спросил Золотов. — Ну посадите одного, другого... Зарплату небось не добавят, только хлопот больше...

— Этого вам не понять.

— Ну почему же... Чувство долга, удовлетворение результатами труда... Читал. Неужели правда бывает такое? И не хочется бросить все к чертям, развеяться, отдохнуть?

Бывало, мне хотелось забыть про сроки следствия и содержания под стражей, выпустить из памяти показания многочисленных обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, не раздумывать над квалификацией и судебной перспективой дел, не прорабатывать сотни вариантов направлений расследования, уехать куда-нибудь в глушь, сесть у тихого, зеркального пруда под легкими

перистыми облаками и бездумно смотреть на тихую поверхность воды, чтобы из глаз и ушей вытекали обратно миллионы битов самой различной информации: мешанина фактов, событий, фамилий, кличек, номеров телефонов... Такое случалось, когда я сильно уставал, но неизбежно проходило, и снова тянуло назад, в самый водоворот событий.

Не говорить же об этом Золотову, который сделан из другого теста и совсем по-другому понимает работу, развлечения, по-другому оценивает жизнь. Теперь для него настало время переоценки ценностей. Я нажал кнопку вызова конвоира.

Вернувшись к себе, я заперся, отключил телефон и около часа просидел неподвижно, расслабленно глядя в окно. Итак, дело раскручено. Факты и доказательства подтвердили интуитивные сомнения, расставлены точки над «и». Задуманная Золотовым инсценировка не удалась.

— Это все Машка, стерва! — прокомментировал он свое поражение. — Сказала бы сразу, как учил: приставал, надругаться хотел, пришлось обороняться! И никаких сомнений, никаких зацепок! Получила бы года два условно, сейчас небось за ложные показания больше получит! Так нет, неловко ей было на мертвого напраслину возводить! Ну и дура! — Последнюю фразу он вымолвил с особенным чувством. Золотов оставался самим собой...

Внизу находился детский сад, галдели дети, ударялись о забор брошенные камни, недовольно кричала воспитательница. Эти звуки действовали успокаивающе, и я попытался воспользоваться ими, чтобы изменить окраску своего настроения.

В психологическом поединке с Золотовым победил я, хотя он был серьезным противником. Но удовлетворение не приходило. Я чувствовал себя усталым, измотанным и опустошенным. Скверно на сердце. Так бывает всегда, когда сталкиваешься с изнанкой жизни, и не просто сталкиваешься, а глубоко проникаешь в тщательно скрываемые от окружающих тайны, заглядываешь в дальние закоулки темных чужих душ, обнаруживаешь под внешней благопристойностью гнусные и стыдные побуждения.

В деле Золотова все это было.

Настроение не менялось. Когда распутываешь клубок хитроумных загадок, отыскиваешь замаскированные

следы, расставляешь тактические ловушки, скрещиваешь интеллекты с противником, тогда каждая клеточка тела охвачена азартом: раскрыть, установить, изобразить, доказать...

Но вот цель достигнута и азарт сменяется мыслью: а было ли неизбежным то, что случилось? И прокручиваешь назад, в прошлое, длинную цепочку действий, поступков, вызванных ими следствий в поисках звена, обусловившего печальный финал. Как правило, эти дефектные звенья похожи друг на друга как две капли воды. Сбой в межличностных отношениях, неадекватная ситуация реакция, непонимание одного человека другим — пустяки, не замечаемые в повседневной суете, ведь не знаешь, какими последствиями обернутся они через несколько лет...

Я опять, уже в который раз, подумал, что следователю плоды его труда не могут приносить радость.

Дело Золотова прошло в суде, на оперативном совещании я удостоился похвалы прокурора, из речи которого следовало, что я добился успеха в расследовании сложного, замаскированного преступления. Я побывал в отпуске, отдохнул и вскоре забыл об этом, потому что появились другие дела, другие подозреваемые, обвиняемые и свидетели, новые переплетения человеческих судеб, загадки, тайны, которые мне предстояло решать.

И только фотография кортика капитана 1-го ранга Золотова, которую кто-то из практикантов засунул под стекло на столе, возвращала время от времени к этой оставшейся в прошлом истории.

ДЕЛО ПРИНЦИПА

«Свиньи вилками хлебали из говядины уху!» — такая идиотская абракадабра пришилиена булавкой к стене. Завершающий штрих к общему кавардаку. Пепельница, пускающая зайчики медным нутром в потолок с батареей отопления. А окурки усеивают блюдце, а кофейная чашка существует вне блюдца, приклеившись к табурету, и еще на табурете машинка «Москва». И железки с буквами торчат — сразу много. Как лапы у богомола. Заклинились. Так всегда бывает, если одновременно нажать на несколько клавиш рукой. Только здесь не рукой, а головой. Сидит человек, уткнувшись носом в клавиатуру пишущей машинки. Уснул? Несмотря на банку кофе, которая валяется рядом. Нет, не уснул. Иначе бы не было звонка в наш райотдел, и нас бы здесь не было. И у меня внутри не было бы схватывающего чувства неведомости — потому, что это мой первый выезд «на груп». И убитый... Впрочем, почему убитый?! «Выбрось книжки из головы!» — так наставляет Куртов.

И я его понимаю, когда он переходит на отеческий тон, говоря со мной о моем же представлении милицеской специфики. Я его понимаю, когда он наставляет: контролируй себя. Контролирую: медное нутро пепельницы, лапки богомола — перебор, лирика! Убитый — тоже... скороспелый вывод. Просто умер человек в цветущем возрасте, на вид сорока нет. И сейчас не киношно-книжный детектив, а просто утро. И сдал бы спокойнo дежурство — Куртов уже прибыл на смену, и спать хочется...

Но соседка возвращается из ночной смены, и дверь к соседу открыта, и свет у него горит, а сам в одежде спит! Опять набрался! Она, соседка, знает — его уже однажды дружок притаскивал в жутком состоянии. Вся-



кие фельетоны пишет, а сам-то хорош! И свет не гасит, хоть и спит. А за свет пополам платить, а у нее только лампочка одна, и она ее выключает сразу, когда не надо... Потом на кухню пошла чаю «скипятить» после смены, и там тоже свет «негашенный»! И тут решила, что надо ему все сказать!.. А он и не просыпается, белый какой-то, даже желтый. Вот...

Куртов тем временем уже осмотрел комнату, обнаружил магнитофон «Легенда» во включенном состоянии. Он, магнитофон, тихо шипел — всю ночь батарейки свои просаживал вхолостую. Потому что врач наш из бригады уже сказал — между одиннадцатью и часом ночи это произошло. Хотя точнее он скажет попозже.

Соседку успокаиваем, протокол оформляем. Смотрю на машинку — лист бумаги:

«ПЬЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА. Древние были мудры. Если они что-то изрекали, то на века. К примеру: ин вина веритас. Вероятно. Во всяком случае, допустимо. Если не забывать, что ин вина еще и спиритус...»

Вот и все, что там было. Начало очередного фельетона, наверное. А на кассете, когда я ее перевернул, была музыка. Рояль вел себя солидно и уверенно. И вот к нему почти неслышно подкрадывается скрипка. И когда они встречаются, возмущается большой барабан, привлекая внимание общественности. И та — в лице тромбонов, фанфар, кларнетов — немедленно откликается и трубит всем, что...

Но тут Куртов смотрит на меня. Он часто на меня так смотрит, с тех пор, как мы познакомились. Я его понимаю... И снова контролирую себя (какая может быть музыка сейчас?!), переворачиваю кассету еще раз. А там:

«— ...пляться, кишки на уши наматаю! Я не прошу никого! Хочешь — бери, не хочешь — не бери! Иди, дорогой, не мешай! Делом займись, делом!

— Я не настаиваю. Просто интересно...

— Интересно — в кино иди! Меня не трогай только... Красавица! Стой! Стой, говорю!.. М-м-мых-х! Самый красивый выберу!»

— Спекулянт, наверное, — роняет Куртов. — Запись на улице. Возможно, очередной герой...

Куртов стоит в дверях, загораживая выход, и постукивает пальцами по косяку — дробно, сухо, часто. Старший... Как-то у него получается выглядеть стар-

шим. Хотя мы с ним, по существу, ровесники. И по званию тоже... Опыт, наверно. Я что? Политех, распределение, чуть больше полгода на вращение в коллектив конструкторского бюро — и по комсомольскому набору в милицию. И за плечами в погонах — несколько месяцев на курсах и еще месяц уже в нашем райотделе. Плюс детективная мешанина из прочитанного: пифпаф, иду по следу, руки вверх!.. А Куртов сразу после армии и уже много лет. Куртов умеет себя контролировать и эмоции умеет придерживать. Главное — факты.

Факт — звонок в райотдел. Факт — обнаружен труп. Факт — банальный инфаркт. По предварительному заключению... Отсутствие события преступления. Собственно, наша с ним миссия окончена. И скорее даже моя. Все потому, что на стыке дежурств. И мне бы сейчас спать и спать. Тем более ночка была! Разбирались с пьяной дракой. Машина возвращалась с маршрута: «А я не лез, я разнимал! Витек, скажи!.. Разрешите доложить! Оказал сопротивление, хватал за воротник... Слушь, лейтенант! Будь человеком! Не трогал я вашего! Держал просто одной рукой, легонько! А другой рукой бутылку заканчивал! Так вы же все равно забрете, так хоть чтоб добро не пропадало! Ну, ты человек или кто?! Еще доставили! Нарушали ночной общественный порядок путем распевания песни «Как прекрасен этот мир» в непопозволенном месте...»

Спать хочется... Только «Салем» и «Шипку» одновременно не курят. Или то, или другое. Или... один курит одно, другой — другое... Значит, что? Был кто-то?.. А кто? А когда?.. До? После? Во время?.. Надо бы выяснить, кто здесь вчера гостил. Для Куртова важны факты, а разные окурки — это не факт?

Инфаркт инфарктом, но у фельетониста Гатаева врагов должно быть множество. Фельетон — не юбилейная речь. А неоказание помощи — тоже преступление. То есть Гатаев курил, скажем, «Салем» (как-никак пресса, и все такое), а второй — «Шипку». Тут удар с Гатаевым, а гость уходит. Не вызвав «скорой», никого не вызвав... А? Богатое у меня воображение! Снова детективная мешанина? Потому что первый раз сталкиваюсь с покойником? И Куртов снова смотрит на меня... Я его понимаю. Но!

Но это мы еще поглядим, так ли все просто...

Рядовой случай... Может, для людей с опытом он и рядовой, но у меня и ряда еще не выстроилось. Всего месяц с небольшим при погонах — какой тут опыт?! Да еще и в отпуск сразу — догуливать за свою бытность в КБ. Отпуск — это хорошо. И последнее дежурство. И Сашка уже свою «Яву» отладил, а я — свою. И уже договорено — сроки, горючее, маршрут. Средняя полоса — лучшее место для мототуризма. Только вот отосплюсь...

Тем более Куртов говорит: «Какое дело?! Какая прокуратура?! Езжай! И без тебя тут хлопот...» Тем более Сашка говорит: «Охота тебе! Ты же все сделал — выехал на место, осмотрел, доложил! И вообще уже не в твое дежурство! Поехали, а то дожди зарядят через неделю, дороги раскиснут!» И я говорю: «Нет уж!»

Странность моего поведения — не странность даже, а... В общем, оперуполномоченный Федоров Михаил Сергеевич, то есть я, не любит, когда ему говорят «и без тебя тут хлопот...». Он, наверно, действительно еще многого не освоил и не усвоил. Он действительно мыслит категориями затрепанных детективных книжек. Но тем не менее он знает, что опыт — дело наживное. И что его надо наживать. И пусть Куртов недовольно цокает языком, но я все же забираю — по протоколу — и кассету с магнитофона, и блокнот Гатаева, и еще один листик с пола.

Пока придет заключение о смерти Гатаева из области, пока Куртов получит его после вскрытия, пока будет составлен протокол об отказе в возбуждении уголовного дела: за отсутствием события преступления... До тех пор для меня событие остается событием... Смерть газетчика, фельетониста. В районном центре — это фигура. И обстоятельства странные... Куртов снова смотрит — я его понимаю. Но понимать и принимать — разные вещи...

— Сидорова! Ты мысли читать умеешь? Нет, ты мысли читать умеешь?!

Ага! Значит, эта пожилая очаровашка — Сидорова. Читал, помню, попадалась эта фамилия в нашей районной четырехполоске. Крепко, основательно. Правда, немного с придыханиями. Но интересно... Она и сейчас с придыханиями — но уже не пишет, а говорит. Человеку за столом, который сверкает ножницами.

— Ты, старик, должен понять, старик, что это интересно и нужно, старик! И читательницы ведь ждут, старик! Ведь на субботу же, старик! У меня, старик, уже грибной суп приготовлен на восемьдесят строк, старик! И зразы, старик!

— Си-до-ро-ва! — шумит «старик». — З-з-зраза! Уйди! Я сказал — у тебя хвост?! Я сказал — обрубая?! И обрубая! — Он продолжает сверкать ножницами, отсекал все лишнее, поливать клеем, пририсовывать кому-то зубы на фотографии. Ответственный секретарь — так на двери написано...

Но мне нужен редактор. «Старик» полководчески указывает ножницами на дверь: «Через одну комнату».

Через эту одну комнату иду под треск пишмашинки. Сидят в два ряда — слева, справа. Лицом к лицу. Дистанция два шага — перестреливаются, печатают. И вот по этой нейтральной полосе дохожу до двери со свежей табличкой «Ю. А. Дробышев».

Ю. А. Дробышев сидит в пелене дыма, курит и сокрушается в телефонную трубку:

— ...А я родился-учился здесь, женился здесь, развелся здесь... Ну, да! Еще в позапрошлом году... И умру, наверно, тоже здесь! — Вытряхнул из пачки «Салема» еще одну сигарету, прикурил от предыдущей. — А у них по плану только два сборника в год... Да нет! В порядке! Какая хандра?! Просто ною... Пройдет! Что? Хорошо, передам. Счастливо!..

Положил трубку. С тоской глянул на мою папку.

— Роман? Или записки охотоведа?

Потом он извинился, когда выяснилось, что сходство с охотоведом у меня чисто внешнее и что я об этом даже не подозревал. И он сразу понял и спросил:

— По поводу Лешей?

Я сообразил, что Алексей Матвеевич Гатаев был для Дробышева просто Лешей. И еще сообразил, что иначе быть не могло. Потому что и. о. редактора Дробышев на мое «говорят, вы были с ним дружны?» грустно усмехнулся:

— Семь лет за одной партией, пять в институте и здесь...

Он заметил, что дышу я весьма экономно, швырнул окурок в окно и предложил: «А то, может быть, прогуляться по свежему воздуху?» А про то, где он, кстати, умудрился «Салем» достать, между прочим сказал, что напротив в кафеюшке выбросили неделю назад, в редак-

ции блоками брали. Дорого, правда. Но вкусно. Он, Дробышев, в командировке был, но на его долю Митя купил. Какой такой Митя? А есть у них один...

Но в эту кафеюшку напротив он отговорил. Прощлись, нашли столики прямо в сквере. В кафеюшке «курить воспрещено», а тут Дробышев уже без угрызений совести снова задымил. И стал вспоминать:

— ...В школе наши стенгазеты, простите за нескромность, вызывали фурор. Но только у одноклассников. У педсовета они вызывали другие эмоции. Мы острили, язвили. Кому это может понравиться?.. Повод — любой. Сверстникам доставалось за коллективный побег с физики, завучу — за гонения на «мини». Нам при этом тоже доставалось. Но бояться карательных мер мы еще не умели. Потом... Я как-то остыл... А Лешка... он стал писать фельетоны. Это очень хлопотный жанр. Сейчас многие пишут «по следам». Проще некуда! Порок наказан, меру вины определил суд, все зафиксировано в протоколах. Бери, литературно обрабатывай, формулируй нехитрую мораль — готово! Но газетчик не рискует, понимаете! Так вот, Алексей рисковал всегда. Лез самую кашу. Иногда сам ее заваривал. Простите за пафос, ему было присуще чувство высокой гражданственности. Для него было делом принципа схватить мразь за заднюю лапку и выволочь наружу. Мразь лягается, пытается поглубже закопаться, царапается. А он выволакивает — вот вам конкретный головотяп, самодур, хулиган! Решайте и действуйте, товарищи! И тут ему говорят — это сор, понятно? А это наша изба, понятно? А сор оттуда, понятно?.. Ему было понятно? Ему было понятно, и он тем более считал делом принципа этот сор вымести. Не обращая внимания на препоны. Вам понятно?

Мне было понятно. И его комплекс вины перед Гатаевым, столь тщательно демонстрируемый. И его желание по-мужски поплакаться — вот ведь сидит человек, внимательно слушает и протокол не ведет. А какой, к черту, протокол, если просто лишился друга, а другу еще и сорока не было, а семь лет за одной партией... Только за тот месяц с небольшим, пока я «районку» регулярно читаю, не встречались мне что-то фельетоны Гатаева... Или месяц — это не срок для фельетона? Или Ю. А. Дробышев, как он говорит, «остыл». И научился сор из избы не выносить...

Мне-то, как только я заселился, сразу вменили —

подписка на местную газету. А то, что Сашке то же самое вменили у него на комбинате еще в январе — никого не касается. Ну и что, в одной квартире живете?! Ну и что — два экземпляра ежедневно?! А вдруг поссоритесь?! Тогда каждый свою газету будет читать... Логично! Но мы пока не ссоримся. И Сашка из своей комнаты шуршит газетой и выдает: «Ну, вообще!» В адрес Дробышева, кстати. Сашка орет из своей комнаты: «Что же он пишет?! Он же был у нас! Ребята ему все как есть выложили! А он: люди шли и улыбались... и хотя еще многое предстоит сделать, настроение в бригаде было отличное!.. Я бы ему показал сейчас свое настроение!»

В общем, так Ю. А. Дробышев и пишет. Не зашелочнет, не прогремит...

Тут он снова сигарету ухватил. И я ему сказал, что нельзя же так. Он снова усмехнулся:

— Ерунда это все! Ученые утверждают — если курить с шестнадцати лет, то к восьмидесяти годам непременно разовьется рак легких. Нам бы до такого срока дожить, а там пускай!.. Вон Лешка, ни разу сигареты в рот не взял, а в сорок лет...

— Как?!

— Что — как?

— Гатаев был... некурящим?

— Что вас так удивило? О, а как он с куряками воевал! Бурилов однажды принес в редакцию пачку «Данхилла» и на летучке царским жестом предложил. Все взяли. И Лешка тоже. Я сначала не поверил глазам!.. А он смял сигарету в кулаке и экспромтом: «Сигарета ядовита для коней и для пиита...» Мы так Бурилова зовем. Пиит. Стишками балуется. У него гора писем не разобрана, а он глаза в потолок — рифму потерял. И вообще, если честно, нам от него придется избавляться. Слабенький журналист. Но цепкий. В смысле стула. Не оторвать... Редактор наш еще до пенсии сколько раз с ним беседовал — не хотели бы вы, Дмитрий Викторович, переменить место?.. Нет, действительно! У нас коллектив подобрался хороший, профессиональный. И работы — не продохнуть. Все-таки пять раз в неделю выходим, хоть и «районка». А Бурилов откровенно не тянет. Зато отзывчивый!.. Вот и «Салем» — я ведь его не просил... Вообще в командировке был — а он для меня купил. Ну как такого... Да вы меня не слушаете!

— Да-да! — говорю. — Непременно. А как же иначе. Само собой...

И думаю: выходит, Гатаев никогда не курил... А пепельница на батарее отопления? А тарелка с окурками? А «Салем» с «Шипкой»?.. Вот тебе и факты...

Так и не выпался. И Сашке спать не дал. Он стал было меня поедом есть, но я ему:

— Понимаешь, сначала я решил, что «Салем» курил Гатаев...

И он мне: что да, резонно, что я же сам говорю про данные экспертизы — в чашке никаких ядов, про отпечатки пальцев — зачем их снимать, если криминала не было, тем более отпечатков должна быть тьма, друзей у Гатаева много было.

— И врагов, — добавляю.

— И врагов. Ну и что? Вот грянут дожди — плакали наши «Явы». Понял?! У меня, между прочим, тоже отпуск. А ты знаешь, сколько я нашего профсоюзного деятеля уламывал, чтобы в августе отпуск?! А ты — гость, гость!.. Ну пришел гость в гости. Погостил и ушел. Ну?!

— Гости, Саша. Гости, а не гость! — говорю я ему. И еще говорю, что Гатаев никогда не курил.

А Сашка не понимает, и я ему объясняю.

Тогда он садится верхом на стул и вертит пальцами, сосредоточенно бормоча: «Так! А это, значит, так. Тогда вот так...»

— Что ты мне голову морочишь?! — наконец приходит он к выводу. — Ладно! Пусть гости. Приходят они к Гатаеву, мирно беседуют...

— И один из них — сотрудник редакции. «Салем» завезли в кафе напротив редакции в один день. И в один день расхватили... Хотя про гостя-коллегу пока просто предположение. Мало ли кто еще мог соблазниться пачкой. Забежал в кафе случайно и купил. Но допустим...

Нет, не просто допустим — у меня в запасе есть любопытный листик бумаги.

— Ну-ну, — говорит Сашка. — Пьют, значит, кофе...

— Трое из одной чашки, — педалирую я. — Видишь! И «Шипки» выкурено две к девяти «Салемам».

— А если один из них не курил, а баловался?

— Балуются как раз «Салемом». Значит, так. При-

шел гость — Гатаев варит ему кофе. Себе — нет. Бережется — сердце. Сидят долго — девять сигарет по десять минут. Гатаев разносит в пух и прах стишки гостя. И тот уходит. Позже появляется второй. С «Шипкой». Явно не достоин чашки кофе. Пока не знаю, что там происходит, но Гатаев хватается за сердце, а гость... уходит. В панике. Или без паники... А?

— М-м-м... Ничего! Убедительно. Но! Ладно, пусть гости. И пусть один после другого. Что из того? Хозяин мог схватиться за сердце, уже проведив обоих и сев за машинку. Вот, кстати! Сидеть за машинкой при гостях не очень-то вежливо.

— Саша! Гатаев не мог работать после. Ночью стук машинки — как молотком по голове. Я бы на месте Гатаева сначала закрыл дверь в свою комнату. Квартира же с подселением.

— Ты же сам говорил... Что соседка в ночную смену работала.

— Тем не менее. И потом, не думаю, что Гатаев высчитывал, как его соседка работает. В любом случае при закрытых дверях ему спокойней. Вот мы с тобой вдвоем. Ты дверь закрываешь?..

— Да-а-а... Логично. А откуда ты взял, что Гатаев долбал какие-то стишки?

— На! — и я даю Сашке листик, который подобрал в комнате у Гатаева. И на листике напечатано:

Опять тепло подземных переходов,
И белыми полотнами дома.
С какого-то неведомого хода
Прокралась в осень хмурая зима.
Опять затянут город пеленою,
Опять несвоевременный налет.
Белеют облака над головою,
Как на веревках белое белье.
Автобусы — подстреленные птицы.
Не различить асфальтов и дорог,
А снег идет размашисто на принцип
И все меняет с головы до ног.

— Белиберда! — говорит Сашка. — Тем более откуда сентябрь, если сейчас август?.. Или он прошлый год имел в виду? Было такое... Какая-то у автора замедленная реакция... Ну ладно! Дальше-то что?

— Дальше переверни листик. Молодец! Читай. Можешь вслух.

И Сашка читает. На обороте написано карандашом:

Летят в корзину белые страницы,
Как на веревки белое белье —
Пиит идет размашисто на принцип
И снова в руки карандаш берет.
Опять поэту нашему не спится —
К друзьям несвоевременный налет.
Они сидят — подстреленные птицы,
Слова и мысли зная наперед.

— На-а-армально... — реагирует Сашка.

— Так вот. Видишь дату? Тот самый день. Соображаешь? «К друзьям несвоевременный налет» — соображаешь? Карандашом — это Гатаев. А сами стихи — на машинке, но не гатаевской. Шрифт другой.

— У нас в цехе есть поэт. Серега. В стенгазету пишет. «Мы чиним насосы. В маслах, в купоросах. Такие вопросы. Решать нам непросто». И в газету тоже послал. Ему обратно все время приходит. Но — «с уважением». Там так и написано всякий раз... И в каждом цехе — по стенгазетному поэту. Представляешь, сколько их по всему городу?!

— Представляю, — говорю я. И представляю. А сам себе думаю...

И опять мы с Ю. А. Дробышевым сидим у него в кабинете. И я ему явно мешаю, ему явно надо работать. И я понимаю, в общем-то, что у него номер горит. Все-таки «районка» пять раз в неделю выходит. А сотрудников в газете не так уж много. Впрочем, теперь еще меньше. Гатаев...

Поэтому Ю. А. Дробышев сначала выдерживает меня с часик перед кабинетом. Но нет худа без добра, и я листаю подшивку, ищу фельетоны Гатаева, нахожу их только через газетных полгода — где вместо «и.о.» стоит другая, незнакомая мне фамилия: редактора, ушедшего на пенсию. Читаю. Нравится...

Наконец Ю. А. Дробышев впускает меня. Сидим.

— А кто-нибудь знал о его больном сердце? — спрашиваю.

Ю. А. Дробышев оживает. Ему хочется помусолить эту тему. Снова суровый, удрученный мужчина отыскал жилетку. И он говорит, что никто и никогда, что у Леш-

ки было большое самолюбие, что вот как раз редактора на пенсию провожали, что много съели-выпили, что духота... И Лешка там сломался. Только не там, а когда уже все разошлись, и они вдвоем до дому добирались. И Лешка зубы сцепил и повалился. Потом сам по стенке поднялся. Это когда друг Дробышев раскис и... заплакал. Потому что ни одного такси, и телефона рядом нет, и вообще на улице никого нет. И кому быть в два часа ночи? И вот Лешка сам поднялся по стенке. «Не пугай, — говорит, — сам себя!» Еще говорит: «Ну, перепил! Бывает со мной!» И они потихоньку добрались до его дома. Соседка не спала, вязала что-то на кухне. Лешка ее успокоил, называется! «Это, — говорит, — мы с проводов редактора! Вы же понимаете!..» А он и выпил-то всего две рюмки. Так вот...

Ю. А. Дробышев вздыхает, отгоняет воспоминания и облако дыма:

— Вы знаете, что журналист использует в фельетоне десятую часть собранного материала?

— А остальное?

— Хранится в папке до суда. До возможного суда. У Лешки как раз за три года до редакторских проводов суд был. Выиграл. Был такой «Терем-теремок» у него. Вот так-то... Вы давно у нас в городе?.. А, ну тогда не помните — до вас еще... Выиграть-то выиграл, но нервы... Вот и сломался... А «Будет музыка, будет вечная музыка» читали? А, вот сейчас, да?.. Это его последний опубликованный... Ну, вот. Лешку тогда избили. Он прямо к ним сунулся, к фарцовщикам. А они его избили. Утром приходит, говорит: «Это у меня лицо в клеточку — всю ночь на авоське спал...» А вы вот, милиция, кстати!.. А меры не принимаете! А хулиганья расплодилось!

Тут я разозлился. Потому что хорошо ему плакаться! И, как сам же Ю. А. Дробышев пишет, «многое еще предстоит сделать». Но, во-первых, меня тогда и в городе еще не было. А во-вторых, листал я сводки, знакомился, в бумагах копался — ни от какого Гатаева заявления в райотдел не поступало. А фарцовщики — народ тертый. Им реклама ни к чему. Это не алкаши на лужайке. Дела свои они делают тихо, даже если бьют. И еще! У Гатаева — большое самолюбие. У Дробышева — тоже. Правда, своеобразное какое-то, самобичующее. А я что?!

— А мы вот, милиция, кстати, — говорю, — хотели бы выяснить, не знаком ли вам автор этих стихов.

— Знаком, — говорит Ю. А. Дробышев. — Это наш прият. Ну, Бурилов Дима. Помните, я рассказывал? Конечно! Это его «Эрика». Видите — «д» западает. На ней еще только Селихов печатает, но он, слава богу, стихов не пишет. Зато какие у него экономические обзоры! И ведь фактура — цифры одни! А он так умеет читателя затянуть, заинтриговать! Вы читали?..

Я читал. На самом деле умеет. «Осень. Унылая пора, очей очарованье... Поэту вольно было совмещать два взаимоисключающих понятия. Но цифры однозначны, они не допускают двоякого толкования. Проанализируем, попробуем определить, что же получается на пороге осени у работников комбината. Унылая пора? Или очей очарованье?..» Да, умеет Селихов. Но раз уж он в материале поэта упоминает, то и сам, может быть, грешен? И стихи про снег в сентябре — его?

— Да что я, в конце концов! Своих сотрудников не знаю?! — это Ю. А. Дробышев поглаживает себя, пусть неосознанно, по своему своеобразному самолюбию. Все-таки на данном этапе он — и. о. редактора. И пусть этап этот продолжается пока недолго, но все же... Чувствует он себя неплохо. А чтобы и впредь так же себя чувствовать, рубрику «Фельетон» пока из газеты исключил — как подшивка показала. А с Гатаевым, наверно, дружески беседовал не раз, объяснял специфику момента, увещевал не торопиться, семь раз проверить... Дружески так... Все же как-никак семь лет за одной партией и так далее... Ну что же! Спокойно жить не запретишь. И либо мне кажется, либо я догадываюсь, почему Ю. А. Дробышев столь охотно пускается в воспоминания. «Поезд ушел», Гатаев со своими делами принципа уже не будоражит. Никаких хлопот... Впрочем, это снова мои домыслы. Это не факт, как говорит Куртов, который намылил бы мне шею за «мешанину»...

А Бурилов оказался очень забавным. Все разошлись, а он за своей «Эрикой» стучит. Стихи? Точно!.. Ему очень хотелось выглядеть респектабельно. И, как всегда в таких случаях, получалось наоборот. Пиджак и цветастая рубашка велики — шея торчит из ворота чайной ложкой в стакане. («Лирика!» — суровый Куртов!) Зато это были настоящие блайзер и батник. Манжеты батника прятались в рукавах блайзера, но минутно вытягивались владельцем наружу (не пропа-

дать же таким запонкам!). На подбородке росла колючая проволока, грозящая перерасти в жидкую бородку. А волосы старательно зачесаны с затылка на лоб. «Внутренний заем» — так это называется. Лысеет уже поэт Бурилов. Тяжек путь творческой личности. Где-то мне попадалось: «Поэт не должен быть ни толстым и ни лысым. Красавцем должен быть! И в этом главный смысл!»

Я кладу перед красавцем листик и спрашиваю, не он ли это потерял. Он говорит:

— Опять тепло подземных... Ага! Мои! — И вопрошает взглядом.

— Есть что-то общее с Рождественским, — говорю я, нагло лстя.

— Это что! — воссиял Бурилов. — Это еще не доведено до кондиции! Вот «Волосы» — на самом деле. Читали? — Он вытягивает из стола стопку вырезок и тщательно-небрежно пододвигает «Волосы».

Не надо беспокоить волосы!
Не надо прятать их назад!
Они, как дождевые полосы,
Исполосовывают взгляд...

Дальше я уже не читаю. Потому что раньше читал. Еще не в вырезках, а в литературной странице «районки» две недели назад. Откуда и вырезано. Только фамилия не Бурилов, а Крепкий. Ну, конечно! Псевдоним. То-то я Бурилова на страницах газеты не помню...

Но я все равно глазею в эти строчки, чтобы дать пинту время сообразить. И боковым зрением вижу, что он глазеет на листик, который я ему принес. И он сглатывает, а я отрываюсь наконец от «Волос». И Бурилов-Крепкий понимает, что с раздачей автографов надо будет подождать. И спрашивает:

— Вы-ы-ы... из милиции?

— Продолжайте, продолжайте! — подбадриваю.

— Я не виноват! — вдруг выпаливает он.

— В чем?

— Ни в чем!

— Правильно!

Вот наказание-то! Мама небось в детстве пугала: придет милиционер и посадит в мешок.

— А теперь, — говорю, — Дмитрий, расскажите подробно, как вы провели вечер у Гатаева.

И когда Ю. А. Дробышев выходит с деловитым видом, парой бумажек и фразой «Дима, тебе тут надо...», я говорю:

— Извините, нам тут надо...

— Извините, — говорит Ю. А. Дробышев.

— Это вы извините, — говорю Ю. А. Дробышеву.

— Пожалуйста, — говорит он. — Не буду мешать. Извините.

Так мы содержательно поговорили.

И пиит Крепкий, корреспондент отдела писем Бурилов, рассказал. Что пришел он к Гатаеву в десятом часу. Дверь у него еще там скрипит. Вот. Но это, наверно, не нужно. Что дал он, Бурилов, ему, Гатаеву, свои стихи. И тот их прочел и молчит. И он, Бурилов, спрашивает: ну, как? А Гатаев говорит: «Как сказал бы наш «старик», ты мысли читать умеешь?.. Ну, мое счастье!» И пошел кофе варить. Он всегда всех кофе угощает, а сам не пьет. Говорит... говорил: аллергия. Но это, наверно, не нужно. И он, Бурилов, ему, Гатаеву, рассказывал, что стихов уже набралось на сборник целый, и ему обещали... Но это, наверно, не нужно... И он, Бурилов, еще посидел... «Салем»? Ага! Это он, Бурилов, курил. Ой, угощайтесь... И правильно! В общем-то, он, Бурилов, тоже собирается бросать. А то накладно... А окурки, да, в тарелке гасил. Пепельницу не нашли... На батарее была?.. Н-н-ну, вот... и-и-и.. и он, Бурилов, ушел... Да! Еще пока сидели, телефон раза три звонил. Алексей Матвеевич брал трубку и только «нукал». Потом потянулся и говорит: «Очень много разных мерзавцев ходит по нашей земле и вокруг». Ну, Маяковский... Но это, наверно, не нужно... Когда? А как раз полдвенадцатого пикало... И он, Бурилов, ушел...

Сашка слесарил в ночную смену. Выдернули — производственная необходимость, конец месяца и квартала. Оставил записку:

«Ты где-то ходишь, а за тобой уже приезжали. Из милиции!!! Мужик. Особые приметы: брюнет и злой. Расхлебывай. Расхлебаешь — прочисти свечи на колясках. Завтра — в седло. Понял?!»

Значит, брюнет Куртов уже приходил делать внушение. А что я сделал?! Просто сижу вот теперь у себя дома после общения с интересными людьми. Хочу —

общаюсь!.. А пока жду, когда закипит чайник, разлепляю листы гатаевской записной книжки, склеенные пролитым кофе. И еще верчу «Спутник» соседа Сашки, который называет его усовершенствованным, а я называю изуродованным. И пытаюсь понять, что и где у этого магнитофона подключается и нажимается. Чтобы просто прослушать кассету, которую я уже слышал. В комнате Гатаева.

Записная книжка...

«Цветы и стихи — это свято. В больших городах, а наш город, безусловно, большой, нет горных массивов с порослями и зарослями эдельвейсов, но есть Садиевы с букетами. Отдать последние рубли за несколько гвоздик для дамы сердца, когда до полочки еще неделя — тоже своеобразный подвиг. Почти то же, что влезть на что-нибудь неприступное и найти эдельвейс. И покупатель понимает это. Во всяком случае, чувствует голодным животом и... с гордостью-радостью отдает последнюю трешку-пятерку-десятку. Садиевы тоже понимают это и взвинчивают цены. Все равно купят... Проконсультироваться у «тепличников»: почему это у них ничего не растет, а у спекулянта растет все... Садиев — повод. Проблема городская.

ЭТО ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ, ЯГОДКИ ВПЕРЕДИ...
Проще. **ЭТО ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ.** Теперь — ягоды... То есть фрукты. Они же в изобилии у Садиева и ему подобных, а в ОРСе... Снова выводить на ОРС, потребкооп и пр. Лето, почти осень, но весенние ассоциации: набухают карманы спекулянтов, зеленеют лица покупателей...

Блицинтервью с Садиевым...

Не уступил бы место женщине, даже сидя на электрическом стуле... Нет, не для Садиева. Это — Пожар. Жаль — проехали.

Пьянки — рискнуть на месте. Ив. — 26.08...»

Такая книжечка мне на сегодняшний вечер досталась. Вот тебе и «иду по следу». Следов наслежено... Тут выбирать надо... Садиев — спекулянт. Так я понимаю, что Гатаев от него хотел оттолкнуться и предъявить счет определенным хозяйственникам в городе. Которые считают, что на демонстрацию, к примеру, можно и с бумажным тюльпаном пойти, а свежие огурцы, шампиньоны, помидоры — да, товарищи, здесь у нас еще встречаются на отдельных участках отдельные не-

достатки, которые мы обязательно ликвидируем, как только решим более главные, определяющие задачи...

Судя по специфическому выговору на пленке, блиц-интервью состоялось. Только где и когда? Недавно. А где? Хорошо, если на рынке. А если в дикорастущем «кочаге», которых с десятков будет?.. Так. А зачем мне этот Садиев нужен?.. Очень просто! Фельетон еще не написан, только готовится. Врагов у фельетониста много. Делятся (грубо) на две категории: первая — «опубликованные», горящие жаждой мести; вторые — «еще не опубликованные», горящие желанием не попасть на страницы. Садиев — вторая категория. М-мда?.. А не все ли ему равно, что о нем пишет местная пресса, если он скинет цветочки-ягодки и с чемоданом денег вернется домой жить-поживать, добра наживать на следующий сезон? Нет, не все равно, если говорит «под землей найду, на кусок резать буду, нож сюда войдет — отсюда выйдет». Интересно!..

Дальше. У Гатаева в книжке — «жаль — проехали». Что проехали? Электрический стул, пожар... Фельетон на тему «Детям спички — не игрушка»? Мелковато. Да и пожаров в городе век не было!.. Будем думать, товарищ Федоров, будем думать...

Пьянки. Где Гатаев собирался рисковать с пьянками? 26 августа — Ив. Ив. — это: Иванов, Ивашов, Ивкин, Ившин, Ивакин... У-у-у... Вспомним лист в машинке: ПЬЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА... Подпольное самогонарение?.. Вот и разберись тут!..

Но был же там, у Гатаева, второй! Был! Не Бурилов. Последний, видевший Гатаева живым, и первый, видевший его мертвым! И сбежал. Правда, в медицинском заключении сказано о том, что смерть наступила сразу. Но второй-то гость откуда это может знать?! Ноль три позвонить! Без монетки!.. Не позвонил! И это факт. Это факт, коллега Куртов...

...И Куртов стал мне демонстрировать, какой я дурак. Какой я, во-первых, нечуткий дурак — пришел в редакцию, где потеряли одного из лучших сотрудников, и стал вести себя, по словам товарищей из газеты, настоятельно: какие-то задушевные беседы, смахивающие на допросы, и какие-то допросы, смахивающие на задушевные беседы. И это при том, что у товарищей из

газеты, по их же словам, каждая минута на счету и каждый сотрудник тоже...

Так! Значит, не только он мне, но и я ему, Ю. А. Дробышеву, в конечном счете не понравился...

Дальше. Какой я, во-вторых, невнимательный дурак: прослушал кассету с угрозами и решил последовательно объездить весь город, отыскивая Садиева методом исключения. В то время как Куртов может вот сейчас у меня на глазах дать точные координаты этого цветочника... А вот как — убираем в магнитофоне низкие тона, вводим до предела высокие и слушаем, внимательно слушаем! И не диалог, а толпу — на втором плане... И сразу имеем две фразы: «...пятерка останавливается?» и «за углом». Прослеживаем маршрут «пятерки» — автобуса: где на протяжении маршрута попадают дикорастущие «очаги» цветочников? Правильно — на Историческом бульваре. Вот так-то...

Далее. Какой я, в-третьих, беспочвенно-эмоциональный дурак. Услышал на пленке угрозы, начхал на причинно-следственные связи, на мало-мальски убедительную мотивировку. И представил себе, что: узнал Садиева, где Гатаев живет, явился среди ночи, рожи стал корчить, кинжалом махать. Не пиши, мол, фельетон. Бац! И эмоциональный инфаркт, да? А утром следующего дня пошел Садиев опять на Исторический бульвар и стоит себе с букетами как ни в чем не бывало... Естественно, Куртов это знает. Но у Куртова в голове не «детективная мешанина», а трезвая логика. В отличие от Федорова!..

Далее. Какой я, в-четвертых, недальновидный дурак. Уцепился за кассету и записную книжку. Но не обратил внимания на фельетоны Гатаева. А там, между прочим, интересные фигуры. И Цеппелин и Хай-файщик, соперничающие перекупщики, «честные любители музыки». Которые не прощают, когда у них реквизируют «товар»... Конечно, Федоров их не знает, не сталкивался — без году неделя работает! А Куртов знает, сталкивался. И пусть фарцовщики не прощают милиции, ладно! Милиции от этого не убудет. А если они не прощают фельетонисту, то...

Далее. Какой я, в-пятых, недисциплинированный дурак. Который занимается не своим делом и только мешает. Сказано ему — отсутствие события преступления?! Сказано ему, что даже если и... то этим должна заниматься прокуратура?! И ему бы, дураку, давно бы отды-

хоть, пока не вызвали «на ковер». Ему бы, дураку, истолковать сегодняшнюю беседу правильно и не обижаться. Дело ведь говорит...

Очень убедительно Куртов мне все изложил. И ведь прав был по всем пунктам! Только он одно упустил. Какой я, в-шестых, упрямый дурак. И эмпирик. Мне скажут: кипяток! И пар валит, и булькает... Но я все-таки руку суну, сам попробую. И потом скажу: «Да! Кипяток!»

— Ты кто такой! Ты кто такой! Еще насканивает!

Ладно. Представляюсь... И Садиев сразу пугается. «Чего?..» Вильнул произвольно бедрами Садиев. Но по бокам — могучие, непоколебимые тетки с букетиками васильков. И он вдруг истошно завопил:

— А что такое?! Что пристал?! Никого не трогаю! Свой участок есть! На справку! Читай! Что тебе от честного колхозника надо?!

Ничего не надо... Нюхаю хризантему, купленную только что за «рубль», говорю:

— Тс-с-с... Зачем же кричать? И справку свою спрячьте. Там у вас подпись поверх печати... — Это я наугад. — Просто теперь вы знаете, кто я. И не будете хамить.

— Начальник! Кто хамит?! Я вежливый совсем! Хорошо говорить — кто «нет» скажет?! Я всегда «да» скажу! Стою здесь, уставаю как ишак! Честно стою! Человек приходит, другой приходит, еще приходит — «спекулянт» мне говорит! Я спекулянт?! Я не спекулянт! Цветок видишь?! Людям радость делаю...

Как он мне про эту радость, которую он делает, сказал, так я и вспомнил. И еще раз убедился, что мир тесен.

Месяц с лишним назад. Как раз я сюда и приехал. И по городскому рынку решил пройтись — как раз у вокзала. И Садиев такой же нахальный и золотозубый был... Помидоры! Да, помидорами он торговал. Про цену я даже не спросил — зачем расстраиваться? Зато спросила старушка, вернее — потрогала пальцем один из томатных недозрелых (с желтизной были, «чемоданные», в дороге дозревали, вероятно). И Садиев в громадной кепке ловко шлепнул старушку по пальцу:

— Руками нельзя. Понятно?! Любой бери. Все хоро-

шие! На выставку можно!.. Сколько стоит?.. — И назвал цену.

— Ого! Это за дюжину помидорин-то! Ничего себе!..

Тут-то и появился высокий бородач в драных джинсах и в какой-то очень уж роскошной футболке. Взял один помидор, понюхал, картинно сморщился и швырнул его обратно.

Продавец вскипел:

— Что надо? Иди отсюда быстро! Товар не трогай, бандит! Три тыщ километров вез! Людям радость делаю...

Бородач недобро сощурился:

— Радость, говоришь?! Зеленьтину такую — за дикие деньги?! Самолетом нравится летать?! А ну, пшел отсюда! Еще раз увижу...

— А! Что ты мне сделаешь?! — подбоченился продавец.

— Вот... вот эту чашку по твоей физиономии размажу!

— На! Размажь! — И он засветился золотыми зубами.

Бородач пожал плечами, сказал «ну, если ты просишь», взял с весов чашку с помидорами и вмял ее в ухмылку, разом погасив блеск зубов и глаз.

Дальше стало смешно. Потерпевший прыгнул, завяз грудью в массу овощей и замолотил кулаками по воздуху. Часто моргал, стряхивая с ресниц розовую кашу, и звал милицию.

Бородач отодвинулся так, чтобы кулаки не достали до него, присел и вкрадчиво заговорил:

— Ай-яй-яй! Обидели тебя!.. Сейчас милиционер придет... и тебя же, спекулянта чертового, заберет!!!

А я, еще проталкиваясь сквозь толпу, думал, что история получается веселенькая в первый день приезда. Только забирать надо не спекулянта, а бородача. Злостное нарушение общественного порядка... И так и получилось. Когда возник сержант, опередив меня, выдернул продавца из помидорного месива и громко:

— Хулиганим?!

— Что ты, начальник?! — радостно заорал тот. — Это не я, э! Вот он! Держи его! Бандит, э! — И попытался ногой лягнуть бородача. — Я тебе трогал?.. Начальник, я стою! Вот, помидор продаю! Он пришел, товар спортил, мне ударял! Пусть деньги дает!..

А бородач никуда и бежать не собирается — стоит и удовлетворенно все происходящее наблюдает.

И сержант переходит на деревянный голос:

— Пр-р-ройте, гражданин!

И они проходят.

А когда я вхожу в райотдел доложить о прибытии, то снова эту компанию вижу. Внизу, в дежурке. И бородач уже удивлен, начинает почимать, что ему светит пятнадцать суток. Покорно бурчит:

— Панкратов... Александр... 1956-го...

...А когда меня поселили в квартире с соседом (временно, конечно: он — одинокий, я — одинокий, много ли надо, пока очередь на квартиру подойдет), то я своего соседа первые две недели и в глаза не видел. И вдруг сосед появляется — сердитый и бородачатый. Представляется: «Панкратов... Александр...» Так-то вот...

Мы к его «рыночному» приключению, конечно, возвращались.

— Значит, ты считаешь, что тот сержант прав был там, на рынке?

— Закон, Саша, закон... А то ведь и до суда Линча можно пойти с твоими выходками.

— А все-таки... — Он щиплет свою бороду. — Я за такие деньги целый день вкалываю, в насосах ковыряюсь, а он?! А сколько той старушке нужно, чтобы на его помидоры согласиться? Вот сходит на рынок три раза — и нет пенсии... И мне же еще хулигана припаяли!

— А что? Нет? Хулиган и есть! Злостный.

— Вот как слезу сейчас с дивана! Как дам по шее!

— Ну! Видишь! Опять... Сам же...

...И этим самым помидорным продавцом в нашем очень тесном мире оказался Садиев. Я ему говорю:

— Послушайте, это не вы потерпевшим были? На рынке. Месяц назад.

— Ва!!! Я!!! — обрадовался Садиев. — Начальник!!! Не узнал сразу! Ты милисия был, когда тот бандит милисия приводил!.. Стой! Сейчас машина будет! Ресторан едем, угощать будем!

Пока он захопывал и защелкивал свой чемодан с цветами, я ему сказал, что в ресторан не поеду — сыт по горло. А по бульвару с удовольствием прогуляюсь.

— Зачем обижаешь, начальник?!

— Служба, — говорю совсем некстати.

И мы гуляем по бульвару. Садиев частит, что город

здесь у вас красивый, много городов видел, но ваш самый красивый, и милисия — хороший человек!..

— Гатаев — хороший человек... — скольжу.

И Садиев сразу захлопывает рот, соображая — встреча старых знакомых не получилась.

— Какой Гатаев?! Что говоришь?!

— Не морочьте голову, Садиев, — блефую. — Знаете вы эту фамилию. Иначе не нашли бы ее в телефонной книге.

— Дальше что?! — Плюхает чемодан на скамейку и сам — рядом. Законы он, как и всякий спекулянт, знает, наверно, даже лучше меня. Ну нашел фамилию в справочнике. Ну и что?

И когда я лезу за пазуху, Садиев заинтересованно наблюдает — что я там извлеку? Не пистолет же!..

Конечно, не пистолет. Достаяю Сашкин «Спутник», на клавишу давлю:

— Ваши угрозы?.. А когда звонили, то что ему говорили?

— Ва! Подумаешь — звонил! Два слова сказать нельзя?! Шутил просто! — Он хоть и знает, что пленка — не доказательство, а если и доказательство, то чего, собственно? Но чуть растерялся. Почему?

— Три звонка среди ночи — шутка? — дожимаю.

— Один! Ва! Начальник! Клянусь — один!

— Живешь где?! Быстро! Здесь, в городе, где живешь?! Адрес.

— В гости, да? Приходи, начальник! Пионерская. Дом четыре, девять квартира. Балкон зеленым красным крашены! — И он, как тогда на рынке, выпускает наружу блеск зубов. — Когда придешь, начальник?! Ресторан не хочешь, дома угощать буду!

Издевается! А что ему?! Не подписку же о невыезде с него брать...

— Завтра приду, ладно? Договорились? Жди. Понял?!

Он понял. И я понял. Что на пляску смерти в гатаевской квартире он вряд ли способен. Трусоват. И не его это профиль. Да еще два звонка... Предположим, он звонил только один раз. Шутил!.. Ы-ы-ых-х-х!.. Про адрес свой — нет, не соврал. Зачем ему врать? Завтра увидим. Но только завтра... А сегодня есть мысль не потерять вечер и навестить «гайд-парк». Это мне Куртов хорошо подсказал в язвительном пылу про Цепелина и Хай-файщика. Другое дело, что тот же Куртов

накостыляет морально коллеге Федорову за авантюризм и самодеятельность. Хорошо, если только Куртов. А если «на ковер» к начальству?.. Хотя... Никаким своим служебным положением я вроде не злоупотребляю. Редакция? Никому не запрещено туда приходить. Вопросы мои — тот же Ю. А. Дробышев мог меня с моими вопросами послать куда подальше. Но ведь не послал... И Садиев тоже, кстати. И тоже не послал.

Если же предстоящий «гайд-парк» проанализировать, то Михаил Федоров идет туда просто так, культурно отдохнуть.

Только сначала надо бы поспешить домой, выловить там любителя современных ритмов Александра Панкратова и...

— И зачем они тебе? Только давай не придумывай! Мол, у знакомой одной день рождения! — Проницательный он человек, Сашка. И неотвязный.

Я рассказываю. Про Цепелина и Хай-файщика. Сашка говорит: ну и что? Он их сам знает. Встречались. Это сейчас ему друзья пластинки привозят из рейсов — на сухогрузе вкалывают. А раньше общался он с Цепелином раза два. Про Хай-файщика только слышал. Конкурирующая фирма. Поэтому вместе с Цепелином его не увидеть.

Я рассказываю. Что Гатаев написал фельетон, а они его избили. Сашка говорит: ну и что? Фельетон читал. Хороший фельетон. А при чем здесь товарищ Федоров Михаил?

Я рассказываю. Что собираюсь, выклянчив на вечер одну-две самые свежие пластинки у друга Сашки, пообщаться с Цепелином, вопросы позадавать разные...

Сашка говорит: ну, вообще! И объясняет, что друг его Федоров Михаил — дундук в музыке полный. Что дундука Федорова распознают в два счета и наломают ему хорошенько, чтобы не вводил честных любителей музыки в заблуждение. Или вообще не станут разговаривать. Кто его знает, дундука-новичка, откуда он...

— Пластинок жалко? — провоцирую.

— Тебя жалко!.. И пластинок, конечно... Ладно!.. Вот если бы ты снял свои контактные линзы и нацепил очки, то сошел бы за козла-интеллигента... А то вместе прогуляемся?

Вместе мы не прогуляемся — Сашку я в авантюру

втягивать не хочу. Хотя он бы мне действительно пригодился — в музыке я на самом деле дундук. Очки — да. Тут Сашка прав. И не для того, чтобы внешность изменить. Это только у Дюма — завернулся в плащ, передел перчатки: и тебя никак не узнать. Город большой, а Михаил Федоров за месяц-то не успел всем и каждому глаза намозолить. Но «образ» козла-интеллигента создать надо. Который в музыке не разбирается, но знает: вроде эти пластинки чего-то стоят, а деньги нужны срочно. Пусть даже и надуют, но все-таки хоть сколько-нибудь...

В общем, повторим путь Гатаева. Хороший фельетон...

«— А вот еще есть обалденный диск, — раздвинул я знатоков плечом. — «Уайтсnek» по сравнению с ним — детский сад!.. «Пер Гюнт» называется.

Они насторожились. Как это так? Они — и не знают! Посыпались предположения:

— Это сначала «квакушка», а потом сразу «Ме-е-ехе-хей!»

— Нет, как ты говоришь, это — Планта. А как он говорит — там сначала тихо фуз идет, потом ударник как долбанет!..

Мне хотелось сказать, что нет там никакого ударника, что Григ лиричен, и ударник несколько не в его духе. Но появился Цеппелин...»

Эх, появился бы Цеппелин сегодня. «Диски»-то свеженькие, последние из присланных Сашке.

Ключет?

«Гайд-парк» — просто наш парк, конечно. Нормальный парк, никакой не зловещий. Кафе летнее с танцплощадкой. Мороженое. Кофе. Бежевый, правда. С молоком. Никак автомат кофейный не установят... Только тут разная шатия-братия одно время пыталась пить не кофе и закусывать не мороженым. Куртов говорил, что ребята из комсомольского оперативного отряда сами справились. Даже нашего вмешательства не понадобилось, только общее руководство... А вот Цеппелин и компания — дело другое. Мимикрируют. Сидят, мороженое кушают, про музыку разговаривают. А сам факт купли-продажи, естественно, не за столиком.

Значит, тоже посидим за столиком, покушаем мороженое. И скажем:

— «Ричи — Повери» — дешевка! Классику надо уважать! «Джон Леннон коллекшн»!

А теперь следить за реакцией. А реакция вот она, включается в разговор. Реакция втиснута в штаны с орлом на поясице, в «Монтану». И непонятно, как там все поместилось. Живот свисает, как... как цеппелин... Ага!

— Я гляжу, дружок, ты в этом деле волокешь, нет? — спрашивает Цеппелин.

Конечно, волоку! Еще как волоку! И полностью согласен с Цеппелином, что старенький бит интеллектуальной диско. А в диско — однодневки. Из мужиков только Барри Уайта можно уважать. Бас как у попа. И полностью согласен с Цеппелином, что рядом с неведомым мне Уайтом разве что Джоплин можно поставить, что у того бас еще мощней — колонки не выдерживают. И полностью согласен с Цеппелином, что Леннон тем не менее остается Ленноном, хотя у него просто козлетон. Зато когда он флейту берет, то это отпад! И полностью согласен с Цеппелином, что диск «Джон Леннон коллекшн» — штука стоящая. Если бы не деньги, которые срочно нужны на одно дело, то ни за что бы не расстался. И полностью согласен с Цеппелином, что лучше этот диск загнать настоящему ценителю. Конечно, не здесь! Конечно, выйдем куда-нибудь! Заодно поговорим о цене.

И мы выходим куда-нибудь, Цеппелин все говорит, а я все соглашаюсь. И думаю: не слишком ли часто я с ним соглашаюсь?

А в проходном дворе он останавливается, придвигается вплотную и объясняет:

— Дружок! Видишь ли, дружок... Джоплин это не он. Это она. И не бас у нее, как ты уже понял. А Леннон никогда на флейте не играл. Понимаешь, дружок?

Нечто в этом роде я и предполагал. Гатаевский урок, как я и предполагал, пошел Цеппелину впрок. И он меня на своеобразном «Пер Гюнте» уловил. Это значит, что надо повышать свою эрудицию даже в таких дебрях, которые тебя не волнуют. Но главное — что я его, Цеппелина, вытащил из парка и что мы сейчас одни, без его свиты. Что и требовалось... И повышать эрудицию я буду потом, а пока Цеппелин говорит:

— Худо, дружок. Понимаешь, нет?.. Так что ты иди откуда пришел, если не хочешь приключений на одно место... Нет, пакетик с диском ты, дружок, оставь. За-

чем он тебе, дружок? Ты же не волокешь... — И он пытается вырвать у меня пластиковую сумку с пластинкой.

Я, естественно, возражаю. Тогда он говорит: «Ах ты, сука!», подпрыгивает, целясь каблуком в лицо. Мода на каратэ, и каждый хоть что-то умеет. Но умеет Цеппелин не много. Пусть он Хай-файщика так пугает, конкурента своего. А я ловлю ступню в захват и проворачиваю. Цеппелин шумно падает. Выпрямляюсь и тут же получаю по копчику носком туфли. Боль невозможная! И еще носом в асфальт утыкаюсь. Это только в моей «детективной мешанине»: гулко застучали шаги в подворотне. В вельветах бегают, в кроссовках. Шпана!

Шпана окружает меня кольцом, и пока кулаки тарбанят мне по спине, соображаю: раз — нога, два — нога. Отлично! Коленом — оп! Есть прорыв. Перескакиваю через скрючившуюся шпану, прыгаю к стене. Думаю, что так жить еще можно, но... Со шпаной-то я справлюсь, а вот если Сашкин конверт с пластинкой помнут, то он мне точно голову оторвет. И отвлекаюсь. Сумку пластиковую поаккуратней поставить. Тут меня по плечу — хр-р-рясь! Мысль еще юркает: не железный ли прут? И потом мне становится темно.

Когда становится светло, то становится плохо. Во рту — будто наглotalся оловянных солдатиков. Хочу рукой пошевелить, но она не хочет. Так! Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу... А как у меня дела с этими?.. Очки даже украшают. Вообще второй после шляпы признак интеллигентности. И только вот так, шаря по асфальту, начинаешь чувствовать себя инвалидом... Поймал за дужку. И подношу к глазам поближе — стекла целы? Картежник так карты себе открывает, когда перебора боится. М-мда. Перебор налицо.

Тут я отмечаю, что Цеппелин все так же лежит, но зато еще кто-то идет. Прямо на меня. Я думаю: ладно, сволочь, я с тобой и одной левой и без очков справлюсь!

А «сволочь» вдруг говорит голосом Сашки:

— Точка, точка, запятая, минус — рожица кривая. Ручки, ножки, огуречик... Все у тебя на месте, вставай! Рожица кривая! Конверт помял, все-таки!

Я расплываюсь и думаю, что надо же — ведь всего месяц как познакомились, а уже прикипели друг к другу. Но сердито спрашиваю, что это за фокусы. Он мне начинает молоть чепуху про: как лежал он на диване,

читал какую-то макулатурную книжку, как там один шевалье на дело идет, а товарища своего дома оставляет, как тот, само собой, не сидит дома, а идет следом, как потом такое начинается, что без товарища этому самому шевалье точно бы каюк пришел. Он горюдит мне все это и массирует плечо. Утешает, что «трофею» ему еще хуже — лежит себе.

«Трофей», то бишь Цеппелин, перестает нюхать асфальт, встает на четвереньки и трясет головой, начинает ориентироваться во внешнем мире. И спрашивает:

— Легавые?

— Проницательный! — радуется Сашка, дуя на ободранные костяшки пальцев...

— Закурить дадите? — спрашивает Цеппелин. Девушки его любить не будут. Точно! Во всяком случае, с недельку. Теперь у него «лицо в клеточку». Здорово по асфальту проехался.

— Мы как-то не употребляем, — говорю.

— На допросе в кино всегда предлагают курить.

— Так то в кино, и то на допросе! — Я ловлю у себя интонации Куртова при его разговорах со мной... — А вы не в кино. И не на допросе. Просто... пригласили для дружеской беседы.

— В этот допр!

— Это райотдел внутренних дел, — мягко поправляю его и «стреляю» сигарету у дежурного для Цеппелина.

— Бедно живете, — говорит Цеппелин. — Что, с фильтром не нашлось? У меня от «Шипки» изжога... А это кто? Я его знаю, видел как-то.

— Это свидетель, — объясняю.

Сашка делает кольцо большим и указательным пальцем. Мол, да — свидетель, и еще какой!

А я думаю, что про изжогу от «Шипки» Цеппелин мог вернуть не просто так. Или это снова моя «мешанина»? Слишком сложно. У него сейчас голова скорее всего занята тем, как выбраться из сегодняшней ситуации.

— Так расскажите нам, дорогой товарищ, как вы определили, что мы с вами разного поля ягоды.

— Сумка хипповая, «диск» свежий, а сам — в костюмчике гэдээровском за полста. Явная лажа! — охотно объясняет Цеппелин. Как же ему не показать, что

он мудр, а кругом недоумки какие-то. Еще он зева-ет. И говорит:

— Слушайте, мне в одиннадцать нужно быть в од-ном месте.

— Ничего не получится, — вздыхаю я. — В одинна-дцать вы будете в другом месте.

— Не имеее права! Это незаконно!

— Законно, законно, — успокаиваю я его... и се-бя. — Групповое избивение, злостное хулиганство. Еще как законно!

— И фарцовка! — совершенно некстати встревает свидетель Панкратов Александр.

— Я вам не Хай-файщик! — оскорбляется Цеппе-лин. — Нечего на пушку брать. Не было фарцовки! Вот скорее товарищ милиционер по сто пятьдесят четвер-той проходит. Я и не продавал ничего, а он как раз про-давал. Тут я и решил пощупать, что за нехороший граж-данин такой. Прощупаю, решил, и сдам в милицию!

Куражится!..

— Ничего себе «щупки», — восхищаюсь я, потирая плечо. — И часто в тебе гражданская бдительность про-сыпается?

— Не поверите, товарищ милиционер! Первый раз! — продолжает куражиться.

— Не поверю, — соглашаюсь я. — Как минимум, второй. Нет?

— Нет.

— А журналист? Полгода назад?

— Фельетон читали?

— И фельетон.

— Там же все написано. Мило поговорили. О совре-менных ритмах, о классике. Тепло распрощались... Там же так и написано...

Да-а... Вот такой пошел фарцовщик — неглупый, ироничный. А что? Гатаев ни заявления, ни звонка к нам не сделал. При мордобое лишних свидетелей не бы-ло. Только непосредственные участники. Все правильно...

— А потом?

— Что потом?

— Где ты был в ночь на двадцать седьмое августа? От полуночи до трех?

Тут подумал я, что кажется — пустой номер. И про-изгогу от «Шипки» я перемудрил — на самом деле моя «мешанина». Потому, что Цеппелин был бы готов к от-вету. А он не готов. Искренне задумался. Потом сказал:

— Спал я, кажется... — И хмыкнул: — А с кем — не скажу! Куда-то не туда вас понесло, товарищ милиционер. Извините, не знаю звания-отчества.

Я ему возразил, что время покажет. Но уже из чистого упрямства. Вызвал дежурного. Проводите гражданина в изолятор, говорю.

— На-а-армальный у меня отпуск получается! — Сашка ворчит. — Только и делов, что по закоулкам милиционеров спасать! Да еще свидетелем торчать... — Саданул по «Яве» ногой. Завелась.

Он на ней меня, оказывается, по закоулкам спасать ездил.

Сели, поехали домой. Я ему в спину говорю:

— Завтра мы тоже подождем с мотопробегом, Саш. С Цеппелином надо будет заканчивать — считай, весь день вылетит в райотделе. И мне еще надо кое-куда сходить (про Садиева думаю).

— А иди ты!.. Кое-куда!!! — перекрикивает Сашка тарактенне. — Дожди зарядят!!! А я тут!!! С тобой!!! Как последний!!!

— Ты чего орешь!!! — ору я.

— Так ведь тарактит... коляска-то... — тормозит Сашка «Яву». Приехали. — Вот и ору.

Посмеялись. Потом я ему излагаю программу на завтра. Я иду к одному спекулянту, а Сашка (друг ты мне или нет?) сидит с телефонной книгой и обзванивает всех абонентов на «Ив.». Это не считая Цеппелиновой волокиты. Сашка говорит, что мало мне злой брнет мозги вправил, что мое какое дело, что... старая песня.

Объясняю, что для меня это дело принципа. И думаю, что для Гатаева вся его работа была делом принципа. А теперь для меня дело принципа раскрутить обстоятельство смерти Гатаева.

Но Сашка никак не уговорится, и я притворяюсь, что засыпаю. Так хорошо притворяюсь, что засыпаю...

День, как я Сашке и обещал, проторчали в райотделе. Зато Цеппелин свое, кажется, получит. Не из-за Гатаева, так из-за меня. Это тоже дело принципа. Сашка даже не ворчал.

А у Садиева дверь открывает такая... старуха Изер-

гиль с тряпкой в руках и в подоткнутой юбке. «Милиция?» — спрашивает.

— Милиция, — подтверждаю. — Мне нужен Садиев.

— А! Его дома нет! Улетал. Самолет садил и улетал. Говорил, милиция придет — я говорю: у него сестра заболел. Срочно заболел.

Вот такие новости. Сбежал все-таки. Испугался, что я на него ОБХСС напущу? После моей реплики о липовой справке. А что? Напущу!

— Садиев муж вам?

— Ва! — сразу возмущается она. — Такой муж — пилую на такой муж! Мужа снохи племянника брат просто! Муж! Верьевка на шею от такой муж! Ресторан ходил, жэнщин с белий волос брал, водка с ней пил! Скандал сделиил. Пасуда кидал, разбил! Милиция приходил, турма забирал. У него денга нету уже, все эта жэнщин с белий волос забирал... И сама убежал! — Еще что-то говорит не по-русски, я могу только догадываться и, наверное, догадываюсь.

— Мне послал, денга просил, чтобы турма милиция отдавать. Двасыть пять рублей!

Кажется, понимаю, что за «турма», в которой Садиев куковал. Спрашиваю, когда это было. Изергиль пальцы загибает, смотрит в потолок — получается как раз двадцать шестого. Ничего себе! Если Садиев действительно сидел в «турма», то к Гатаеву попасть в ту ночь не мог. Позвонить он мог, да. Но и только. Прав оказался Куртов... Тогда почему Садиев сбежал?

— У его жены три брат есть. Если они узнавают, что он жэнщин с белий волос сидел — вай-мэ, что сделиют!

...А теперь решим, что делать, товарищ Федоров. Сначала позвонить из автомата в «турма». И выяснить, что действительно поступал в вытрезвитель некий Садиев в ночь на двадцать седьмое, что действительно был пьян в стельку и без копейки денег. Выяснить, что поступил он непосредственно из ресторана «Нептун», что штраф заплатила некая Газимова, родственница (правильно, это моя Изергиль).

Теперь надо подумать, стоит ли гнать «Яву» два часа до аэропорта, чтобы там вылавливать Садиева, если тот еще не успел улететь. Видеть мне его ох как не хочется. И я его, наверно, больше не увижу. И в нашем городе его больше не увидят. К Гатаеву он имеет косвенное отношение: звонил, грозил. Зато имеет прямое отношение к вытрезвителю и — ай-яй-яй! — к «жэнщин с бе-

лий волос». И я его немножко испугал. И братья жены его дома ждут, и если до них дойдет... Дойдет! Нужно, чтобы дошло. В вырезвителе все его данные остались... Его в законном порядке не достать, скользкий, так пусть ему братья в родственном порядке объяснят, что к чему...

С Цеппелином — пустой номер. С Садиевым — пустой номер. Еще дня три, и с мотопробегом — пустой номер. Действительно, грянут дожди, и куда мы тогда с Сашкой?.. А может, на самом деле «мешанина детективная» это все, товарищ Федоров? А, Михаил Сергеевич?.. И прав Куртов, считая меня еще младенцем в нашем деле? И правильно будет, если мои художества надоедят сегодня-завтра и вызовут меня «на ковер»? Впрочем, так или иначе вызовут. Ю. А. Дробышев на-ябедничал, вот и вызовут.

Но пока есть у меня желание с ябедой Ю. А. Дробышевым поговорить, не дав ему понять, что знаю — он ябеда.

...Но его нет. Он проводит «круглый стол» с читателями на химкомбинате. И вся редакция там. Вернутся все часа через два. А пиита Крепкого, корреспондента Бурилова, оставили присутствовать в редакции. Я так понимаю — как самого бесполезного... С ним еще девочка. Глазками — луп-луп! А пиит полулежит-полусидит в кресле, вертит импортной сигареткой и болтает про пятнадцатибалльный шторм, про сети в клочья, про себя, спасающего весь плавсостав... Словом, волны тяжелым домкратом...

Еще оказывается, что я его друг. Оказывается, я его лучший друг и работаю не где-нибудь, а в милиции! Вот какие друзья у Бурилова! Пусть студентка знает и проникается уважением. Она пока еще студентка, ее при-слали на практику. Зовут ее Света.

Эта Света опять глазками — луп-луп... Думаю: начинается! И точно, начинается.

— Скажите, — говорит, — а это страшно? В смысле, ловить бандитов.

— Как вам сказать? — отвечаю. — Вот был случай недавно... — И пересказываю нашумевший детектив.

Она слушает внимательно. Бурилов слушает невнимательно. Он внутренне негодует, во-первых, что лишился слушателя. Во-вторых, он заинтригован, зачем «его

друг из милиции» снова пришел в редакцию? Он перебивает:

— Да, Светлана! Не забудьте про то письмо. Его нужно внимательно изучить, проверить и...

— Дмитрий Викторович! Ну я же вам уже говорила! Я звонила уже. Там они сами говорят, что вообще-то все правильно, но у них работников в кочегарку не хватает, и что — самому начальнику кочегарить, что ли? Я же вам говорила, я из этого письма реплику сделаю. И название придумала, даже два! «Холодно — горячо». Или «С легким паром, или Иди ты в баню». А?

— Легкомысленно... — демонстрирует опыт Бурилов. — Это же не студенческая стенгазета, это серьезный орган!

— А Сидоровой понравилось! И Селихову! И всем! И «старик» в секретариате сказал: пойдет! Да!

— А я говорю...

— А мне сказали...

— А я...

Пока они решают производственные вопросы, у меня всплывает мысль. Спрашиваю:

— Скажите, Дмитрий, как рождается газетный материал? Фельетон, к примеру? Отправная точка. Письмо, нет?

Он мне с апломбом отвечает, что чаще всего да; письмо.

Спрашиваю, нет ли у него тех писем, с которыми в последнее время работал Гатаев. Есть. Их еще не раскидывали по сотрудникам, а надо бы, пора — накапливается гора, а потом на него, Бурилова, все шишки. А что он может один, да еще если вот таких присылают на практику?!

Ладно, ладно — пропускаю мимо ушей. Ворошу письмо. В глазах рябит от неровных строчек, корявых почерков... Натыкаюсь! Письмо от Ивяшина Евгения Петровича. Про ресторан «Нептун», про официанта, которого зовут Артур, и (в жизни и такое бывает) фамилия у которого — Король. Довольно распространенная фамилия. Но в сочетании с «Артуром» смешно. Забавно.

ПЬЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА...

Звоню Сашке. Занято. Светлана говорит, что я недорассказал. Звоню Сашке. Занято. Светлана говорит, что я недорассказал. Звоню Сашке. Прорываюсь.

— Санечка, — говорю, — бросай телефонную книгу и займись «Явами».

— А я уже до Ивченко добрался, — отвечает Сашка. — А что?

— Он Ивяшин, — говорю. — Потом все объясню.

Светлана говорит, что я ей недорассказал. Но у нее, она говорит, как у всякого журналиста, богатое воображение. Она, как всякий журналист, сама может домыслить, кажется. И продолжает мне нашумевший детектив до самой развязки.

— Извините, Света, — говорю. И думаю, что ее луп-луп глазками весьма обманчив и голова у нее варит неплохо. Если выслушала меня, не перебивая, чуть выждала и моим же оружием, моей же иронией меня...

— Ничего, ничего! — мстит она дальше и вытягивает ивяшинское письмо из моих рук, пробегает глазами. — Дмитрий Викторович, я тогда по этому сигналу схожу, поговорю. А то оно у вас все равно без движения. — И Бурилову досталось! — А то я сижу без дела пока. И здесь недалеко...

Я тоже встаю. Светлана добивает:

— А вы что? Со мной вместе решили?.. Ну пойдете...

— Наконец-то! — Евгений Петрович Ивяшин (халат с кистями, рост — под два метра, лыс и ухожен). — Мы же когда договаривались? Вас товарищ Гатаев прислал? А самому неудобно? Все же на двадцать седьмое договорились, а сегодня...

Пенсионер, определяю я. Ворчун. Засыпает редакцию письмами: «Уважаемые товарищи, предлагаю показывать программу телевидения только три раза в неделю. А то люди отвлекаются, и падает производительность труда».

Шагаю вперед, заслоняю Светлану, говорю:

— Товарищ Гатаев прислал меня. Давайте решать ваши проблемы со мной.

Он улавливает скептические нотки и неожиданно подмигивает:

— Пенсионер, да? Склочник?.. Юноша! Мне шестьдесят три, но я по-прежнему режу людей. И говорят — неплохо получается. На пенсию, во всяком случае, не

отпускают... Не пугайтесь, дама. Не хватайте кавалера за пиджак. Помнете... Я хирург.

Старикан — язва! Про пиджак — точно. После мордобоя с Цеппелином пиджак, конечно, не того...

Но лучше язва, чем зануда... Ивяшин переходит к делу и рассказывает. Собственно, пересказывает свое письмо. А я думаю, что Гатаев, значит, был в тот вечер в «Нептуне». Там его и мог увидеть Садиев...

А Ивяшин рассказывает:

— У нас была сложная операция. Шесть раз — клиническая смерть. Мальчонка лет двенадцати. Химик, опыты производил на кухне... Словом, вытащили мы его оттуда. Но тревога осталась. Знаете, шок... Все еще могло быть. А устали. Вспомнили, что даже перекусить не удалось. Все закрыто. И мы с Зиновьевым — это мой ассистент — решили в ресторан. Просто поесть. Да-а... Сели прямо у оркестра. Там шумно было, но нам все равно... Поели... Кухня, знаете, неплохая у них... Снова официант подошел — относительно молод, худ чрезвычайной, бледноват, мешки под глазами. Почки, вероятно... А у нас в глазах туман. Не от спиртного — просто реакция наступила. От усталости после операции. Официант на наших глазах ставит на стол пустую бутылку и записывает в счет. Мы, знаете, указали ему. Но он сказал, что у него все записано. Разговор тогда пошел на повышенных тонах. Он пригрозил милицией, пьяный дебош — ни больше ни меньше. Скандал налицо. Шантаж, знаете...

— И вы заплатили? — уточняет Светлана.

— Милая моя! А что нам оставалось делать?! Доказывать милиции, что мы заслуженные врачи?! Что у нас была операция?! Что мы трезвы?! Вы считаете — они стали бы разбираться?! Конец месяца, знаете, у них там свой план. Забрали бы!

— Ну спасибо! — не выдерживаю я.

— Э-э-э... что?

— Я слышал, одному больному у вас в больнице недавно во время операции зашили ножницы... — Искося смотрю на Светлану, замолкаю.

Евгений Петрович Ивяшин веселится:

— Юноша! Вы верите слухам?!

— А вы?..

— Хм!.. Короче говоря, на следующий день мы с Зиновьевым снова пришли. Вы поймите, не денег жалко.

Хотя они тоже не растут на деревьях. Но почему всех считать и выставлять дурнями?.. Знаете, нам сказали, что сегодня Артур Александрович Король не работает. А вообще он один из лучших работников — точен, вежлив, никаких нареканий. Знаете, нам сказали, что мы, вероятно, сами ошиблись... и чуть не добавили «спьяну»... Вот так. И я написал в редакцию. Ваш коллега созвонился со мной днем двадцать шестого. Ему очень понравилось: Король Артур! Это, знаете ли, не часто... А вечером он должен был в «Нептуне» знакомиться с Королем. И двадцать седьмого снова мне позвонить. Должно было весьма изящно получиться...

Я думаю, что получилось действительно изящно. И тогда у меня все концы увязываются. Значит, Гатаев приходит в «Нептун» на «провокацию». Там его видит Садиев, принимает для храбрости внутрь. И еще принимает. И еще. А Гатаева уже нет. Тогда Садиев ему звонит. И дальше продолжает принимать внутрь вместе с «жэнщин с белой волос». И так до состояния маломеняемого... Я невольно хрюкаю в ладонь, представив, что Король мог с пьяным Садиевым повернуть ту же махинацию с пустой бутылкой. Хотя вряд ли. Если Король в этот же вечер поймался, если его поймал Гатаев на бутылочном фокусе... А вот мы проверим!

— Хорошо! Евгений Петрович, вы Гатаева инструктировали перед «Нептуном»?.. А теперь проинструктируйте меня.

— И меня! — заявляет Светлана.

— А вы при чем?

— А вы при чем?

Ивяшин разглядывает нас, конкурентов, и удивляется бровями:

— Вы в таком виде собрались в ресторан. Пиджак, знаете... Или так модно теперь? Некая небрежность...

— Я поглажу, я быстренько! — оживает Светлана. — Утюг у вас есть? Снимайте пиджак, Михаил! — Тут она в своей стихии.

Спасибо, конечно, за пиджак. Но по ресторанам мотаться ей еще рановато. Тем более с Федоровым Михаилом Сергеевичем, который по делу идет, а не выпить-закусить. Тем более на заре служебного нагоняя. И на-

гоняй будет еще суровой, если Федоров Михаил Сергеевич втравит в это дело совершенно постороннего человека.

— А кто вам сказал, что я посторонняя?! У меня, между прочим, сигнал читателя на руках!

— А вот согласуйте с Ю. А. Дробышевым поход в ресторан, и посмотрим, как он отнесется!

— А вы со своим начальством каждый шаг согласовываете?! — Опять луп-луп.

— Это мое дело!

— А это мое дело!..

— Словом, возвращайтесь, девочка, в редакцию.

А я...

Швейцар, как обычно, прикидывается глухонемым. Но спиной к двери не поворачивается. Значит, не все еще потеряно. Пошиковать, что ли? Почему нет? И для дела!

Достаю трешку, прихлопываю к стеклянной двери.

Швейцар оживает, приоткрывает дверь, мгновенно смазывает трешку со стекла.

И я внутри...

«Дар морей, веселья шум предлагает вам «Нептун».

Поглядим, какой здесь сегодня «веселья шум» будет. Одно знаю: если эта кованая штука с талантливыми стишатами грохнется когда-нибудь на головы пьющих-едящих, то веселья не оберешься.

Детина в серебристом пиджаке ревет:

— Слушай, теща, друг родной! Па-ма-ги!

Мы ж с тобой... тирьям-пам-пам... не враги!

Думаю я, что удивительные образчики выдает иногда наша эстрада. И ресторанные ансамблики безошибочно их подхватывают. Помню, раньше была кошмарная «Мясоедовская». Потом «Ах, Одесса, жемчужина у моря». Теперь вот «Теща»... Но мне, впрочем, как раз поближе к этой «теще» надо. Столиков, замечаю, свободных много, а швейцар — глухонемой. У-у-у, шкуродер!.. Но Король обслуживает как раз столик у эстрадки, как Ивяшин проинструировал. И как раз столик у эстрадки занят. Дамой.

— Вы позволите?

Дама говорит:

— Не позволю! Мест свободных много, занимайте любое. А у меня при виде вас аппетит пропадает... — Снова луп-луп глазками.

И когда только она успела проскочить?!

— Ладно уж, присаживайтесь! Только не приставайте! — царственно дозволяет Светлана.

Серебристопиджачный все надрывается про тещу. И раз уж мы таки сели вдвоем, то «теща» эта рождает легенду.

— Мы с вами, Света, несчастные влюбленные. Родители против. Мы переживаем и ничего не замечаем вокруг.

Она поднимает на меня скорбные глаза и с трудом проговаривает:

— Д-да...

— Что с вами, девочка?

— Мы с вами бедные... и так далее... Разве нет? — Опять луп-луп.

— А-а-а...

Тут он и появился. Действительно: относительно молод, худ, бледен, мешки. Он!

— Водки! — говорю. — И накормите нас.

Артур Александрович игнорирует брюзгливый тон и деликатно осведомляется:

— Даме вина, шампанского, минеральной?

— Даме водки! — говорит дама. И еще говорит: — Мишенька, ты бы еще раз побеседовал с мамой. Должна же она понять...

— Котлета по-киевски, бифштекс, палтус? Палтус надо будет немного подождать...

— Все равно! Бифштекс. Света, ты же знаешь мою маму...

Король кивает и растворяется.

— Я чуть не расхохоталась, — признается Светлана. — Он смешной такой. Шея тонюсенькая. Тоньше, чем у Дмитрия Викторовича. У Бурилова... И бабочка еще! Вы видели?

— Почти нет. Я на пепельницу смотрел. Тяжело смотрел... Как вам, кстати, Бурилов?

— А вы ему не скажете?

— Ни в коем случае!

— У меня был один такой... знакомый. Выходит на улицу и закуривает большую сигару. Какую-то очень редкую. Когда приближается особа с красивыми ногами, он сигару красивым жестом отбрасывает. Если особа мимо проходит, то он возвращается, подбирает сигару и дальше... до следующей... с красивыми ногами. Вот и Дмитрий Викторович тоже... Житья мне твоя мама все равно не даст... — Молодец, среагировала.

Официант поставил на стол бифштекс, графинчик водки и от щедрот — бутылку «Полюстрово», минералки. Снова растворился.

— И он безобидный, — невозмутимо продолжает Светлана. — А вот Дробышев...

— Что — Дробышев?

— Ничего. Только... Вот он сейчас и. о. Когда старый редактор еще работал, газета интересней была. И фельетонов не боялись, и оценок своих. Лицо было. И редактор — он ведь фронтовик, военным корреспондентом был. Так он не оглядывался — как бы чего не... А теперь, когда Дробышев...

— Света, — воспитываю, — вы юны и категоричны. Откуда вам знать. Вы ведь на практике день? Второй?

— Это же редакция! В первый день узнаешь, что сто лет назад было! Ну, не сто, но... Наш «старик» в секретариате полосы макетирует и бурчит, и бурчит...

М-мда. Я в первый день пребывания в редакции не узнал, что было сто лет назад. С другой стороны, я же не на практику пришел и глазами луп-луп не умею...

— Официант — он что? — возвращает меня в ресторан Светлана.

— Поглядим...

— Вдруг он не «купится»?

Сам знаю, сам опасаясь... Гатаев, который уже был здесь, вероятно, «расколос» Короля. Король, который был, вероятно, в ту ночь у Гатаева... Мог из предосторожности «завязать». Хотя жадность — губительный порок. И неделя целая почти прошла. И все тихо...

— Сейчас водку будем хлестать, как газировку, — говорю Светлане, разливаю «Полюстрово» по фужерам, оставляю стопочки нетронутыми и аккуратно переправляю всю водку в опустевшую бутылку. Хвала минералке «Полюстрово»! Пузырьков почти никаких, и те исчезают в момент. Кого-то это может и не устраивать, но не меня в данной ситуации.

«Хлещем водку» молча. Детина на эстрадке по-прежнему надрыгается... Артур Александрович Король меняет пепельницу.

— Еще водки, — говорю. — И сигарет.

Он застывает взглядом на нетронутых бифштексах и снова растворяется. Приносит второй графинчик. Снова растворяется. Снова меняю «Полюстрово» на водку. Снова сидим, скорбим над несчастной любовью. Светла-

на говорит, что сигаретой надо затягиваться, а не просто дымить. Чего не умею, того не умею...

Ансамблик возится с аппаратурой. Что-то выключают, дергают шнуры, фонарики гасят...

Снова появляется Король. И!.. Появляется третий графинчик! Пустой!

— Два бифштекса, «Полюстрово», пачка «Опала», три по двести... — журчит Король.

Отсчитываю ему.

— Спасибо... — Вежливо счет вручает, паразит!

А теперь... Очень трудно его напугать. Внезапность разве что?.. Громко говорю:

— Контрольная закупка!

И дама, которая только что прикуривала сигарету с фильтра, мгновенно «резвеет». И становится образцовым клиентом-общественником. Умница Света!

Сую Королю под нос свою книжечку. Сообразит? Не сообразит? Может ведь обрадованно заключить: «Пьяный мильтон!» И вызвать постового. Уж тогда мне «на ковре» так влетит за неинформирование руководства!.. Нет. Внезапность меня оправдала. Понял Король, что далеко не пьяный ему попался «мильтон».

Он берется за мнимую минералку и наливает себе фужер — водички захотелось. Залпом — хлоп!

— Х-х-ха! Х-х-ха! — зажмурился и слепо руками завозил.

— Огурчик? — спрашивает Света и снова переходит на луп-луп.

Говорю ей, чтобы сидела на месте. Веду Короля в подсобку. Расступаются, переглядываются. Хорошо, что теперь, после фужера, Король с запашком. Надо его «трясти», пока он в прострации.

— Впервые! Так ошибиться! Впервые! — Он еще хочет отделаться.

— Впервые убили человека? — ударяю по эмоциям.

— А?!! Что?!! Я... Я не убивал!!!

— Кого?

→ Фельетониста!.. — Замирает, потом сильно стучает себя по голове.

— Как интересно! Ну-ка! Успокойтесь! Воды?.. Пейте. Это вода.

Артур Александрович Король стучит зубами о край стакана, потом вынимает пачку «Шипки», затягивается. Тупо смотрит перед собой и тихо твердит: «Я не убивал, я не убивал, я не убивал...»

- В котором часу вы звонили Гатаеву?
- А? Что?.. Кому?.. А-а-а... Около двенадцати.
- А второй раз?
- Я звонил только один раз.

Снова здорово! Хорошо! Предположим, Бурилов ошибся. Раза три — это не три раза.

— О чем поговорили?

— Он готовил фельетон. Я ему предложил... некоторую сумму.

— Сколько?

— Пятьсот.

— И что?

— Он меня отправил... ну, послал...

— Понятно. Зачем же вы все-таки пришли к нему?

— Я взял с собой тысячу. Тысячу рублей. Хотел договориться на месте.

— Не получилось?

— Как же могло получиться, если...

— И вы его убили. Да, да. Не стройте глазки. Не оказание помощи больному — тоже преступление.

— Он был мертв! — громко шепчет Король. — Он был совсем холодный, когда я пришел! Честное слово! Вы не верите! Я пришел, дверь у него открытая, он сидит лицом в машинку. Я думал — он заснул. Я подождал. Даже закурил.

— Сколько выкурили?

— Не помню... Две. «Шипку»... Понимаете, неудобно будить человека...

— Чтобы предложить ему взятку. Понимаю.

— Я потом тронул его руку, а она холодная. И глаза открыты. И... и...

— И вы сбежали? — Очень мне не хотелось верить Артуру Королю.

— Да...

— И было это...

— В три. Три утра.

— Почему выбрали такое время? Разве нельзя было утром?

— Он... он же меня... то есть, я ошибся со счетом... А он сказал: читайте газеты... Ну и... В общем, я испугался, что не успею...

— Почему нельзя было пораньше?

— Я же работал! Мы же в час закрываем! Пока деньги сдать, убраться, переодеться. В два только расходимся. Товарищи могут подтвердить. Нет, правда!..

Смерть наступила от половины второго до двух. Не позже двух, во всяком случае. От «Нептуна» до Гатаева даже на такси минимум полчаса. Да, не получается...

Король полез в пачку своей «Шипки», ничего в ней не нашарил. Смял, сунулся в карман, вытащил четки. Красивые, какие-то резные, зашевелил ими сквозь пальцы. Говорят, очень успокаивает нервы. И сосредоточивает. Нервы, значит...

— Ну-ка, — протягиваю руку.

Король не понял интонации и вдруг заныл:

— Я машинально. Честное слово. Я верну, конечно. Пожалуйста! Я даже забыл совсем о них.

— О чем?

— О четках. У этого... Гатаева на табурете. Рядом с чашкой лежали...

Я молчу. Только смотрю на него в упор. Потом кладу четки в карман, возвращаюсь в зал — к своему столу.

— Вы сейчас больше похожи на бандита, чем на милиционера, — говорит Светлана.

— Тогда я вас провожу, — ляпаю невпопад.

И провожаю. Поздно. Такси не попадают. Идем пешком. Она молчит. Я молчу. Она чувствует, умница, что мне не до нее. Правильно чувствует. Вот и молчим.

Только когда я «до свиданья» говорю, она добавляет: «До завтра, да?»

— До завтра, до завтра. Идите. Вахтерши в общепитии — народ с богатым воображением, а вы только приехали, и уже какой-то полубандит вас среди ночи провожает.

— Вы когда завтра придете?

Черт меня знает когда! Когда выплыву. А прийти надо. Светлана здесь ни при чем, а вот четки Бурилову показать надо...

Сашка стучит мне в комнату и будит, когда уже наступают сумерки. Выспался, называется!.. Но это оказываются не сумерки, хотя уже около трех дня. Это оказываются тучки. И обложили они небо по-черному. И горит наш мотопробег синим пламенем. Но Сашка заинтригован моим сонным бормотанием, когда я ему по возвращении из «Нептуна» пытался связно рассказать, что и как. Но связно не смог. И голова до сих пор

трещит. Наверно, «камуфляжная» сигарета действие оказывает — та, которой я дымил за столиком.

Сую голову под кран. Слышу, как Сашка спрашивает про Короля Артура. Отвечаю, что Король — ерунда, что в квартире Гатаева был еще кто-то.

Сашка вертит пальцем у виска:

— Соображаешь, нет?! Получается, что полгорода сбежалось к Гатаеву! Так не бывает!

Ишь, не бывает! Есть много на земле, мой друг Горацио... Почему не бывает? Почему бы одному из гостей не быть некурящим?! Что я вообще прицепился к этим окуркам?! Хотя, если бы не они, то на этого неизвестного гостя я бы не вышел. А может, это четки Бурилова?

Ю. А. Дробышева снова не было. Да он мне и не нужен был. Мне нужен был Бурилов. Он был. Скандалил с практиканткой-студенткой, моей вчерашней «собутельницей». Вполголоса. Машинный стрекот в разгаре, и все в одной комнате. Чайник со свистком воду сварил — шкаф свистит ультразвучно, финской баней пахнет, деревом разогретым и паром. Чайник туда от жарников запирается, чтобы не конфисковали. И стрекот прекращается, все с чашками торопятся. Сердобольная Сидорова в секретариат звонит по местному: «Старик! Скипел!» А Бурилов со Светланой продолжают пикироваться:

— Нет, вы посмотрите, Дмитрий Викторович! Это восьмиклассница пишет?! Это компьютер какой-то пишет! Его на лозунги запрограммировали, и он пишет! Нет, вы посмотрите! «С большим энтузиазмом девушки принялись за работу... старались оправдать доверие старших... где показали свою огромную любовь к швейному делу... добросовестно трудились на благо общества». А вы пишете: к печати!

— Это рабкор писал! Ясно, девочка! Пишет как умеет! А тема важная. А сдача материалов у нас до шестнадцати ноль-ноль! Вы, девочка, уже полчаса назад должны были положить готовый оригинал мне на стол!

Я опять, конечно, помешал. Но из вежливости спросил:

— Я не помешал?

Бурилов из вежливости ответил:

— Ну что вы... Значит, договорились, девочка! Гото-

вите оригинал, и чтобы через пятнадцать минут он был у меня на столе!

— Я Дробышева дождусь! — лезет в бутылку Светлана.

Бурилов пожимает плечами — сама же напрашивается! И демонстративно сосредоточивает внимание на Михаиле Сергеевиче Федорове.

Я спрашиваю:

— Когда вы двадцать шестого вечером были у Гагаева, телефон звонил раза три или три раза? Только точно. Подумайте.

— Что тут думать! Три, точно! Я же еще тогда сказал.

— А вот такая штука вам на глаза не попадалась? — И достаю четки.

Он как-то странно замолчал. Потом говорит:

— Где именно?

— На табурете. Рядом с машинкой.

— Нет. Я бы ее заметил, штуку эту. Ну, четки. Я как раз, когда в гости прихожу, не знаю, куда руки девать. У Гагаева их не было. Но...

— Что?!

— Знакомая финтифлюшка! — говорит Ю. А. Дробышев, сдирая с себя насквозь мокрый пиджак. — Дождина хлещет!.. А-а, чайком балуемся! — И берет у Бурилова четки. — Что, опять он здесь?!

Светлана подскакивает к и. о. редактора и тараторит, жалуясь на Бурилова. Бурилов хило ухмыляется и возражает, что автор — старый испытанный рабкор, что немного суховато, но тема актуальная — школьники на производстве, и типография на дыбы встанет, если опять опоздаем со сдачей номера.

— Я тебе опоздаю! — отрывается от чая «старик». Ему, ответственному секретарю, первому принимать удар и с типографией сражаться.

— Я же говорю! — говорит Бурилов.

— Старики! Ну что вы, старики! — увещевает пожилая очаровашка Сидорова.

А мрачноватый тип (Селихов, наверно) продолжает с машинисткой прихлебывать чай — не обращает внимания, привык.

Дробышев просматривает письмо, накаляется:

— А-а! Старый испытанный рабкор, говоришь?! Это ты его в печать подписывал, когда он писал «шефы на турнепсе складывали корнеплоды корнеплодами вниз»?! Нет, ты отвечай!

— Старики! Ну, перестаньте! Ну, старики!

— И что «энцефалитный клещ нападает на подмышки и пах»?! И что «лучшая защита — самоосмотр и взаимоосмотр»?! Нет, ты мне отвечай! Тоже ты в печать подписывал?!

Бурилов кричит: «Ах так?!» Ю. А. Дробышев кричит: «Ах, тебе еще не нравится?!» Сидорова кричит: «Старики, ну прекратите!» И «старик» кричит: «Я вам опоздаю! Чтобы в типографии как штык!» И обливает кипятком мрачноватого Селихова. И тот тоже кричит... И Светлана быстренько впадает в состояние «луплуп».

Я все-таки рискую вклиниться и спросить:

— Кто он?

— А?! — спрашивает Ю. А. Дробышев. — Вы о чем?! И вообще, что вы здесь делаете, товарищ?!

— Я про четки. У вас в руках. Вы их узнали. Откуда. Чьи они?

— И я тоже хотел сказать, — подключается Бурилов. Ему перемена темы — манна небесная. — Юрий Александрович, помните эти четки? У Пожарского? Помните?

— Ну?! — говорит Ю. А. Дробышев. — Помню! Ну и что?! Слушайте, товарищ Федоров! Нам, как видите, некогда... Так! — И оборачивается к «старикку». — Я в типографии. На сверке. Чтобы с сегодняшним номером никаких задержек, никаких чепэ. Проследи. А с тобой... — И он грызет глазами пиита. — Впрочем, потом!..

Но мне с Буриловым на «потом» нельзя откладывать. Дверь за Ю. А. Дробышевым хлопает, и Бурилов говорит:

— Запарка, вы понимаете. На место Гатаева еще не взяли никого, а лето — мертвый сезон, половина в отпусках. Вот и запарка. Вот он и срывается иногда. Так что вы не обращайтесь внимания.

Я не обращаю внимания. Я снова обращаю внимание Бурилова на четки. Тот говорит, что видел их не у Гатаева, а давно уже, три года назад, у Пожарского. Что это такой... такой...

Тут вспоминаю, что материалы хранятся до возможного суда, и прошу Бурилова не отвлекаться. А то Ю. А. Дробышев наябедничает — Федоров Михаил Сергеевич сорвал выпуск номера, отрывая сотрудников газеты от своего прямого дела.

Только вот нашел бы мне Бурилов все про Пожарского. Фельетон? Да, и фельетон. И все бумаги, которые с ним связаны. В архиве же сохранились?..

Вот что выясняется. Пришло письмо от девиц из соседнего городка — небольшого, но молодого, растущего и современного. Девушки живут в одном общежитии, и Родион Николаевич Пожарский — начальник ЖКО. Большой человек по масштабам города... Девушкам — от семнадцати до сорока. Держал он их как в монастыре. Чтобы не было «всяких безобразий», мужчинам вход запрещен... Такое письмо от девиц...

«Есть такая сказка. Жил-был король. У короля был сын, принц-наследник. Однажды наследник, играя в саду, упал с дерева и... всего-то набил себе шишку. Но король страшно перелугался за сохранность династии, издал указ: «В окрестностях дворца все деревья спилить!» И спилили... Очень радикальное средство! Но не будем рассказывать сказки...» Такой фельетон Гатаева «Терем-теремок».

Решаю, что перебирать все эти бумаги лучше дома, а не в редакции, куда может вернуться Ю. А. Дробышев и увидеть, что товарищ Федоров, который ему «уже вот тут!», еще и в редакционных архивах копается. Спрашиваю позволения у Бурилова. Он позволяет, он ведь тоже не хухры-мухры, а отдел писем как-никак! И может архивом распоряжаться, да! Вовремя для меня Ю. А. Дробышев на него напустился...

Еще спрашиваю, а чем дело кончилось. А дело не кончилось. И Пожарский после фельетона сильно обиделся, писал в редакцию, в райком, прислал даже «открытое письмо тов. Гатаеву». Но старый редактор эту «открытую» глупость «закрыл» и снова Гатаева туда отправил — по следам выступлений. Пожарский человек немаленький — бомбардировать стал. Редактору в поддержке было не отказать... И когда он, редактор, комиссию организовал и приехали из обкома, то многое выяснилось. Например, что подписи жильцов под «открытым письмом» достигались простым: «Подпиши, а то жизни не будет». И наоборот, когда комиссия приехала, тот же Пожарский вызывал к себе тех же жильцов: «Скажешь, что подписала под нажимом, опять же жизни не будет». А той, которая письмо в редакцию организовала... ну, вот это, с которого все началось... так он ей даже выселением грозил из общежития... Там вообще такая история была!.. Дробышев что делал? Он тогда

в больницу слег. Язва у него, что ли, обострилась... Но сразу после суда, который редакция выиграла, поправился.

Я вспоминаю Короля Артура и думаю, что он зря торопился-суетился со своей тысячей. Нет, не поставил бы Дробышев фельетон старинного друга Гатаева. Как бы чего...

Да! Комиссия ведь поработала тогда: все факты в фельетоне подтвердились. И общежитие не отремонтировалось со дня основания, и Пожарский среди ночи вламывался к жильцам с обыском — нет ли где мужчин, и сплетни про девиц распространял... А потом, после комиссии, еще и в суд подал за клевету...

— А четки?

— Он же их везде с собой таскал. На первых порах все кресла в редакции протер. Сядет и сидит. И четки мусолит. Курить, говорил, бросает — и с четками легче.

В общем, такая история...

В общем действительно история!

«Главному редактору... Напечатав в вашей газете фельетон «Терем-теремок», вы дали мне право также публично ответить гр. Гатаеву. Сейчас, как мне докладывают, Гатаев тайно, минуя коменданта, поручает отдельным жильцам собрать подписи, обещая за это добиться допуска мужчин в спальные комнаты к женщинам, проживающим в общежитии...»

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. ГАТАЕВУ... Я, как отец взрослых детей, не допущу разврата в стенах вверенного мне общежития, могущего последовать за последующими в общежитие мужчинами... Как мне доложил комендант и как следует из помещенного в газете пасквиля, вы изложили факты пристрастно, наложив черное пятно на коллектив... Мне не хотелось бы вас пугать, но только есть еще Закон с большой буквы. Как говорят в народе (вы уж извините, я первое слово перефразирую), что напишешь, то пожнешь...»

«Объяснительная. Редактору... от Гатаева А. М....»

«Уважаемая редакция! Пишут вам девушки из общежития нашего города...»

«СПРАВКА о проделанной культмассовой работе за ноябрь месяц в общежитии... Подпись — Пожарский». Это еще зачем? Вали кулем, что ли?

«Итак, повторный визит. Пожарский в своей тарелке — он у себя в кабинете. Он сидит — я стою. Сядем...»

А это почерк тот же, что и карандашной пародии на пиита. То есть Гатаев. Ну-ка, ну-ка...

«— Я был в общежитии, и меня не пропустили. Направили к вам. Не скажете, зачем?»

— Вы непорядочный тип! Вы извратили мои слова! И поступки! Я не желаю с вами разговаривать!

Очень хотелось ему все это сказать. Долго он готовился. Даже перед зеркалом, не исключено, репетировал.

— Тем более непонятно, зачем меня направили к вам. Вопрос о моей порядочности мы сейчас решать не будем. Мне нужно от вас разрешение на вход в общежитие, и только... Непонятно, правда, почему его нужно брать у вас. И почему его вообще нужно брать. Что у вас там за укрепрайон?.. Кроме угроз, редакция от вас никаких внятных ответов не получила. Мне поручено выяснить, какие меры приняты... Судя по рогаткам, которые вы поставили, это единственные меры.

— От меня вы ничего не получите!

— Прекрасно! Теперь отвлекитесь. Я — не Гатаев, вы — не Пожарский. Я — журналист, прибывший по заданию редакции, вы — начальник ЖКО, обязанный соблюдать все правила положения об общежитиях...

— Как вы могли, молодой человек, написать такое! Да еще накануне нашего большого общего праздника! Это как-то даже настораживает!

Демагог...

— Праздники существуют у нас для того, чтобы сосредоточить внимание на еще не решенных проблемах.

— Это кто сказал?! — Шуруется.

— Ленин.

Молчит Пожарский долго. И говорит:

— Да. Правильно. На проблемах. А у меня проблема с пропускным режимом решена! Ясно?!

— Ясно. Ваше упорство я могу истолковать как сознательное желание скрыть произвол, творимый вами в общежитии.

— Мал-ладой человек! — переходит он на менторский тон. — Я эти общежития изучил как свои пять! У вас молоко на губах не просохло, когда я сам в общежитии поселился! Вы знаете, что там творится? Вы знаете, сколько лет я в таких общежитиях прожил?!

— Какого же черта, — говорю я, — вы столько лет занимаете должность начальника ЖКО, если считаете, что и внуки ваши должны жить в таких же общежитиях?! Да еще как в каземате — девочки отдельно, мальчики отдельно. И ни-ни — в гости!

Пожарский свирепеет. Вспомнились правила вежливости — приношу корректные извинения, покидаю кабинет...»

Еще в верхнем углу первой страницы было написано: «Послесловие, или Продолжение разговора». Еще на последней странице была редакторская резолюция: «Алексей! Резко, но иронию потерял. Сушишь, оправдываешься. Мне не нужен протокол. Давай в своей манере!»

Да-а... резок был Алексей Матвеевич Гатаев. Слишком резок. А может быть, резкость эта должна быть вообще абсолютной? Ведь направлена она против тех, кто этого заслуживает...

Как бы завтра не проспать. Интересный разговор будет завтра, по всей видимости...

Разговор был не сразу. Сначала я деликатно испрашивал у Сашки комбинезон. А он стучал пальцами по иссеченному каплями стеклу и напевал «Я вас люблю, мои дожди». Потом сказал: «На, подавись!» И съязвил еще: «Не заляпай грязью по такой погоде». Потом я его комбинезон заляпал грязью, пока буксовал на «Яве». Потом въехал в маленький молодой городок, потом искал общежитие среди домов-близнецов. Потом искал Нину Линько, автора письма в редакцию. Потом нашел. Потом сказал ей, что по поводу Родиона Николаевича. Потом она сказала: «Господи, снова покоя нет!» Узнала, что я не из жилконторы. Узнала, откуда я.

— А вам он что наговорил?!

В общем, мы долго искали общий язык. Наконец нашли. Она устала очень от всей этой истории, от кляуз Пожарского устала, от силетен устала. От необходимости доказывать, что не верблюд, что не спала с Гатаевым, что руководствовалась при написании письма не очернительскими намерениями. Устала. И отстаньте. Почти три года прошло, а все никак успокоиться не могут. Все! Отстаньте! Устала!

Такой мы с ней общий язык нашли. И еще она сказала, что если бы история повторилась, то она не

написала бы письма, вероятно. Себе дороже получается...

Я вспоминаю фразу из книжки Гатаева: «Не уступил бы место женщине, даже сидя на электрическом стуле». Понимаю теперь, какой «поезд ушел», что «жаль — проехали». Фельетон «Терем-теремок» уже опубликован, и Гатаев пишет «см. Пожар». И не про «дети-спички», а Пожарский!..

А работает Родион Николаевич Пожарский все в том же ЖКО. Только не начальником, а просто инженером...

Он моложав и очень неплохо выглядит — в дымчатых очках и благородной седине. За что ему такая благородная седина? А вот у меня в лучшем случае, если не лысина, то глубо-о-окие залысины грядут, которые в утешение называют интеллигентскими...

— Гражданин! — встречает меня Пожарский. — Ведь на двери же расписание. Перерыв с двух до трех. Вы читать умеете? Часы есть?

— Есть. Умею. Очень удачно у вас с перерывом. Никто не помешает. Так вы — Пожарский?

— Я, молодой человек, уже встречал как-то таких напористых людей. Вы, случаем, не журналист?

— А вы, случаем, ничего не потеряли?

— В смысле?

Достаю четки.

— Я же говорю: журналист! — констатирует Пожарский. — Неужто господин Гатаев были так любезны, что прислали коллегу вернуть это? Ах, как благородно! — И накаляется. — Так передайте ему, что мне наплевать на его благородство! То, что я ему сказал, то я сказал!

— И что же вы ему сказали?

— Ах, вы не знаете?! Не может быть! Журналист — и чего-то не знаете!..

И он понес. Он понес, что неприятности у Гатаева еще будут. Что он, Пожарский, знает, почему был написан фельетон. Что господа журналисты решили поразвлечься, да ничего не вышло! Что он не позволит устраивать из общежития рассадник! Что у него у самого взрослая дочь, и он знает! Что он уже написал куда надо!! Что эта Линько не просто так письмо написала!! Что она с Гатаевым до того встречалась и не только встречалась!! Что он знает — ему доклады-

вали!!! Что в другое время Гатаеву было бы знаете что!!!

Я его слушаю и думаю — три года прошло, а он коптит, три года прошло, а он ни разу не оглянулся, три года прошло, а он бодр, свеж, агрессивен...

— Может, хватит? — спрашиваю.

— Конечно, хватит! Тем более перерыв у меня закончился, люди ждут! А господин журналист запачкал своей спецодеждой казенное кресло.

На самом деле запачкал дорожными грязевыми кляксами. Только не журналист, а сотрудник милиции. Оперуполномоченный...

— Да? Документик ваш можно какой-нибудь?

Документик можно. Пожарский его внимательно изучает — на лице разочарование. До последней минуты уповал на то, что это козни господ журналистов. Но это не козни. И не журналистов. А что мне от Родиона Николаевича нужно? А мне от него нужно, чтобы он рассказал, как попал двадцать шестого августа сего года в квартиру Гатаева, когда и при каких обстоятельствах ушел. Ну, что он ему говорил, я уже слышал. Можно не повторяться.

Он говорит, что и рассказывать-то нечего. Ездил по делам, заодно за покупками. Пока туда-сюда, опоздал на последнюю электричку. И... решил навестить. А то после суда с Гатаевым так и не виделся — со-ску-чился! Первая электричка все равно только в четыре утра. Позвонил?.. Да. Из вежливости, конечно, позвонил. Вдруг еще дома не окажется. Знаем этого господина — по ночам, может, шляется неизвестно где... Удобно ли было среди ночи? А у них с господином Гатаевым очень хорошие, близкие, почти родственные отношения — об удобствах друг друга не заботимся... Когда ушел? Около двух... При нем ли, при Пожарском, начал Гатаев работать? В смысле, на машинке стучать? Да, при нем. Сел и сказал, чтобы он, Пожарский, ему, Гатаеву, не мешал. Видите, какие непринужденные отношения сложились!.. Так что да, стучать на машинке Гатаев начал при нем, при Пожарском. Немного демонстративно, вы не находите? Потому, что стоило Пожарскому из комнаты выйти, как стук машинки сразу прекратился. И не возобновлялся, пока Пожарский плащ надевал, пока дверь пытался открыть, а потом закрыть. Замок там какой-то... И он просто хлопнул дверью. Она не захлопнулась, приоткрылась. Но это уже забота хозяина — мог

бы выйти с гостем в коридор, проводить. Но он, Пожарский, не в обиде! Какие могут быть обиды?! Все-таки старые знакомые!..

Я смотрю на язвящего Пожарского и понимаю, что о смерти Гатаева он не знает... Ну, от меня он об этом не узнает. Я в конце концов не уполномочен сообщать разные факты разным бывшим начальникам ЖКО...

— Да, но все-таки чему обязан?.. Нет уж, вы, пожалуйста, доложите!.. Нет уж, вы просто так не уходите!.. Все же я хотел бы знать!.. Учтите, я буду звонить вашему руководству!.. Учтите, я официально обращаюсь!..

Вот пусть официальное руководство официально сообщит официальному инженеру ЖКО...

Сашке я сказал, что завтра едем. Отпуск оформили: он себе, я себе. Стали собираться, прибираться и просидели почти всю ночь, беседуя просто так — за жизнь. И к утру распогодилось. А его комбинезон мы раскинули на веревках над плитой. И сами в этой кухне парились. И сомлели к утру. Сашка решил заварить кофе. И спалил мою кофемолку. И виновато сказал, что он же не виноват. Что он знает — это статор полетел. Что просто срок эксплуатации истек. Что он отдаст своим парням в цехе — они в два счета починят.

Я ему киваю, но осуждающе. Понимаю, что он действительно не виноват. Но лучше держать Сашку в провинившемся состоянии. А то опять про «мои дожди» затянется. А кофемолка — что ж... Срок эксплуатации — это аргумент. Как у Гатаева. Эксплуатировали его, эксплуатировали... А на Пожарском у него сломался мотор. Не три года назад, так сейчас. Могло это произойти раньше, могло — позже. Могло и вовсе не произойти. И особой вины какой-то за Пожарским нет. Один из...

Отсутствие события преступления... Только сколько там наворочено за этим самым отсутствием события. Много там наворочено...

Лезу в душ, чтобы окончательно стряхнуть снулое состояние. А сам себе думаю... И сквозь душевой шорох и закрытую дверь прорезается телефонный звонок. Сашка снимает трубку, о чем-то с кем-то говорит. Я высказываю, туземно опоясанный полотенцем. А Сашка уже щелкает телефоном и говорит: «Порядок!»

Какой такой порядок? Кто звонил?

— Брюнет твой звонил! Я ему сказал, что ты уже

укатил на «Яве». Он мне говорит: вы же вместе соби-
рались! А я: производственная необходимость, кое-что
надо сделать, а потом на своей коляске догоню... Здоро-
во?! А то, слушай, мы так и не уедем никогда. Смотри,
опять тучи!.. — И он довольно щурится, Сашка Панк-
ратов...

Оно конечно... Только служебный нагоняй «на ков-
ре» меня не пугает. Пришел бы и доложил: так и так!
А как?! Куртов прав оказался — отсутствие события
преступления. Уголовного... Он это определил еще в
комнате Гатаева. И заключение о смерти Гатаева при-
шло из области. А я в этом убедился, перебудоражив
столько людей!.. «Детективная мешанина».

Но сам себе думаю, что по-другому не смог бы, что
здесь дело принципа. И прав был Гатаев, процитировав
питу Маяковского. И прав был Владимир Владимиро-
вич. «Очень много разных мерзавцев ходят по нашей зем-
ле и вокруг». И они действительно разные. И вероятно,
отнюдь не одной черной краской выкрашены. Но тот же
врач занимается в первую очередь пораженным участ-
ком — для врача не аргумент, что у больного, скажем,
голова нормально варит, когда у больного, скажем, жи-
вот сводит. И тот же Сашка колдует над бракованным
фланцем, тот же Сашка не говорит — мол, зато осталь-
ные фланцы во какие!

И Гатаев тоже... Он занимался пораженными участ-
ками. От Садиева до Пожарского. Это только те, кто
попал в мое поле зрения. Ю. А. Дробышев тоже попал
в поле зрения. Нет, не мерзавец, конечно! Какое я имею
право? И основания?.. Но какая питательная среда!..

И мы вылетаем с Сашкой на шоссе. Тарахтим.
Он что-то радостно орет. Я ему вторю. А сам себе
думаю...

Что Садиевы, Цеппелины, Короли — они как раз не
самые опасные. Они — вот они, невооруженным глазом
видно. А Пожарские? Может быть, и Дробышевы? А те,
кому свой избяной мусор дороже всего?

А сам себе думаю, что жаль — я не Гатаев, нет у
меня его пера. А то можно было бы... И ту же Свет-
лану подключить... Почему бы и нет? Помогла бы.
Жаль, что я не Гатаев... И начать можно было бы так:

«Свиньи вилками хлебали из говядины уху!» — та-
кая идиотская абракадабра прищиплена булавкой к
стене. Завершающий штрих к общему кавардаку...»

— Догоняй! — кричит мне Сашка...

РАПОРТ ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА

В ту ночь начальник заставы капитан Михайленко как нормальный человек спал дома... В ту ночь на заставе дежурил его молодой заместитель — лейтенант Климов.

Под утро, когда снился капитану удивительный сон, неожиданно зазвонил телефон. Михайленко ошалело вскочил, схватил трубку и тихо, чтобы не разбудить жену, сказал:

— Слушаю...

— Извините, товарищ капитан, — робко начал Климов. — Тут вот какое дело... Приехал из тайги геолог. У них рабочего убили.

— Сейчас буду.

Михайленко положил трубку и на цыпочках вышел в соседнюю комнату. Здесь он надел форму, чертыхаясь, натянул не просохшие за ночь сапоги — всю неделю лил прямо-таки тропический дождь.

Облачившись в плащ-накидку, Михайленко открыл входную дверь и нырнул в сплошной поток воды. «Вот и ладушки — умыться не надо...» — усмехнулся он.

Часовой, нахохлившись как воробей, стоял посреди океанской лужи. Казалось, этим он выражает свой протест природе: прятаться куда-либо не имело смысла.

Увидев командира, солдат строевым шагом направился к нему, чтобы доложить по всей форме. Брызги из-под его сапог разлетались фонтаном.

— Отставить... — поспешно махнул рукой Михайленко и понуро побрел к заставе.

В углу канцелярии, чинно положив руки на колени, в напряженной позе сидел сухощавый мужичишка. Вода медленно капала из каждой складки его одежды, так что под стулом уже образовалось маленькое озерцо.



Увидев начальника заставы, он вскочил, четко, стараясь угодить военному, представился:

— Прораб Иван Кириллович Тихомиров.

Михайленко пожал ему руку, как бы между прочим спросил:

— Что у вас стряслось?

— Вот ведь беда какая... — сбивчивой скороговоркой залепетал Тихомиров. — Убили промывальщика Мохова. За что — неясно... Будь он неладен! Зачем я его только взял...

— Вы не торопитесь, Иван Кириллович... — Михайленко снял с вешалки вафельное полотенце, вытер лицо. — Расскажите все по порядку. Где труп обнаружили? Когда?

— В камеральной палатке обнаружили... ночью... — Тихомиров подался вперед, как-то неестественно вытянул ладонь, хрипло прошептал: — И ведь... самородок в кулаке зажат. Прямо жуть...

— Что такое камеральная палатка?

— Ну, навряде вашей канцелярии. Там у нас все это хранится... Карты, шлиховые пробы...

— Золото нашли?

— Похоже, на россыпь напали...

Михайленко и Климов переглянулись. Лейтенант сразу понял своего командира, тихо встал, вышел из канцелярии. Через несколько секунд все наряды, охранявшие границу, получили «вводную»: в пограничной зоне убит человек; преступник может попытаться уйти за границу; усилить бдительность.

А тем временем Михайленко продолжал уточнять обстановку.

— Чем его убили?

— Сюда тюкнули... — Тихомиров показал на свой висок.

— Ваши все на месте?

— Так точно. На месте.

— В лагерь кто-нибудь приходил?

— Никак нет. Кто ж туда доберется в такую погоду.

— Значит... кто-то из своих?

Тихомиров неопределенно пожал плечами.

— Вас начальник послал?

— Да... Вадим Петрович... Езжай, говорит, доложи. Пусть на Большую землю сообщает.

Михайленко задал еще несколько вопросов, затем вызвал старшину, велел выдать Тихомирову сухое об-

мундирование, накормить, напоить чаем... Потом он некоторое время размышлял над картой, оценивая возможные маршруты нарушителя от лагеря геологов до границы, дал соответствующие распоряжения. И наконец, приказав связистам соединиться с управлением пограничного отряда, доложил дежурному о происшествии.

Не успел он отойти от аппарата, как отряд сам вызвал его на связь.

— Что у вас случилось, Михайленко? — Это был голос начальника штаба.

Капитан еще раз доложил о всех обстоятельствах.

— Ваши действия? — строго спросил начальник штаба.

— Охранять границу... — спокойно сказал Михайленко и после небольшой паузы добавил: — Усиленно... — Он считал, что в любом случае для пограничника это самый правильный ответ.

В телефоне слышался монотонный шелест. Начальник штаба куда-то пропал. Михайленко даже дунул в микрофон, проверяя, не оборвалась ли связь.

— Прекратите свистеть в трубку! — раздраженно крикнул начальник штаба; он еще немного помолчал и наконец сказал: — Я проконсультируюсь с товарищами из прокуратуры, потом дам указание...

Через час он снова вызвал Михайленко.

— По такой погоде следовательно будет добираться к вам несколько суток... Поэтому приказываю: границу охранять усиленно; лейтенанту Климову вместе с инструктором службы собак направиться к месту происшествия, постараться уточнить все обстоятельства гибели, по возможности выявить преступника... Вопросы?

— Вопросов нет.

Дождь нежно шуршал по капюшону. Лейтенант Климов, покачиваясь в седле, боролся со сном. Впереди мутным пятном маячила спина прораба Тихомирова. Климов обернулся — сержант Исаев, положив собаку поперек лошади, старался укрыть ее полой плаща.

Климов сомкнул тяжелые веки, неторопливо размышлял о превратностях судьбы пограничника. Месяц служит он на заставе, но, честно говоря, так и не привык к калейдоскопу событий.

В первый же день граница подарила ему боевое

крещение. Климов только представился капитану Михайленко, и вдруг: «Застава, в ружье!»

Дерзкий лазутчик — днем, в легком водолазном снаряжении — преодолел пограничную реку. Он тихо вышел к протоке, стал осторожно пробираться в наш тыл. Контрольно-следовую полосу нарушитель перескочил очень лихо: только один плоский отпечаток остался в центре бугристой ленты. Его-то и заметили пограничники, бывшие в наряде. Началось преследование... Климов прямо в парадной форме поехал с тревожной группой. Лазутчик, зажатый заслонами, забрался в кусты, вяло отстреливался... Михайленко ломал голову: как выкурить без потерь нарушителя из его убежища?

И тут Климов вспомнил повесть «Казачьи». Еще на первом курсе училища кто-то из курсантов с удивлением открыл, что она о пограничниках: «Вся система охраны границы описана!» — радостно восклицал он. Володя тогда внимательно перечитал сочинение отставного поручика Льва Толстого. И теперь наскоро пересказал начальнику заставы, как казаки брали противника, толкая впереди себя арбу с сеном. Плащ-палатки набили землей, связали узлами, уложили в «уазик», сняли дверцы — ни дать ни взять танк получился!

И вот на полной скорости машина задом влетела в кусты. Она буквально выдавила из них лазутчика. Михайленко с нарядом наступал с фронта; Климов выскочил из «уазика», выбил пистолет из рук ошалевшего нарушителя...

Так в настоящем деле познакомился начальник заставы со своим новым заместителем. Михайленко неделю таскал его по участку, чтобы тот знал каждый бугорок, каждую ложбиночку, «как дорогу к крылечку любимой». Потом солдат, который нес службу на наблюдательной вышке, доложил, что границу перелетел воздушный шар и упал где-то в сопках. Михайленко выделил Климову опытный наряд и послал на поиски. Несколько дней утюжили они лес и наконец обнаружили этот проклятый шар: он повис на кедровом, к нему был прикреплен какой-то контейнер. Находку передали в отряд... Потом внезапно пошли нескончаемые дожди. Сухие низины превратились в озера, овраги — в бурные реки. Пришлось эвакуировать склады, восстанавливать линии связи. Дозоры готовились на службу, как водолазы перед погружением. Основная нагрузка ложилась на

них — потоки воды практически смыли контрольно-следовую полосу... В общем, забот хватало, и вот теперь геологи эти...

К лагерю геологов добрались только к обеду. Лошади выехали на плоскую поляну, лежащую уступом на склоне сопки. Здесь стояли две палатки: одна побольше — над ней торчала жестяная труба, сделанная из консервных банок; вторая поменьше — видимо, это и была здешняя «канцелярия».

Тихомиров сполз со своей кобылки, громко высморкался, вопрошающе глянул на Климова:

— Так что... товарищ лейтенант... куда пойдем?

— А где люди?

— Работают... Там, у реки... — Тихомиров махнул рукой в сторону, откуда доносился гул воды. И тут же раздался глухой взрыв. Прораб усмехнулся: — Во, Вадим Петрович шурфы рвет.

— И дождь не помеха?

— Что поделаешь?.. Сезон-то один — надо принаравливаться. — Тихомиров немного помолчал, потом сказал: — Может, зайдем погреемся? Мы тут печурку сложили. Или... труп пойдете смотреть?

Климов сглотнул слюну, торопливо ответил:

— Погреемся...

Пошли к большой палатке. Прораб отдернул полог, жестом предложил войти.

Палатка была сделана добротнo: каркас сколочен из тонких жердей, на него натянута белая «наволочка», потом байковый «утеплитель», потом уже сам «брезентовый дом». Вдоль одной стены тянулись нары, в центре стояли самодельный стол, чурбаны-стулья; в углу сверкало гранитом некое сооружение — что-то вроде камина; пол устлан свежей хвоей.

— Хорошо устроились, — похвалил Климов.

— Стараемся... — Тихомиров начал хлопотать по хозяйству. — Вадим Петрович до аккуратности очень строг. Свинства не любит.

Прораб подбросил в печурку сухие поленья — их заготовили впрок, чиркнул спичкой. Весело затрещал огонь, осветив полумрак палатки. Тихомиров сунул свои лапы прямо в языки пламени.

— О-о-о... — радостно прорычал он. — Сейчас ущицу подогреем, вкусную... Вчера... сам приготовил...

Сержант Исаев и его пес Джек расположились у входа.

— Товарищ лейтенант, — обратился сержант, — мне собаку покормить надо.

— Действуйте.

Исаев тоже подошел к печке, достал из вещмешка продукты, металлическую миску, стал стряпать немудреную собачью еду. Джек, повизгивая, нетерпеливо смотрел на хозяина.

Климов еще раз окинул взглядом палатку — простая рабочая обстановка. Неужели здесь зрела трагедия? И на этих нарах бок о бок спали враги, затаенно лелеяли в душе ненависть... А пришло время — выплеснули ее наружу, и один убил другого. Убил, как дикарь, древним способом — ударил в висок, и все...

За что они поцапались, что не поделили? Кусок мегалла — золото... Зачем оно им? Куда они его денут?.. Ох, люди, люди, как же вы дошли до такого?..

...Тихомиров звякнул ложками, достал из фанерного ящика сухари.

— Ваши придут обедать? — задумчиво спросил Климов.

— Нет... — Прораб начал разливать уху. — Они с собой берут, чтобы время на переходы не терять.

— Ну и ну... — удивился лейтенант. — Эксплуатирует вас начальство. Не ропщите?

— Мы же в разведке, — усмехнулся Тихомиров. — У нас тут строгие законы: приказ командира — закон для подчиненных.

— Как фамилия вашего начальника?

— Шаронов... Вадим Петрович Шаронов... Угощайтесь...

«С чего же начать?» — разомлев от еды, неторопливо размышлял Климов.

— Иван Кириллович, вас всего пять человек?

— Так точно... — Тихомиров тыльной стороной ладони провел по влажным губам. — Было пять...

— Назовите их.

— Значит... Я, стало быть, — прораб... Вадим Петрович... Шурфовщик Петя Никишин; промывальщики Вася Тужиков и этот... Мохов. Вот и все...

— У Мохова враги были?

Тихомиров покачал головой, тихо ответил:

— Кто ж его знает?.. Работа у нас тяжелая... на-

род мы нервный... — И снова повторил: — Кто ж его знает?

— Убитый в руке самородок держал... Так?

— Так, — подтвердил Тихомиров.

— Значит, что?.. Он его похитить хотел?

— Не знаю, товарищ лейтенант... Мохов этот «золотóчек» сам нашел... Вадим Петрович радовался самородку, как ребенок: понял, на жилу идем... А Мохов... он из старателей. Может, он пожалел, что не утаил «золотóчек» — кто ж его теперь узнает? А душа-то болит... День болит, два болит — своими руками такой «золотóчек» выложил. На третий день пошел в камеральную палатку, взломал сундучок и ку-ку...

— Просто в сундуке хранился?

— А куда же его положить? Сейфа в тайге нет!

— Охранял кто-нибудь палатку?

— Так в ней Вадим Петрович спит.

— А где же он в ту ночь был?

Тихомиров недоуменно пожал плечами.

Вся сонливость мгновенно слетела с Климова. «Вот как поворачивается!» — возбужденно подумал он. Лейтенант хотел тут же начать осмотр камеральной палатки, но еще какой-то неясный вопрос смутно копошился в нем. Наконец он уловил, что его волнует, строго спросил:

— Как старатель Мохов попал в вашу партию?

— Тут такое дело... — кисло прищурился Тихомиров. — Группа наша трудно формировалась... Руководство управления не одобряло и всячески — того... Ну, вы сами понимаете. Промывальщиков не хватает, а Мохов сам пришел... Узнал, что мы в этот район идем, и пришел... Сказал, что мальчонкой с дедом здесь старательствовал, тянет его сюда... Я и взял...

— А почему руководство было против?

— Это я не знаю... Это вы у Вадима Петровича спросите... — засуетился Тихомиров.

В камеральной палатке тоже было строго, опрятно: стол, топчан, сундучок... На топчане лежал труп крупного мужчины: руки сложены на груди, ноги ровно вытянуты, глаза закрыты... Климов первый раз видел убитого человека. Он с некоторым трепетом готовился к этой «встрече», но с удивлением обнаружил, что никакой дрожи в его душе нет.

Лейтенант всмотрелся в лицо убитого. На вид ему было лет пятьдесят; широкие скулы, маленькая курча-

вая бородка, подернутая легкой сединой, высокий лоб, на левом виске — лиловое пятно.

— Кто обнаружил? — хрипло спросил Климов.

— Вадим Петрович... Меня позвал, мы вдвоем сюда положили, а вообще-то он вот здесь лежал... — Тихомиров подошел к сундучку, показал широким жестом.

Климов обернулся — сержанта рядом не было, крикнул:

— Исаев, где ты?

— Здесь я, товарищ лейтенант, — донеслось снаружи. — Джек волнуется, я его увел.

— Ладно...

Вышли из палатки. Климов глянул на сержанта.

— Что-то ты загрустил, Исаев?

— Нет, товарищ лейтенант... Все в порядке.

— Молодец!.. — Климов уже пообвыкся и начал действовать.

— Товарищ Тихомиров, укажите основные маршруты вашего передвижения... Исаев, улавливайте!

— По этой тропинке ходим на делянку, — четко доложил прораб. — По этой, извиняюсь, в тайгу... по нужде... Все.

— Вот так, Исаев, вам задача: проверить следовую обстановку в районе лагеря. Вопросы?

— Вопросов нет.

— Действуйте... А мы с вами, товарищ прораб, пройдем, стало быть, на делянку.

Тихомиров впервые за сегодняшний день улыбнулся.

Дождь несколько поутих. Хрустальные капли висели на хвое, словно неведомые сказочные ягоды. Лес вздыхал, шевелился, жил...

Климов зорко глядел по сторонам, впитывал в себя дикую красоту. Когда его направили на участок, где на десятки километров вокруг не было никакого жилья, он вначале загрустил: как-то воспримет все это «боевая подруга»?

Жена Климова оканчивала пединститут. Они поженились, когда Володя учился на третьем курсе. А сам лейтенант удивительно быстро полюбил здешний край: вот за эту первозданность, суровость.

Преодолев невысокую каменистую гряду, Тихомиров и Климов вышли в долину реки. Справа и слева она была зажата мохнатыми сопками. Обычно зеленые, во

время дождей они обросли ковром голубики и приобрели жутковатый ультрамариновый цвет.

... Вся долина была покрыта свежими воронками шурфов. И на всем этом огромном полигоне жалкими козявками копошились три человека: один, согнувшись, стоял на берегу реки; второй долбил лунку, чтобы заложить очередной заряд; третий таскал к реке грунт.

Тихомиров зорким взглядом окинул долину, обращаясь к лейтенанту, удовлетворенно сказал:

— Все на месте... К кому пойдём?

— К начальнику.

Прораб понимающе кивнул, заковылял вдоль берега.

Вадим Петрович Шаронов в резиновых сапогах стоял в воде, нежно, как люльку младенца, качал лоток, выбрасывая пустую породу. Наконец он довел пробу до кондиции и дрожащими от возбуждения пальцами достал из кармана непромокаемой куртки большую лупу. Он с надеждой глянул в нее, как в волшебное зеркало, и тут же среди желтых пылинок кварца сверкнули золотые чешуйки. «Вот так-то...» — ехидно сказал Шаронов и кому-то невидимому погрозил кулаком.

— Вадим Петрович... — услышал он за спиной.

Шаронов оглянулся: на берегу стоял прораб Тихомиров и рядом с ним — румяный коренастый пограничник; накинутый плащ скрывал его погоны.

«Кто это? Офицер или солдат?» — тревожно подумал Шаронов.

— Вот... товарищ лейтенант... с заставы.

— Сейчас...

Шаронов вышел на берег, осторожно собрал пробу в полотняный мешочек, завязал его. Затем вытер тряпкой воспаленные, красные кисти, протянул офицеру руку, представился:

— Шаронов, начальник поисковой партии.

— Лейтенант Климов. Прибыл по сигналу... Следователь будет через несколько дней.

Вадим Петрович пристально глянул на пограничника, кадык его нервно дернулся.

— Заменяю, — приказал Шаронов прорабу и кивнул на лоток; затем предложил лейтенанту: — Отойдём в сторонку, потолкуем...

Пошли к небольшому переносному навесу, сели на пустые ящики.

— Курите?.. — с надеждой спросил Шаронов.

— Нет.

— Жалко... А то мои промокли... — Вадим Петрович приподнялся, посмотрел, как Тихомиров начал промывать очередную пробу, снова недоверчиво зыркнул на лейтенанта: — С какой миссией прибыли?

— Выяснить обстоятельства преступления... — Климов кашлянул и для солидности добавил: — В целях охраны границы...

— Вот как? — Шаронов удивленно вскинул брови. — А я думал, сейчас заломите нам руки и поведете под конвоем.

— Такого указания не было.

— И на том спасибо... — Вадим Петрович облегченно вздохнул. — Ну что ж... выясняйте...

— Скажите, вы... кого-нибудь из своих подозреваете?

— Любой мог угробить! — спокойно заявил Шаронов. — Дрянь народ...

— Не понял.

— Тужиков — бывший уголовник. Ему это дело оформить — пара пустяков... А Петя Никишин — ординарец начальника нашего управления — товарища Власенко. Он ко мне специально приставлен, так сказать, для досмотра... Из стратегических соображений тоже мог...

— Как это?

— Пояснить? — Губы Шаронова вытянулись в узкую нитку, подбородок обострился. — Вы знаете, что такое для геолога найти золото?..

Золото требует интуиции, удачи... Я несколько лет доказывал, что здесь оно есть... В управлении надо мной смеялись, товарищ Власенко лично говорил: заболел «золотой лихорадкой». С большим трудом я пробил эту разведку... И что же?.. — Вадим Петрович распахнул куртку, достал из-под нее планшет с картой. — Вот, смотрите... Это линии шлиховых проб, распределения золотых «знаков»... Контуры россыпи почти определены... Но мало того, как раз в ту роковую ночь я понял: здесь не просто россыпь... Здесь золотиносный узел! Там... — Он указал рукой на холмы, откуда текла река. — А это уже открытие мирового значения... И Петя Никишин все рас-пре-крас-но понимает... Он быстро смекнул, что будет с его шефом, когда в министерстве всплывут стенограммы наших заседаний, на которых я бился лбом, отстаивая свою идею... Но сейчас мы

имеем один явный результат — труп промывальщика Мохова... Пролитая кровь проявит свою магическую силу... Считайте, эта карта залита ею... Хотите, я вам расскажу, что будет в ближайшие дни?.. Нашу разведку ликвидируют, меня на несколько лет отстранят от поисковых работ. А на следующий год сюда нагрянет товарищ Власенко! И блестяще подтвердит свои «гениальные догадки»!.. Так-то!..

Климов с изумлением выслушал этот монолог. Он недоверчиво всматривался в лицо Шаронова, не понимая, разыгрывает тот его или говорит серьезно? Вадим Петрович смотрел на него как сфинкс.

— Думаете, Никишин мог из-за этого пойти на преступление? — тихо спросил Климов. — Что-то не верится...

— Вы военный, значит — карьерист... Должны понимать!

Климов обиделся:

— Почему вы решили, что офицер обязательно карьерист?

— А что еще могло привести вас в армию? По виду вы парень городской, культурный... Или у вас папа маршал?

— Нет. Мой отец — врач... А службу свою я люблю. Такое явление вам известно?

Шаронов криво усмехнулся.

— За что, если не секрет? Что она вам дает?

— А за что любили свою работу Ушинский, Макаренко, Сухомлинский?.. Любой офицер, кроме всего прочего, — педагог... Или организатор воспитательного процесса... Каждый год ко мне приходят молодые ребята из деревень, из аулов, из поселков... А через два года я верну Родине настоящих мужчин — разве это не святое дело?

Шаронов облизал обветренные губы, прищурился, спросил:

— Вы сколько служите на заставе?

— Месяц.

Геолог рассмеялся, потом спросил:

— Как ваше имя, отчество?

— Владимир Николаевич.

— Давайте, Владимир Николаевич, заниматься своим делом. Я вам еще нужен?

— Нужны, — властно произнес лейтенант. — Рас-

скажите, при каких обстоятельствах вы обнаружили тело Мохова?

— Я вам уже говорил: этой ночью у меня мелькнула догадка о золотиносном узле. Своего рода озарение... Понимаете?.. Характерные геологические особенности района, карта шлиховых проб — все это жило во мне, терзало, мучило... И вдруг я понял почему!.. Я был очень возбужден... Хотелось как-то успокоиться, проверить свои доводы... Надел куртку, вышел, долго ходил вдоль берега. Вернулся — в палатке лежит человек. Он был еще теплый... Я посмотрел на часы — без десяти минут два... Что еще? Замочек на сундуке был сорван. В руке Мохов держал самородок... Ну, это вы, наверно, знаете? Вот, пожалуй, и все...

— Когда выходили, ничего подозрительного не заметили?

— Нет. Все спали, день был тяжелый... Я сам падал от усталости.

— Потом вы пошли в большую палатку, подняли Тихомирова?..

— Да.

— Все были на месте?

— Я уже говорил: дрыхнули без задних ног...

— Как отнеслись люди к такому необычному происшествию?

— Спокойно. Народ суровый, без эмоций.

— Вы обращали внимание, у Мохова с кем-нибудь были сложные отношения?

— Повторяю, народ своеобразный... Джека Лондона читали?

Климов утвердительно кивнул.

— Вот... Значит, представление имеете... Любой из них мог его угробить. Даже Тихомиров... Он мужик себе на уме...

Спотыкаясь о крупную гальку, Климов брел по долине к тому месту, где кончалась линия воронок. Там здоровенный детина долбил ломом землю.

Лейтенант был недоволен предыдущим разговором. Во-первых, сам Шаронов ему не понравился — злой какой-то, дерганый. Но не это главное... Климову показалось, что Вадим Петрович не до конца был искренним, что-то не рассказал — утаил...

Между тем детина вставил в лунку красный патрон,

вкрутил взрыватель; выполняя правила техники безопасности, огляделся по сторонам и увидел Климова. Он смахнул пот со лба, стал терпеливо ждать, когда тот подойдет.

— Здравствуйте... Я лейтенант Климов.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант! — сверкнув крупными зубами, ответил богатырь. — Моя фамилия Никишин... Петя... Руку протягивать не буду: зело грязная... — Никишин снова улыбнулся и добродушно сказал: — Вас, товарищ лейтенант, еще там... на заставе, заметил. Я ведь тоже в пограничниках служил, в Среднеазиатском округе. Так что закален жгучими песками.

— Вот это замечательно, Петя, что вы бывший пограничник! — искренне обрадовался Климов. — Это подарок судьбы! Давайте мы с вами, как воины границы, обсудим оперативную обстановку?

— Давайте... — покладисто согласился Никишин. — Только сначала я «ахну» этот шурф, потом у меня по плану перекур. Тогда, стало быть, и поговорим. Ладно?

— Ладно... — Климов тоже улыбнулся и про себя подумал: «Все-таки Шаронов молодец! Личный состав свято блюдет дисциплину».

Никишин завел лейтенанта за большой валун, крутнул ручку машинки. Хлопнул взрыв, брызнули по сторонам комья грунта, запахло кислой гарью.

— Ну, вот и все, — трагическим тоном сказал Никишин. — Слушаю вас, товарищ лейтенант, очень внимательно.

— Как вы думаете, Петя, кто убил Мохова? — Климов старался уловить, какие чувства пробудит в себе-седнике этот вопрос.

Никишин сунул руку под капюшон, почесал затылок. Шерстяная шапочка сдвинулась, из-под нее выползла потная прядь морковно-рыжих волос.

— Черт его знает, товарищ лейтенант! Ума не приложу! Может, кто со стороны? Хотя кто же? Разве медведь... — Петя достал из кармана кубик сахара, предложил: — Хотите?.. — Климов отказался; Никишин бросил сахар в рот, заложил за щеку, посасывая, сказал: — Мохов этот... скрытный мужик был, жадный. Я его не любил!

— С кем он дружил?

— Да ни с кем... Все больше молчком. Правда, иногда с Вадимом Петровичем шушукался.

— О чем?

— Не знаю.

Климов помолчал, обдумывая очередной вопрос, потом спросил:

— А Вадим Петрович... Он как... ничего парень?

Никишин лукаво ухмыльнулся:

— Начальство неудобно обсуждать.

Лейтенант смутился, попытался оправдаться:

— Вы меня не так поняли... Я уже говорил с Шароновым, он рассказал, что у него непростые отношения с Власенко — начальником управления.

— «Непростые» — не то слово, товарищ лейтенант. Власенко по-своему любит Шаронова. Вадим Петрович — его ученик, самый толковый... Только ведь он какой, Вадим Петрович? Самолюб — одного себя понимает... Власенко, пока начальником стал, и комариков своей кровушкой покормил, и болота помесил. За ним — медь, цинк, уголек в Якутии... А Шаронов сразу на золото нацелился.

— Так ведь нашел?

— Нашел... — уныло подтвердил Никишин.

— А Власенко не верил в успех?

— Честно говоря, сомневался.

— И что?

— В каком смысле?

— Что теперь будет?

— Золото будем добывать, товарищ лейтенант! — весело гаркнул Петя, вскочил, широко развел руки, словно собирался пуститься в пляс. — Поставим тут др-р-раги — и пойдет р-работа!

— А с Власенко что будет?

Никишин недоуменно глянул на Климова.

— Власенко? Орден, наверно, получит. Его же управление отличилось... — Петя хихикнул и добавил: — И мне, может, медаль дадут.

— Так он же не верил?

— Мало ли что не верил. Это ж, товарищ лейтенант, наука, а не религия... Да, сомневался! Но все-таки ума хватило разведку послать... И на том, как говорится, спасибо! Другой бы вообще рогом уперся... Бывает такое?

— Бывает... — усмехнулся Климов.

— Во... — Никишин задумчиво глянул вдаль и неж-

но произнес: — Вася Тужиков топает... Вы с ним говорили?

— Нет.

— Значит, сейчас вас представлю. По всем правилам старательского этикета.

К воронке, волоча за собой брезентовое ведро, действительно подошел невысокий крепыш. Он покрутил головой, недовольно крикнул:

— Петя, ты где?

— Ку-ку... — игриво отозвался Никишин.

— Хватит дурака валять! Глаз выбью! — ласково предупредил Тужиков.

— О! — Никишин весело подмигнул Климову. — Видали? Серьезный парень. — И снова проворковал: — Ку-ку, Васюта...

Тужиков наконец уловил направление звука. Громкая сапогами, ринулся к валуну, за которым укрывались Никишин и Климов.

— Я тебе... — начал было Тужиков, выходя из-за камня, и вдруг осекся — увидел Климова.

— Ну-ну... Продолжай! — балагурил Никишин. — Вот, Васюта, товарищ лейтенант прибыли. Брать тебя будут!

— Хватит болтать! — огрызнулся Тужиков. — Здравствуйте, товарищ Климов. Я про вас знаю — про-раб рассказал... Иди, Петя, лунку долби, мне с начальником потолковать надо.

Никишин сделал квадратные глаза, играя в обиду, оттопырил нижнюю губу, сказал:

— Вот такой человек Васюта! Строг, но справедлив.

Он нарочито тяжело вздохнул и направился к своему рабочему месту, и вскоре по окрестности снова разнеслось его зычное кряканье.

Тужиков кинул на Климова пристальный, оценивающий взгляд, резко бросил вопрос:

— Думаете, я Мохова пришел?

Лейтенант оторопел, поежился, ответил:

— Нет. У меня нет никаких данных, чтобы так думать.

— Разве Шаронов не подарил вам версию?

— Он сообщил, что вы бывший заключенный, но из этого еще ничего не следует.

— Все-таки сообщил... — сквозь зубы прошептал Тужиков. — Вот слушайте, товарищ лейтенант, гадом буду — Шаронов его и уложил! Я давно усек — между

ними какие-то делишки. Он ему и поблажки делал, и даже побаивался маленько... Почему — не знаю! Но уж это точно. Теперь слушайте: самородок этот для Шаронова дороже всего. Он один показывал, что дело серьезное. Пропади «золотóчек» — чем докладывать? Песочком? В наших краях такие «знаки» на любом огороде намыть можно. Шаронов вернулся в палатку, а Мохов — с «золотóчком». Поцапались они — точно! Шаронов в драке и тюкнул его!.. — Криво усмехнулся. — Может, этим «золотóчком» и тюкнул! — Тужиков пригнулся, зашипел: — И еще утром... я его засек: он у Мохова в мешке рылся, бумажку какую-то нашел, забрал... Точно говорю — он, змей, убил! А на меня валит...

Каждый пограничник знает: проверять после дождя следовую обстановку — одно удовольствие. Влажная земля ярко держит отпечаток, а мокрая трава — это своего рода копирка, опытный следопыт все на ней прочтет.

Сержант Исаев склонился над четким следом. «Здесь ты, голубчик, и прошел... — ласково думал он. — Вот пятка, вот ступня...»

Резкий запах тревожил Джека, но вышколенный пес терпеливо сидел рядом, ждал команду. Исаев глянул на него, усмехнувшись, сказал:

— Что, брат, хочется побаловать? А нельзя — служба...

Исаев уважал своего четвероногого друга и вообще всех пограничных собак. Судьба их удивительна и мало кому известна. По многу лет служат они на одной и той же заставе. Каждые два года приходит новый инструктор: один веселый, другой нервный, третий бывает и злой, а пограничной собаке приходится к каждому принаравливаться, с каждым нести свою нелегкую службу. А как трудно проходит иной раз расставание!.. Исаев помнит, как прощался с Джеком его предшественник — у обоих на глазах блестили слезы... Потом Джек долго грустил, плохо ел... Но делать нечего — нужно жить, нужно выполнять свой долг.

Умный пес Джек — что и говорить! Многому научил он Исаева, стал ему настоящим другом... На заставе пес — старожил. Сержант изучал его личное дело — девять задержаний на счету Джека. И стреляли в не-

го, и травили, и ножом пыряли... Через все прошел Джек, все преодолел и, наверно, без границы не представляет свою жизнь. Исаев много раз наблюдал, как готовится пес-ветеран к службе: без часов точно чувствует он время выхода в дозор — весь как-то подтягивается, возбуждает себя, даже шерсть, кое-где уже седая, дыбом встает... А когда наряд в машине едет, Джек все норовит в окно морду высунуть, чтобы контрольно-следовую полосу видно было... «Проверяет! — смеются молодые солдаты. — Ну Джек! Ну службист! Что твой старшина!..»

Хрустнула ветка — сержант резко обернулся: за толстым стволом кедра стоял человек.

— Кто прячется? Выходи! — строго приказал он.

Из-за дерева появилась рука с зеленой фуражкой, раздался знакомый голос: «Свой, Исаев, свои...» И наконец вышел лейтенант Климов.

— Молодец, сержант, — улыбаясь, похвалил он. — Чуткость для пограничника — большое дело.

— Как же вы меня нашли, товарищ лейтенант? — удивился Исаев.

— По следам... — усмехнулся Климов. — Все по тем же следам.

— Близо вы подошли... — до конца осознав ситуацию, сказал сержант и, с укоризной глянув на Джека, добавил: — Что ж ты, брат? Прозевал?

Пес понуро опустил свою крупную породистую голову, как будто хотел сказать: «Вот, дескать, ни за что досталось...» (Он давно заметил лейтенанта, но тот дал ему знак — не суетись! А Джек начальство уважал.)

Лейтенант рассмеялся, потрепал собаку по холке, честно признался:

— Нет, он не виноват! У нас с ним уговор был... — И, быстро сменив тон, спросил: — Ну как дела? Докладывайте!

— Никаких признаков появления в районе лагеря чужого человека не обнаружено. Я уже вторым кругом иду... Вот медведь какой-то шатается... — Сержант указал на отпечаток. — Я его след несколько раз встречал.

— Один и тот же?

— Так точно.

— Почему так думаете?

— Видите, у него на левой передней лапе крайний коготок обломлен... Особая примета.

Лейтенант внимательно осмотрел отпечаток, одобрительно кивнул, задумался о чем-то, потом сказал:

— Хорошо. Давайте связь с заставой.

Сержант достал из подсумка скрученную в моток гибкую антенну, подкрутил винт — антенна превратилась в упругий, извивающийся прут; вставил ее в рацию.

— «Заря». Я — «Сокол»... «Заря». Я — «Сокол». Прием...

Щелкнул тумблер. В наушнике несколько мгновений слышались шорохи, а затем раздался радостный голос дежурного связиста:

— «Сокол». Я — «Заря». Слышу вас хорошо. Что имеете для меня? Прием!

Сержант протянул Климову микрофон. Лейтенант вызвал на связь начальника заставы.

— Климов, почему так долго молчали? Докладывайте, — взволнованно и даже с некоторым раздражением сказал Михайленко.

— Товарищ капитан, выяснил обстановку. Дело темное...

— Что значит «темное»? Ушел кто-то?

— Нет. Все на месте. Спокойно работают. Никакой паники.

— Так в чем же сложность?

— Непонятно, кто его убил. Чужих следов нет. Исаев два раза проверял.

— Прокуратура поручила нам провести первичное дознание. Расспросите каждого. Проанализируйте факты. Есть у вас подозрения, версии?

Климов замялся: ну что ответить? Неожиданно всплыла в памяти едкая фраза Шаронова: «Заломите руки и поведете под конвоем...»

— Нет, товарищ капитан... Никаких идей. Может, их на заставу доставить? Пусть под присмотром будут.

— Если у вас нет явных улик, мы не имеем права никого задерживать... — Начальник заставы замолчал. Видимо, теперь он размышлял над обстановкой, потом сказал: — Значит, так: оставайтесь пока в лагере. Обеспечьте неприкосновенность места происшествия. Метеослужба обнадеживает — может, завтра прилетит из отряда вертолет с оперативной группой... И вникайте, лейтенант, вникайте в ситуацию. Ведь кто-то из

них — преступник. Не сам же себя этот Мохов в висок ударил?..

Странно устроен человек... Вот, казалось, четко представлял Климов всю картину: знал, что едет не к теще на блины, а сказал начальник заставы эти слова — «ведь кто-то из них — преступник», — и проснулась в душе тоска... Может, в глубине сознания жила надежда, что будут «чужие следы», что какой-то пришелец совершил это ужасное деяние... И тогда начнется привычное для пограничника дело — преследование нарушителя, пусть преступившего границу закона, но все-таки нарушителя, и будет ясно, где он, куда ушел. А теперь что? Четыре человека — все такие разные и вместе с тем обычные, наши люди. И кто-то из них — убийца, кого-то нужно подозревать...

Не было у Климова опыта общения такого рода, не было, и, честно говоря, не хотел он его приобретать.

Как же теперь с ними разговаривать? О чем?..

Все эти мысли переполняли Климова, когда они вместе с Исаевым возвращались к палаткам. Сержант тоже был задумчив, наверно, и его одолевали смутные чувства. Один Джек топал весело, легко — он честно выполнил свою работу.

«Кто же из них? — задал себе вопрос лейтенант. — Шаронов — злой, нервный... У них с Моховым были какие-то неслужебные контакты... Но зачем Шаронову эта смерть? Он сам говорит: успех стоит на грани провала — это для него самое главное... Нет, что-то здесь не так, все сложнее... Никишин тоже странный парень... Труп лежит, товарища твоего убили, а ты веселый, балагуришь, шутишь... Ну не любил ты его... Но все-таки это же человек, рядом преступник ходит — должно же это повлиять... Вася Тужиков боится, что его заподозрят. Если ты не виновен — чего волноваться? Правда, он — бывший заключенный, у них своя психология... Интересно, за что он был осужден?.. Тихомиров недоволен, что влип в это дело: «Зачем я его только взял?.. Будь он неладен...» Значит, моя хата с краю... Известная позиция. Э-хе-хе...»

— Товарищ лейтенант... — прервал его размышления Исаев. — Разрешите обратиться.

Климов молча кивнул.

Сержант шевелил губами, мучительно подыскивая слова, наконец неуверенно спросил:

— Что же теперь получается?.. Кто-то из геологов... этого человека убил?

Лейтенант глянул на Исаева и словно споткнулся о его взгляд: голубые глаза парнишки смотрели изумленно, чуть наивно и в то же время напряженно, строго.

«Эх, дорогой ты мой, если бы я знал точный ответ...» — грустно подумал Климов.

— Пока нет никаких доказательств, чтобы делать такой вывод, — спокойно ответил он. — Но мы с тобой пограничники, должны быть бдительными и готовыми ко всему. Согласен?

— Так точно.

Неожиданно Джек остановился, грозно зарычал. Из чащи величаво вышел огромный бурый медведь. Длинная мокрая шерсть лохматой бахромой висела на его лапах.

Исаев торопливо сбросил с плеча автомат, лягнув затвором.

Климов успел перехватить его руку.

Медведь наклонил большую лобастую голову, маленькими красными глазками сурово посмотрел на людей. Он мотнул туловищем из стороны в сторону и не спеша, с достоинством пошел своей дорогой. Только один раз оглянулся и недовольно, хрипло проворчал...

Придя в лагерь, Климов принял окончательное решение: они с Исаевым будут по очереди охранять камеральную палатку — обеспечивать неприкосновенность места преступления. По крайней мере, это поручение они смогут выполнить и тем самым оправдать свое присутствие здесь.

Лейтенант отправил Исаева спать, а сам стал медленно расхаживать по поляне. Сгущались сумерки. Рваные, корявые тучи низко ползли над землей, но дождь почти прекратился. Климов с волнением ждал возвращения геологов. «Почему они не идут? — тревожно думал он. — Темно уже... Может, случилось что-нибудь?»

Климов прислушался: нет — ни криков, ни взрывов; только шумит тайга угрюмым протяжным гулом и горько всхлипывает река на перекатах.

«Наверно, зря я их оставил, — подумал лейтенант. — Нужно было там оставаться, присматривать...» Но тут же он вспомнил багровые, простуженные руки Шаронова, капли пота на лбу Пети Никишина, скорбленную фигуру Тужикова, вечно хлюпающий нос про-

раба... Нет, не смог бы он быть, стоять и наблюдать за ними. Люди работают честно, трудно, а он что бы среди них делал? Стыдно дурака валять... И почему он должен кого-то из них подозревать, по какому праву? И может ли преступник вот так спокойно работать?.. Преступнику бежать надо, скрываться...

Лейтенанту почему-то стало обидно, что не видел и даже не знает Шаронов, как они брали в кустах того нарушителя. Ему захотелось, чтобы Вадим Петрович разглядел в нем профессионала, мастера своего дела — тоже сложного, непростого, требующего вдохновения, порыва...

«Ишь ты, «озарение» к нему пришло, — завистливо думал Климов, вспоминая рассказ Шаронова. — А ты смекнул бы, как того гада из чащи выкурить? Дай тебе волю — сунул бы ребятишек под пули... Для тебя ведь народ — дрянь. Главное — доложить о победе...»

И, поймав себя на дурной мысли, лейтенант до конца осознал, что все-таки уважает Шаронова — сильный он мужик, волевой.

Послышался приглушенный говор, из мрака выплыл одинокий огонек папиросы. «Идут!» — обрадовался Климов. Он включил фонарик. Впереди с непокрытой головой шествовал Шаронов, за ним вразнобой топали его «богатыри»; Петя Никишин, как всегда, хохмил — задира Тужикова.

В нескольких шагах от лейтенанта вся компания остановилась. Вадим Петрович смачно выплюнул окурок, засунув руки в карманы, задиристо спросил:

— Ну что?.. Какие новости?

— Завтра, наверно, прилетит вертолет, — ответил Климов. — Нам поручено охранять место происшествия. Поэтому входить в камеральную палатку запрещаю.

— Позвольте, у меня там личные вещи, — возмутился Вадим Петрович, но не очень яростно. (Климов понял, что у него отличное настроение — видимо, день принес новые результаты.)

— Одну ночь обойдетесь как-нибудь.

— Вот... чисто армейская логика! — иронично хмыкнул Шаронов. — Между прочим, до вашего прихода я в этой палатке делал все, что мне угодно... И, если бы хотел, мог уничтожить любые следы.

И тут лейтенант не выдержал:

— Вы, между прочим, до моего прихода были под строгим наблюдением, от которого, опять-таки между

прочим, не ушел тот факт, что вы рылись в мешке Мохова и забрали оттуда какой-то документ.

В воздухе повисла напряженная пауза.

— Та-а-ак... — на выдохе, тяжело вымолвил Шаронов. Затем бросил выразительный взгляд на своих подопечных (Тихомиров даже поежился), каким-то чужим, хриплым голосом сказал: — Идите, братцы, ужин готовьте... — И добавил для Климова: — Потом поговорим, Владимир Николаевич, за столом...

Шаронов неожиданно увидел себя как бы со стороны, глазами этого румяного лейтенанта. Увидел и содрогнулся...

Вадим Петрович попросил у Тихомирова полотенце, мыло; пошел к ручью. Он долго тер руки, пытаясь смыть въевшуюся под кожу грязь, — ничего не получалось. «Запустил, забылся... — мрачно думал Шаронов. — Теперь всю жизнь буду с такими лапами ходить...»

Он вернулся в палатку. На столе уже дымился ужин. В углу на нарах спокойно посапывал сержант. Его не тревожили ни тусклый свет керосиновой лампы, ни говор людей, ни шум, который сопровождал каждое их действие.

— Позвать лейтенанта? — неуверенно спросил прораб.

Шаронов кивнул.

Климов вошел, снял фуражку.

— Садитесь, Владимир Николаевич, — сказал Шаронов.

Захрустели луком, взяли ложки, стали дружно уплетать все ту же традиционную уху. Утолив первый голод, Шаронов облизнул губы и начал свой рассказ:

— Так вот, значит, товарищ лейтенант, и вы, други верные... Поведаю вам историю о моем знакомстве с покойным Моховым... Делаю это осмысленно. Потому как, по всему виду, прибудет завтра следователь. Начнутся другие разговоры — серьезные. И, чтоб каждый из вас не нес ему свою ахинею, говорю все как есть. И попрошу... — Вадим Петрович строго постучал ладонью по столу. — Попрошу после этого изобретение легенд и мифов прекратить...

— Давай, Вадим Петрович, открывайся, — хихикнул Никишин. — Чистосердечное признание зачтется.

Шаронов зло глянул на него, но сдержался.

Тихомиров подобострастно вытянулся, как гончая. Тужиков зло косился из-под редкой челки. Климов нервничал, мял пальцами корку сухаря.

Шаронов тусклым, монотонным голосом исповедовался:

— С Моховым я познакомился в первый год работы в управлении. Я тогда был холостым, каждый день ужинал в чайной. Мохов там регулярно употреблял... — Вадим Петрович выразительно постучал по бутылке. — Однажды он был внедопития. Я налил ему стакан — на том и сошлись... Мохов разомлел, стал рассказывать мне, что знает «золотые горы», где самородки, как картофель в земле, лежат. Дед его еще до революции там промышлял, и ему эту тайну перед смертью передал... «А я никому не открою! — шипел на ухо. — Все казна заберет — шалишь! Сам как-нибудь доберусь. Хочешь, вместе пойдем?..» Я, честно говоря, к этому рассказу отнесся иронично, потому как у каждого старателя такая байка за душой лежит. Как выпьет, так она из него и вылезает... Мохов, видимо, почувствовал это недоверие, обиделся, завелся — достал из нагрудного кармана старинный серебряный портсигар, а из него вытащил потрепанный лист бумаги: «Не веришь! На, смотри...» Это был план местности, на нем крестиками отмечались какие-то «особые точки». Я в то время изучал карты области... Мельком глянул — сразу определил, где это место... — Шаронов перехватил острый взгляд Никишина. — Да-да, Петя... Ты правильно догадался — это здесь... Но тогда я все равно не придавал этому факту никакого значения... Правда, позже, определяя границы оловоносной провинции, я случайно наткнулся на отчет поисковой партии, которая работала как раз в этом районе. В нем, между прочим, указывалось, что в одном из шурфов была проба с весовым золотом. Это меня уже насторожило. Я стал изучать этот район направленно — на золото и через некоторое время окончательно убедился, что оно может здесь быть... Дальнейшее вам известно... Мохов каким-то образом узнал о нашей разведке. Он приходил ко мне домой, просил, чтобы я взял его с собой. Я подумал, что отказать ему несправедливо. Он очень переживал, плакал, проклинал себя за болтливость... Я успокаивал, говорил, что рано или поздно это месторождение все равно обнаружат и вообще, хватит ему прошлым

веком жить! Вроде угомонился, работал как все... Но когда нашел самородок, с ним что-то произошло, прямо черт какой-то в него вселился... Помню: идет, несет «золотóчек» — лицо зеленое, руки дрожат, глаза кровью налились... Опять начались упреки. Потом он стал угрожать, что расскажет всем, как я вышел на золото. Я на него прикрикнул, сказал, что меня это не пугает: я на государство работаю, а не себе в карман. Тогда он затребовал каких-то гарантий; спрашивал, какая ему будет «премия», одним словом — извел и себя и меня...

— Ты не выдержал — и трахнул его по башке, — мрачно произнес Никишин.

— Нет, Петя, ошибаешься... Мне его жалко было. Понял?

— А ты умеешь жалеть-то? Ты же презираешь всех.

— Зря ты так, Петя... Все я умею: и любить и жалеть... Только пойми, чудак, если человек живет целью, она его в плен берет и... сушит, конечно. Чем-то за страсть платить надо... От меня и жена ушла. Я до сих пор люблю ее... Мне без нее так плохо, хоть вой. А что толку? Женщине нужно внимание оказывать, а я не могу... Разучился... Ладно, это другой разговор...

Шаронов встал, подошел к нарам — там под курткой лежал его планшет. Он вытащил из него желтый листок, вернулся к столу.

— Это тот план, о котором я говорил... — Вадим Петрович протянул его Климову. — Возьми, лейтенант, отдашь следователю... Тут есть мой грех... Знаешь, как в боксе: бывает «чистая» победа, а бывает так... по очкам... Вот я и хотел... — Он не договорил, обреченно махнул рукой. — Ну да теперь все равно...

Климов вышел из палатки. Лицо его горело. А на душе было тоскливо.

Как это сказал Шаронов: «За страсть платить надо...» Неужели правда? И, словно подтверждая его вопрос, в лесу кто-то заухал, захохотал — так жалобно, одиноко.

— Не бойсь, лейтенант, то филин дурачится, — раздался из темноты голос Тужикова.

— Я и не боюсь... — поспешно ответил Климов и на всякий случай расстегнул кобуру пистолета.

— Что ж ты за пушку хватаешься? — усмехнулся невидимый собеседник.

«Сам ты как филин...» — раздраженно подумал лейтенант.

Чавкнула вода под подошвами; Тужиков подошел ближе — выплыла из тумана его коренастая фигура.

— Ложись-ка ты спать, лейтенант, — добродушно сказал Тужиков. — Кому он нужен — упокойник этот...

— А вы почему не спите? — Климов попытался придать своему голосу достойную суровость.

Тужиков шумно вздохнул, промолчал, потом сам спросил:

— Вы следы чужака искали?

— Нет никаких следов, — честно ответил Климов.

— Выходит, мы его пришили... Так? — И тут же, как бы перебив самого себя, страстной скороговоркой залепетал: — Не верю я этому, лейтенант, понимаешь — не верю! Я давеча на Вадима Петровича тебе наговорил — это так, от страха за свою шкуру. Не мог он его убить, не такой это человек... Он же страдалец, нутро-то у него ранимое, я это давно разглядел... Ты бы видел, как мы тут начинали... Рвем шурфы — и ничего... Одна грязь в лотках... Он каждый день собирал нас на совет — ведь у нас, работяг, свой опыт есть. Он нам свое мнение докладывает и просит: «Соображайте, братцы... Туда ли идем? То ли делаем?» Верись, лейтенант, я себя человеком почувствовал... Сопратником великого дела, единомышленником... Смерть эта проклятая нас порушила!..

— Но ведь кто-то его ударил? Допустим — не ты, не Шаронов. Тогда кто?.. Никишин?.. Тихомиров?..

— Сам думаю — голова пухнет...

— Вот Никишин... Он что, всегда такой шепутной?

— Всегда... Уж его таким мать родила. Он и в своей-то могиле одной ногой стоять будет — все равно что-нибудь отчудит... Нет, Петя даже в драке не бьет; я сколько раз видел: он схватит обидчика за руки и держит его, пока тот пощады не попросит.

— Тогда остается Тихомиров.

— Знаешь, Кирилыч по пьяному делу мог бы. Так-то он трусливый мужичок, но как выпьет — в нем обида эта, за робость свою, наружу выходит. И тогда держись!.. Только ведь он в тот вечер трезвый был... — Тужиков помолчал, а потом вдруг спросил: — А ты что, совсем не пьешь?

- Нет.
- Больной?... Или за идею страдаешь?
- За нее... — Климов усмехнулся и пояснил: — Не хочу я, чтобы мое настроение от стакана отравы зависело.
- Занятный ты парень, лейтенант. Трудно тебе будет.
- Почему?
- Армия дело суровое, нудное.
- Как же нудное? Ты что?.. Все время люди разные... вокруг тебя... Каждый с собой целый мир приносит.
- Люди-то разные... — Тужиков смачно зевнул. — А дурь у всех одна. Ладно, пойду я... Завтра Вадим Петрович рано поднимет.

В два часа ночи Климов, шатаясь от недосыпа, пошел будить сержанта. Он положил руку на его плечо и вкрадчиво произнес:

— Вам пора на службу...

Привычная для каждого пограничника фраза сразу «включила» Исаева. Он вскочил, огляделся. Вспомнил, где находится.

— Фу ты, забылся я, товарищ лейтенант... — растерянно сказал сержант. — Думал, что на заставе.

— Заступайте на пост... бдительно... — ватными губами сказал Климов и, не снимая сапог, упал на теплые нары — сразу провалился в темноту.

Он спал воистину словно убитый и не слышал, как пришел в лес рассвет, как запели ранние птицы, радостно заржали лошадки; не слышал, как поднял Шаронов геологов, как гремел котелком Никишин, чертыхался Тихомиров... Ничего не слышал лейтенант, лежал как чурка — все в нем смазалось, стерлось, заглушилось.

Но вот из-за туч выполз долгожданный луч, и сразу что-то дернуло Климова изнутри. Он открыл глаза, встал, вышел из палатки.

Мир радостно встречал солнце. Лес искрился, сверкал, тянул к небу каждую былинку, каждую иголочку, каждый лепесток.

Сержант и его верный Джек понуро стояли посреди поляны. Было видно, что оба чертовски устали.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант, — пытаюсь

говорить бодрым голосом, сказал Исаев. — Никаких происшествий не произошло.

— Ночью выходил кто-нибудь?

— Никак нет... Утром встали, позавтракали и пошли на работу.

— Хорошо. Идите отдыхайте... Оставьте рацию.

Климов связался с заставой. Доложил, что у него все в порядке. Михайленко сообщил: вертолет из отряда уже вылетел.

— Скоро кончатся твои муки... Замаялся?

— Что вам сказать, товарищ капитан?.. Муторно как-то... У нас на границе все проще: здесь — свои, там — чужие. А тут... не разберешь.

— Ну, ничего... Теперь уже недолго осталось, потерпи.

Шелкнул тумблер — оборвалась ниточка, связывающая лейтенанта с родной заставой.

«Наверно, нужно какой-то документ подготовить», — после некоторых колебаний решил Климов. Лейтенант вошел в палатку. Сержант и Джек безмятежно спали; он достал из планшета несколько листочков бумаги, шариковую ручку. Сел за стол, задумался: «Как же его назвать?..» Подумал-подумал, написал печатными буквами: «РАПОРТ». И стал канцелярским стилем излагать, как приехал в лагерь, как беседовал с геологами, как узнал о карте Мохова... Вначале слова вяло становились друг к другу, толкались, не хотели прояснять смысл. Но постепенно Климов увлекся, вспомнил подробности и даже сам не заметил, как исписал всю бумагу. Перечитал текст, хмыкнул — прямо рассказ получился... А вывод какой сделать?.. Подпер лейтенант ладонью голову, уставился в угол, долго так сидел...

Приглушенный стрекот прервал его раздумья. Климов облегченно вздохнул, надел фуражку, поправил портупюю. И пошел к выходу.

Зеленый кузнечик вертолета, словно оглядываясь по сторонам, повис над поляной, потом плавно опустился. Из палатки, торопливо застегивая тужурку, выскочил взволнованный сержант. Винт вертолета потоками воздуха причесал влажным зализом траву. Какое-то время он еще вращался — все медленнее, медленнее... Наконец остановился. Отъехала в сторону дверца, из полумрака блеснула физиономия солдата-бортмеханика; он подвесил лесенку. По ней на землю осторожно спустился бравый молодец в ярких резиновых сапожках, в

джинсах, в модной нейлоновой курточке и кокетливой лыжной шапочке (в руках — черный «дипломат»), за ним вышел пожилой сухошавый мужчина (в руках — потертый чемодан) и еще один — крепкий, в котором даже в гражданской одежде сразу признаешь милиционера (в руках — рюкзак).

Молодец упругим шагом направился к пограничникам.

— Лейтенант Климов.

— Следователь Хрустов.

Подошли остальные пассажиры. Хрустов светским тоном сказал:

— Врач-эксперт Гаврилов Юрий Петрович, оперуполномоченный Мандрыка.

— Здравия желаю.

Из машины выпрыгнули летчики, приветственно помахали Климову руками, стали возиться со своим агрегатом, который, остывая, тихо пощелкивал.

— Позвать свидетелей? — спросил Климов. — Они работают в долине.

— Не надо, — ответил Хрустов. — Уже идут... — И, заметив удивление в глазах лейтенанта, улыбнувшись, пропел: — Нам сверху видно все, ты так и знай...

— Товарищ следователь, — протокольным голосом начал Климов. — Пока они подойдут, я считаю, вам нужно ознакомиться с этим документом.

Он отстегнул клапан планшета, достал свой рапорт.

Хрустов с легким поклоном взял климовское «эссе», прищурился — близорукий, стал внимательно читать. Лейтенант с волнением вглядывался в его лицо. Следователь был ненамного старше Климова, но две-три горькие складки у рта выдавали в нем человека, поведавшего жизнь. «Тоже ведь работенка, — подумал Климов. — Со всякой швалью общаться приходится...»

— Ну что ж, — деликатно кашлянув, сказал наконец Хрустов. — Серьезное психологическое исследование. Спасибо... Я думаю, оно поможет нам.

— Я, правда, выводы никакие не сделал.

— Это как раз хорошо.

Вскоре на тропинке появились геологи. Шаронов был несколько бледнее обычного. («Волнуется», — определил Климов.) Подошли, представились.

— Теперь все в сборе, — констатировал Хрустов. — Начнем осмотр места происшествия. Вы готовы, Юрий

Петрович? — Пояснил для Климова: — Его немного укачало...

— Да-да, я в норме! — торопливо ответил врач.

— Товарищ следователь, мы можем возвращаться на заставу? — с надеждой спросил Климов.

— Я бы попросил вас задержаться, — мягко, но настойчиво сказал Хрустов. — Мне нужны понятия, больше ведь некому...

— Есть, — грустно согласился Климов.

Хрустов направился к камеральной палатке. Все гуськом потянулись за ним. Следователь достал из «дипломата» очки в позолоченной оправе.

— Предлагаю такую тактику... Сначала мы исследуем и опишем тент. Потом его снимем, чтобы лучше было видно, и продолжим работу... Есть возражения?

Все, насупившись, молчали.

— Возражений нет, — подвел итог Хрустов. — Тогда прошу в палатку войти понятых. Мандрыка, садись за стол, будешь записывать.

Покачиваясь с пятки на носок, следователь начал медленно диктовать:

— Протокол осмотра места происшествия... Какое сегодня число, Мандрыка? — оперуполномоченный ответил. — Вот... Значит, пиши... Такого-то числа, года... следователь прокуратуры... Хрустов К. Л. — Глянул на Климова. — Константин Леонидович... В соответствии со статьями... Уголовно-процессуального кодекса... составил настоящий протокол... — Хрустов перевел дыхание, поправил очки, продолжил: — Прибыв сего числа на место обнаружения трупа гражданина Мохова... — Посмотрел на Шаронова. — Как его имя, отчество?

— Макар Васильевич.

— Значит, гражданина Мохова М. В. с ушибленной раной головы... Доктор, не возражаете против такой формулировки?

Эксперт в это время внимательно изучал покойника.

— Нет, — отозвался он.

— Хорошо... В присутствии понятых... Климова?..

— Владимира Николаевича.

— Отлично... Проживающего?

Лейтенант назвал адрес войсковой части.

— И?..

— Сержант Исаев Евгений Васильевич.

— Замечательно... Проживающего там же... И с участием судебно-медицинского эксперта... Сам допиши.

Хрустов прошел в центр палатки, продолжил:

— Осмотром установлено... Место, где обнаружен труп, находится в брезентовой палатке на окраине лесной поляны...

И далее он самым подробным образом стал описывать, из каких деталей состоит тент палатки, как он натягивается, на что крепится, какого цвета...

Климов и Исаев выразительно переглянулись.

Закончив «первую главу», Хрустов спросил:

— У понятых есть замечания по протоколированию состояния тента?

— Нет, — в один голос ответили пограничники.

— Тогда будем снимать...

Никишин, Тужиков и Тихомиров за несколько секунд скрутили брезент. Солнце ярко осветило маленький квадратик земли, на котором разыгралась трагедия.

— Другое дело! — оживленно воскликнул Хрустов. — Свидетель Шаронов... — Вадим Петрович вздрогнул, вытянулся. — Сейчас многое зависит от вас... Мне нужно как можно точнее знать первоначальное положение трупа. Сможете вы хотя бы приблизительно начертить его контур?.. Как он лежал? Где были руки, ноги?

— Я могу это сделать совершенно точно, — сухо ответил Шаронов. — У меня профессиональная память на контуры.

— Великолепно! Мандрыка, дайте ему мешочек с порошком гипса.

Оперуполномоченный порывлся в своем рюкзаке, вытащил полиэтиленовый пакет, протянул Вадиму Петровичу.

— Вот, обозначьте... — предложил Хрустов. — Не торопитесь, вспомните, как лежало тело по отношению к другим предметам.

Теперь Шаронов встал в центре палатки. Лицо его было напряженным; он закусил губу, нахмурил лоб, вглядывался в очертания земляного пола, как в горный ландшафт.

Наконец, видимо приняв окончательное решение, Вадим Петрович надорвал уголок пакета и тоненькой струйкой белой пыли стал медленно рисовать на земле какой-то чертеж. Постепенно плавные линии замкнулись, и все увидели изображение человека: голова, вытянутая рука, слегка согнутые ноги...

— Очень интересно! — возбужденно сказал Хру-

тов. — Значит, голова лежала именно так — рядом с сундучком?

— Да, — уверенно подтвердил Шаронов и указал: — В этой руке был зажат самородок.

— А где он, кстати?

Вадим Петрович благоговеино вытащил из нагрудного кармана носовой платок. Развернул его — тускло блеснул красновато-желтый корявый камушек величиной со спичечный коробок.

«Так вот ты какой?» — меланхолично подумал Климов и немного удивился, что ему раньше не пришла в голову мысль посмотреть на виновника преступления. — Неужели это из-за тебя?..»

Следователь спокойно взял самородок, как будто это был обыкновенный булыжник, положил его на траву, в то место, где была обозначена рука. Некоторое время он в мрачной задумчивости взирал на эту картину.

— Константин Леонидович... — неожиданно громко в наступившей тишине прозвучал голос врача. — А ушиб-то слабенький. С размаху так не бьют.

Эта фраза сразу преобразила Хрустова. Его как будто током тряхнуло. Он вытащил из «дипломата» лупу, подошел к сундучку, уставился на его угол.

— Юрий Петрович, любопытствуйте! — позвал он врача.

Гаврилов оторвался от своего «объекта», заглянул в увеличительное стекло.

— Угу, — подтвердил он. — Похоже... Вот эпителий... брызги крови...

— Так!.. — Хрустов оживленно потер ладони. — А скажите-ка мне, граждане свидетели, ваш Мохов на здоровье не жаловался? Голова? Сердце?

Тихомиров встрепенулся...

— Жаловаться не жаловался... А за грудь в последнее время хватался... Я замечал... Вздохнет — так тяжело, жалобно... И руку к сердцу тянет.

— Во-о-от... — протяжно, выразительно сказал Хрустов. — А вы, товарищ лейтенант, говорите «выводы»...

Честно говоря, Климов не понял, на что намекает следователь. И только по тому, как весело сверкнули глаза Хрустова, окруженные золотой дужкой очков, ощутил: произошло нечто важное, проливающее свет на всю эту мрачную историю.

И вдруг послышался какой-то странный, булькающий звук. Шаронов, схватившись рукой за горло, изви-

ваясь всем телом, не то рыдал, не то смеялся. Лицо его обмякло, как будто с него сползла тонкая резиновая маска. Лейтенант с удивлением увидел — перед ним совершенно другой человек: напряжение, державшее Шаронова в тисках, бесследно ушло. Да, он смеялся, хохотал, рычал... И, глядя на него, Хрустов почему-то тоже улыбался...

И снова была лесная тропа, и снова сочно чавкала грязь под копытами лошадей, и снова сонно качался Климов на своем жеребце, а сзади — с Джеком поперек седла — ехал побуревший от усталости Исаев. Они возвращались на заставу — спокойные, умиротворенные. Картины прошедшего дня — несколько утомительных часов осмотра, отправка трупа с вертолетом на Большую землю, заключительная беседа с Хрустовым, прощание с Шароновым — все это толпилось в сознании, воспринималось как тяжкий, давний сон.

Перед отлетом Хрустов сказал Климову:

— Кстати, ваш «рапорт» многое прояснил. Мохов был крупной, внешне здоровой особой, поэтому никто из вас не заподозрил естественную смерть, а тут еще этот шрам на виске... Но, во-первых, Мохов сильно пил, а во-вторых, то нервное состояние, в котором он находился, неумолимо вело к срыву. Видимо, сердце не выдержало...

Климов прикрыл веки. И ему вдруг представилось видение.

Ночь, шуршит дождь по палатке... А Мохов не спит: белыми от ненависти глазами смотрит он в темноту, и в который раз накатывает на него тяжкая тоска. И пульсирует в его голове одна и та же едкая мысль: «Что наделал? Что наделал?.. Сколько лет лелеял в душе мечту-тайну... Все думал, надеялся — придет пора, найдет он эти «золотые горы». И тогда начнется совсем другая жизнь — веселая, праздная: вино забулькает — сладкое, душистое; сударки-любовницы будут заглядывать в глаза, ловить каждый блеск его желаний... Эх, все пропало! В один миг... Мозгляк этот проклятый за стакан водки купил дедовскую тайну. Теперь все прахом пойдет, все казна заберет, перемелет...» И снова зануло нутро, что-то там жгло, томило... Он встал — страшный, озверевший, тихо пополз вдоль нар. Спят-сопят кореша, намаялись... Нет им до него дела, ни-

кто не знает, что с ним творится, как корежит его судьба...

Зачем он шел в камеральную палатку? Может, хотел убить Шаронова? При осмотре в кармане Мохова был обнаружен охотничий нож.

Он стоял перед этим паршивым сундучком, в котором лежал «его» самородок... Нет начальника... Куда же Шаронов делся? И здесь ему повезло — уберег друг-случай... Потянул заскорузлыми пальцами замочек — только петелька звякнула... Вот он — «золотóчек», лежит на ладошке... «Мой это! Никому не отдам... Зубами глотки перегрызу — за свое, за дедовское...» И вдруг накатил страх, отчаяние... «Что сделаешь? Придут, отнимут, заберут...» Вспыхнула в груди ярость, схватила лютая боль — будто взорвалось что-то внутри... Подкосились ноги, захрипел, дернулся... Падая, ударился головой, но сжимал, сжимал в кулаке желанный кусок золота... И холод от него стал медленно разливаться по всему телу...

Климов покачнулся — конь оступился в бочажок. Лейтенант открыл глаза, провел рукавом по лицу, смахнул прилипшую к губам паутинку.

Впереди за деревьями блестела река. Значит, застава совсем рядом.

Месяца через полтора Хрустов прислал Климову подробное письмо, в котором писал, что версия о естественной смерти Мохова подтвердилась, что сейчас он занимается новым сложным делом и на пути к истине следует ответить на множество вопросов. Но надежды на благоприятный исход не теряет. Желает Климову не забывать юридических уроков, полученных в связи с расследованием обстоятельств гибели Мохова.

Климов усмехнулся. Все же он испытывал явную симпатию к жизнерадостному и уверенному в себе Хрустову.

КОГТИ ШАТУНА

Лейтенант милиции Сергеев опаздывал в клуб. Он торопился и нервничал. Сбросив форму, Андрей быстро надел белую рубашку и теперь повязывал галстук. Но узел, как он ни старался, получался то велик, то уж очень мал.

Сегодня Сергееву особенно хотелось выглядеть красивым и нарядным. Ведь его ждет Вера. Надев полубрюки, Андрей еще раз осмотрел себя в зеркало. И остался недоволен. Тоже жених нашелся. Нос-то... Нос короткий, вздернутый, ну прямо как у капризного мальчишки. А лицо? Что это за лицо? Круглое, румяное, будто девичье. Ладно, что уж сделаешь. Такой уродился.

Он подмигнул себе и повернулся к двери. И тут же у порога увидел сержанта милиции Агеева.

— Ты когда научишься в дверь стучаться? — рассердился Сергеев. — Даже очень, скажу тебе, некрасивая привычка вламываться без стука в чужую дверь.

— Прошу прощения. Товарищ лейтенант, майор вас вызывает, — хриловатым голосом проговорил, виновато усмехаясь, сержант.

— Я ведь только двадцать минут как от него. Успел вот только переодеться... Что случилось?

— Не придется вам, товарищ лейтенант, сегодня на танцы сходить. Говорит, чтоб одна нога там, другая здесь.

— Чему радуешься-то? — спросил Сергеев сердито, когда они сбежали с крыльца и быстрым шагом направились в милицию.

— Откуда вы взяли, что радуюсь? Просто смешинка в рот попала. Такая у нас служба — не успели вы закрыть дверь, как сразу: «Срочно Сергеева ко мне!»



Сергеев шел впереди сержанта, слушал его, а сам думал: зачем он так поспешно потребовался и долго ли задержит начальник? Надо бы забежать в клуб и предупредить Веру, чтоб не беспокоилась.

У начальника милиции Стриженкова Андрей увидел председателя рыбокооп Волошина.

— Вот и Сергеев, — сказал майор. — Ему и поручим это дело.

— По вашему приказанию...

— Садись, лейтенант. — Майор кивнул Сергееву на стул.

— И главное, я как чувствовал. — Председатель внимательно посмотрел на Андрея и продолжал: — Сам лично Самсонову просил. Не хотел, а надо. Ведь декабрь кончался, квартал, год. План горит, а деньги у нее. Самолеты не летали, пурга... Где он может быть? Ума не приложу...

— Вот в чем дело, Андрей Никифорович, — обратился майор к Сергееву. — Еще перед Новым годом Анатолий Петрович, — Стриженков кивнул на Волошина, — позвонил завмагу Самсоновой, чтобы она в срочном порядке всю выручку магазина, сорок три тысячи рублей, доставила сюда, в банк. Та снарядила собачью нарту и направила деньги с мужем. Он у нее помощником. Но вот прошло уже двенадцать дней, а ни денег, ни Самсонова нет.

— Убивается женщина, сегодня опять звонила, — сказал Волошин и тяжело вздохнул. — А я все надеялся, думал, вот-вот приедет. Но сегодня пришел к вам... Может, Самсонов где пургу переждал, задержался...

— Ну, пурга-то почти неделя как кончилась. За это время можно съездить туда и обратно. — Майор просительно поглядел на Сергеева.

— А не мог он случайно мимо, теперь на самолете, пролететь? — спросил лейтенант удрученного председателя.

— У Самсонова двое детей... и вообще, мне кажется... — поднял на майора глаза Волошин.

— Я сам об этом думал, — сказал Стриженков. — Ты вот что, свяжись с аэропортом, пусть проверят, — кивнул лейтенанту.

Андрей крутил диск телефона и думал о том, что уже девятый час вечера и в аэропорту едва ли смогут ответить ему конкретно. Значит, надо ехать туда самому, искать кассира, рыться в ведомостях. Но, к его удивле-

нию и радости, ответил диспетчер и охотно согласился помочь. А через пять минут уже назвал фамилии всех убывших из села за эти пять дней.

— Самсонов не вылетал, — сказал Сергеев, садясь на стул напротив Волошина.

— Значит, не вылетал?.. Свяжись-ка еще со всеми нашими аэропортами, — сказал начальник милиции Сергееву, — на всякий случай предупреди их. И готовься на завтра в дорогу.

— Может, он еще до утра приедет, — неуверенно сказал Волошин.

— Предупреди Аретагина. Если Самсонова утром не будет, то поедешь с ним искать его. А я тут с начальником аэропорта поговорю, может, вертолет pošлем тебе в помощь. — Майор встал из-за стола и стал одеваться.

Утро следующего дня было тихое и морозное. Провода обвисли от тяжести инея и походили на толстые махровые бельевые веревки. Сергеев ощущал, что даже легкое движение воздуха, возникающее от быстрой ходьбы, обжигает щеки и подбородок.

«Хоть бы он приехал, — с тайной надеждой думал лейтенант, подходя к конторе рыбокооп. — Мотаться на нарте по тундре в такой морозище...» — Он поежился от холода.

Еще вчера вечером Сергеев обзвонил все села, куда летали самолеты за эти дни, но Самсонов в списках нигде не значился. Потом долго сидел у каюра Аретагина, обсуждая вероятный путь его. Даже по карте вымеряли. Как утверждал Аретагин, Самсонов тундру знает, как свой магазин, не раз приезжал на нарте в райцентр. Дорогу должен выбрать самую удобную и короткую. Конечно, если не сбежал. Но даже опытный каюр может заплутать в пургу, сбиться с пути. Таких примеров Аретагин привел множество, даже из личной практики.

«А не мог Самсонов махнуть в Магаданскую область или на Чукотку? Что ему двести-триста километров? Волошин чего-то выжидал...»

Но когда Сергеев увидел председателя, даже спрашивать его ни о чем не стал. Вид у того был растерянный, виноватый.

— Нет, — покачал головой Волошин, — не появлялся.

Через час лейтенант уже сидел на нарте за спиной

каюра. Нос и щеки его закутаны теплым шерстяным шарфом, только небольшая щелка оставлена для глаз. На руках оленьи камусные рукавицы, на ногах собачьи унты.

Нарта мчалась по льду замерзшей реки. Снег под полозьями тянул одну бесконечную тоскливую ноту. Шерсть на собаках быстро покрылась толстым слоем инея, будто они в муке вывалялись.

На душе у Сергеева было беспокойно. Искать Самсонова в тундре, что маковое зернышко на огороде. Мало ли какой дорогой он мог поехать и поехал ли! А если не устоял перед большой суммой денег? Это же ЧП в районе! И все-таки у Андрея еще теплилась слабая надежда на встречу с Самсоновым.

Познакомился лейтенант с Самсоновым еще летом. Тихий, как показалось Андрею, трусоват.

«В этих тихих... А вдруг он уже на материке? За эти двенадцать дней... Пусть пять дней из них бушевала пурга. За семь дней при нашей технике можно земной шар облететь. Главное — добраться до аэропорта. Надо все как следует обдумать. Если на нарте делать по семьдесят километров в день, то до райцентра он мог добраться за три дня. А если он все-таки махнул в Магадан?»

Аретагин держался наиболее вероятного пути, по которому мог ехать Самсонов. Каюр бойко покрикивал на собак, и они, взлаивая и повизгивая, мчались так быстро, словно хотели убежать от этого холода. Справа и слева тянулись крутые берега, на которых в угрюмой молчаливости стояли заснеженные кусты кедрового стланика, ольхи, тальника. Далеко слева виднелись сопки Таловского хребта. Тихо, мертво вокруг. Даже куропатки теперь попрятались от этой стужи в глубоком снегу.

Ехали молча. Лейтенант выглядывал из-за широкой спины каюра, все еще надеясь увидеть встречную нарту, но впереди было пусто. «И все-таки не может быть, чтобы Самсонова никто не видел.

В этой безлюдной тундре есть жизнь. Его могли видеть. Наверняка видели. Где-то кочует на пути оленье стадо. Возможно, пастухи что-то знают. А может, Самсонов к Долгану заехал? Василий Долган, старый знакомый, живет на их пути в маленькой охотничьей избушке. Соболей промышляет. Не может человек исчезнуть бесследно, тем более с собачьей нартой. Как гово-

рит Аретагин, собаки у Самсонова хорошие, и запрягал он их сразу чертову дюжину.

— Далеко еще до избушки Долгана? — спросил лейтенант Аретагина.

— У-у, очень далеко. Еще сегодня и завтра ехать. Хак-хак-хак! — сказал каюр и замахал остолом — короткой палкой — на собак.

Вот уже почти две недели не добыл Долган ни единого хвоста. Не везет ему в этом сезоне. Снег выпал рано и толстым слоем. Трудно добывать соболишек, когда снег глубокий. Еще с осени взял обметом шесть зверушек да трех подстрелил на кедровнике — вот и вся добыча. Самоловы и капканы снегом заносит, зря простаивают. Долган, как и многие старые охотники, еще верит в охотничью удачу. Что ни делал он, чтобы задобрить злого духа — келе: и юколу разбрасывал на снег, и кусочки мяса, даже комочки сахару — все напрасно.

Да и на душе у него беспокойно. Уже несколько раз встречал охотник на своем пути следы медведя. Сильно боится Долган «хозяина» тундры. Злой ходит зверь, голодный. Плохо, когда его разбудили не вовремя. Осторожный стал Долган. Пока капканы, ловушки обойдет — шея заболит от частых поворотов головы. Вдруг где шатун его поджидает. Карабин из рук не выпускает. Несколько зайчишек украл у него «хозяин». Хоть уходи в другое место. Но охотник медлил: жалко ему своих угодий — здесь избушка у него, да и охотится он в этих местах только второй сезон. Но всякий раз, проходя по своей охотничьей тропе, вглядывается в каждый куст, бугор снега, ожидая встречи с шатуном. И ждет ее, и боится. А встречи не миновать. Кто-то из них должен уступить. Совсем не виноват перед «хозяином» Долган. Не он разбудил медведя, не он выгнал из теплой берлоги на холод.

Медведя поднял охотник Икорка, который промышлял соболишек километрах в двадцати от избушки Долгана. Месяц назад познакомился Долган с ним. Встретились в тундре. Пригласил Икорка его к себе, угощал спиртом, просил продать соболишек.

И вот теперь бродит шатун в долгановском уголье. Того и гляди, чтобы не подкараулил охотника. Хитрый зверь медведь, злой.

Совсем потерял голову Долган. Пропал охотничий сезон. Жаль уходить, когда еще с осени зверушек здесь прикормил, сколько рыбы и мяса им стравил.

В этот раз, как обычно, обходил Долган свои ловушки. Шел на «вороньих лапках» по глубокому снегу. Еще летом сплел их охотник из гибких и прочных прутьев тальника. «Вороньи лапки» легкие, широкие и почти не утопают в снегу. День выдался холодный, горизонт покрылся туманом, будто дымкой завесился. Солнце совсем низко и дымку не может пробить. Края яркие, а середина тусклая.

Охотник рад-радехонек. В первом же капкане, у каменных россыпей, он обнаружил соболя. Хороший, матерый попался соболишка. А мех какой! Охотник стоял в от радости дул на длинные ворсинки, которые, словно от сильного вихревого ветра, круговыми волнами ходили.

А когда в четвертой ловушке лисицу черно-бурую вытащил, даже ногами запритопывал, запрыгал, запел.

Что ни говори — повезло ему в этот день. Кроме соболя, лисицы, еще двух горностаев добыл. Если бы всегда так! Правда, после пурги ему пришлось крепко поработать: откапывать ловушки из снега, переставлять их. Но какая же радость без работы?

Долган напевал, возвращаясь к себе в избушку. И вдруг он остановился. Что это? Не может быть! Впереди, в двухстах метрах от него, раскинулось озеро. Он видел на противоположном берегу зеленые кусты кедрача, которые отражались в воде. По воде пробегала легкая рябь. Все это было невероятным. Вокруг лежал глубокий и жесткий снег, морозище не меньше сорока градусов, и это незамерзшее озеро!

«Не мог я заблудиться! И не было здесь озера. Странно все это! — размышлял Долган, вглядываясь в голубую даль. — Никак келе со мной шутит?»

Охотник постоял еще минуты две. Хотел поближе подойти к озеру, все разузнать. Но не успел сделать трех шагов, как озеро пропало. Впереди стояли заросли зеленого стланика. Дальше виднелись знакомые сопки.

— Келе! — испугался Долган. Разум победил суеверный страх. Он вернулся на прежнее место и снова увидел озеро.

— Чудеса! — Охотник уставился на водную гладь. Она манила, звала. И Долган снова направился к бе-

регу. Но стоило охотнику сделать три шага, как озеро опять пропало.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Долган и понял, что озеро он видит только с одного маленького пятачка, а на самом деле никакого озера нет. — Келе со мной шутит, — решил Долган и, поправив удобнее калаус — мешок с добычей, закинув на плечо карабин, смело направился к своей избушке.

День кончался, а они все еще ехали. Сергеев по-прежнему всматривался вперед. Чем дальше они отъезжали от села, тем быстрее гасла надежда встретить Самсонова. Зато мысль, что им придется где-то ночевать в тундре, все сильнее беспокоила лейтенанта. Когда мороз за сорок, даже у костра не рай, не очень-то отдохнешь! А устал и промерз Андрей изрядно. И хотя одет тепло, но надо было не ватные брюки, а меховые раздобыть. Сергеев уже несколько раз бежал за нартой — грелся. Но пока бежишь — тепло, сел на нарту — замерз.

Арегагин давно свернул направо. Теперь нарта подпрыгивала на кочках, мчалась по тундре. Всюду встречались заросли зеленого кедровника, из-под снега то тут, то там выглядывала коричневая жесткая трава. Вдали слева в небо уходили снежные сопки. Они сливались белизной с заснеженной тундрой, и Сергееву казалось, что ни сопки, ни кустов нет, а тянется сплошная снежная равнина.

Вот уже в который раз за дорогу лейтенант вспоминал Веру и улыбался про себя. Вчера он так и не смог попасть на танцы, а сегодня даже попрощаться не успел.

Впервые Андрей встретил Веру на улице. Был поздний тихий вечер. Сдав дежурство, лейтенант возвращался домой. Смешно, но при встрече с ней у него вдруг появилось какое-то мальчишеское озорное настроение.

— О прекрасный гуманоид! — воскликнул он. — Не скажете ли, как называется эта чудная планета?

— О достопочтимый пришелец, вы оказались в Солнечной системе на планете по имени Земля! — Девушка внимательно посмотрела на Андрея. — Но и вы ответьте, пришелец, из какой галактики к нам пожаловали?

Сергеев взял ее руку, вытянул вверх и сказал:

— Смотрите на свои пальцы и увидите мою далекую планету в созвездии Льва. О, это замечательная планета! — Он рассмеялся. Засмеялась и девушка.

А потом лейтенант увидел ее на районной комсомольской конференции. Заметил в президиуме. Как же, лучший воспитатель детского сада. А этой лучшей... всего девятнадцать лет.

Андрей улыбнулся, вспомнив свой первый танец с ней. Чудак, чего растерялся? После конференции устроили вечер танцев. Когда раздались первые, еще слабые звуки вальса, лейтенант подошел к девушке.

Вера — в толстом вязаном свитере, в синей юбке и лакированных туфлях — стояла с девчатами возле окна, и они оживленно о чем-то разговаривали. Пока Андрей подходил, вся его смелость вдруг улетучилась. Он остановился, и надо же — словно онемел. Стоял, молчал и смущенно смотрел на Веру.

— Пришелец из созвездия Льва? Освоились у нас и решили меня пригласить на танец? — улыбнулась девушка.

— Да, — с трудом нашелся Андрей.

Девушка смотрела на него и улыбалась. А он совсем растерялся.

— Идемте же! — Она первая взяла его за руку.

«Какой же я недотепа». Сергеев даже сморщился, будто от зубной боли, вспомнив, как при первом же шаге наступил Вере на ногу.

— Вы уж извините... Я, знаете...

— Ничего страшного. — Вера опять улыбнулась.

Улыбка у нее была добрая, детская.

— Хак-хак-хак! — прозвучало в зловещей тишине и вернуло Сергеева в действительность. Он едет на задание — искать Самсонова, который исчез неизвестно куда. «Куда он мог исчезнуть? Может, заболел дорогой и отлеживается у пастухов или охотников? А вдруг где в снегу замерз? Как же я смогу найти его?» Все чаще невеселые мысли приходили лейтенанту в голову.

На ночь они остановились в кедровнике. Аретагин постарался: заготовил огромную кучу дров. Ночь стояла тихая, безветренная. Сергеев даже удивился: как быстро она прошла. Костер горел жарко, а в спальнях мешках-кукулях на толстом слое веток лапника спать было совсем не холодно. За всю ночь лейтенант даже ни разу не проснулся. Правда, Аретагину приходилось, видно,

вставить, поддерживать огонь. А утром, позавтракав разогретой тушенкой, напившись горячего чая, сразу же отправились дальше. Было еще темно, а их нарта мчалась по заснеженной целине. Сергеев, кутаясь в кушлянку — оленью шубу, уже не надеялся встретить нарту Самсонова, но на всякий случай по привычке всматривался во все кочки, кусты, подозрительные бугры снега. Делал это и каюр.

— Мы правильно едем? — спросил лейтенант Аретагина. — Не мог он другой дорогой поехать?

— Конечно, мог левее или правее поехать. Это не летняя проторенная тропинка, след могла пурга занести, — лениво ответил каюр.

Первым его увидел Аретагин. Был уже полдень. Он повернулся к Сергееву и толкнул его в бок:

— Самсонов едет!

— Где?

Каюр кивнул в сторону приближавшейся нарты. Лейтенант даже не поверил своим глазам. Навстречу им мчалась собачья упряжка. Откуда она взялась здесь, среди снежной холодной пустыни? Путник сидел боком, упираясь ногами в полоз, и покрикивал на собак. Он, видимо, не видел их. А когда увидел, неожиданно свернул вправо.

— Правь к нему, — радостно сказал лейтенант, всматриваясь в лицо путника. — Узнаем, что с ним случилось, и вместе поедem домой.

Но вскоре они поняли, что каюр встречной нарты вовсе не искал с ними встречи, а, наоборот, старался быстрее оторваться от них.

— Самсонов! — крикнул Сергеев. — Подожди! «Естественно, боится, ведь деньги везет!» — подумал лейтенант. — Погоняй собачек! — приказал Аретагину.

И какое же разочарование было у Сергеева, когда путник остановился, и они подъехали ближе. Вглядываясь в собачью упряжку, Аретагин покачал головой:

— Не Самсонов...

Лейтенант и сам видел, что ошибся.

— Куда едешь? — спросил он, когда нарта остановилась в пяти шагах от путника.

— Охотник я. Охочусь здесь.

Собаки обеих упряжек громко и вразной лае лаяли друг на друга. Сергеев не расслышал слов охотника.

— Что он говорит? — переспросил у Аретагина.

— Это охотник, Егорка Опарин.

— Ты здесь никого не видел? Может, кто проходил или проезжал? — спросил лейтенант у охотника.

— Нет. Здесь люди не ездят. Теперь самолетом больше летают, — сказал Опарин и махнул остолом на собак.

Сергееву хотелось еще поговорить, разузнать у охотника о его пути, где живет, но тот, видимо, спешил. Скоро он скрылся за кустами кедровника.

— Погоняй, едем дальше, — сказал лейтенант Аретагину.

— Надо заехать к Долгану, может, он что знает.

— К Василию? Что, скоро уже к нему приедем?

— Часа через два-три будем у него, — кивнул головой каюр.

«Вася Долган так вот не уехал бы, — размышлял Андрей, — поговорить он любит. А этот охотник нелюдимый какой-то. Надо будет проверить, не браконьер, случайно?»

— Приедем как раз вовремя, с охоты, пожалуй, придет, — говорил Аретагин. — А этот, смотри, даже говорить с нами не захотел.

— Ты его хорошо знаешь?

— Осенью ходил собак покупать. Три рубля за собаку давал. Скупой.

— Ладно, сегодня у Долгана переночуем, отдохнем по-человечески, — сказал Сергеев. — Возможно, Самсонов у него. А нет, так Василий, может, что подскажет.

Егор Опарин скоро убедился в том, что мечты его опять остались только мечтами. Соболей непросто взять. А он думал, что их можно добывать по десятку в день. А это деньги, хорошие деньги.

Опарин — высокий сухопарый мужчина двадцати восьми годов. Длинные щетинистые волосы цвета ржавчины закрывали почти все его узкое и длинное лицо. И весь он был длинным, как палка.

Летом Опарин работал грузчиком на причале: выгружал с бригадой баржи, кунгасы и плашкоуты. Работа хоть и тяжелая, зато денежная. Осенью строил общественную баню. Плотничал. Заработал хорошо, и... половину заработка просадил в карты. И вот теперь судьба кинула Егора в тундру, на промысел. Знакомый

присоветовал: «Соболей в тундре как комаров летом. Можно хорошую кучку денег заработать».

Промыслом Опарину заниматься не приходилось, был он охотник-любитель, но ведь «не боги горшки обжигают». И он решил.

Договора с зверопромхозом заключать не стал, там видно будет. Во всяком случае, продать соболей всегда можно. На оставшиеся деньги купил палатку, чайник, кастрюли, соль, продукты. В мастерской сделали ему небольшую железную печурку, у коряков купил собак и нарту. Раздобыл ружье, капканы, теплую одежду и по первому снегу тихо уехал в тундру.

Три дня Опарин мотался по тундре, искал глухое угодье, где водились бы соболи. Изъездил много и нашел. Это были обширные заросли кедрового стланика с неопавшими шишками, сушняк на дрова. Рядом текла быстрая речушка с чистой и прозрачной водой. Недалеко блестела каменистой макушкой сопка. Место Опарину понравилось, он его даже полюбил, когда вечером добыл первого соболя.

«Поохотимся, — радовался Егор, — главное — место что надо. В эту глухомань ни один егерь не доберется».

Палатку Опарин поставил на берегу речушки. Рядом проходил узкий глубокий овраг. На дне его лежал старый пласт снега. Зимой, видимо, овраг полностью засыпало, а летом снег таял и только оставался на дне, куда не достигали солнечные лучи, и лежал жесткий, твердый как камень.

Все предусмотрел Егор: вода есть, дрова рядом, затишье, а главное — далеко от постороннего глаза. Первые две недели прошли быстро и незаметно. Охотник вставал затемно и до позднего вечера бродил по зарослям, ставя капканы и ловушки, и мечтал о том, что в один из дней во всех них будут соболи, горностаи, лисицы. Но проходили дни, ловушки были пусты.

И лишь иногда попадались горностаи или даже соболи. Но не о такой охоте мечтал Опарин — совсем мизерная добыча.

Как-то, проходя возле зарослей кедровника, Егор наткнулся на медвежью берлогу. И хоть он и не был медвежатником, сразу понял, что зверь «дома». С неделю обходил охотник ее стороной, не решаясь приблизиться к берлоге. Но мысль о том, что медвежья шкура в цене, да и мясо, так нужное ему для прикормки зверьков, для корма собакам, все же привела его к берлоге. Он долго

стоял у кедровника, смотрел на легкий парок, заметно поднимавшийся над желтым пятном снега.

«Как его взять, окаянного?» — размышлял Егор. Вначале он думал пригласить в напарники Долгана, которого встретил как-то в тундре, но потом решил ни с кем не делиться добычей, а попытать счастье самому.

«Какой же я охотник, если зверя испугался», — укорял он себя, тихо отходя от берлоги. Опарин считал себя смелым, а силы ему не занимать.

Готовился он к охоте на медведя долго, основательно. Патроны зарядил жаканами, испробовав убийную силу их на железной трубе. Изрешетил ее. Патронами остался доволен. Свой огромный корякский нож, который здесь называют паренькским, и куют из автомобильной рессоры, наточил до бритвенного лезвия. Два дня потратил на это Егор, но за нож теперь был спокоен — не подведет. Даже рогатину приготовил — длинную прочную палку, на конце которой прикрутил проволокой финку. Но охоту откладывал «на завтра». А время пришло.

«Ничего страшного, — уговаривал он себя. — Зверь, он и есть зверь, а ты человек, да еще и вооружен».

Однако, когда подошел к берлоге, струсил. В руках дрожь предательская появилась, между лопатками липкий пот выступил. Егор чувствовал, что если сейчас струсит, уйдет от берлоги, то уж больше не вернется сюда. И прощай и шкура и мясо.

Опарин левой рукой быстро и решительно сунул длинную палку в желтое пятно. В правой зажал ружье. Но медведя будто совсем не было. Тихо, ни единым звуком зверь не выдал своего присутствия. Не хотелось, видно, «хозяину» тундры покидать теплую берлогу и выбираться на мороз.

«Может, его здесь нет?» Опарин осмелел. Подошел ближе и стал сильнее шуровать палкой в берлоге. Как ни ожидал медведя охотник, тот оказался перед ним неожиданно. Выскочил зверь пулей, молча, Опарин даже не успел отбежать, выстрелить. Медведь пронесся мимо, охотник только почувствовал удар в грудь и упал в снег, ружье вывалилось из рук.

«Каюк!» — подумал он и закрыл голову руками. Но медведь, ломая кусты, уходил в тундру.

Опомнившись, охотник вскочил, поднял ружье и, почти не целясь, дважды выстрелил вдогонку зверю. Пос-

ле второго выстрела медведь споткнулся, но выровнялся и через секунду скрылся в кустах.

Преследовать раненого медведя Опарин не стал. Он достаточно наслышался историй, когда медведь, уходя от охотника, делал ему засаду и сам первым нападал на преследователя. Во всяком случае, Егор не дурак, ему совсем не хотелось оказаться в лапах матерого зверя. Хотя и мало видел он медведя, но успел заметить его мощную фигуру, длинную верблюжьего цвета шерсть на загривке. С такой звериной лучше не связываться.

Скоро Опарин убедился в том, что медведь покинул его уголья. Следов, как Егор ни искал, не нашел. И он повеселел.

«Не получилась охота, — думал охотник, — пусть еще погуляет».

Однако на душе было беспокойно. Потом, при разговоре с Долганом, узнал, что медведь перебрался к соседу. После встречи с медведем Опарин совсем охладил к охоте. Больше сидел в палатке, много спал. Теперь охотника больше беспокоили голодные собаки. Они завывали и не давали ему спать.

«Прорвы на вас нет, никогда вас не накормишь», — злился на собак Егор.

К счастью, недалеко кочевало оленье стадо Аккета, и Опарину удалось купить у пастухов пару оленей. Но даже при самом минимальном пайке на этом мясе долго не проживешь.

Дважды он ездил к Долгану. С соседом Опарин подружился. Тот поделился с Егором сушеной рыбой — юколой, мясом и пообещал помочь с соболями.

В тот вечер Долган долго не мог заснуть. Возможно, на радостях от удачной охоты, а может, от крепкого чая. Натопил печурку докрасна, а чаю выпил пять кружек. Ворочаясь с боку на бок, он думал о том, как бы навестить Икорку — Егора Опарина, узнать, как он там охотится... Да и веселее — у соседа маленький транзисторный приемник весь вечер песни поет. Икорка ему подпевает.

«Икорка свой, тумгутум, — размышлял охотник. — Жалко соболишку, однако надо ему отнести. Крепко с нас план спрашивают...»

Только поздней ночью заснул Долган коротким спокойным сном. Снились ему волки, целая стая. На-

пали на него, и ему, Долгану, с трудом удалось убежать от них. Звери бегали вокруг избушки, громко завывали и скреблись в дверь. Откуда здесь волки взялись? Он уже давно не встречал их.

Проснулся в один миг, будто и не спал вовсе. В избушке стоял полумрак, через тусклое оконное стекло пробивался сероватый свет. Из темноты в углу уже выделялась остывшая за ночь железная печурка. Было холодно. Долган натянул на голову оленью кухлянку — шубу, грелся. Он вспомнил сон и удивился: «Надо же такому присниться, волков в здешних местах почти совсем не осталось».

И тут он уже не во сне, а наяву вдруг услышал жуткий вой. Долган прислушался. Вой то усиливался, то умолкал. Охотник вскочил, натянул меховые брюки, торбаса, кухлянку, схватил карабин, но у двери остановился. Вой явно не походил на волчий. Скорее всего выла собака, а рядом с ней тявкали, скулили другие.

«Икорка, видно, сам ко мне едет, — обрадовался охотник. — Чайку надо вскипятить, мясо сварить».

Долган поставил в угол карабин, стал разжигать печурку.

«Зачем он такую дурную собаку держит? — думал коряк, прислушиваясь к вою. — Волосы дыбом встают от такого воя».

Когда в печурке весело загудел огонь, Долган вышел наружу. Он обошел избушку, потом забрался на высокий снежный бугор и, вглядываясь в серую предутреннюю даль, несколько минут стоял, прислушиваясь к собачьему лаю. Но сколько Долган ни стоял, лай и вой раздавались на одном месте, где-то в густых зарослях кедрача.

«Наверное, не Икорка, — засомневался охотник. — Тот бы не стал ночевать там, когда до моей избушки рукой подать».

Вернувшись в избушку, Долган решил позавтракать, а потом сходить навестить путника, который остановился в кедровнике на ночь. А собаки выли по-прежнему так жутко, что и ему есть расхотелось. Выпив кружку чая, привязав к ногам «вороньи лапки», Долган направился прямо в заросли, откуда слышался лай собак. Нечасто ему доводилось за эту зиму встречать людей. Хоть слово переброситься с человеком.

«Зачем он такую дурную собаку держит? Воет, как волчица, — опять подумал охотник. — Жутко даже».

Светало. Глаза уже различали вдали снежные сопки. Охотник спешил, он боялся, что путник скоро позавтракает и уедет и ему не придется поговорить с ним. Забросив за спину карабин, иногда оглядываясь, он шел скорым охотничьим шагом. Кругом было тихо, спокойно и холодно. Только собачий вой, казалось, и нарушал это холодное спокойствие.

«Как по покойнику», — неожиданно подумал Долган, и у него по спине пробежала неприятная дрожь.

Спустившись в долину, охотник остановился, огляделся. Впереди шли сплошные заросли кедровника, откуда и слышался вой. Взяв карабин, он медленно направился в кусты. «Не к добру она воет», — раздвигая рукой ветки кедровника, думал Долган. Снег здесь был рыхлый, глубокий. «Вороньи лапки» утопали, цепляясь за кусты, и он еле-еле пробирался вперед.

Охотник не ошибся: выйдя из зарослей, он увидел собак. Они были в застегнутых ремнях — алыках, которыми зацепились за куст и теперь так запутались, что представляли живой клубок. Долган остановился в трех шагах, думал, как подойти и освободить их. Бедные животные притихли, уставились настороженными глазами на охотника. Бока их опали, и было видно, что собаки давно не кормлены.

— Кто же ваш хозяин? — Долган припоминал все знакомые упряжки в округе. — Бедненькие, куда же вы дели своего хозяина? А может, вы убежали от него? — Он говорил ласково, наблюдая за собаками. Огромный пес дружелюбно заколотил хвостом по снегу.

«Не могли они убежать от хозяина. Тем более в застегнутых алыках. А где же нарта? Не знаю, чьи вы. — Охотник обошел вокруг, боясь подойти ближе. — Мало ли что на уме у голодных чужих псов? Чего доброго, и канайты снять могут».

Однако собаки были спокойны, они поворачивали к нему морды, дружелюбно виляли хвостами — ждали помощи.

— Ух вы, мои собачки, ух вы, мои бедненькие... Что же с вами случилось? — Приговаривая, Долган приблизился к огромному крайнему псу. Этот кобель был самый сильный и, как показалось охотнику, добрый. — Ну, иди ко мне, иди.

Пес от радости даже ухитрился подхалимски лизнуть охотника в нос.

— Ну, молодец, молодец. — Долган, поглаживая го-

лову собаки, дотянулся до ремня и расстегнул его. А через несколько минут таким же образом освободил всех собак. Их было девять. Потом аккуратно распутал всю упряжь.

— А теперь идите ко мне, я вас покормлю, — смеясь потяг и алыки на руку, сказал охотник.

Собаки успокоились и теперь внимательно глядели на него, ожидая корма.

— Накормлю, накормлю, сварю вам лисицу. — Долган стал подниматься к своей избушке. Но собаки не пошли за ним. А вожак поднял морду вверх и снова завыл. Долган оглянулся, пес смолк и бросился в кусты.

— Э-э, тут что-то не так, — смекнул охотник. — Куда же он меня зовет? Надо пойти за ним.

Как всегда, бригадир оленеводов Аккет проснулся в то утро рано. Минуту полежал в теплом кукуле. Было тихо и свежо. Только временами налетал ветерок, пружинил стенки палатки, хлопал ими и умолкал, словно обессиленный. Вокруг головы Аккета бело от инея, будто твораго мерзлого набросал кто-то.

Вылез из палатки, потянулся сладко, огляделся. Оранжевое негреющее солнце выкатилось на линию горизонта и теперь золотило все вокруг. Сугробы снега в лучах его пылали красным пламенем. Справа, за палаткой, зеленели островки вечнозеленого стланика кедрача.

Солнечный зайчик от корки снега попал в глаза, но Аккет взгляда не отвел. Стоял и любовался оживающей природой. Любил пастух солнце встречать. Встанет обычно на пригорок или какую-либо возвышенность и смотрит, как в лучах меняется тундра. Вначале загораются все бугорки, а впадины еще серые, угрюмые, поднимается солнце, движется светлая полоса, и тундра за ней преображается. Красота!

Неладное он почувствовал, когда увидел собак. К нему они бежали всей гурьбой, как обычно, но почему-то поджав свои косматые хвосты и виновато повизгивая. Не добежав нескольких шагов, они попадали на спины и катались, словно перед пургой, ласкаясь к нему, будто выпрашивая прощения. Недоумевая, смотрел он на них, а приглядевшись, заметил, как сильно раздуты их бока.

«Что бы это значило?» — удивился Аккет.

Раньше не было случая, чтобы собаки напали на оленей. Наоборот, собаки всегда помогали пастуху. Странно было и то, что не видно было стада. Даже ездовых оленей поблизости не находил. Медленно обошел кусты, поляну. Все вокруг было истоптано, выбито оленьими копытами, занавожено их мелкими шариками. Но оленей не было.

В кедраче наконец он увидел ездовых оленей, но они при его приближении вдруг испуганно шарахнулись в сторону.

«Может, Нельвид куда угнал», — подумал Аккет, возвращаясь к палаткам. Нельвид, его помощник, должен был пасти стадо ночью.

Женщины уже разжигали печурки, готовили завтрак. Пастухи спали. Встревоженный случившимся, Аккет разбудил всех мужчин. Вылез из палатки заспанный Нельвид.

— Где олени? Где стадо? — закричал Аккет.

Нельвид щурил от солнца узкие глаза и виновато пожимал плечами.

— Проспал оленей, лахтак?

Часто выводила из себя Аккета медлительность и беспечность помощника, но он обычно молчал, теперь не вытерпел, обругал.

Долго ходили по густым кустам стланика. Молча ходили. Аккет впереди, Нельвид следом. В километре от палаток попадаться стали олени. Они бродили одиночками, небольшими табунками. Животные так были напуганы, что при виде пастухов вмиг убегали.

— Найдутся олешки, — нарушил молчание Нельвид, озираясь по сторонам. Аккет ничего не ответил. Не мог он простить Нельvidу беспечность. Беспокоило его поведение животных. Кто их мог так перепугать? Волки, собаки?

В густых зарослях кедрача у самого берега небольшой речушки увидели стаю сорок. Птицы своей трескотней оглушали всю округу. Исчезли вмиг собаки, и через минуту взмыли встревоженные сороки над кустами.

Достаточно было одного взгляда, чтобы понять всю трагедию, происшедшую здесь ночью. Всюду огромные кровавые пятна, глубокий снег вспахан, истоптан копытами животных. Здесь же слегка запорошенный снегом и травой олений костяк.

По рогам узнал любимого нямлука, со злостью пнул

вожака, который накинулся на мясо. Собака заскулила и отбежала прочь.

— Хозяин был. Большой, однако, хозяин, — сказал Нельвид, рассматривая следы.

— Лахтак ты большой, — передразнил его Аккет и смачно сплюнул в окровавленный снег. — Проспал оленей.

Медвежьи следы действительно большие. На снежном насте отчетливо отпечатались его длинные когти. На ветках сухого кедрача клочок шерсти. Шерсть длинная, светло-коричневого цвета.

— Всех оленей разогнал, — в глазах Аккета загорелся недобрый огонь. — Шкуру возьму у него за оленя.

В голосе Аккета Нельвид слышал решительность и, зная характер бригадира, молча кивал головой в знак согласия.

Когда вернулись на стан за ружьями, женщины уже приготовили мясо, вскипятили чай. Выпили, обжигаясь, по кружке крепкого чая. Мясо не стали есть — с пустыми желудками легче преследовать зверя. Только запастившийся Нельвид бросил несколько кусков мяса в калаус — кожаный мешок и закинул его за плечи. Аккет велел пастухам и женщинам собрать оленей, и охотники налегке скорым шагом направились к месту ночного разбоя.

У Аккета за плечом пятизарядная мелкокалиберная винтовка, в руках Нельвида одностволка. Аккет шел легким размеренным шагом, Нельвид больше семенил. Бросившихся за ними собак отогнали. Ездовые собаки — не охотничьи, только охоту испортят.

Медвежьи следы вели охотников по тундре прямо к сопкам. Зверь шел напрямик, видимо, к излюбленному месту. Не чувствуя погони, он шел не торопясь, иногда отдыхая.

— Тяжело ему, далеко не уйдет, — говорил Аккет, рассматривая следы и увеличивая шаг. Ничто не оставалось незамеченным. Даже медвежья кучка привлекла внимание Аккета. Он взял ее в руки, принялся.

— Совсем недавно прошел, — сказал он подошедшему Нельvidу. — Хороша будет шкура, и мяса много, — радовался Аккет.

Нельвид молчал.

Прошли еще километров пять, а следы уводили их все дальше и дальше. Ходьба по кочкам и по сыпучему снегу выматывала силы. Нельвид уже тяжело ды-

шал, малахай его сбился на затылок. Он старше Аккета, грузный. Аккет устал меньше. Ему было под тридцать. Бригадир выделялся среди коряков своим высоким ростом, силой и ловкостью. На ярмарках в Палане он уже дважды брал первые призы по национальной борьбе, несколько раз получал грамоты за победы на оленьих упряжках. Одет Аккет был, как и все олениводы, в кухлянку, канайты, на ногах — легкие олени торбаса, на поясе традиционный корякский нож в деревянных ножнах. Лицом он мало походил на своих земляков. Правда, оно у него такое же широкое, скуластое, но менее округлое, глаза не корякские, а большие и круглые. Видно, в жилах у него текла кровь и белого человека.

Медведь лежал в зарослях кедровника. Слабый ветерок дул со стороны зверя, поэтому они подошли к нему почти вплотную. Шатун встрепенулся, заревел сердито и сразу же пустился наутек.

Несмотря на огромный рост и видимую неуклюжесть, он с такой прытью мчался через кустарник, что только потрескивали ветки. Первым выстрелил Нельвид. Одностволка его треснула слабо, будто шелкнул сломанный сучок. Медведь, на одно мгновение повернув к ним голову, словно удивившись непонятному звуку, кинулся в кусты. Еще минуту в кустах мелькали его лохматые штаны.

Аккет выстрелил сразу за Нельвидом. Потом полностью разрядил магазин, стреляя зверю вдогонку. Медведь скрылся в кустах.

— Пло-хо-о. Идти назад надо-о! — начал Нельвид своим мягким, тянущим голосом. — Хозяина гонять нельзя. Обидится.

Аккет оборвал его:

— Теперь далеко не уйдет. Сколько стреляли — и чтобы не попасть! Идем! — И он бегом побежал к тому месту, где скрылся зверь.

Долган шел по следам собак и думал: что же могло случиться? Почему собаки запутались в кустах? Где же хозяин? Если он ехал на нарте, то почему нет ни его, ни нарты? И тут снова услышал собачий вой. Охотник вышел из кустов и увидел их. Собаки бегали по высокому снежному бугру и скулили. Вожак же, задрав морду вверх, выл.

Подойдя ближе, Долган остановился. На снегу тут и там валялись клочья оленьей и собачьей шерсти. Недалеко виднелась полузанесенная снегом нарта. Чуть в стороне, у кустов, из-под снега торчала собачья морда с оскаленными зубами. Замерзшая.

Долган стоял и оторопело соображал, что же произошло здесь несколько дней назад. Наконец вожак перестал выть, бросился к нарте и лапами стал разрывать слежавшуюся корку снега. Снег кусками летел в стороны.

Охотник срубил крепкую палку и стал помогать собаке. Долган не обладал сильным воображением, но, вывернув большой окровавленный ком снега, увидев на бугре отпечатки огромной когтистой лапы, представил всю разыгравшуюся здесь несколько дней назад трагедию.

Путник был опытный каюр, это сразу заметил Долган. Собак он привязал за самую верхушку кедровника, которая теперь оказалась сломленной. Так всегда делают каюры, чтобы во время пурги собак не занесло снегом. Сам же путник, видно, устроился в кукуле возле нарты. Сколько дней он здесь прожил, неизвестно.

Из-за рева пурги, снежной круговерти ни путешественник, ни собаки не могли услышать приближения медведя-шатуна. Схватка была короткой. Сильному зверю ничего не стоило разделаться с человеком. Крепкие же ремни, которыми были привязаны к верхушке кедровника собаки, сыграли свою роковую роль — они не могли помочь хозяину и четыре из них были убиты. Потом отломилась ветка...

Долган вытащил нарту. Ни юколы, ни мяса, ни других продуктов, с какими путники отправляются в дорогу, не было. Рядом валялись порванные в клочья теплые вещи: меховые брюки-канайты, кухлянка, кукуль. Тут же охотник нашел маленький походный топорик, чайник и кастрюлю. Потом вытащил из-под снега ружье. Путнику не удалось использовать его. В обоих стволах заряжены патроны.

Больше часа Долган ковырял снег. Странно было то, что он не обнаружил следов самого человека. Кровавые куски снега еще ничего не говорили. Кровь могла быть и убитых собак.

«Словно сквозь землю провалился, — размышлял охотник, — не мог же медведь съесть его без остатка. А может, унес?» Надежда на то, что найдутся хотя бы

останки путника, удерживала Долгана. Он по-прежнему разгребал палкой и руками снег. Однако, не найдя больше ничего, решил возвращаться домой. Сложив найденные вещи на нарту, он привязал к ней ремень и, перекинув через плечо, хотел было идти, но неожиданно остановился. В десяти шагах от куста из-под снега, еле заметный, торчал кусок брезента. Долган подошел, потянул за край, но брезент пристыл, не поддавался. «Палатка! — Дернул сильнее и вытащил мешок. — Мясо или юкола, — подумал, — все пригодится. Кормить собак же надо», — бросил его на нарту.

Сделал еще один круг, внимательно осматривая все подозрительное. Когда стал возвращаться к нарте, нога его неожиданно провалилась в снег. И тут он увидел валенок. Подцепил его ногой и вскрикнул от боли. Валенок был тяжелый, будто камень. Из него торчала человеческая нога.

Надо было быстрее уходить от этого страшного места. Где-то поблизости мог быть «хозяин» тундры, а коряк совсем не хотел с ним встречаться.

К вечеру стало холодно, и Сергеев чаще вскакивал с нарты и бежал следом — греясь. Солнце, огромное и холодное, наполовину зависло за сопку и слепило ярко-оранжевым светом путникам глаза. Аретагин все чаще взмахивал остолом на уставших собак, которые все чаще стали переходить на шаг, хватать зубами снег, уже хрипели, а не лаяли. «Устали бедняжки, — думал лейтенант, глядя на собак, — но ничего, уже скоро приедем, тогда отдохнем».

Но избушки Долгана не было.

— А ты мимо не проехал? — спросил он нетерпеливо у каюра. — Смотри, вон следы нарты. Может, Долган или Самсонов проехал?

— У Долгана нет нарты, — сказал Аретагин, притормаживая собак и разглядывая следы. — Скорее всего охотник ездил, Опарин. Видите, в обратную сторону поехал. А избушка Долгана вот-вот покажется.

Они ехали еще часа полтора, когда Сергеев увидел слабый дымок, поднимающийся из-за зеленых кустов кедрача.

— Наконец-то, — лейтенант толкнул Аретагина. — Дома Вася. Ух как напьемся чаю!

— Хорошо чайку с дороги выпить, — оживился

каюр. Весело крикнул на собак, и те, почуяв запах дыма и уловив в голосе хозяина радость, ускорили бег.

Но едва нарта выехала из-за кустов, как Сергеев увидел курящееся пятно пожарища. Снег вокруг растаял и осел, и пепелище было видно издали. Несколько головней все еще дымили, источая едкий запах гари. Аретагин остановил нарту, и Сергеев первым спрыгнул на снег. Он в задумчивости глядел на дымящееся головни, что остались от избышки охотника. Рядом безмолвствовал Аретагин.

— Выходит, сгорел, — наконец нарушил молчание каюр и горестно покачал головой.

— Кто сгорел?

— Долган сгорел, видите, карабин валяется, — Аретагин кивнул на охотничий карабин Долгана.

Лейтенант и сам видел. Он, осторожно ступая на грязный пепел, поднял металлические части, что остались от карабина.

— А вот и топор, — сказал Аретагин. Он нашел длинную палку и ковырял ею в пепле.

— Как же так? — Сергеев рассмотрел карабин и не мог согласиться с Аретагином. — Не мог Вася сгореть.

— А вот кастрюля, канистра, — Аретагин выковыривал из пепла немудреные железные вещи охотника и выбрасывал их на снег.

Лейтенант взял канистру и покачал головой. Она была разорвана по шву мощным взрывом. «Бензин, видно, был, — подумал с горечью Сергеев. — Встретились, чай попили... Надо же так...»

— Как ты думаешь, почему мог случиться пожар? — спросил он.

Аретагин только плечами пожал.

— А может, Долгана дома не было?

— Без ружья охотник не ходит в тундру. Наверное, бензином печку разжигал, разлил на пол. Лег отдохнуть, заснул. А печка углями стреляет... Рядом канистра с бензином, — высказал свои догадки Аретагин.

— Надо все оставшиеся вещи с собой взять, — сказал каюру лейтенант, — не нравится мне этот пожар.

«Подозрительно все. Пропал Самсонов с деньгами, сгорел Долган... Одна цепочка хитро задуманного дела? — размышлял Сергеев. — Случайность?»

— Что будем делать, начальник? — спросил каюр. — Куда будем ехать?

— Надо все вокруг объехать, осмотреть. Возможно,

здесь, в этом пожарище, кроется таинственное исчезновение Самсонова, гибель Долгана... — Лейтенант тяжело вздохнул.

— Куда кругом? Темно ведь. Ночь на дворе. Не с фонарем же будешь осматривать? — заупрямился Аретагин, — Собачки уж очень устали. Надо отдыхать.

— До утра место преступления, Аретагин, без осмотра оставлять нельзя.

— Какого преступления? Сам сгорел Долган.

— Ты пока отдыхай, а я обойду кругом, осмотрю. — Сергеев вытащил из портфеля мощный электрический фонарь.

«Дьявольщина. Как быстро стемнело, ничего не разберешь», — ругался лейтенант, шагая по глубокому снегу.

Луч света выхватывал на снегу то собачьи следы, то огромные, будто доисторического животного, охотника. Здесь Долган ходил на «вороньих лапках». Это сразу понял Сергеев. Несколько раз он наткнулся на следы нарты. Следов было так много, что разобрать их в темноте не представлялось возможным.

— Где-то здесь должно кочевать оленье стадо, — нерешительно сказал Аретагин, когда лейтенант вернулся к пепелищу. — Бригадира оленеводов Аккета я хорошо знаю. У него можно переночевать. Может, Аккет что про Самсонова знает. А ночевать на пожарище, где заживо сгорел Долган, — каюр покачал головой, — я не могу.

Сергеев молчал. Конечно, осмотреть вокруг избушки в темноте не удастся. Надо ждать утра. И Аретагин, пожалуй, прав: пастухи могут что-то знать.

— Далеко ехать?

— Кто его знает. Может, пять, а может, десять километров.

— Ладно, уговорил. А утром пораньше сюда вернемся, — сказал Сергеев, устраиваясь на нарте.

— Аккет мужик хороший. Может, он нам чем поможет. — Аретагин махнул остолом на собак, и те снова направились в тундру.

Нельвид постоял, подумал о чем-то своем и медленно побрел за бригадиром. Аккет обрадовался, увидев на снегу капли крови. Нельвид испугался.

— Хозяин — хитрый человек, ох как хитрый! Не на-

до его гонять, домой идти надо, — закачал он головой.

— Раненого зверя нельзя оставлять. Еще много бед может сотворить.

— Домой идти надо, — качал головой Нельвид.

— Темный ты, Нельвид, как валух, темный, — усмехнулся Аккет. — Люди уже в космос летают, а ты еще, гляди, и молиться начнешь.

Кровь попадалась часто, почти на каждом шагу. На чистом снегу она лежала крупными ярко-красными пятнами и походила на раздавленную переспелую клюкву.

«Далеко не уйдет!» — радовался Аккет.

Нельвид мрачнел. Он был суеверен, как многие старые оленеводы. Боялся он гнева хозяина тундры. И стрелял-то не в медведя, а мимо, чтобы спугнуть зверя.

«Эх, — думал он, — зачем хозяина стрелять? И так уже обидели — из берлоги выгнали. — Но, глядя на широкую спину бригадира, покорно шел следом. — Пусть будет Аккет виноват, а не я», — размышлял Нельвид и незаметно замедлял шаг.

Когда старый пастух сильно отставал, Аккет оглядывался, ожидая его. Он нервничал, кричал на помощника. Крик подгонял Нельвида, но ненадолго, тот снова укорачивал шаг.

Вот уже почти год, как сердит он на молодого бригадира. Не мог смириться со своим положением, часто делал назло Аккету, но делал незаметно, исподтишка. Боялся Нельвид Аккета, сильный был Аккет, крутой.

Вышли на склон небольшой, поросшей кедром сопки. Аккет, не оглядываясь, шел впереди. Нельвид отстал, на ходу вытаскивал из калауса мясо и жевал его, заедая снегом.

Следы зверя теперь повернули назад, делая огромный круг. Медведь явно направлялся в сторону их стойбища.

«Хорошо. Пусть идет. Меньше тащить его придется. Успеть бы до захода солнца догнать», — думал Аккет.

Медвежьи следы отчетливо виднелись на снегу, но капли крови попадались уже реже. Нельвид шел и ломал голову, как бы уговорить упрямого Аккета уйти назад, в стойбище, где есть вода и тепло.

«Рассердится, плохо будет. Нельзя гонять хозяи-

на». Он было хотел вернуться назад, но Аккет его остановил:

— Раненый зверь много бед натворить может. Его убить обязательно надо, всех оленей изведет, а то и на пастухов нападет. Злой он, голодный. Но он зверь, а мы люди.

Прошли подножие сопки, скоро оказались у недавней лежки зверя. Следы здесь разобрать трудно: три часа назад прошли они, дважды шатун, все избито, истоптано. Вокруг густые заросли кедрача. Нельвид отстал шагов на тридцать и плелся еле-еле. Оглянувшись назад, остановился Аккет.

Тишина. Тупо гудели уставшие ноги. Смахнул ворсистым рукавом кухлянки пот со лба, снял малахай. Потную лохматую его голову сразу же охватило холодом. Надел малахай и стал ждать Нельвида, а сердце словно чувало опасность, застучало часто-часто. Эта зловещая тишина, заросли кедрача — все настораживало.

Аккету приходилось и раньше встречаться с медведем. Но это было обычно осенью, а зимой с медведем-шатунном — никогда. И он впервые критически осмотрел свою мелкокалиберную винтовку. С ней хорошо ходить на куропаток, а на сильного зверя... За весь день погони бригадир впервые только теперь представил встречу с медведем. Карабин остался в палатке — кончились патроны, а «малопулька» была ненадежна.

Стоял, оглядываясь по сторонам, готовый в любую минуту выстрелить. Нельвид приближался медленно, проваливаясь в глубоком снегу. Он громко и тяжело сопел. Жалко стало Аккету старого пастуха, шагнул навстречу раз, другой. И вдруг остановился, словно пораженный. Огромная темно-рыжая туша зверя метнулась из густого куста прямо на Нельвида. Видел Аккет, как у того из рук выпало ружье. Раздался дикий рев.

На миг растерялся Аккет, руки и ноги будто одеревенели. Но закричал Нельвид призывно и жалобно, звал на помощь Аккета. Этот крик и вывел из оцепенения бригадира. Подбежал на три шага, прицелился в голову медведя, шелк — нет выстрела. «Эх, как же это! Пустой магазин!» Аккет застонал от отчаяния.

Зверь увидел пастуха, заревел, бросился на Аккета. Но тот вмиг отскочил за куст, нож приготовил. В это время стал подниматься Нельвид, и медведь кинулся назад к нему.

Аккет вставил новую обойму, выстрелил раз, второй,

третий. При каждом выстреле зверь только вздрагивал, и казалось бригадирю, пули не брали его. Разинув пасть, медведь тяжело дышал. Иногда дыхание его переходило в рык, из пасти текла бурая струйка, окрашивала снег в ярко-красный цвет. Нельвид молчал. Зверь тоже был спокоен. Было похоже, что косолапый, придавив человека, спокойно отдыхает на нем.

И тут Аккет увидел, как рука Нельвида потянулась к ружью. Жив Нельвид!

Выстрел Нельвида гулом прошел по кустам кедрача, слабым отголоском откликнулся в сопках. Несколько хвойных веточек, сбитых картечью с куста, цепляясь, упало на снег.

«Эх!» — Аккет отбросил «малопульку», крепко зажав в руке охотничий нож, выскочил из-за куста. Десять шагов покрыл в три прыжка. Взмахнул ножом...

— Живой? — Аккет с трудом отвалил медведя в сторону. Нельвид сел на снег. Кухлянка на нем была изодрана, в крови.

— Хозяин сильно рассердился на меня. Пугал я его. Убивать не хотел. Оставь меня, Аккет, умирать буду в тундре. — На глазах у пастуха появились слезы.

— Напал он на тебя потому, что ты струсил, — сказал Аккет. — В засаде был, меня пропустил, а на тебя набросился.

— Оставь меня, пришли кого-нибудь, — стал просить Аккета Нельвид. — Пусть на нарте Эттык придет. Виноват я перед тобой. Оставь. Я тяжелый.

— Замерзнешь, пока на стойбище схожу. Дотащу на себе. — Аккет взвалил пастуха и, утопая в снегу, потащил его к стойбищу. Тяжелая ноша давила к земле, он спотыкался, падал и снова шел.

«Откуда взялся на нашу голову этот шатун? Может, прав был Нельвид, не надо было его преследовать. Пусть бы жил... Надо вертолет вызывать, в больницу Нельвида отправлять», — думал Аккет.

Наступал вечер. Солнце уже катилось по сахарной голове далекой сопки, готовое вот-вот завалиться за нее. Аккет спешил.

Нельвид почти всю ночь не спал, то бранил свою жену и дочку Эттык за то, что плохо его лечат, то начинал стонать на все стойбище. Все женщины суетились вокруг больного, помогали жене пастуха делать при-

парки, накладывали пластыри. Но ни припарки, ни пластыри, видно, не помогали пастуху. Порой он начинал плакать, кричать, что умрет, как тот медведь, которого убил Аккет, то просил помощи у добрых духов.

Аккет сидел у рации; вызывал председателя колхоза, но вызвать не смог. Долго Аккет слушал крики и стоны Нельвида. Наконец не выдержал, встал и направился в палатку больного.

— Ты, однако, хуже бабы, — сказал сердито. — Орешь, будто тебя собаки рвут. Мне стыдно за тебя, никому спать не даешь. Завтра утром поедешь на нарте в больницу, рация не работает.

— На нарте я не поеду, — сказал упрямо Нельвид. — Еще умру в дороге в такой мороз.

— Ладно, поедет Эттык, она привезет врача или вызывает вертолет. Эттык мужественнее тебя, — сказал Аккет.

Это подействовало на Нельвида. Стонать он перестал и кричать тоже.

— Ты, Эттык, с утра поедешь в село, — обратился Аккет к девушке. — Там попросишь связаться с Дорофеевым, пусть председатель вертолет пришлет. Езжай на собачках, они выносливей оленей. — Бригадир вышел из палатки.

Утром, отправив дочь больного в село, Аккет пошел ловить ездовых оленей. «Надо перевезти шатуна, — думал он. — Пока оттает, пока шкуру снимешь — много времени уйдет». Бригадир был доволен, теперь спокойней будет пасти оленей. Да и мясо медвежье уж очень вкусное. Здоровенный медведь, пожалуй, пять оленей заменит. Жаль Нельвида, пострадал. Но и злость на него берет. Если бы не его выкрутасы, они бы быстрее справились с медведем. Теперь долго пролежит в больнице, пока выздоровеет. А может, он с перепугу стонет?

Аккет запряг в нарту четырех старых и сильных оленей. Глянул на пастуха, молодого парня, которого взял в помощники. «Ничего, вдвоем справимся». Крикнул молодецким голосом, махнул хореом — длинной палкой, и олени рванули с места. Любит Аккет на нарте с ветерком промчатся по тундре. Так, чтобы аж дух захватывало, чтобы снежный вихрь следом крутился.

Быстро домчали олени пастухов до места. Шарахнулись в сторону, испугавшись мертвого зверя. Но сильный Аккет легко утихомирил животных. Труднее пришлось оленеводам с погрузкой. Огромный, тяжелый был

хозяин тундры. Снег отгребли, нарту подтащили под бок зверю, и только потом удалось свалить на нее тушу медведя.

Довольный Аккет сел на медведя, самокрутку закурил. Хорошо у него все получилось. Вот только Нельвида отправить бы в больницу. Но Эттык свяжется с председателем, а тот быстро вертолет организует.

«Не может этого быть, — растерялся Аккет, увидев вдруг собачью упряжку. — Эттык любому пастуху не уступит».

Упряжка без каюра медленно возвращалась к стойбищу. Нарта, перевернутая вверх полозьями, гребла рыхлый снег.

«Что случилось с Эттык? Где могли потерять ее собаки?» — недоумевал бригадир. Молчал и сидевший с ним парень. Но когда собаки приблизились, Аккет увидел, что они были чужие, незнакомые.

«Где же каюр? Чья это нарта?» — Аккет побежал ловить беспризорную упряжку.

Они возвращались в стойбище. Непокойно на душе Аккета. Непонятно все это. Собаки, смертельно напуганные, бросились от него. Если бы не нарта, пожалуй, не поймал бы. Девять собак. Одна мертвая, другие тащат ее в ремнях следом. Наверное, неделю не кормлены, кожа да кости.

Теперь собаки плелись следом за оленьей упряжкой. За ними шли пастухи. «Надо будет поездить вокруг, может, и найду кого, — думал Аккет. — Не шатуна ли это дело?»

Однако в тот день он не смог выехать в тундру.

Они опять проехали часа полтора, а стойбища оленеводов все не было. Аретагин уже не покрикивал на собак. Собаки были такие уставшие, что еле-еле тащили пустую нарту. Путники теперь шли пешком.

«Как мог сгореть Долган? А может, он вовсе не сгорел? Может, это только симуляция? Нет. Не верится, чтобы Долган мог убить Самсонова ради денег. А что, если Самсонов сидел две недели у охотника? А если случайность? — размышлял Сергеев и не находил ответа. — Два дня мотаемся по тундре, а пользы нет. Как жаль, что поздно нашли пожарище, не обследовали местность. Найдем ли стойбище Аккета, и чем он может помочь?»

Аретагин шел молча, молчал и лейтенант, упорно следуя за нартой. Было темно. Расплывчатые звезды тускло мерцали на небе. Тяжело идти по рыхлому, глубокому снегу. меховая одежда сковывала движения, ноги заплетались, утопали в снегу. Путники спотыкались на каждом бугорке, кустике, падали в снег.

«Так можно всю ночь проездить, загнать собак, а стойбище пастухов не найти, — думал лейтенант, но команды остановить нарту Аретагину не давал. — Какие все-таки огромные возможности человека. Двое суток на сорокаградусном морозе — и ничего. Если бы не усталость... Завтра я уж наверняка что-нибудь выясню».

— А не проехали мы стойбище? В темноте мимо проедешь — не заметишь. Палатки теперь от обычного бугра снега не отличишь. Занесло, видно, стойбище? — спросил у Аретагина.

— Кто его знает. Но если будем проезжать мимо, услышим, — лениво ответил каюр. — Должны бы олени где-то поблизости пастись.

Неожиданно Сергеев уловил тихий звон колокольчика. Удивился: не слуховая ли галлюцинация? Откуда здесь, в тундре, ночью русская тройка с колокольчиками? Потом услышал бряканье ботал, знакомое с детства. Он хорошо помнит, как у них в деревне дядя Петя — колхозный конюх — всегда вешал лошадям на шею медные или железные ботала. Ночью легко найти лошадь с боталом. И наконец понял лейтенант, что они подъехали к оленьему стаду.

— Теперь найдем, — сказал Аретагин взбодренным голосом. — Где-то недалеко должны быть палатки пастухов.

Сергеев уже стал различать отдельных оленей. Они бродили по широкой равнине, разгребали копытами снег, доставали ягель, а привязанные на шеях колокольчики и ботала вызванивали удивительную музыку. Когда собачья упряжка подъезжала особенно близко к тому или другому оленю, животное испуганно шарахалось в сторону, раздавался перезвон.

Скоро путники увидели с десятков огненных фонтанов. Они выбивались из-за больших снежных бугров, и в темноте казалось, что кто-то неведомый сидит и швыряет огонь вверх.

«Не спят еще, печки топят», — обрадовался лейтенант.

Не успел Аретагин упереться остолом в снег, чтобы

остановить нарту, как целая орава собак с громким лаем кинулась к ним навстречу.

— Приехали, — сказал Аретагин, отгоняя назойливых собак.

Из палаток выбегали люди, подходили к путникам и протягивали им руки.

— Амто, тумгутум, амто! — слышались приветствия со всех сторон.

Сергеев заметил, что пастухи возбуждены, суетились, приглашали путников к себе в палатки. «Видно, нечасто у них бывают новые люди, — подумал сочувственно, — рады встрече».

На ночь остановились в просторной палатке Аккета. Под потолком горела керосиновая лампа «летучая мышь». В углу на столике приглушенно пел транзисторный приемник. Тепло и уютно в палатке.

Гостей пригласили ужинать. Лейтенант ел горячее оленье мясо, удивленно глядел на пастухов, что собрались в Аккетовой палатке, и думал, что оленеводы, видно, принимают его за лектора или врача. Только те чаще всего навещают пастухов. Люди сидели на полу, на разостланных оленьих шкурах, и терпеливо, молча ждали, пока гости наедятся, напьются чаю. Может, обычай у них такой? А потом пойдут разговоры, посыплются вопросы. Можно, конечно, и поговорить, только лучше бы сразу завалиться спать. Гудят ноги... Видно, их интересует жизнь района, международное положение. Можно, пожалуй, и лекцию прочитать — это не страшно. Ну, если не лекцию, то хоть ответить на вопросы.

Сергеев всматривался в лица собравшихся. Эти люди, видно, ничего не знают о пропаже Самсонова. О гибели Долгана тем более еще не успели узнать.

Когда путники поужинали, первым нарушил молчание Аккет:

— Нельвид не такой уж и больной. Но вы к нам быстро приехали. Ведь я только утром Эттык отправил. Где она?

— О чем вы? — удивился Сергеев. Потом понял: пастухи и вправду приняли его за врача.

— А мы удивились, — говорил Аккет, — Эттык только сегодня могла доехать и поговорить с председателем колхоза. Врач может только завтра-послезавтра приехать. Нельвида у нас шатун мало-мало помял.

— Нет, товарищи, я не врач. Мы к вам проездом, сначала заехали к Долгану, но его дома не встрети-

ли... — Лейтенант опять помолчал, внимательно посмотрел на пастухов, — кстати, Долган к вам часто заходит? Давно вы его видели?

— Заходит. Но последний раз был недели три назад. Сидел вот тут, — Аккет показал лейтенанту место у печурки, — радио слушал.

— А вы бываете у него? Как он печку разжигает? Бензином?

— Бензина у него нет. А бывать у него бываем. Только редко.

— А в канистре он что держал? — снова спросил Сергеев.

— Керосин был для лампы. Что-нибудь с ним случилось? — встревожился Аккет.

— Пока не могу ничего сказать. Самсонова, продавца, вы знаете? Не проезжал тут? Никто из вас его не видел?

Самсонова знали все, но не видели.

— Охотник Икорка приезжал, оленей просил продать. А Самсонова с самой осени не видели, — сказал один пастух.

Аккет задумчиво молчал, будто вспоминая что-то.

— Хотел я поездить по тундре, поискать, — сказал наконец бригадир, — собачью упряжку мы сегодня поймали. Без хозяина...

— Упряжку?! — воскликнул Сергеев. — А нарта?

— Нарта волоклась, снег собирала. Пустая нарта. Худые собачки, голодные. Одна мертвая. Что, Самсонов потерялся? Не его ли это упряжка?

— Все может быть, — завтра пораньше утром вы мне покажете, где ее встретили, — сказал лейтенант.

— Сам хотел поискать, не получилось. А завтра мы вам и покажем, вокруг объездим и к Долгану заедем. — Аккет поднялся, давая знак пастухам расходиться.

Шел второй час ночи, пастухи давно разошлись по своим палаткам, а Сергеев не спал. Рассказ Аккета о беспризорной собачьей упряжке взбудоражил лейтенанта.

«Что же случилось? Почему нарта без каюра, перевернута? А Долган, оказывается, бензин не держал... Как он мог сгореть? Нет... Тут что-то не так... Никакой логики».

На второй день после отъезда Сергеева председатель рабкоопы позвонил начальнику РОВДа.

— Да ты что, Анатолий Петрович, сам молчал, кстати сказать, преступно молчал десять дней, а тут хочешь, чтобы мы тебе тотчас Самсонова с деньгами нашли, — услышал он басовитый голос майора. — Нет еще ничего от Сергеева.

— Может, Ивану Матвеевичу сообщить, — нерешительно спросил Волошин майора. — А то мужик он скорый, будут нам неприятности.

— Погодим еще денек. У Огородникова своих забот хватает. На завтра мне вертолет обещал начальник аэропорта. Полетаем поищем. Да и лейтенант, я думаю, вот-вот должен о себе заявить.

«Конечно, в первую очередь я виноват, — размышлял председатель, — дал указание Самсоновой деньги отправить нартой. А потом десять дней ждал, никому не сообщал про Самсонова. А главное, ничего не знают в райкоме. Что теперь скажет секретарь? И чего я действительно молчал? Уже через неделю было ясно, что с Самсоновым что-то случилось».

Но Волошин ошибался. Секретарь райкома уже знал о том, что потерялся Самсонов. Он сам позвонил председателю и пригласил его к себе. «Таки доложил, — подумал Волошин про майора. — И он, конечно, прав. Чего бы мне неделю назад не заявить про Самсонова».

Когда председатель открыл обитую красным дерматином дверь кабинета Огородникова, он увидел начальника райотдела, заведующего больницей хирурга Анисимова, прокурора и заведующего отделением Госбанка. Иван Матвеевич кивнул в знак приветствия Волошину и показал на стул поближе к столу.

«Даже прокурора пригласил, — думал председатель, усаживаясь на стул. — Видно, что-то выяснили».

— Это правда, Анатолий Петрович? — Секретарь внимательно посмотрел на Волошина.

— Что?

— То, что говорят мне товарищи, — Огородников кивнул на присутствующих.

— Да... Пропал Самсонов с деньгами...

Секретарь на минутку задумался, медленно постукивая карандашом о стол, а потом посмотрел на присутствующих.

— А вы знаете, что это ЧП на всю область? Человек пропал, а я узнаю об этом в последнюю минуту.

— Лейтенант Сергеев два дня как уехал на поиски Самсонова, — сказал майор. — И завтра...

— Милые вы мои, вы же знаете, что у нас за территории — необозримая тундра. А вы послали лейтенанта и успокоились. Тишь, гладь да божья благодать. Так получается? Две недели, как пропал человек, а на розыск мы одного Сергеева послали? Я против лейтенанта ничего не имею. Парень он молодой, энергичный, но, я повторяю, он один. Давно надо было весь район на ноги поставить. Удивляюсь вашей беспечности.

— Но ведь пурга бушевала, белого света не видно было, — сказал Волошин.

— Погода уже неделю, как наладилась. — Секретарь сердито посмотрел на председателя.

— На завтра обещал мне аэропорт вертолет выделить. Раньше не было. Будем искать, — сказал майор.

— Вот это лучше. А то, как в джек-лондоновские времена, один человек на собачьей упряжке розыск ведет. Нашли Шерлока Холмса! Смешно даже.

— А вы, Аркадий Николаевич, — обратился секретарь к заведующему больницей, — с этим вертолетом врача направляйте. Дорофеевская оленеводческая бригада находится где-то по пути. Так что там у Аккета стряслось?

— Дочь пастуха звонила, — сказал хирург. — Что-то на охоте с отцом случилось. Нужна медицинская помощь.

— Вот этим вертолетом и вывезут его.

Лейтенант проснулся от легкого прикосновения руки Аретагина.

— Уже утро? — спросил он и резким, пружинистым движением вскочил на ноги. «Какая тяжелая голова, будто чугунная».

— Светает. — Аретагин наблюдал за Сергеевым. Тот делал приседания, махал руками. — Утренняя физзарядка?

— Привычка. После нее бодрей себя чувствуешь.

— Аккет уже запряг оленей. Чай поьем и поедем. Наши собачки тоже готовы, — сказал Аретагин и, чтобы не мешать лейтенанту, вышел.

Сергеев, размявшись, почувствовал легкость во всем теле.

— Пора чай пить и ехать. — В палатку заглянул Аккет. — Пока до места доедем, светло будет.

Позавтракав медвежатиной и выпив горячего чаю, они отправились в тундру. Было ясно и морозно.

Нарта Аккета вырвалась далеко вперед. Сергеев сидел с бригадиром. Ему было интересно проехать на оленьей упряжке, раньше не доводилось. Следом мчалась нарта двух молодых пастухов, они вызвались помочь лейтенанту. А за ними, далеко отстав, на собачьей упряжке ехал Аретагин.

— Хорошо бегут, — кивнул на оленей Сергеев.

— Молодые, самые сильные. Сам обучил, — горделиво сказал Аккет и махнул хореєм: — Ах! Ги-ги-ги-и! Ах!

Лейтенант смотрел, как мелькают в воздухе сильные лохматые копыта оленей, как отлетают в стороны комья снега, и думал о том, что они, видно, не с того конца начали. «Ну найдем следы собачьей упряжки. Куда они приведут? А если собаки бегали уже несколько дней? Можно ездить по их следу сколько угодно, и все без пользы. Пожалуй, надо начинать с Долгановой избушки. Она только вчера сгорела. Там, возле нее, есть какие-то следы. Может, они имеют отношение к пожару? Если бы вчера на два-три часа пораньше приехать...»

— Правь, Аккет, к избушке Долгана. Начнем поиск от нее, — попросил лейтенант пастуха.

— Ги-ги-ги-и! Ах! Ах!

Нарта дернулась влево, и Сергеев чуть было не свалился в снег.

«Третий день ношусь по тундре, а толку никакого. Но собачья упряжка наверняка Самсонова. Придется голову поломать. Не так все просто, как казалось раньше», — размышлял Сергеев.

Еще издали заметили черное пятно пожарища. А рядом... Странно. На снегу лежал какой-то тюк. Откуда он взялся? Лейтенант смотрел на него и ничего не мог понять. Вчера его не было. Это хорошо помнил Сергеев.

— Человек! — выкрикнул Аккет и, подъехав к самому пожарищу, соскочил с нарты. — Долган!

— Мертвый? — кинулся к охотнику лейтенант.

— Наверное. — Аккет перевернул Долгана на спину. — Но он еще теплый, — бригадир засунул Долгану под кухлянку руку и ощупал его тело. — Смотрите кровь! — показал свои пальцы. — Ранен.

— Костер! Надо срочно разжигать костер и растирать Долгана спиртом. Быстрее! Давайте быстрее костер! — торопил Сергеев подъехавших пастухов. Он вытащил из портфеля бутылку спирта, которую возил на всякий случай, и протянул ее Аккету. «Если бы мы знали... Если бы не уехали вчера...»

Скоро горел костер. Положив Долгана на кухлянку у самого огня, Аккет с Аретагином стали растирать его спиртом. Однако Долган не подавал никаких признаков жизни.

— Видно, ничем ему теперь не поможешь, — опустив руки, сказал Аретагин и отошел в сторону.

— Ближе к огню. — Сергеев повернул Долгана спиной к огню и стал сильными, тренированными руками растирать грудь охотника.

«Откуда пришел Долган? Где он был вчера? Кто в него стрелял? Нужно все хорошо вокруг обследовать. Если бы мы знали», — думал Сергеев, изо всей силы массируя грудь охотника.

И тут раздался слабый, еле уловимый стон. Долган был живой.

...В тот день Долган так и не проверил свои ловушки. Он ходил словно пришибленный, все валилось у него из рук.

«Надо уходить отсюда, — думал охотник, — поправлю нарту, упряжь и уеду». Собравшись накормить собак, он внес в избушку найденный мешок. Развязал шнурок, запустил руку в мешок и вытащил... пачку денег. В мешке были деньги, много денег.

— Ух, — его даже в холодный пот бросило. Вытрянул из мешка на пол кучу денег. Такого сокровища охотник сроду не видывал.

«Куда мне столько?» — Он брал по одной пачке с пола, рассматривал ее и клал на стол. Считал их. И скоро так увлекся этим занятием, что и про собак забыл. Возня с деньгами доставляла ему удовольствие.

«Какой же я теперь богатый!»

И враз пришел в себя, когда среди пачек денег увидел бумажку. Это был сопроводительный документ, в котором Долган прочитал, что деньги — выручка магазина. Сверху стояла фамилия завмага — Самсонова Л. Г.

«Как же я сразу не узнал собачек? Это же Самсонова упряжка. Такой хороший был мужик, — засуетился, забегал по избушке. — Какой же я, однако, дурень, — говорил он, — голову потерял из-за денег, а собачки не кормлены, капканы не проверены».

Долган быстро собрал все деньги в мешок, завязал и тут же спрятал его под шкуры на нарах.

«Надо везти их назад в магазин. Как все плохо получилось». Хотел было запрягать нарту и ехать, но, поразмыслив, остановился. «Собачки голодные, слабые — не повезут. А там жена будет плакать, еще меня обвинит. Лучше в милицию, а там уж Самсоновой сообщат».

Выехал охотник только на следующее утро. Заметно светлел восток, иногда пробегал утренний ветерок. Холодно. Долган кутался в кухлянку, изредка покрикивал на собак. Удивительно, но собаки Самсонова как-то быстро признали в нем хозяина. Правда, Долган постарался и успел за это время трижды покормить их. Боялся перекормить голодных собак. Сначала сварил каши и дал немного, потом через два часа отдал сваренную лисицу, которую берег для прикормки соболей. А уже ночью дал по куску юколы.

Собаки бежали прытко, и Долган был доволен собой. Уж кто-кто, а он знал толк в собаках. Сам всегда раньше держал свою упряжку. При такой езде он, пожалуй, к завтрашнему вечеру сможет доехать до райцентра. Сдаст деньги, кое-что закупит из продуктов и вернется назад. А потом подыщет новое место. Если бы найти напарника да выследить этого шатуна. Может, Аккета уговорить или Икорку. Он же поднял медведя.

Нарта прыгала на всех буграх, и Долган часто ощущал мешок с деньгами — не потерял ли?

«Жалко Самсонова, — сожалел он. — Такой мужик погиб, а охотник какой!» И Долган вдруг почувствовал свою вину в гибели продавца. Сам боялся шатуна. Можно было его найти, убить, а не прятаться. Этот шатун, пожалуй, может еще бед натворить. А при воспоминании о деньгах его бросало в жар.

«Хотел присвоить чужие деньги, а на них кровь человека». И он стал сам себе противен.

Скоро совсем рассвело. Восток пылал пожаром — солнце силилось взобраться на снежную сопку. Уже несколько раз Долган соскакивал с нарты и долго бежал следом — грелся.

«Может, к Икорке заехать, мал-мал погреться, чаем заправиться?» — размышлял охотник. Палатка соседа была по пути. Конечно, задерживаться у него он не будет. Собачек покормит, сам погрееется. С голодухи собаки быстро устают, чаще отдыхать им надо.

«Узнаю, живой ли, — думал Долган. — Мало ли что может случиться, если где-то рядом хозяин тундры бродит».

Опарин спал, когда к нему подъехал Долган.

— Однако, спать любишь, — разбудив Егора, сказал Долган и осуждающе покачал головой. — Я так не могу. Охотника, как и волка, ноги кормят.

— Амто, тумгутум! — приветствовал охотник коряка. — Молодец, что заехал, а я, знаешь, заскучал. Охота плохая, соболишки совсем не ловятся. План горит, заработок летит в трубу, — жаловался он Долгану. — А что зря ноги бить, если зверя нет. Плохие уголья мне попались.

Опарин обрадовался приезду соседа, оживился, засуетился у печурки.

— Садись, грейся. Сейчас чай будет готов, — говорил Опарин.

— Я, пожалуй, поеду, — сказал коряк. — Вижу, живой, совсем здоровый. Будь осторожен, хорошо кругом смотри. Хозяин тундры ходит.

Долган собрался уходить, но Опарин его задержал.

— Куда бежишь? Раз приехал — сиди, чай будем пить. Я ведь могу обидеться. А медведя бояться — в тундру не ходить. Ерунда все это, пусть только мне встретится! Собачки мои впроголодь сидят, встреча с ним только кстати, — говорил Опарин, суетясь у печки. Егор заметил, что Долган явно был чем-то встревожен. Странно было и то, что охотник приехал на нарте, а у него, это знал Опарин, собак не было. Он думал еще поговорить с коряком о соболях, уломать охотника продать ему несколько шкурок. Во всяком случае, такого нужного гостя, не угостив, упускать не следует. За палаткой в снегу стояла еще бутылка спирта, а Опарин на спирт особенно рассчитывал.

— Я спешу, а ты спать любишь, — сказал Долган, поднимаясь.

— Сиди и не дергайся. — Опарин посадил гостя на ящик.

— Ладно, уговорил. Пусть собачки отдохнут, — согласился Долган.

— А ты, я вижу, собачками обзавелся, — сказал Опарин. — Я не знаю, как от своих избавиться, а ты...

— Не мои собачки. В райцентр еду, кое-что надо купить. Сахару, чаю, макарон. Дай, думаю, заеду к Икорке, может, ему что купить надо, — говорил Долган, глядя на Опарина.

— Мне пока ничего не надо. А вот и чай закипел, —

сказал Опарин и, будто о чем-то вспомнив, выскочил из палатки. Внес белую от снега бутылку спирта. — Для сугреву.

— Нет, нет, не могу, — запротестовал Долган. — Мне ехать надо.

— В дороге теплее будет.

«Про деньги говорить не буду, — подумал коряк, — а выпить немножко можно. Правду говорит Икорка, когда мал-мал выпьешь, — совсем тепло ехать».

Тем временем Опарин достал большой кусок оленины, разрезал ее на кусочки, приготовил воду и разлил спирт в кружки.

— За удачную охоту! — Опарин первым выпил и, даже не поморщившись, стал жевать мясо. — Пей, чего ждешь?

После второй порции спирта Долган почувствовал, как по всему его телу разливается приятное тепло. Он повеселел.

— Ты, Икорка, самый лучший мой друг, тумгутум, — вдруг сказал он. — Не хотел тебе вначале говорить, но у меня теперь нет от тебя секретов. Знаешь, беда в тундре случилась. Большая беда...

— Какая беда?

— Твой медведь Самсонова убил. Это я на его собачках приехал.

— Мой... медведь... Самсонова? А как Самсонов в тундре очутился?

— Деньги вез, выручку. В пургу ночевал в снегу. Шатун и нашел его.

— Не может этого быть. У него же собаки.

— Собаки привязаны были. Ничего от Самсонова не осталось. Только ногу в валенке и нашел...

— Е-ге-е-е... плохо. Какое горе Самсонихе. А деньги нашел? Много?

— Целый мешок...

— Повезло тебе. Значит, гулять едешь?

— Да ты что, Икорка? Я сразу тоже так подумал. Сколько денег! Куда их девать. Но потом...

— Давай еще по одной, за удачу, — перебил Долгана Опарин и налил в кружки спирта. — Показал бы.

— Смотри, — коряк вытащил из-под себя брезентовый мешок и развязал его.

Опарин сразу заметил, что Долган снял с нарты какой-то мешок и все время держал его в руке, а потом

сел на него. Он даже подумал, что в мешке продукты, и скоро забыл про него. А Долган спокойно сидел на таком сокровище!

— Да... Тут есть на что погулять! И куда ты их теперь? — спросил Опарин.

Долган не заметил, как у Егора хищно сузились глаза. Он сразу засуетился, вскочил на ноги, забегал, зачем-то схватил нож, покрутил его в руках, положил на стол.

— В милицию отвезу, — сказал Долган. — Куда же еще? Деньги государственные.

— Гм... С такой кучкой на Южный берег Крыма бы или на Кавказ! — мечтательно воскликнул Егор. — Ох и гулянуть можно. Ты не думал об этом?

— Разве можно так? Деньги-то не мои.

— Но ты же их нашел! Никто, кроме тебя и меня, про них не знает... Самсонов мог их... С него теперь спросу нет. Собаки могли потерять. А найти мешок в тундре — одинаково, что иголку в стогу сена.

— Однако, я поеду, — сказал Долган. — Спасибо тебе за угощение.

Он завязал мешок, надел малахай, поднялся.

— Ду-урак ты, Долган!

— Прощай!

Долган шел к нарте медленно. Конечно, зря он показал Икорке деньги. Настроение испортил и ему и себе. Разговора не получилось. Тот рассердился, холодно с ним распрощался. И во всем виноват он, Долган. Ведь на себе уже испытал злое действие денег. Нет же, дернуло за язык, ляпнул.

Собаки ждали его, повизгивали.

«Быстрее надо убираться отсюда», — подумал Долган и вдруг оглянулся. Что заставило его это сделать, он не знал. Может, заскрипел снег, а может, хлопнул дверной клапан палатки. Он увидел Опарина, его злое длинное лицо, его зеленые глаза. Страшны были глаза. Опарин стоял у палатки и... целился в него из ружья.

— Аа-а! — вскрикнул охотник и почувствовал сильный удар в бок. Падая в снег, Долган еще видел, как из ствола Икоркиного ружья струйкой выполз зеленоватый дымок.

«Убивает... меня убивает», — успел еще подумать охотник, и небо враз перевернулось.

Долган уже не видел, как к нему подошел Опарин, не почувствовал, как тот пнул его в плечо, а потом, взяв за ноги, поволок к обрыву. Снег попал под кухлянку, таял на спине, на шее, но он и этого не чувствовал. Подтащив к снежному наддуву, Опарин оставил Долгана лежать, побежал за длинной палкой. Он боялся свалиться вместе с Долганом в овраг. Вернувшись, начал осторожно подталкивать тело Долгана к обрыву. Снежный гребень рухнул, вместе с ним и Долган. Только холодная снежная пыль поднялась вверх, а потом медленно стала оседать в овраг. Опарин посмотрел вниз и не увидел коряка.

— Вот и все! Лежать тебе здесь, дорогуша, как в холодильнике, тысячу лет.

Он вернулся к мешку с деньгами, схватил его и бросился к палатке.

Но не успел Опарин развязать мешок, как с ним произошло что-то странное — его стало трясти как в лихорадке, дрожали руки и ноги. Хотел посчитать деньги, но скоро понял, что в таком состоянии он не сможет этого сделать. Вышел из палатки, огляделся. Ни души. На прежнем месте стояла упряжка Долгана, собаки возпросительно смотрели на Опарина.

«Они же все видели. Как же я о них забыл? Их тоже... туда, в овраг, к Долгану».

Метнулся в палатку, схватил ружье, патроны. Но руки по-прежнему тряслись, и он, наверное, целую минуту целился в крайнего рыжего пса. Выстрел. Собака дернулась, взвыла так громко, что другие с перепугу ошалело бросились в тундру.

Опарин еще трижды стрелял им вдогонку, но попасть не смог. Нарта скрылась за кустами.

«Следы... следы... чтобы ни одной улики», — лихо-радочно думал Опарин, оглядываясь вокруг.

Странно, но на снегу, по которому волок Долгана, он не увидел ни одной капли крови. «Через кухлянку, видно, не успела просочиться». Зато по следу умчавшейся собачьей упряжки тянулась сплошная кровавая полоса. Егор шел по следу и ногами загребал кровь снегом. Когда она стала попадаться редко, вернулся назад.

«Бежать... скорее бежать, — думал он, — собрать собак и бежать подальше отсюда».

Увязать палатку, вещи не составило труда. Через полчаса его нарта мчалась по тундре. Опарин энергич-

но махал остолом на собак. Было тихо и холодно. Солнце уже поднялось до самой верхней точки и теперь, видимо, начинало скатываться вниз.

«Куда я еду? — вдруг спохватился Егор, оглядываясь. Места были незнакомые. — Так можно и заблудиться... Куда я поперся? Тут на сто километров вокруг не встретишь ни одной живой души. Струсил? Долгана искать не будут. Во всяком случае, до весны, — успокаивал он себя и тут же старался оправдать свой зверский поступок. — Надо быть дураком, чтобы выпустить из рук такие деньги. А я дураком никогда не был. Такой случай раз в жизни бывает. Если бы Долган отдал мне хоть третью часть. Не захотел даже говорить. Идиот. Теперь он ничего против меня не скажет. А собачья упряжка Самсонова — доказательство в мою пользу. Собаки вырвались из когтей шатуна и бегают по тундре. Собаки одни, без хозяина, они могут вернуться домой, а по дороге запросто потерять мешок. Найти же мешок в тундре почти невозможно. Зимой его занесет снегом, а летом... Летом в тундре трава по пояс. Как все просто. А ты испугался. Понесся, куда, зачем?»

Придя в себя, Опарин остановил нарту. Встал, оглядел все вокруг. Оказывается, попал в уголья Долгана. До его избушки, пожалуй, не так и далеко. Можно в ней переночевать. А утром нужно выбираться из тундры... Потом — на самолет. Только меня и видели... Это один, самый верный ход. А у Долгана должны быть шкурки, запасы продовольствия.

Опарин погнал собак к избушке охотника. Но как он ни успокаивал себя, мысль о том, что он, Опарин, убил человека, не давала ему покоя.

«Сколько бандит ни гуляет, а тюрьмы не минает». Опарина даже передернуло при воспоминании о тюрьме. Вспомнил неожиданно, как он уже отбывал срок, а потом еще один. Но те — за ограбления, не за мокрое дело. А, чепуха. Такой фарт нечасто бывает.

Это был совсем небольшой деревянный сруб. Его еще в незапамятные времена построили геологи. Низенькая дверь, тусклое оконце. Теперь избушку занесло снегом. И если бы Опарин не знал к ней подъезда, не нашел бы. Она скорее походила на маленькую курную баньку, какие строили раньше в сибирских деревнях, чем на жилье. Опарин толкнул ногой дверь, вошел. В избушке еще сохранилось тепло.

Опарин сел на лавку, закурил, огляделся. Он здесь

бывал дважды, но теперь смотрел на все другими глазами. Справа от двери — нары. На них спал Долган. На нарах лежали оленье шкуры и старая кухлянка. Они служили охотнику постелью. Почти у самой двери, слева, маленькая железная печурка. На ней коробок спичек, на полу охапка сухих дров. Бери, разжигай печурку, грейся, вари обед...

Егор не был суеверен, но ему скоро стало не по себе. Пожалуй, дурные мысли не дадут ему тут отдохнуть. Пока не поздно, надо ехать. Ехать из этой вонючей конюры, где все пропахло Долганом. Торопливо швыряя все подряд, Опарин нашел мешок юколы, крупу, галеты. На стене, под рогожей, висела связка соболиных шкурок, рядом, отдельно, шкурки горностаев, зайцев и лисицы.

«Нынче у меня ладный улов! — усмехнулся Опарин, связывая в рогожку пушнину. — Надо все забрать отсюда, чтобы ни одному, даже самому дотошному оперу и в голову не пришло, что в избушке кто-то жил».

Он хотел уже уходить, когда увидел под нарами канистру. Схватил, потряс перед ухом. В канистре булькала жидкость. Открыл крышку — в нос шибануло запахом керосина.

«Огонь никаких следов не оставит, разве что железные вещи, но они будут молчать. Зато карабин может о многом рассказать. Охотник без оружия в тундру не ходит. Значит... Мало ли чего может случиться. Мог охотник и сгореть».

Опарин внес карабин Долгана в избушку, поставил к столику. Побрызгал из канистры на стены, нары, облил лавку.

«Вот теперь ни одна экспертиза не докажет, что Долгана в избушке не было». Остаток керосина Опарин вылил на дверь и зажег спичку.

Долган пришел в сознание и почувствовал холод. Его бил озноб.

«Где я? Что со мной? — подумал охотник и сразу же вспомнил все, что с ним произошло. — Значит, живой! — Он пошевелил руками, ногами и понял, что лежит в снегу головой вниз. — Потому и шея болит, и дышать трудно».

Стал подгрести под голову снег, отжиматься руками и вскрикнул — острая боль пронзила тело. «В бок

меня ранил». Когда боль отпустила, хотел встать на ноги, но не смог. На нем лежал огромный слой снега. Выбраться можно только вверх ногами. Работая руками, головой, он стал задыхаться. Ему казалось, что уже не сможет выбраться из-под снега. Но, отдохнув, снова подгрёбал снег под себя и, как уж, выползал наверх. И тут почувствовал, что ноги уже освободил. Еще усилие, и он, раскинув руки, лежал на спине и с жадностью дышал свежим холодным воздухом.

Однако долго лежать не пришлось. Пока выбирался из-под снега, вспотел. Теперь же за него взялся мороз. Через минуту пальцы рук одеревенели. Встал на колени и по привычке пошарил по бокам. К великой радости, его камусные рукавицы, пришитые на ремешке к воротнику кухлянки, оказались на месте. Надев рукавицы, поправив на голове малахай, Долган огляделся. Над ним десятиметровой стеной поднимался высокий берег оврага. Опасаясь, как бы его не заметил Опарин, охотник пополз вдоль стены. Над головой нависал огромный козырек снега, и хотя под ним, как под крышей, можно ползти незаметно, Долган боялся, как бы он не обрушился на него. Пришлось выйти на середину оврага. Овраг круто поворачивал налево, и Опарин вряд ли мог его увидеть.

Долган полз почти километр, когда увидел довольно пологий выход. Пока выбирался наверх, десять раз вспотел. Крутой все-таки оказался подъем, даже зубы сжал от боли. Взяв комочек снега, он держал его во рту до тех пор, пока снег не растаял, потом воду проглотил. Стало легче.

«Лахтак безмозглый, в другую сторону поперся!» — ругал себя Долган, когда понял, что ползет от палатки Опарина не в сторону своей избушки, а дальше в тундру. Хоть снова спускайся и ползи обратно. Если заметит Опарин, то теперь уж не промахнется.

Но что это? Он выглянул из-за снежного бугра, ища палатку Опарина, но не увидел ее. «Удрал», — понял Долган и смело шагнул из-за укрытия.

Охотник полностью осознал свое положение. Жизнь его зависит только от его выносливости, от того, хватит ли силы добраться до своей избушки. Помощи ждать не приходится, кругом ни души. Правда, где-то кочует оленеводческая бригада Аккета, но это еще дальше избушки, и где уж ему сейчас искать ее. Конечно, ему повезло — торопился, нервничал Икорка, деньги хотел быстрее

взять, а то лежать бы ему вечно под снегом в овраге.

Долган шел медленно, осторожно — резкие движения причиняли ему нестерпимую боль.

Прикинул расстояние. Если он сможет так идти, то уже сегодня дойдет до избушки. А там тепло, есть кое-какие лекарства, продукты. А потом, завтра или послезавтра, он отправится в стойбище Аккета. Аккет поможет. Бригадир мужик умный, на расстоянии может говорить с председателем колхоза. Есть у Аккета рация. Долган все расскажет Аккету, а тот передаст Дорофееву. Надо срочно сообщить людям о страшном человеке, Икорке Опарине, который присвоил государственные деньги и только случайно не убил его. А то этот негодяй еще много бед может наделать.

Долган подошел к месту стоянки Опарина. От палатки остался только черный квадрат утрамбованной земли. Недалеко валялись поленья дров, палки. Долган остановился, осмотрелся. Вот отсюда Икорка стрелял в него, а потом метров пятнадцать волок к оврагу — осталась глубокая борозда. Тяжело вздохнув, охотник выбрал прочную палку. На нее он думал опираться в дороге как на костыль.

С палкой идти оказалось легче. След нарты хорошо виден, и Долган надеялся даже в темноте не сбиться с пути. Но дорога была неблизкая. На собачках он ехал часа три, а идти шесть-семь.

Вначале Долган чувствовал себя бодрее и прошел несколько километров. Теперь же с каждым шагом идти становилось все труднее и труднее. Хорошо бы полежать, отдохнуть. Охотник все чаще отдыхал. Но мороз сразу же принимался за него. Ему тут же приходилось подниматься. Скоро Долган понял, что надо идти дальше, чем рассчитывал, и едва ли он до ночи доберется домой.

Горизонт заметно чернел, а он не прошел еще и трети пути. Кругом было пустынно и тихо, только одинокие кусты кедровника стояли в зловещем молчании. Они-то и насторожили Долгана. В этих кустах его мог поджидать шатун. Карабин забрал Опарин, а с голыми руками на зверя не пойдешь. Почему с голыми? Долган ощупал пояс и облегченно вздохнул — на поясе висел охотничий нож в деревянных ножнах. Опарин, видно, поспешил, не заметил его. А он придал охотнику смелости. Во всяком случае, еще можно побороться

за свою жизнь. Хотя с его силами... Долган это понимал и обходил кусты стороной. Мысль о вероятной встрече с шатуном приглушала боль, и теперь охотник шел быстрее. Неожиданно из тундры донесся слабый лай собаки. Он обернулся и... кинулся в кусты. Его догоняла нарта.

«Икорка! Таки увидел мои следы. — Долган крепко стиснул рукоятку ножа: — Ну уж теперь я этому волку так просто не дамся!» Лежа за кустом, ждал приближения нарты. Скоро услышал, как скрипит под полозьями снег, как натужно хакают уставшие собаки. Нарта проехала мимо, и Долган вздохнул с облегчением: не заметил его Икорка.

Охотник полежал еще несколько минут и, опираясь на палку, с трудом поднялся. Вдали в вечерней мгле маячила удаляющаяся нарта. Только теперь Долган рассмотрел на ней двух путников, понял, что сам спрятался от близкой помощи и навряд ли ему еще придет такая возможность спастись. Редки встречи с человеком в тундре, ох как редки, охотник даже застонал от обиды и горя.

Опираясь на палку, с трудом поднялся и медленно побрел по рыхлому снегу дальше, за нартой. Не знал Долган, что на уставшей упряжке проехал лейтенант Сергеев, его давний знакомый, самый необходимый ему в его бедственном положении человек.

На охотника вдруг навалилась какая-то апатия и безнадежность. Его оставили силы. И если бы не палка, он упал бы. Стоял долго, отдыхал. Поддерживала его только мысль о том, что он приближается к своей избушке. И снова шел вперед.

Небо давно вызвездилось, но до конца мучений еще было далеко. «Дойду, все равно дойду. Еще немного». А ноги все сильнее утопали в снегу, гребли сыпучий, как сахарный песок, снег.

Снова остановился, тяжело дыша. Холод обжигал щеки, хватал за пальцы рук и ног. Нестерпимо болел бок, в груди жгло огнем, не давало дышать.

«Не дойду, замерзну», — с тоской подумал Долган. Но упорно шагнул раз, второй... За ним снова потянулась неровная цепочка глубоких ям.

Зацепился за ветку, упал на снег и застонал. В жар бросило, в голове помутилось... Потом увидел, как к нему несется собачья упряжка.

— Долган? Ты почему здесь? Что с тобой? — услышал он знакомый голос.

Над ним склонился Сергеев.

— Умираю... Совсем умираю...

— А почему нож в руке?

— Думал, шатун на меня нападет.

— Ты ранен?

— Икорка Опарин... Стрелял он меня, убить хотел.

Страшнее шатуна.

— Куда он тебя?

— Очень бок болит.

— Скорее ко мне на нарту. Поедем в больницу. Там доктора тебя живо на ноги поставят.

— Далеко в больницу. Дом мой близко. Надо домой ехать. Я потерплю.

Собаки уже мчат по тундре, только снег следом курится.

— Из-за денег он меня. Я считал его другом, а он... Деньги забрал.

— Вот доедем до избушки, я тебя перевяжу. А Опарина поймаем, как прошлый год Медвежью Лапу. Помнишь? А потом с тобой еще на охоту ходим.

— Ты его обязательно лови, начальник. Из-за денег человека стрелять! Это хуже шатуна. Тот голодный, а этот из-за денег, — шепчет Долган.

Железная печурка пышет жаром, ревет, как старый олень во время гона.

— Мне почти не больно.

— Чиркнула пуля, ребро сломала. Сто лет еще жить будешь.

Долган поднял голову: ни Сергеева, ни нарты. Рядом стояли темные кусты кедровника. Охотник даже растерялся: только что разговаривал с лейтенантом.

«Померещилось. Злой келе со мной опять шутит». — Долган стал медленно подниматься.

И опять побрел Долган по еле-еле заметному следу нарты.

«Не дойду, — билась в голове опасная мысль, — если упаду и не смогу подняться, буду ползти. Буду ползти... Доползу!»

— Сильнее растирайте! Сильнее! — кричал лейтенант на Аретагина и Аккета. Сам он бегал и собирал дрова, ломал ветки и бросал в огонь. Ему казалось, ес-

ли огня будет больше, то Долган скорее придет в сознание. Скоро горел огромный костер, но Долган, хоть стоны его стали чаще и дыхание налаживалось, в сознание не приходил.

— Икорка, Икорка... деньги... — вдруг проговорил он.

— Что за Икорка? — спросил Сергеев.

— Охотник один тут охотится, Опарин, — ответил Аккет.

«То-то он и бежал вчера от нас, — лейтенант даже застонал от злости на себя. — Проворонил».

— Рация у тебя есть? — спросил у Аккета.

— Есть, но не хочет работать, окаянная, — ответил бригадир.

— Надо, чтобы Долган выжил. Одевайте его! Живее! Живее! — торопил пастухов Сергеев.

Когда Долган был укутан в шкуры и уложен на нарту, лейтенант направил его с пастухами в стойбище, а сам с Аккетом и Аретагином решил поездить вокруг, все тщательно осмотреть.

«Если бы знать, — сокрушался лейтенант. — Ведь были мы здесь вчера вечером. Нет, не зря он Опарина и деньги вспомнил, не зря... Останься мы на ночевку здесь, Долган бы точно жив остался».

Объехали сгоревшую избушку широким кругом. Этот охотничий способ поиска следов Сергеев уже хорошо знал. Он снова ехал с бригадиром, внимательно осматривая каждый снежный бугор, куст, следы. Олени шли медленно и вдруг остановились как вкопанные. Они оказались на том самом месте, где Долган нашел упряжку Самсонова.

— Шатун здесь побывал, потому и олени остановились, — пояснил Аккет. — Я будто чувствовал. Он и оленей наших убил. Злой зверь.

— Да... — тяжело вздохнул лейтенант. — А я ведь подумал... — Он остановился у погибшей собаки. Чуть в стороне лежал валенок Самсонова. — Прости, Самсонов, за мои дурные мысли.

Сергеев вдруг снял шапку. Его примеру последовали Аккет и Аретагин.

— Выходит, мы поймали собак Самсонова? — спросил Аккет. — Но погиб продавец еще в пургу.

— Выходит, так, — подтвердил лейтенант. — А после пурги здесь был Долган. Вот его следы. А вот он повез нарту к избушке. Но и от избушки ведут два сле-

да. Куда-то он ездил. А может, сюда приезжал Опарин?

Они снова вернулись к пожарищу. И тут наткнулись на странную борозду.

— Да это же полз. Долган. Давай, Аккет, правь по его следу, — толкнул бригадира Сергеев. — Смотрите, как долго он полз. Километров пять, не меньше, — удивился лейтенант. — Представляю, какое у него было сильное желание добраться до своей избушки, до тепла. Но когда дополз и увидел пожарище, силы его покинули.

По следу Долгана они приехали к месту стоянки Опарина.

— Опарин его... Думал, что Долган убит, и сбросил в овраг. Деньги Самсонова он, конечно, забрал, — говорил Сергеев, рассматривая снег вокруг.

Они долго стояли на краю обрыва и молчали.

— Потому Опарин с нами вчера говорить не стал, торопился, — нарушил молчание Аретагин.

— Потому, Аретагин. Он и избушку Долгана сжег, чтобы никаких следов не осталось. Вернее, потому, чтобы нас направить по ложному следу. — Теперь Сергеев рассматривал следы нарт. — Все ясно, потом стрелял собак. Вот, смотрите, кровавые пятна, видно, убитой собаки. Ногами загребал. Следы прятал, прохвост.

— А я ему еще оленей давал, — сказал Аккет. — А он хуже шатуна оказался.

А потом, уже в стойбище, Сергеев первым делом осмотрел рацию. Он еще в школе занимался в радиокружке и теперь надеялся починить ее.

— Дочь Нельвида Эттык, наверное, уже сказала председателю о своем отце. Дорофеев обязательно вертолет пришлет, — сказал Аккет.

— Конечно, пришлет. Но если я до вечера не вернусь в район, Опарин завтра улетит. А потом ищи ветра в поле. Поэтому рацию я должен исправить, а к вечеру обязан быть дома.

В палатке было жарко, железная печурка раскалилась докрасна. Здесь же на шкурах метался в беспомощности Долган. Женщины сутились у больного.

— Слушай, Аккет, а запасных радиоламп у тебя нет? — спросил Сергеев.

— Известно, есть. У нас все есть. — Пастух достал из-под шкур запасной комплект и, виновато улыбаясь,

подал его Сергееву. — Надо же! А я из-за Нельвида совсем голову потерял. Аж неудобно!

— Отлично, — обрадовался лейтенант.

Скоро рация заработала.

— Смотри, ожила, окаянная, — обрадовался Аккет.

— Теперь давай вызывай Дорофеева и проси срочную помощь, — улыбнулся Сергеев, прислушиваясь. — Гудит где-то?

Откуда-то издали слышался непонятный рокот. Он становился все слышнее, громче. Потом загрохотало рядом, стенки палатки задрожали.

— Вертолет! Ура! — Сергеев выбежал из палатки.

Опарину явно везло. Да иначе и быть не могло! Сергеева он, конечно, узнал, но тот его вряд ли. А если и узнал, что из этого? Опарин сразу понял, что лейтенант ищет Самсонова. При встрече даже растерялся, чуть себя не потопил, но потом успокоился. Пусть ищет хоть до весны, это его дело. Ничего не найдет, Самсонова уже нет — шатун съел, и не он, Опарин, взял у того деньги. Если бы ветерок... Хоть бы самый маленький! Тогда ни одного следа!

А если даже опер начнет подозревать, это его дело. Доказательств никаких! Пока разберется, Опарина в районе не будет. Тю-тю. Слава богу, страна наша большая — есть где скрыться.

И все-таки собак Опарин чуть насмерть не загнал: всю ночь ехал, только перед рассветом дал им отдохнуть часа три.

Когда подъезжал к селу, боялся: что его там ждет? Но потом успокоился. Быстро нашел покупателей. Нарту с упряжкой продал пастуху-оленеводу. Деньги небольшие, но не бросать же их просто так. Продал ружье и палатку. Чем меньше вещей в дороге, тем чувствуешь себя свободнее. Продал, конечно, дешево, но ему ли теперь о деньгах плакать? Деньжата есть! Целый мешок! Егор рассудительно положил его в другой, джутовый, который раздобыл в селе. Туда же забросил пушнину.

Добравшись до аэропорта, Егор толкался среди пассажиров. С мешком он совсем бродяга-бич. Теперь бы заменить корякскую меховую одежду на более современную. Не пойдешь же в кухлянке в городе по проспекту — толпу зевак собирать.

Он сходил в буфет, плотно пообедал и теперь терпеливо ждал, когда кассирша начнет продавать билеты. Но она не спешила. Самолета из города еще не было. Пока прилетит, пока заправится. Время тянулось медленно, и Опарин стал нервничать. «Успею, Сергеев, если даже и поймет что, хотя это маловероятно, придет завтра-послезавтра», — успокаивал он себя.

Наконец-то кассирша объявила о продаже билетов. Опарин, хотя и уговаривал себя не спешить, первым оказался у кассы.

— Фамилия? — спросила кассирша.

— Зачем вам моя фамилия? — растерялся Егор, опасливо заглядывая в окошечко. Там он увидел сержанта милиции, который сидел за столиком и внимательно рассматривал какие-то бумаги.

— Гражданин, вы что, первый раз летите на самолете? — Кассирша, совсем девчонка, уставилась на него.

— Летал уже.

— Говорите фамилию и давайте паспорт, — потребовала она.

— Опарин, — шепотом назвал свою фамилию и сунул ей паспорт.

— А, шатун? — услышал вдруг Опарин голос за спиной. Оглянулся и замер: за ним стоял лейтенант Сергеев. А с правой стороны еще два крепыша в милицеской форме. Опарин почувствовал, как обмякли его ноги, из рук выскользнул тяжелый мешок.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗОЛОТАЯ БАБА

Сергей Плеханов

3

ПЕСЧАНЫЕ ВСАДНИКИ

Леонид Юзефович

71

ПО СЛЕДАМ ЛЕГЕНДЫ

Лев Корнешов

133

ОПЕРАЦИЯ ПРИКРЫТИЯ

Эдуард Хруцкий

203

АДМИРАЛЬСКИЙ КОРТИК

Даниил Корецкий

249

ДЕЛО ПРИНЦИПА

Андрей Измайлов

311

РАПОРТ ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА

Игорь Козлов

363

КОГТИ ШАТУНА

Александр Иванов

397

ИБ № 4099

ПРИКЛЮЧЕНИЯ-85

Редактор-составитель Т. Костина

Художник М. Лисогорский

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Г. Прохорова

Корректоры Н. Самойлова, И. Тарасова, Т. Песнова

Сдано в набор 13.05.85. Подписано в печать 19.09.85. А00915.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-
отт. 23,52 (в пер.). Уч.-изд. л. 25,0. Тираж 200 000 экз. (100 001—
200 000 экз.). Цена в переплете 1 р. 80 к. (100 000 экз.), цена
в бумажном переплете 1 р. 70 к. (100 000 экз.). Заказ 661.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.

1 р. 70 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ